Повести

Хорошему его
человеку, за его
доброе сердце, за его понятливость
золотые руки, от [redacted] его Ольги
мягкие заботы,
подруги жены
1 января 1986 года

НИКОЛАЙ НИКОНОВ

Повести

Свердловск
Средне-Уральское
книжное издательство
1985

84Р7
Н63

Книга открывается не раз уже издававшейся повестью Н. Никонова «Солнышко в березах» — о довоенном детстве в большом уральском городе. В сборник вошли также повести «Лесные дни», «Балчуг» и «Воротник». Тема этих произведений — человек и природа. Писатель размышляет о том, как много значит для нравственного здоровья людей их общение с миром лесов, озер и полей, как важно сберечь этот мир в чистоте для наших детей и внуков.

Заключает книгу «Размышление на пороге» — автобиографическое повествование, впервые опубликованное в журнале «Урал» в 1980 году к пятидесятилетию автора.

Н $\frac{4702010200-083}{М158(03)-85}$ 52-85

Солнышко в березах

Иногда оглядываешься в свое прошлое, чтобы вспомнить недавно прожитые дни, и с удивлением замечаешь, что это не удается. Черты дней сливаются, будто контурные линии рисунков, положенные один на другой. Любое утро вспоминается лишь тем, что вставал с постели, день — работой, вечер — может быть, электрической лампочкой да синевой за окнами.

И все-таки в хаосе прожитого есть широкие окна. День, бесконечно далекий, сохраняется с полной ясностью, со всеми запахами ветра и земли.

Чаще такие дни падают на детство. Память хранит все пятнышки на лапах у кошки, всех кузнечиков, что трещали в цветущем пырее у ворот, хранит и непостижимый теперь вкус и запах летнего утра, когда, протирая заспанные глаза, улыбаясь, сбегал я с высокого крыльца навстречу солнышку, навстречу теплу.

Солнце поднималось по-над горой, за кривыми березами соседских садов. И навсегда остался со мной его счастливый блеск в листве, как-то связанный с запахом этих берез, березовых листьев, утреннего холода.

Солнышко в березах! Оно вставало вместе со мной, вместе с воробьями, с галками на облупленной колокольне, вместе с гудками заводов на заречной стороне. Казалось, и жизнь моя начиналась оттуда, от солнышка да от берез...

Основинка

Шел мне седьмой год, когда мы переехали к бабушке на кривую улицу Основинской слободы. Эта слобода была чуть не в центре нашего промышленного города.

Новостройки вплотную подступали к ней, но тут было по-загородному безлюдно, солнечно. Уютно стоял дом бабушки на краю речного лога. Дом двухэтажный, темный, состарившийся, с поломанной резьбой над окнами, с беленым кирпичным низом. У дома широкий двор, весь в мелкой траве, большой сарай с галереей и навесом, баня в огороде у речки.

Речка течет в городской пруд мимо серых заборов, щербатых, как старушечьи зубы. Большинство домишек слободы давно уж просится на снос. У многих повалились ворота. Крыши сквозят гнилой обрешеткой, и лебеда, высокая, деревянистая, нелюдимо торчит там.

Зато большие березы и тополя привольно растут на логовом черноземе. Весной, летом и осенью деревья украшают слободку. Везде краснеет рябина, клонится через худые заплоты. В листве тонут моховые крыши, птички посвистывают на все лады, и вся одетая в зелень слободка молодеет.

Я никогда не замечал, чтоб где-нибудь еще росло столько простых цветов одуванчиков. Ими золотилась улица в июньское утро. Одуванчики... Они росли по всем пригоркам, и у заборов, и в дорожных колеях. Их парашютики-комарики несло в теплый ветреный день незнаемо куда. Одуванчики... Их никто не замечал, кроме нас, ребятишек. За речкой была пологая гора с заколоченной церковью, левее чадил кирпичной трубой небольшой завод. Там слобода кончалась, начинались мощеные городские улицы. Говорили, что поставлена Основинка лет триста назад, а может, стоит с основания города, была ему основой. Впоследствии я часто задумывался о прошлом слободки, пытался узнать о ее возникновении. Может быть, беглые работные люди селились здесь. Может быть, стриженный в скобку рудознатец срубил первую немудрую избенку, а может, солдаты по указу Петра валили сосны под хриплую брань офицеров в треуголках...

С первых дней жизни на новом месте я полюбил огород у реки. Он стал для меня той прекрасной страной, которая есть в детстве у каждого — будь то двор, пустырь, поскотина, одичалый сад или хоть балкон пятого этажа с оранжевыми настурциями в щелястых ящиках.

А в моей стране был забор в зеленых лишаях, баня, плитняковый фундамент сарая, там рос меж камней мелкий кустарник с красными ягодками. Даже настоя-

щий ключишко был. Он выбуривал в песчаной ключевине подле банного сруба, стекал в речку весенним ручейком. Там всегда кипели, поблескивали золотинки. Ползали по дну живые палочки ручейников. Строго-настрого запрещалось мне пить из того ключа. Ясно помню, как ноет лоб, ломит зубы от его нестерпимо холодной воды. Я не только пил. В жаркие дни я мочил голову. Наливал воды в истасканную шапчонку-матроску. Я смотрелся туда, в ключевину, и средь плывучих летних облаков на меня глядел круглолицый удивленный мальчик, остриженный «наголо», вроде бы я, а вроде бы и не я. Меня занимало это зыбкое отражение — оно было совсем не таким, как в зеркале, оно было загадочнее, темнее и недоступнее. И, наглядевшись в ручей, я садился к порогу бани, ощупывал лицо, как слепой, проводил пальцем по носу, трогал ежик волос. На ощупь нос был словно чужой.

Между баней и забором крепкий репей, пахучая конопля. Шмели басят и жундят там. Крапива поднимается высоко-высоко. Ее цветущие верхушки клонятся ветром над банной крышей, над оплывшей желтой трубой. Крапива и лопухи — спутники детства. Часто-часто вспоминаются мне летние пасмурные полдни. Смирное небо. И эти острые макушки крапивы.

Есть что-то дикое в конопляно-бурьянной поросли. Я боялся залезать туда глубоко, но я и любил ее простой запах — пахло зеленью, влажной землей. Сидишь и смотришь, как бегают в крапиве яхонтовые жуки с золотыми палками, ползают ворсистые, волосатые гусеницы, красно-черные клопы-солдатики строем взбираются по стеблям. Зачем? Куда? Почему они расписаны так грубо ярко, точно карточные валеты? Кто командует ими?.. Схватишь нечаянно солдатика на рубахе, и до вечера отдают руки клоповой пахучестью.

В огороде играл я целые дни. У меня не было ни братьев, ни сестер. Я привык быть один, один находить забавы и развлечения. Я строил шалаши из лебеды и полыни, таскал туда репу, морковь, деревянные сабли. Здесь никто не указывал, не мешал, как умеют мешать одни взрослые своими советами и смешками. Здесь все было мое: лебеда на кровле, немытая, обтертая ботвой морковь, полосатые медвежата-шмели, само небо, на которое хорошо смотреть подолгу.

В детстве мы ближе к земле, к солнышку, к жукам

и птицам. Мир детства огромен и многоцветен, и горько, что с возрастом неизбежно уходят люди из этого удивительного мира, где все яснее видится, слышится, чувствуется...

Разве представишь теперь, какой прекрасный вкус был у северного снегового ветра... Как осязаемы были самые далекие облака! Как высоки обыкновенные тополя! Вот иду теперь по лесу, встречаюсь с лягушкой. Ну, посмотрю, как она прыгает, скажу ей что-нибудь, и дальше. А тогда в первый раз я до немоты, до холодящего озноба обрадовался ей.

Мокрая, зелено-бурая, она смотрела желтыми выпученными глазами из мелкой травы в сырой бороздке. Поймать живую лягушку! Но едва я шагнул к ней, она перелетела через гряду к забору, шлеп, шлеп и скрылась в густой траве-череде. Я кинулся искать и не нашел, зато штаны, чулки, рубаха до локтей ощетинились сухими треугольниками колючек. Полдня выбирал я их, сидя на гнилом коньке бани, и все думал о лягушке. Куда же она делась? А не волшебная ли она была?

Летом я вставал рано, пока отец и мать еще спали. Тихонько одевался, шнуровал ботинки и бежал на кухню. Там уже хозяйничала бабушка Ирина Карповна — мать отца.

Бабушка невысока ростом, желто-седая и сутулая. Бабушка поднимается куда раньше меня. Никогда я не вижу ее спящей. Бывало, ложусь — она моет посуду от ужина, встаю — топится печурка, гудит, пощелкивает, посвечивает в прогорелой самоварной трубе. Жарится картошка. Шипят на сковороде оладьи.

Я пил чай из любимой облупленной кружки, глядел в окно, кормил исподтишка кота. Он терся о ботинки ушами и лбом или больно трогал коленки распущенными когтями: «Давай еще!»

Я люблю кухню. Здесь уютно пахнет хлебом и супом. Здесь тепло. Красные блики дрожат и бегают по медной посуде. Утренние тени прячутся по углам. Особенно хорошо сидеть тут в ненастье, в осенний пасмурный мозглый вечер, когда скудно кропит, засевает окна дождь и возится в мокрых садах бездомный ветер.

Самое интересное в кухне — печь. Она большая, самостоятельная. У нее есть полати, лежанка, приступок к печурке, есть подпечье и таинственная загнета, где шают к непогоди созвездия углей. У печи есть задым-

ленное чело, кирпичный свод и дымоход, покрытый блестящей сажей, словно путь в преисподнюю. Мне вполне понятно, почему этим темным колдовским путем летают ведьмы, проникают в избу черти и другая нечистая сила, почему домовые живут в подпечьях.

Кот тоже кухонный житель. К холодам он лезет на шесток. Однажды он забрался и в самую печь. Бабушка затопила. И вдруг вылетел он оттуда, весь в золе, с опаленными усами.

Ночью в кухню не зайдешь. Страшно. Луна так таинственно заглядывает сюда сквозь окно. И что-то шевелится тут и словно шепчется и бегает тихонько на мягких лапах. Отец говорит — мыши, а я так думаю — тараканы. Бабушка их не любит. Как покажется таракан, она принимается мыть, скоблить, шпарить кипятком. Она говорит: тараканы к худу, а сколько я их видел — никакого худа покамест не было. Бабушка все хлопочет возле печи. Так всегда. Бабушка и печь. Печь и бабушка.

Вот, поставив на стол тарелку с оладьями, бабушка улыбается каждой морщинкой доброго лица, оглаживает мою стриженую голову.

— Ну что, хорошо выспался?

— Выспался.

— А во сне-то что видел?

— Никого...

Она всегда спрашивает про сны. А я их редко вижу. Какие сны, если едва успеешь донести голову до подушки. Она часто предсказывает по снам. «Вот лошадей сегодня видела, это к гостям, к хорошим вестям». И я уж знаю, если картошка — это к слезам, собаку видел — родня приедет. Я верил и часто, прождав понапрасну целый день, огорчался:

— А ведь не приехал никто...

— Ну, завтра, послезавтра приедут,— спокойно говорила бабушка.

— Да уж! Приедут!

Иногда я нарочно сочиняю сон. Вру так и этак, придумываю разные сказки. А бабушка слушает мою болтовню и никогда не прерывает. Только уж если чересчур начну привирать, тихонько улыбаясь, скажет:

— Ладно, ладно, ешь давай пуще.

После чая бегу в огород, во двор, на улицу. Дело находится само собой. А если его нет, я лезу на серую

кровлю навеса, ложусь там на упругий мох, смотрю и слушаю, как просыпается город, двор и улица.

Город встречает утро гудками. Я знаю многие из них. Вот пронзительно вопит заводик под горой. Ровно-приглушенно поет далекий, хорошо знакомый по разговорам взрослых и все же непонятный ВИЗ. И басом величаво-торжественно ревут гудки новостройки. Слушаю, и начинает мне казаться, что я плыву в этом протяжном гуле и, когда он обрывается, замираю... Становится тихо, необыкновенно. Город поздоровался с солнцем.

Пробудился и двор.

Вот из «низу» — так попросту называется нижний полуподвальный этаж — вылезает сутулый старик в валенках с въевшимися в них тусклыми калошами. На сиреневом запойном носу старика очки в тонкой оправе.

Федор Иванович Насонов — ювелир и гранильщик — человек для меня совсем загадочный. Трезвый он всегда молчит, за год двух слов от него не услышишь. Весь он рыжий, выгоревший, как старый таракан, и ходит в своих рыжих валенках такой же тараканьей пробежкой.

Он зевает, чего-то жует, идет в огород за связкой удочек. Раскурив у ворот махорочную самокрутку, попыхивая голубым дымком, покашливая: «Эхе... хе... хе», скрывается в улице. Долго вижу его кепку и концы удочек. Они движутся к пруду. Там у Насонова плот. Почти каждое утро Федор Иваныч приносит своей кривоногой старухе Лизоньке связку серебряной крупной рыбы: язей, чебаков, подлещиков. Только сегодня Федор Иваныч что-то припозднился. «Видать, проспал на рыбалку, а может, с похмелья ему»,— думаю я. Я не знаю, как бывает с «похмелья», да, видно, плохо, потому что Федор Иваныч иногда приходит к отцу занять денег на пол-литра и весь трясется, вот-вот упадет.

Из других сенок выходит на двор чахоточный ювелир Кипин, он какой-то вогнутый, с белесыми усами на испитом лице питерского рабочего. Иван Алексеич и на самом деле из Ленинграда. В гражданскую войну его ранило. Ходит он одним плечом вперед, а руки складывает на боку, будто рану зажимает.

У нас в улице много живет ювелиров, гранильщиков, камнерезов: Титовы, Поповы, Оберюхтины. Они работают на гранильной фабрике, в артели «Русские самоцветы». Только лучшие мастера, вот как дедушка Титов или Федор Иваныч Насонов, работают дома. У Насонова в

комнате мастерская. Все говорят, что «сидит он на серебре», хоть я-то отлично знаю, что сидит он на темном топорном стуле, обитом для мягкости рыжей кошмой.

Все люди для меня делятся на хороших и плохих. Хорошие — отец, мать, бабушка, Федор Иваныч, Юрка Кипин, его семилетняя сестра Верка. Плохие — ребята Курицыны, воришки и беспризорники, от которых достается мне ни за что ни про что то камнем в голову, то палкой по спине, плохие — это жулье, так кратко называет бабушка Пашковых, соседей через улицу.

Пашковы — длинное семейство из черномазых ребят-погодков, отца, сапожника-пропойцы, и матери, широкой краснолицей дворничихи, похожей на медный самовар. Вечно она кипит, шумит, лается с соседками или с утра до ночи сидит на завалине своей низкой хибарки с выпученными к небу радужно-мутными окнами. Мне удивительно, как такое семейство умещается в избенке. Одной Пашковой там не хватит места.

Я не видел, чтобы мать Пашковых занималась хоть каким-нибудь делом, кроме дней, когда вся улица прибиралась к 1 Мая и к Октябрьским праздникам. Тогда грязный фартук дворничихи появлялся на улице, а зычный голос слышался на всю слободку. По-гусиному переваливаясь с ноги на ногу, Пашкова указывала, где мести, что убрать. Сама никогда не бралась за метлу и лопату.

Ребята Пашковы воровали все, что могли, и по мере подрастания «садились», то есть попадали в заключение.

— Витька-то Пашков опять сел,— сообщала всегда полоротая с прищуренным глазом Анна Семеновна Кипина — главная осведомительница в околотке. Без нее не обходилось ни одно общественное событие, вроде прихода милиции, пожарников, проверки помоек, штрафов и даже ловли бездомных собак.

— Леньку Пашкова вчерась выпустили,— рассказывала она же.

— Надьке Пашковой принудиловку дали за растрату. Нитки на фабрике мотает,— узнавали все на следующий раз.

Помимо этих Пашковых был еще мой однолеток Генка, тоже проявлявший недюжинные способности в воровстве игрушек, западенок с чечетками, репы-гороха из соседских огородов. У самих Пашковых в огороде росла лебеда.

Но самой «легендарной» фигурой пашковского гнезда был старший сын со странным не то именем, не то прозвищем Гокся.

Гокся, по рассказам Семеновны и бабушки, был законченным бродягой и бандитом. Он появлялся редко, внезапно и так же внезапно исчезал на годы. Всего один раз видел я верзилу в желтых брезентовых штанах и в линялой футболке. Волосы Гокси самого неопределенного цвета только начали отрастать после тюремной стрижки, поблескивали косицами по вискам.

Он сидел на одуванчиках у забора. Загорелое, скуластое лицо было спокойно, и только коричнево-черные глаза, одинаковые у всех Пашковых, блуждали вдоль улицы, беспокойно прилипали к прохожим, и было в них что-то магнитное, ласковое и жуткое.

Вот он словно бы притянул меня, и я не знаю, как очутился возле его дырявых ботинок. Я молчал, весь во власти блестящего тяжелого взгляда.

— Печененку хочешь? — вдруг спросил Гокся.

Я перепуганно и редко моргал, не в силах оторвать ноги от земли.

— На-а,— темная рука протянула мне с десяток круглых вафель, какими покрывают мороженки.

Так же безвольно я взял их.

— Валяй,— наконец разрешил Гокся.

Медленно пошел я прочь и чувствовал, как Гоксин взгляд свинцовыми прутиками давит в спину. Я думал, прикажи он мне сейчас вынести из дому что угодно, и я пошел бы, вынес, отдал ему.

Через месяц стало известно, что Гокся обокрал магазин, убил сторожа и сам был убит в перестрелке, когда его задерживали.

Может быть, не стоило так много рассказывать о Пашковых, да без них лицо слободки было бы неполным. Основинка раньше на весь город славилась не одними камнерезами, ювелирами, столярами и портными, но также хулиганами и ворами. Воровство тут не считалось делом очень зазорным. К нему привыкали с малолетства, и позднее я понял, что Пашковы, Курицыны и другие были таким же осколком прошлого, как вся гнилая слобода, чудом уцелевшая почти в центре города, бурно росшего, строившегося в эти тридцатые годы.

По вечерам за темными ее улицами загоралось созвездие желтых, белых и голубоватых огоньков. С крыши

было видно, как огоньки переливались, подмигивали, полосами уходили на север. В пасмурные ночи небо там вспыхивало, точно от дальних молний, вспыхивало и гасло. «Там Уралмашстрой»,— говорили отец и бабушка, и мне очень хотелось посмотреть вблизи тот огненный город. Он представлялся огромным, сияющим и шумным, не то что наша сонная слобода.

Немало жило здесь закоренелых мещан, мелких хозяйчиков, бывших лавочников. Таким был хотя бы прежний хозяин нашего дома портной Борин.

Седой, в колючей поросли на подбородке и желтых щеках, с мокрыми глазами, выглядывавшими из-под редких бровей, в темном картузе с нелепым козырьком, он иногда приходил за чем-то к бабушке и говорил с ней быстро, обрывисто, зло, точно искусанный собаками.

Я убегал, чтоб не видеть противного старика.

Перед тем как съехать из дому, Борин под топор снес весь сад из столетних берез, лип и тополей, вырубил даже рябины и черемухи, чтоб не доставались новым поселенцам. В саду осталась розовая щепа, истекающие соком пеньки. А я возненавидел сутулого старикашку. В улице Борина знали как человека непомерной скупости. Он нес к себе домой всякий гвоздь, найденный на дороге обрывок веревки, стоптанный опорок. Сапоги у Борина были с подметками, окованными железом. Они противно скрипели и чакали по камням, когда старик тащился по улице. Он являлся мне во снах и всегда в самых злодейских образах: то пауком, то Кощеем, то стариком Морозовым, убившим пионера Павлика.

Должно быть, Борин чувствовал мою неприязнь, хоть это и была неприязнь всего-навсего маленького мальчишки. Однажды, когда я играл на куче гнилых досок от старого забора, делал кирпичики из глины и клал их сушиться, за спиной раздалось:

— Ну-ко, пошел отсуда!

Я отскочил в испуге.

Старик разворотил доски, вытащил из-под них ржавый железный лист, на котором синей краской были нарисованы пиджаки и штаны, сопя, поволок его к воротам.

Все мои кирпичики оказались сломаны, смяты. Молча смотрел я на содеянное. Но едва захлопнулась ка-

литка, я схватил кусок глины, залепил им по воротам и заорал что было голосу:

— Гад! Паук! Проклятый!

Потом кинулся в огород, думая, что старик вернется.

Под осень Генка Пашков, Юрка Кипин и я подстроили Борину злую шутку. Выждав, когда портной пойдет в магазин за хлебом, мы выбросили на дорогу потертый коричневый кошелек, туго набитый газетной бумагой. Тонкую нитку Генка Пашков держал в руке.

Скрип, скир, скрип, скир — все ближе стучат окованные подметки. И вот все смолкло. Борин увидел кошелек. С неожиданным проворством старик оглянулся и так же быстро нагнулся. Кошелек подпрыгнул, исчез в подворотне. Наш звонкий хохот и грязная брань старика раздались одновременно. С тех пор жадный портной никогда не появлялся у нас на дворе.

В таком же черном картузе, в той же волчьей проседи сосед Сычов — владелец большого, как казарма, дома с флигелем, садом, голубятней и сараями. Окна в доме Сычова налеплены как попало, а сам дом битком набит квартирантами. К Сычову вечно кто-нибудь вселяется или выезжает. Живут у него артисты, военные, девушка-парикмахер, безбородый татарин в зеленой шляпе, рыжая еврейка с лицом и руками сплошь в коричневой сыпи веснушек и даже три семьи многодетных китайцев в самом нижнем, подвальном, этаже, где под половицами хлюпает почвенная вода.

Вот сейчас Сычов в своем картузе, с метлой в руках прохаживается по двору. Хозяин — так зовут его все квартиранты от мала до велика. Хозяин. Иного имени у него нет, хотя все-таки зовут Сычова не то Борис Михайлыч, не то Михайло Борисыч.

Есть у хозяина сад. Он примыкает почти вплотную к нашему сараю, а рощей кривых уродливых тополей спускается к речке. В саду черемуха, крушина, жимолость, кладбищенское дерево бузина. Но самое замечательное у Сычова — старая яблоня-китайка с толстым стволом и шатристой кроной. В то время садов в городе было мало, а с яблонями и вовсе. Говорили, что яблоки на Урале не растут. Холодно им. Сибирь рядом. А яблоня Сычова ежегодно и обильно цвела белыми цветами и родила к осени несметное количество кисло-сладко-горьких яблочишек не крупнее вишни, желтогладких и румяных, а то и совсем красных.

Яблоня была предметом зависти всех мальчишек слободки. Едва поспевали сычовские яблоки, как на сад начинались набеги. Да и как тут удержаться от соблазна? Яблоня — вот она. Яблочки так вкусно желтеют в ее благородной листве. Вот сидит воробей и без всякой совести долбит, клюет неподатливое яблоко. А мне-то почему нельзя попробовать? Ведь попробовать только! Маленько...

Ходишь-ходишь, смотришь-смотришь, лепишься на забор... Забираться в чужой сад я боялся. Это ведь настоящее воровство. Но ведь и яблоки-то так близко... А что, если...

И я мастерил из консервной банки подобие черпака на длинной рукояти, делал в боку банки разрез и с сарая, через слуховое окно, подводил немудрую снасть под крайнюю ветку. Когда яблоко или целая кисточка попадали в прорезь, оставалось дернуть палку на себя. «Трын» — раздавалось там. И вот жуешь твердый фрукт, от которого сперва сочно-сладко, потом горько, а в конце концов выплевываешь всю кислятину, ужасно кривясь, зажмуривая глаза.

Дома у нас яблоки бывали часто. Но никогда я не ел их с такой охотой. Все мы в детстве любим есть недозволенное. Трудно сейчас подсчитать, сколько было съедено краденой репы, гороха, огурцов. Они были куда слаще своих. А помимо всего я выкапывал, чистил и ел белые пресные корни лопухов с таким явственным запахом земляной сырости, ел горькие корни одуванчиков, ел зеленые калачики, в которых иногда оказывались мелкие белые червяки. Я пробовал на вкус лебеду, крапиву, листья тополя и поганые грибы, как гусиные яйца на тонких ножках, выраставшие по бокам навозных гряд.

Стремление все узнать, все попробовать в детстве неистребимо. Ведь подчас берешь в рот совсем несъедобные вещи, вроде сырой глины с выдернутой из гряды репки. После дождя я лизал белые и желтые гальки. Пробовал, а кто не пробовал, обыкновенную мартовскую сосульку? Или горькую пахучую кору с тополевой ветки, скалывающуюся с лубка блестящими розоватыми полукружиями? Где тут пройти мимо настоящих яблок...

Надо сказать, что набеги на яблоню не были таким уж простым делом. Сычов оберегал свое добро. Либо с проклятиями он вылетал из засады — тогда воришки

осыпались с яблони кто куда, оставляя на колючей проволоке забора клочья штанов,— либо в саду прогуливалась черная злая овчарка с двумя желтыми точками над глазами. Бывало, с веранды грохотал выстрел. Я видел, как, подвывая и морщась, Генка Пашков выжимал из ноги неглубоко засевшие горошины.

Стрелял в Генку единственный сын Сычова — Шурка, кругломордый, крепкий, с зелеными, как у отца, совиными глазами. Должно быть, он нигде не учился. Целые дни он сидел с махалом на голубятне, свистел, лупил камнями по крышам. Он стрелял по лампочкам на столбах из малокалиберной винтовки, подбрасывал собакам хлеб с толченым стеклом, расшибал кошкам головы о стены, любил стравливать ребятишек. Ему носили колоть кур, резать цыплят. Он проделывал ужасную операцию, сидя на бревне, со сноровкой заправского палача и всегда улыбался странной слюнявой улыбкой.

А чтобы закончить рассказ о яблоках, скажу, что никто из Сычовых никогда не обирал их. Они мерзли, гнили, обваливались и до весны служили кормом дроздам и свиристелям.

Золотая речка

Речка — самое светлое из детских дней. Вот она, солнечная по быстрине, в грядах сочноломких лопухов. Она кажется живой — так переменчиво ее настроение. Только что смеялась, а набежало облако — и поблекла, опечалилась. К осени речка свинцовеет. Хмуро и холодно бежит ее вода. Зимой она спит, едва дышит сквозь проруби. Весной играет, разливается на огороды, крутит и бурлит по логу, вся вспененная, полноводная и неукротимая. Многие домишки в понизовье кругом в воде. Но дело привычное. У всех есть лодки. И вот, пока не спадет полая вода, по улице плавают на лодках, подбирают принесенный паводком лес, доски, щепу. Их сваливают прямо на крыши. До осени сохнет там мазутное корье.

Летом Основинку курица перебредет. Нигде нет глубоких мест, если не считать двух омутков да одного места пошире, возле Пашковых.

В праздники пьяный сапожник Пашков выходит туда топиться. Сидя на заборе, я видел, как он выбегал из

сенок в огород. Стоял на берегу, качаясь во все стороны, грозил, орал и, наконец театрально махнув рукой, свалился в речку с громким плеском.

Смешно и дико было видеть: большой мужик ползает, булькается в воде, встает на четвереньки, мычит и матерится. А дворничиха и ребята глядят, что будет дальше, не делая никаких попыток к спасению отца. Пашковы, конечно, знали, что в Основинке никак не утонуть, но если б «сам» все-таки и утопился, они бы только обрадовались.

Никогда не видал я человека более злого, вздорного и поганого, чем этот темный, тощий, вечно пьяный мужик. Глаза у него тусклые, непонятного цвета. Лицо маленькое, синюшно неподвижное. Он ходит, покачиваясь, загребая землю огромными ступнями. Из кармана грязной телогрейки торчит горлышко бутылки. Иногда он спит, открыв рот, в лебеде под забором, спит страшный, как мертвец.

Дня не проходило, чтоб Пашков кого-нибудь не обругивал или не избивал. Он крал у соседей белье с веревок. Подманивал куриц, таскал дрова, шнырял на чердаках. Бывало, пропивал и обувь заказчиков.

Когда его забирала милиция, он выбегал на улицу, куражился и кричал:

— Я честный человек! Я... бедняк. Тут все... буржуи. Все! Ивелиры проклятые...— И гнусно выл:— Не ломай руки! Не ломай руки!!

Хотя никто ему рук не выкручивал.

Впоследствии я замечал, что с людьми вроде Пашкова всегда чересчур много возятся, увещевают, образумливают, дают испытательные сроки. А Пашковы воспринимают это как должное.

Бывало, он исчезал на месяцы. Улица отдыхала. Но обычно Пашкова выпускали на другой же день, и снова он пил, дрался, обзывал всех буржуями и сволочами.

Глядя на него, можно было сделать вывод, до чего же терпелива и добра та самая милиция, которую мы, ребятишки, основательно боялись. Мне было непонятно, зачем он ругается буржуями. Или Алексей Иваныч Кипин буржуй? Или Насонов, который с утра до ночи за верстаком? Или мой отец? У отца всегда воспаленные, невыспавшиеся глаза. Он бухгалтер и сидит над своими скучными бумагами иногда до утра. Кто такие буржуи? Может быть, мы лучше Пашковых живем? Да

ведь отец не пьет, только курит много, и то мать на него ругается...

В слове «буржуй» чудился обидный жующий смысл. Буржуй — это толстый, масляный, хрипатый. Он с огромным животом и жесткими усиками.

Однажды я спросил отца об этом.

Он сидел в выходной за столом, читал «Уральский рабочий».

— Почему буржуи? — переспросил отец и, вдруг сдвинув черные, широкие брови, сказал резко, внушительно:— Буржуи — кому работать лень. Вот Пашков-то и есть настоящий буржуй. И никакой он не бедняк. Нет у нас теперь бедняков, кроме бездельников...

И, помолчав, будто себе, добавил:

— Хорошо бы его лет на десять... Куда-нибудь... Детей ведь губит, гад ползучий!

Все говорили, что сапожник заставляет ребят воровать. Краденое пропивает. Я знал, что он бьет Генку сапожными колодками. И часто, часто приходила мысль: «Человек ли этот Пашков? Чем он похож на человека?»

А дело с утоплением кончалось тем, что сапожник вылезал из речки, брел домой, ребята разбегались, а мать Пашковых голосила на всю слободку.

Ходить одному на речку запрещалось.

«Утонешь, промочишь ноги, заболеешь»,— отвечали на все просьбы.

Калитка была закрыта на ржавый засов, а с ним не справился бы сам инженер Симонов — страшный силач. Он жил на квартире у Сычова и каждое утро на руках лазал вверх и вниз по приставной лестнице у крыши. Взявшись кучей, мы с трудом сворачивали с места пузатую гирю, которую выжимал он по выходным дням одной рукой под восторженный вопль ребятишек сычовского двора. Что и говорить, силен был инженер Симонов, хоть и невысок ростом.

Я долго пытался кирпичом отколотить засов, пока не сообразил, что к речке можно выбраться, вышибив доску в ветхом заборе. Я выбил ее снизу быстро и легко все тем же крошившимся кирпичом. Пролез в узкую щель — доска встала на место. И вот я на берегу, на узкой полосе осоки и лопушника. Здесь не развернешься даже: забор-то у самой воды. Лягушки плюхаются в

воду, уносятся по течению. От быстрого бега воды рябит в глазах. Я зажмуриваюсь. Пробую воду ладошкой. Она прохладная, эта упругая вода, но в то же время ласковая. Прямо в сандалиях и в чулках переправляюсь на ту сторону, карабкаюсь на обрыв, сажусь на теплом дерне, удобно свесив мокрые ноги.

Радостное ощущение полной свободы и самостоятельности охватывает меня. «Я от бабушки ушел и от дедушки ушел...» Так весело-хорошо здесь на солнышке смотреть в туман летнего утра, гладить траву, всю в желтых чашечках гусиных лапок. Июньское тепло прощупывает спину сквозь рубашку, печет затылок и шею. И по-летнему беззаботно пахнет водой, белой кашкой, суглинком и воздухом. Чуть кружится голова, плывет в глазах. А может быть, просто парит, дрожит марево над нагретым берегом, домишками слободы, над сычовскими тополями. Они склонились через кривой заплот к речке и дремлют в ярком утреннем небе. Ни один листок не дрогнет на них. Безветрие. И небо, родное, бесконечно прозрачное небо, голубеет надо мной.

Я смотрю, как желтые осы вьются на грязи под берегом, как пчела хлопотливо лезет в венчик цветка, копается там с довольным жужжанием и, пятясь, вылезает, летит к другому. Смотрю, как ласточки черкают над водой. Они виляют под кровлю сарая и снова выпадают, словно выброшенные чьей-то рукой, носятся за мошкарой с тихим чиликаньем.

Вот синего стекла стрекозки проносятся над водой. Жук, раскрыв лаковые крылышки, поднимается из травы.

Хорошо мне, хорошо! И я не знаю, бывает ли лучше, чем в детстве, когда чутко ясны все запахи солнечного утра, все звуки его и краски, все-все, чего не сказать словами.

Мне хочется петь. Тонким голосом я начинаю:

Эх, шел наш юный барабанщик,
Он песню весе-лую пел...

Погиб тот хороший барабанщик, замолчал его друг — барабан. А я пою о нем. Он живет со мной. Это моя любимая песня...

А чтобы мне не влетело, стаскиваю мокрые чулки и раскладываю на откосе, протираю травой сандалии, тоже ставлю сушиться. Так бы и побегал босиком по траве.

Да боюсь напороться на стекла. Сколько пустых бутылок перелетало сюда из огорода. Осторожно ступая непривычными ногами, я опускаюсь к воде.

Щепки-кораблики поплыли вниз, подхваченные струей. Темные плавунцы выбегали вместе с мутью из-под перевернутых камней. Рыбки-малявки шарахались вглубь зелеными стрелками. Эти рыбки очень удивительные. Они стригают прочь, а потом как-то незаметно опять оказываются на прежнем месте — ходят у дна, всплывают кверху, булькают и прыгают. Балуются. Пробую поймать их консервной банкой — ничего не получается.

Вода в Основинке не очень чистая. Иногда она желтая, глинистая. Отец говорит, что в верховьях моют золото. А Федор Иваныч Насонов сказал раз в пьяном виде, что вся Основинка золотая, золото тут на каждом шагу.

Приглядываясь к воде, я вспомнил об этих рассказах, решил попытать старательского счастья. Зачерпнул в банку сырой гальки, поболтал в воде, пока разойдется муть, и тщательно перебрал — не попадется ли самородок.

Его не было.

Я снова загреб пригоршню с лишком, разложил всю по зернышку. Золота что-то не попадалось. Зато гальки были такие красивые: овальные и круглые, с малахитовым узором, с полосками, с крапинками, как воробьиное яйцо, а то совсем черные, шоколадные. Хотелось взять их в рот. Одна галька была полупрозрачная, будто замороженное стекло, по бокам у нее плоские грани. Она была тяжелая — эта галька, веско холодила руку. Ее я отложил отдельно. Показать Федору Ивановичу.

Мне читали рассказы Мамина-Сибиряка, и я знал, что мелкое золото моют и что оно оседает на дно. Я принялся промывать песок, банку за банкой. Раз уж самородок не нашел, так хоть россыпного золота намою. И точно, находил мельчайшие золотинки, но ведь они всегда поблескивают в сыром песке и так малы и плоски, что, конечно, не настоящее золото. Вообще-то я его никогда не видел, а представлял желтым, вроде меди. У нас дома золота не было. Были у отца с матерью золотые обручальные кольца, и мать иногда вспоминала, что «проели» те кольца в каком-то голодном году. Голодного года я никак не мог представить. Жили мы хорошо. Еды всякой было вдосталь. Бабушка толь-

ко и делала, что стряпала. В другой раз рад бы отказаться от котлет с лапшой, от супу, от картошки, а ел бы арбуз, компот или, еще лучше, мороженое. Почему же в детстве, когда мороженое бывает несказанно вкусным, не дают им наесться досыта? То, говорят, горло заболит, то простудишься, то в животе неловко будет...

Из всех разговоров о голодных годах мне запомнилось смешное и новое слово «проели». Я часто думал над ним.

Вообще новые слова цепко укреплялись в памяти, точно колючки череды. Вот словечки ювелиров: февка — медная изогнутая на конце трубка, которой дуют на раскаленный уголь; кваксанки, коршунки и пиксанки — так называют разные щипчики. Были слова, понятные сразу: вальцы, протяжка, резак; была матерщина, непонятно грубая и пьяная, были слова бабушки: голбец, сусек, Христос с тобой, богородица, канун, сусло, опара, солод...

Я перебирал слова, переворачивал так и сяк. Они звучали по-новому, представлялись не тем, что значили. Канун — что-то нудное, старческое; сусло должно быть кривое, как коромысло; опара пахла теплым и кислым тестом. А многие слова имели совершенно определенный запах, вкус и цвет. Ветер, например, серый и солоноватый, стол — желто-коричневый со вкусом ржаной коврижки, вода — голубая, пресная.

Мне хотелось проверить свои впечатления, и я иногда спрашивал бабушку:

— А дерево желтое?

— Какое дерево?

— Ну, которое растет... Ну просто... дерево...

— Вот береза осенью желтая,— отвечала бабушка.

— Да нет же... Нет! А вот машина черная и горькая... Да?..

— Черная, милый, черная,— кивала бабушка, шаркая на кухню.

А мать на такие вопросы с тревогой глядела на меня и говорила:

— Не разводи ересь! Откуда чего берешь?

Иногда я составлял из разных слов «волшебный заговор» и шептал его в темных местах: в конюшне, за печью. Хотелось мне превратиться в птицу, как в сказке про аистов. И я прекрасно представлял, вот затрещали мои кости, выросли перья, утончились ноги. Я журавль.

Иду серой тонкоклювой птицей. Все таращат глаза, показывают пальцами. Вот — мах, мах, мах — легко поднимают меня тугие крылья, и я парю над городом, над лесом, над всей землей, забираясь все выше в оглушительную синь неба... Или воробьишком сижу на наличнике, заглядываю к бабушке на кухню, а она и знать не знает, что это я. Или... Разве перечислить все, что выдумываешь в детские годы, когда уходишь в страну мечты, такой близкой и возможной. В детстве нет предела полету фантазии. Каждый был там халифом-аистом, карликом, которого заколдовала старуха-колдунья, Али-бабой, одноглазым разбойником, смелым Робертом Грантом, чудаком Паганелем, Чапаевым и Котовским.

...Искать гальки и камушки куда интереснее, чем золото, и я заигрался, забыл о времени, пока не услышал бабушку, зовущую меня с крыльца.

Морщась от боли в босых ногах, вскарабкался я на откос. Чулки и сандалии в руки. Прыг вниз. Бегом через речку.

Я протиснулся в щель забора, упал, запутавшись в картофельной ботве, и предстал перед бабушкой мокрый, с разбитым коленом, с порезанной ступней, из которой растекалась по пыльной земле какая-то черная кровь.

Но все обошлось. Бабушка поворчала. Ногу промыли, залили йодом. Колено само присохло. А отец сказал за ужином, что калитку надо открыть.

— Пусть играет на речке. Он уже не маленький, не будет делать глупостей.

Мать и бабушка поглядели на отца, промолчали.

Зато как я был благодарен ему. Отец дальше других стоял от меня. Занятый, озабоченный, он всегда на работе. Я видел его лишь по утрам за чаем да вечером за ужином. Даже по выходным дням он часто уходил в контору.

Или сидит дома со своими бумагами и все считает, записывает. Все-таки я чувствую, понимает он меня лучше, яснее сознает мои мысли и желания. Иногда я размышляю: «А вдруг он думает точно так же, как я?» И не решаюсь спросить. По утрам я провожаю его на работу до угла, иду, держась за его крупную жесткую руку. Мне нравится встречать отца поздними летними вечерами. Сижу на лавочке за воротами. Жду. Медленно темнеет. Засыпают тополя. Ровная тишина уж давно устоялась вокруг. И вот наконец-то он появляется, идет

по сумеречной улице. Он в парусиновой, вышитой по вороту рубашке, в черных брюках, в широких штиблетах на больных ревматизмом ногах, с большим портфелем в руке. И я лечу к нему со всех ног, с разбегу висну на шею, прижимаюсь к колючей щеке, дышу его родным запахом табака и пота. Он мой папа...

В августе он уходит на какие-то очень долгие сборы. Я не вижу его по нескольку месяцев. Уж привыкаю даже, что отец где-то там, откуда приходят треугольные письма без марок. И вдруг он возвращается в простой день поздней осени. Отворяет калитку незнакомый, пахнущий ветром и дорогой. Он в шлеме со звездочкой, с двумя кубиками в петлицах серой шинели, по-военному перепоясанной ремнем. И немо глядя на него, на горячую молодую улыбку матери, на слезы выбежавшей на крыльцо бабушки, я думаю: «А когда-нибудь, вот такой же военный, я тоже приду домой...»

Я получил право играть на речке и проводил там с Веркой, с соседскими ребятишками Мишей и Ниной долгие летние дни. Большая радость — играть у воды. В воде хорошо бродить по колено, кидать камешки, купаться, хотя по-настоящему в Основинке не поплывешь — везде руки щупают гальку.

Мы строили причалы. Мы прокапывали каналы. Попытались перегородить речку плотиной и целые дни катали с откоса серые камни. К вечеру резко болело в животе. А речка скоро смывала плотину.

Отличался в строительстве Миша Симонов — небольшой, крепкий мальчик со спокойно-умными карими глазами. На год постарше меня, он уже хорошо читал, отличался опрятностью во всем, от штанов и рубахи, всегда словно бы новых и щеголеватых, до чистых платочков в кармане. Миша был нездешний, из Ленинграда. И одежда у него была тоже красивая, ленинградская. А у меня были штаны из крепкой материи — чертовой кожи. На таких штанах можно повиснуть на заборе — они не рвались. Была клетчатая рубаха. А мазался я на реке, как черт. Мать и бабушка всплескивали руками, когда под вечер, весь в глине, в ссадинах, в синяках, я пытался проскользнуть в свою комнату. Пачкался я не нарочно. Даже старался не пачкаться. Оно как-то само получалось. Но разве не удовольствие побродить

по жидкой грязи у берега и накрасить себе блестящие «чулки»? Чем плохо «паровозом» пропылить по дороге: «Та-та, та-та, та-та-та» — ногами, и клубы серовато-желтой пыли завесой вздымаются позади. Этой же пылью начиняются консервные банки, летящие в противника. Хорош также корень подсолнуха, выдернутый с землей...

А Миша умел оставаться чистым, даже если мы лепили из глины. Он никогда не ругался, не крал по огородам бобы и репу. Я не очень дружил с ним, считая его чистюлей, «инженерчиком». Куда больше нравилась его сестра Нина — толстенькая живая кукла.

Миша заботился о сестре с недетской внимательностью.

— Нина, спать! — говорил он, услыхав в два часа заводской гудок, и вел капризно упирающуюся коротышку домой.

— Нина, кушать!

— Нина, вот платок, вытри губы. Пойдем папу встречать.

И отец Миши, силач-инженер, и мать, красивая женщина с желтыми волосами — ее в улице звали блондинка,— весь день были на работе. Миша оставался за няньку. Однажды я заглянул в окно сычовской кухни для квартирантов и онемел. «Инженерчик» жарил на плитке яичницу, помешивал что-то в кастрюле. Потом он взгромоздился на табуретку, достал из шкафчика тарелки, стал расставлять их по кухонному столу. Выражение спокойной озабоченности было на его лице.

Мне стало стыдно. На цыпочках я убрался от окна. Я не пошел в ворота, чтоб не увидел Миша, а перелез к себе через забор.

Почему его допускают к плитке, а мне даже включить не дают? Почему от меня прячут спички? Почему у нас все варит бабушка и она же накрывает на стол? Бабушка кормит меня. А я-то что делаю? Разве за хлебом иногда пошлют. С грехом пополам, как говорит мать. За водой меня не пускают. Надорвешься. Надсадишься. Я нарочно наливаю ведра до краев, так что бежишь с коромыслом, а ноги подсекаются, мотает от тяжести туда и сюда. Мне нравится, когда бабушка всплеснет руками и начнет причитать, а Верка скажет: О-о-о! И все-таки не барчонок ли я? — Эта мысль долго не уходила...

Как-то я увидел, что Юрка Кипин вместе со старшим братом Валькой идут с Основинки с удочками в руках. Оба несли по связке крупной рыбы.

— Где поймали? — спросил я, подбегая. Юрка мотнул головой назад, на речку.

— А как?

— На удочку, ясно...

— А на кого?

— Н-на т-тебя,— буркнул косноязыкий Валька, и братья скрылись в сенях.

Я думал, в речке живет одна мелочь: мальки, малявки, ну, окунишки. А тут столько рыбы! Я принялся обдумывать, чем бы наловить ее побольше. Ни лесок, ни грузил, ни крючков у меня не было. Не было даже удилища. Я слонялся по двору, заглядывая во все углы. Где взять?

На сарай сел растрепанный голубь. Пошел по коньку, подергивая головкой. Камень бабахнул, скатился по крыше. На забор вылез Генка Пашков.

— Эй, Колька, гони бусого, а то к Сычу уйдет! Гони давай!

Я с готовностью исполнил его желание — стал лупить камнями, так что крыша заговорила. Бабушка застучала в раму.

Голубь нехотя слетел к Пашковым, а Генка, довольный, улыбаясь своей злой улыбкой, нагнулся с забора ко мне.

— Чо делаешь?

— Удочку вот ищу. Сделать хочу...

— Ха, дурак! Вон удочки! — Генка показал на связку Федора Иваныча, стоящую возле окна в огороде.

— Не наши же, насоновские...

— Уведи одну-то... леску срежь...

— Ну-у-у!

— Удочку-то, дурак?

— Сам-то кто?! Это же все равно как украсть...

— Ха, украсть! Честный нашелся! Деньги, что ли?

Он спрыгнул с забора.

Поразмыслив, я пошел в огород. Заглянул к Насоновым. Старуха Лизонька спала. На кровати были видны ее кривые ноги. Федор Иваныч еще с утра ушел за получкой в артель. Я потрогал удочки: они вересковые и черемуховые, проолифенные и желтые, точно старая кость. Хороши были лесы из крученого конского волоса.

Крючки хозяйственно подвязаны тряпочками. «Взять одну, а потом принести незаметно»,— пришла подбадривающая мысль.

«Не зарься на чужое — лучше свое отдай,— вспомнил я бабушкины наставления.— Краденое впрок не пойдет. Лучше по миру собирать, чем чужое брать». Я тихонько пошел прочь. Вдруг Федор Иваныч все-таки заметит. Словно в подтверждение тотчас растворились ворота, и пьяненький ювелир засеменил к крыльцу. На меня он даже не поглядел. И я подумал с радостью и облегчением: «Как хорошо, что не взял я его удочки. Сразу бы попался...»

Потом я разыскал не очень толстый черен от метелки. Пристроил к черену длинную вицу. Поплавок из пробки. Грузило из гвоздика. Только крючок не мог я придумать: согнул из булавки — разгибается, из проволоки — еще хуже. За советом я побежал к бабушке. Хотелось показать и снасть. Добрая старуха качала головой:

— Эко место в шесть лет чего выдумал! (Бабушка всегда уменьшала мои годы, мне было почти семь.) Но отделаться от меня трудно.

Я снова и снова приходил на кухню, а разговор както сам начинался словами:

— Вот если бы крючок мне...

— Уйди, не проси...

— Я и не прошу, мне бы только крючок.

— Беспонятный ты, что ли?

— Ну, если мне надо крючок!

— Садись-ко, поешь.

— А крючок дашь?

Я в совершенстве владел умением канючить или отказываться, если надо. Дело совсем простое, не хочу, например, супу и спрашиваю бабушку:

— А он с капустой?

— С капустой, милой, с капустой...

— Ну-у, не буду... Вот если бы без капусты...

В ином случае можно было сказать:

— Вот если бы с капустой!

Бабушка сдалась.

— Погоди-ка, есть у меня крючок,— сказала она, уходя в комнату.

Она принесла большой сломанный шубный крючок, немного похожий на настоящий.

— На-ко, вот! Да смотри, неси мне рыбы...

Повертев крючок так и сяк, я поплелся прочь. Все же можно попробовать: крючок с ушком, его удобно привязывать к нитке.

Накопать червей в огородном суглинке — дело минутное. Я выбирал самых толстых и длинных. Чем больше червяк, тем крупнее клюнет рыба. Я опасался лишь за крепость лесы — толстой катушечной нитки. Мне хотелось сегодня же принести бабушке таких же широких и темных с хребта, красноперых лещей, каких носил с пруда Федор Иваныч в корзинке под мокрой травой.

Кое-как насадил я на крючок непослушного червя. С мостика закинул лесу.

Сейчас клюнет крупная рыба!! Вот сейчас! Сейчас... Может, червяка ей плохо видно?

Никто не клевал. Поплавок болтался в струе. Солнышко рябило, играло. Стрекозы, треща, падали в лопухи. Червяк с крючком выплыл на самую поверхность и ни за что не желал тонуть. Я вытащил размокшую нитку. Сбросил червя. Заменил его свежим, вроде бы повкуснее. Снова долго сидел, щурясь от солнечной ряби. У меня уже ныли ноги и затекла до мурашек рука с удочкой.

Пришла на мостик Верка. Посмотрела, уселась рядом, опустила в бегущую воду свои пыльные коричневые ноги все в белых черточках от ссадин и расчесов.

— Тише ты! — неизвестно почему зашипел я, словно бы она смогла вспугнуть большую рыбу.

Она замерла, тихонько посапывала. Потом медленно сказала:

— Никого... не поймать...

— ?

— ...

— Ну?!

— А надо рано... Юрка-то утром ходит. Мы с мамкой еще спим.

Позднее Верки с ее матерью никто в нашем доме не встает. Всегда полоротая, неряшливая Анна Семеновна нигде не работает. Стирает и стряпает она тоже редко. Все больше сидит по завалинкам со старухами. Или ждет «на уголке», когда появится с получкой Иван Алексеич. Зато никого нет любопытнее этой Семеновны. Вперед всех узнает она слободские новости. Только и слышишь — опять Кипина стрекочет за воротами. А если

уж молчит — значит, слушает. Слушает Семеновна радостно: один глаз у нее едко прижмурен, рот полуоткрыт.

В комнате Кипиных есть лавка под окнами, две железные койки, шаткий стол с прорезанной, протертой по углам клеенкой. Клеенка так стара, что на ней не разобрать никаких рисунков, кроме замытых чернильных пятен. В ящике стола лежит темный истончившийся ножик и краюха хлеба. Иногда то Верка, то Юрка отрезают этим ножиком от краюхи тонкий кусок. Я гляжу, и мне сразу хочется есть. Я бегу к бабушке.

Под низким закопченным до темени потолком (Иван-то Алексеич по выходным дням все паяет) висит желтая клетка с чижиком. Чижик маленький, черноголовый, и, должно быть, он доволен своим житьем — все поет скороговоркой да лущит коноплю. А я удивляюсь: ведь воздух у Кипиных густой, спертый. Пахнет керосиновой копотью, немытыми полами, помойным ведром из кухни. К вечеру солнце полосами заглядывает в окошки Кипиных. В его лучах стоит пыль. Солнце освещает коврик из дранок на стене: желтые львы с человеческими лицами в желтой пустыне, и картину, где еле можно рассмотреть грязную воду, коричневую лодку и черный лес. Картина без рамки криво висит над кроватью, закиданной тряпьем.

— Не мешай, Верка! Вот из-за тебя не клюет,— сердито сказал я, и она скоро ушла. А вслед за ней я тоже прекратил ловлю, кое-как замотал леску и поплелся домой. Я уже не чувствовал интереса к рыбалке. Ведь большой рыбы не было. А мне нужна только большая рыба. Во какая!

За обедом я простодушно рассказал взрослым о своей неудаче и показал удочку. Отец и мать смеялись над шубным крючком. Мать пообещала купить бамбуковую удочку, а эту посоветовала выбросить.

Выбросить? Как бы не так! Я рассердился и ушел на двор.

Вечерело. Лежали вдали синие облака. Красно, багрово было над ними. И во всей мирной пустоте назойливо слышался один звук: «взви... взви... взви... взви...». Юрка Кипин сидел на пороге растворенных сенок, шаркал напильником по медной трубке. Он делал «поджиг». Так называется самодельный пистолет, которым зачастую обжигает лицо, вышибает глаза, корежит пальцы.

Поджиг делали все ребята в слободке. За неимением пороха он без меры начиняется головками от спичек, серой, селитрой, бертолетовой солью — всем взрывчатым, что можно достать. Однажды Генка Пашков выпалил в кошку из такого поджига, завыл белугой, странно сгибаясь и разгибаясь, припустил по улице. Он прижимал к груди руку, а кровь черными звездочками следилась по земле. Синий рубец по обе стороны кисти руки, наверное, есть у него и теперь.

Я принялся помогать Юрке — держал проволоку, подавал плоскогубцы, почтительно советовал, как заряжать. У меня был некоторый опыт обращения с оружием. Все тот же Генкин поджиг. Мой опыт прошел удовлетворительно, если не считать опаленных бровей.

А меж делом я попросил у Юрки хоть не навсегда настоящий крючок. Мне казалось, что именно из-за крючка не ладится рыбалка.

— Нету у меня другого. Сам у Федора Иваныча свистнул... Оборвешь.

— Не оборву. Вот, честно, не оборву.

— ...

— Дай, Юрка, а?

— ...

— Ну, чо-о ты? Ну, дай, а? Зажался, а?

— Неси свой шубный. Я его наточу. Во будет! Как настоящий.

Из шубного крючка Юрка легко сделал рыбацкий, всего несколько раз шаркнув подпилком. Сделал и грузило из маленькой свинчатки. А то мое все крутится да крутится. И поплавок новый вырезал из красной коры. Юрка сказал, что ловить надо по заре, пока рыба голодная. А червяков брать помельче, самых малиновых...

...Я проснулся так рано, что даже бабушка еще не гремела на кухне, хотя уже встала и молилась за своей перегородкой. Там была ее кровать, зеркало из трех створок и много икон в стеклянных ящиках и просто так.

— Спаси, господи, и помилуй Григория, Павла, Марии и Анны, Елены и Якова, и Антонины, и отрока Николая,— слышалось из-за ширмы, когда этот самый отрок крался по одной половице, держа сандалии в руках.

Тихо-тихо я отпер засов.

Двор был необычно пасмурен, сонно пустынен. Ро-

сой пахло из огорода. Я посмотрел на восток и увидел, что небо над горой окрашено ясно-розовым, желтоватым и синим. Оно было очень торжественным, но торжественным сдержанно, холодно-покойно. Все будто спало: сарай, заборы, мокрые лопухи... Сама речка под мостком сейчас текла тише. Туман лежал там, где она впадала в пруд.

Вода уже зарделась, пока я выбирал место по берегу, ежась, ожигаясь росой и крапивой. Я промочил чулки насквозь. Все никак не мог обосноваться.

— Вот здесь! — наконец выбрал я. Место тихое. Заводь. Растут под берегом желтые кубышки, а подальше настоящая лилия-кувшинка, единственная по всей речке. Мы не трогали ее. Мы ревниво следили, чтоб кто-нибудь не сорвал ее. Это была наша общая лилия.

Постой, постой... А где она? Еще позавчера два белых цветка нежились в зелени плавучих листьев. Теперь их не было. «Наверно, Курицыны оборвали или Генка»,— с горечью подумал я и стал садить на крючок самого бойкого красного червяка. Он выскальзывал, как резиновый. Я уколол палец. Кое-как закинул свою осмеянную снасть.

Стал ждать. Сколько времени прошло, а я все с тем же острым нетерпением наблюдал за поплавком. Вдруг нырнет?! Удилище у меня, конечно, согнется, и я вытащу вот такую! Вот этакую!! А поплавок и не думал скрываться, лишь тихонько двигался по течению.

Мне надоело смотреть на него. Я перевел взгляд на тополя сычовского сада, склоненные через косой забор к воде, глядел на березы в огороде у Зыковых. Верхушки берез уж золотели. Малиновки рассыпались и замирали в тополях. Петухи голосили по дворам. Воробьи гомонили вразнобой, как гомонят только утром, спросонок. А где-то у пруда, в заливном лугу, скрипела птица-коростель, невесть как живущая в самом городе.

Сырой запах раннего утра настоялся у речки. Я дышал им с наслаждением и все силился понять, чем же так хорошо пахнет. Может быть, ночным туманом? Летней землей? Или мокрой в росе крапивой? А может быть, листочками тополей...

Тополя... Люблю смотреть на их густую склоненную листву, люблю летом, когда ветер серебрит их, шумит ими перед грозой, и осенью, когда перелетные птички

стаями отдыхают на их полуоблетелых вершинах. Зимой к тополям залетают дятлы. И всегда весело глядеть, как бело-пестрая лесная птица лазает по грубой серой коре. Подчас мне кажется, что деревья живут глубокой, скрытой и мудрой жизнью. Они по-живому могут лепетать, молчать, задумываться и спать. Они смотрят с доброй улыбкой на нас в траве, в тени под ними. Они дышат, волнуются, вскипают и замирают и все так же величаво просты и непонятны в своем несчетном долголетии.

Я поглядел на воду и заметил, что листья кувшинок слабо шевелятся. Темные остроконечные бутоны выпирали из-под них. Вот выбрались, всплыли и вдруг начали раскрываться.

Раскрываться... Сами? Значит, живые?! Они живые! Они тоже спали. Они живые.

— А где же поплавок? Где?!!

Его не было.

Я дернул удочку обеими руками и вот почувствовал, что там что-то зацепилось, кто-то есть. Рыбка? Рыба? Рыбина!

Золотистый линь величиной с ладошку вылетел на берег и затрепетал на крючке. Не помня себя, я схватил скользкую трепещущую рыбу и, позабыв об удочке, помчался через мостки.

— Бабушка! Вот! Вот! Видишь? Сам поймал! Сам! — с порога на весь дом завопил я. Показывая линька, приплясывал.

...Но рыболовом я тогда еще не стал. Нет, не стал. И удочку свою скоро забросил. Рыба все-таки плохо ловилась на нее. Так, пескарики, ершики, небольшие окуньки. Тот крупный линек был первым и последним. Или не умел я крупную рыбу взять. Не знаю. Да и самой-то речке неожиданно пришел конец.

На исходе лета появились у Основинки какие-то люди. Они установили треноги с подзорными трубками. Все к чему-то приглядывались, прицеливались, окруженные ребятишками и собаками.

Потом те люди вбивали вдоль берега полосатые вешки, мерили звенящими рулетками, отмечали на планшетах. И понемногу мы узнали, что речку буду заключать в деревянный сруб-трубу. Зачем в трубу? Кому помешала Основинка? Этого не говорил никто.

Я до слез жалел милую речку. Поздно вечером,

лежа в кровати, я глядел в окно на строгие звезды и думал об Основинке.

Неужели вправду засыплют всю речку, и никогда уж не будет видно ее бегучей воды. А где будем мы тогда купаться, бродить с бредешком из собственной рубахи. В него попадают такие мелкие, прыгучие, серебряные рыбешки, как кильки. Закрою глаза, и все видится Основинка. Вот галечная отмель возле Курицыных. Солнышко. Тепло. Хрустят под сандалиями ракушки. Тут под камнями прячутся быстрые высоконогие жуки. Что теперь будет с ними? Ну, жуки-то, положим, убегут или улетят. А как станут жить лягушки и рыбки? И наша кувшинка повянет. Не станет желтых кубышек. Ничего не станет... И никому нет дела до этого. Отец, правда, говорит, что ему жаль речку. А мать с бабушкой молчат. И получается, что от похорон Основинки выгадает только пьяница Пашков — ему негде станет топиться.

Одна тайная надежда оставалась у меня. Весной Основинка разольется, прорвет трубу, сломает сруб, снесет в понизовье. А там Курицыны его на дрова — и снова все будет хорошо.

Но скоро и эта мстительная мечта отпала сама собой. В одно пасмурное утро мы с Веркой вышли на мосток. И оба почуяли едкий, незнакомый запах. Пахло гадко до тошноты.

— Ой, смотри, Вер, чего это?

По Основинке плыли беловатые и желтые черточки. Их было много, длинных и коротких.

— Ой, Верка, это ведь рыба плывет! Кверху пузом! Дохлая...

Я соскочил с мостка. По всей речке, мертво покачиваясь, плыли дохлые рыбки. Их прибивало к берегу. Иные еще немножко шевелили жабрами, другие уже одеревенели. Рыбешек было много-много. А в огороде вдруг случилось нашествие лягушек. Они сотнями сидели в бороздах, прыгали в картошке, взбирались на камни фундамента. Откуда это?

— А вода-то! — сказала молчаливая Верка в ответ на мои мысли.

— Чего вода?

— Пахнет.

И верно. Только теперь я понял, что запах шел от воды. Масляные радужные пятна плыли, извивались по

Основинке. И сама вода приобрела вроде бы фиолетовый оттенок. Так вот для чего закрывают Основинку! В нее пустили заводские отходы. И стало мне ясно, что речку не оживить.

А через месяц по берегу шумела стройка. Везли смоленые бревна. Вбивали сваи чугунной бабой. Везде ходили рабочие в брезентах. Мы тоже толкались тут, глядели, как валят с телег и грузовиков щебень, известку, битую штукатурку. Речка скрывалась в квадрате лиственничного сруба. А поверх него сыпали разный строительный сор, глину, лом кирпичей, куски гипсовых статуй, землю и песок. Иногда приходил инженер Симонов. Он что-то указывал рабочим, что-то записывал озабоченно. Миша с достоинством выступал за отцом. А мы с Веркой приставали к Мише.

— Насовсем засыпают речку?

— Конечно, насовсем...

— А что потом будет?

— Что потом? — Миша солидно щурился.— Потом построят дома, кино, школу.

Кино? Это было интересно. И школа тоже, и новые дома хорошо, а вот речку все-таки жалко.

К весне она исчезла. Забор и огороды отнесли. Сычов спилил высокие тополя, те, что росли вдоль воды. На месте веселой Основинки сделался пустырь с лебедой да с вонючим дурманом. Там бродили худые, бородатые козы и валялась, зарастая, половина голой гипсовой женщины. Мы, мальчишки, стеснялись на нее смотреть...

Клады

Сарай огромный, покосившийся. Он склонился глухой стеной в огород. Точно прислушивается к чему-то. В этом сарае три части — амбар, конюшня и, как говорят, «завозня». Наверху есть галерея и сеновал — пыльное, пропахшее сенной трухой помещение под самой крышей. От сеновала идет навес на четырех столбах. Под навесом хорошо прятаться от нежданного летнего дождя, хорошо играть там в непогожие дни, когда бусит и моросит, а тут сухо и под застрехами вовсю чирикают воробьи.

Моховая крыша сарая словно расписана голубой

и зеленой красками. Слуховые окна таинственно темны. Так и думается, под вечер выпорхнет оттуда маленьким чертиком летучая мышь или другая крылатая жуть. А сумерки конюшни, еще хранящей особый запах лошадей!..

Старый сарай... Разве перечислишь, что грезилось, виделось и открывалось, когда я лазал по его крыше, бегал по галерее, забирался на самый сеновал. Здесь устраивались красные уголки и штабы с портретами челюскинцев. На перевернутом ящике — скатерть из синей бумаги. Пучок одуванчиков в консервной банке. В углах оружие: шашки, винтовки. У низенькой входной двери пулемет «максим». Его смастерил Юрка. Кожух пулемета из полена. Дуло — медный патрон.

Юрке Кипину тринадцать лет. У него такая же вогнутая, как и у Ивана Алексеевича, грудь. Руки у Юрки грязные. На пальцах бородавки. Юрка все сводит их, да не может свести совсем. Он никогда не смеется, только улыбается добро и грустно, лицо у него принимает страдальческое выражение.

Раз он спрыгнул с забора на доски с гвоздем, просадил ступню. Вытащив и отбросив гвоздь вместе с доской, Юрка на пятке заскакал к дому.

Я бежал впереди, с ужасом прикидывая, что теперь будет: «Выживет Юрка? А если заражение?»

И вдруг я увидел, что он... улыбается. Криво, бледно, а все-таки улыбается.

— Испугался-то... Завяжу, и пройдет...

Перевязав ногу тряпицей, он вернулся на двор, стал выравнивать зазубренным ножиком дранки для нового змейка.

Никто в улице лучше Юрки не делал свистулек из тополевых прутьев, западенок для птиц, рогаток. Юрка возил нас на самодельном автомобиле с колесами из березовых чурбаков. Он всегда что-нибудь делает, не в пример старшему крепышу Вальке. У того толстое лицо с белой челкой, он похож на сытого кота.

Впрочем, здесь я увлекся, ведь рассказывать-то начал про сарай да про станковый пулемет «максим». Пулемет служит нам великую службу. С ним мы играем в Чапаева, отбиваемся от «белых» или идем в атаку на братьев Курицыных с комьями глины, с гранатами из выдернутой лебеды. В играх отводилась мне почетная роль Петьки-пулеметчика, потому что без передыху

мог я вести «огонь», выговаривая по минуте «ды-ды-ды-ды-ды». Мне же и доставалось из-за пулемета. Скованный им, я не мог маневрировать. Комья и кульки с пылью молотили меня по спине, порошили глаза, когда Курицыны пристреливались.

Война надоедала. И сарай очень просто превращался в пароход. Мы носились с мыслью, как приладить на сеновале, против слухового окна, колесо от старого велосипеда. Приладили. Это был штурвал. А на крыше появились самоварные трубы и грот-мачта с реями из оглобель.

Сейчас трудно даже припомнить, сколько должностей исполнял старый сарай. Он был и броненосец «Потемкин», и ледокол «Челюскин», и автомобиль, и самолет, и паровоз. Не был только ракетой — тогда еще не играли в космонавтов и само слово это было нам незнакомо. Мы не знали атомной бомбы, спутников, радаров, телевидения. Мы не знали, что все это где-то уже есть, лежит в секретах тяжелых сейфов, в черных и светлых мыслях неведомых голов.

Помимо меня, Верки, Юрки, Миши Симонова сарай был пристанищем для многих живых существ. На стропилах под самым коньком жили белобрюхие ласточки. У них было красное горлышко и хвост в виде двух шильцев. Красивые птички — горихвостки, которых мы звали малиновками, гнездились где-то под навесом. В июне находили мы выпавших из-под застрех голых страшненьких воробьят. И крепко запоминались желтенькие овсинки по бокам их разинутых клювов. На той стороне сарая, что выходила к сычовскому саду, лепились под крышей розовые, будто сделанные из тонкой бумаги, жбанчики. Тут жили мелкие дикие пчелы.

Крайним помещением был амбар, а точнее сказать, бревенчатая кладовка. Годами сносились туда вещи сломанные, ненужные и мешающие дома. Они лежали там, покрытые черной пылью. Амбар запирался на дрянной ржавый замок. Известно, что запертое и спрятанное — всегда соблазн, даже если это просто сахар в сахарнице. И я искал способы проникнуть в амбар.

На сеновале, под слоем слежалой трухи, прощупывались ногой какие-то доски. Я раскидал труху, морщась и кашляя от сухой пыли. Западня! Она приходилась в аккурат над амбаром и сильно заинтересовала

меня. Кое-как я сдвинул тяжелую крышку. Открылся прямоугольный люк. Какие-то палки, вроде оглобель, уходили в темноту с одной из его сторон. Я отступил от черной дыры, а потом, поразмыслив, поспешно задвинул крышку. Бабушка много рассказывала мне о нечистой силе. И хоть верил-то я наполовину, однако сейчас на сумрачно пустом сеновале, перед лицом неведомого мне стало не по себе.

Своим открытием я поделился только с Веркой. Эта прямоволосая тонкая девочка принимала участие в моих играх и проказах то как равный участник, тот как помощник и оруженосец.

— Хочешь, посмотрим еще? — сказал я Верке.

— Хочу.

— Полезли!

Мы взобрались на сеновал. Снова отодвинули западню.

— Темно-то! О-о-о,— протянула Верка. Она с испугом посмотрела в упор своими дымчатыми глазами.

С Веркой я всегда чувствовал себя храбрым.

— Я бы слазал, да спичек нету. Бабушка прячет их от меня с того раза...

«Тот раз» был Верке отлично известен. Мы придумали сделать фонарик из целлулоидной полупрозрачной утки. Я простриг в брюхе утки дыру, отрезал кусочек елочной свечки, зажег и хотел вставить в утку. И тут «пфффф» — она вспыхнула, как куча пороху, опалила мне брови и волосы, зажгла занавеску. Огонь руками затушила бабушка, прибежавшая на наш дикий вопль. Теперь спички спрятаны. А я хожу без бровей.

— Полезешь?

— А ты думала!..

— Врешь, не полезьти!

— Дам вот! Не полезьти! Если бы спички... Подумаешь...

Втайне я и не собирался, конечно, спускаться в черную пропасть. Но она и манила меня. А вдруг там клад? Золото, драгоценные камни, настоящая винтовка или пистолет в кобуре... Сколько раз снился мне, да и мне ли одному, настоящий, военный, тяжелый пистолет. Он холодил руку. Грозно поблескивала его мушка. Приятно-рубчатой была рукоять. Я просыпался совсем счастливый. Пистолет?.. Неужели все было во сне? Но ведь нашел же Димка Мыльников где-то на чердаке настоя-

щий противогаз с выдавленными стеклами. За такой противогаз я хоть к самому черту полез бы. А Генка Пашков нашел на свалке целую обойму с пятью патронами. Вот бы и мне...

— Давай я Валькин фонарик принесу,— вдруг сказала Верка.

Вот уж чего я совсем не ожидал.

У Вальки был настоящий плоский электрический фонарик с выпуклой линзой и с какой-то сырой штукой внутри, вроде пачки дрожжей. Фонарик Валька даже потрогать не давал.

— Тащи! Полезу! — отчаянно сказал я Верке. Где же мне было отступать. Я еще надеялся, что Валька дома и не даст фонарь.

Она воротилась скоро.

— Горит?

— Ага...

Я нажал на пуговку сбоку фонарика — он загорелся слабеньким желтоватым бликом. Посветил вниз, но ничего не разобрал.

— Полезу...

Я положил фонарик в карман, зло посмотрел на Верку. Решительно ухватился за края люка и повис, не доставая дна.

А! Будь, что будет! Я отпустился и почти сразу встал на мягкое. Оно словно зашевелилось. Озноб ободрал меня до затылка.

Я выдернул фонарик. Скользнул лучом вниз — под ногами мешок с тряпьем и рваными чулками. Толстые палки оказались редкой изгородью, упертой концами в большой рубленый ящик. Я догадался, что это ясли для сена. Наверное, раньше в амбаре жила корова или лошадь, а сено ей заваливали сверху через люк.

Очень довольный своим открытием, я приободрился и осветил кладовую с угла на угол. Она была забита ломаными стульями, рухлядью, сундуками. Клочья черной паутины свешивались с потолка. На полках громоздились ведра, кастрюли, банки с краской. Оскользаясь, пробежала по ним крыса.

Я выбрался из ясель и полез к широкой полке, заваленной всяким скарбом.

— Коля! Где ты? — глухо позвала сверху Верка.

Я не ответил. Пусть испугается. Ага!

— Коля?!

Молчание.

— Коля же! Коля!! Я боюсь! Боюсь! Боюсь!! — закричала она.

Вдруг что-то шевельнулось, завозилось сильно в углу. Я выронил фонарик, стремглав кинулся к яслям, хватаясь за палки, полез... Скорей! Скорей!

Верка подала мне руки, и я, перепуганный, с разорванной рубахой, выскочил на сеновал, задвинул крышку.

— Кто там? Кто? — спрашивала Верка. Ее обычно бледное прямоносое лицо совсем помучнело.

— Да никого! Зашевелилось что-то в углу, а ты заорала: «Боюсь, боюсь!» Я уж думал, тебя тут схватил кто... Ну... Ну и на подмогу сразу...

Потом я пожалел, что не сказал Верке, будто видел в кладовой какого-нибудь страшного лохматого черта. Вот бы напугал-то ее!

— Страшно,— она не выпускала мою руку.

— Страшно, страшно! Я фонарик из-за тебя выронил. Надо лезть опять за ним.

— Не лазай!

— А фонарик?

— Не лазай.

— А Валька-то тебе?

— Не лазай. Не надо. Пусть потом, завтра...

Назавтра лезть не пришлось. Я выждал, пока бабушка уйдет на базар, разыскал в кухне ключи и отворил амбар.

Фонарик лежал на прежнем месте, только не горел. Батарейка у него испортилась, и сколько ни мочили мы ее в воде, она так и не заработала.

Потом я услал Веру за ворота поглядывать, не идет ли бабушка, а сам начал обследовать кладовую по всем правилам.

Копаясь в верхнем слое черной пыли, я нашел сломанный проекционный фонарь с керосиновой светильней, большой медный будильник и хороший деревянный ящик со стеклом, должно быть, от иконы. Еще набралось с десяток искалеченных оловянных солдатиков, настоящий военный ремень с портупеей, разрозненные шахматы и много других более или менее нужных вещей. Они все пошли в дело.

В ящике от иконы, например, отлично разместилась коллекция бабочек. Из проекционного фонаря мы вынули зажигательные стекла. Ремень с портупеей носили

благоговейно, по очереди, опоясываясь им вдвое. А будильник был поставлен у дверей штаба. Теперь, прежде чем пролезть в низенькую дверь, полагалось закрутить пружину и позвонить. Скоро она сломалась от частого употребления.

Я продолжал раскопки в амбаре день за днем, когда никого не было дома. Наконец я добрался и до плетеной четырехугольной бельевой корзины. Она стояла в самом дальнем углу, заваленная пыльным вонючим тряпьем. Рыжий кривой кот с мышью в зубах выскочил из-за нее, вихрем умчался во двор. Это был бродячий полудикий кот, которого проклинали все хозяйки в слободке за воровские набеги на сметану и молоко по погребам. Кот ловил голубей, цыплят и прочую живность. Вообще-то кот был прописан у Пашковых, но дома никогда не жил. Видно, чердачная жизнь была ему милее. Даже в самые клящие морозы спасался он возле труб, нелюдимо глядел из-за наличников единственным оком.

Уж не он ли это возился в тот раз в углу? Может быть, и он.

Когда я разрыл тряпье, в нем оказались белые червячки и золотистая моль. Странные блестящие личинки заюлили, побежали во все стороны, так что сам я, содрогаясь, вылетел наружу. Мерзкие букашки жили и кишели в том тряпье, как черви и жуки в трупе дохлой курицы, целое лето валявшейся на пустыре. Мы боялись этой курицы, ненавидели ее и все-таки ходили смотреть, чтобы через секунду, вопя и отплевываясь, зажимая носы, бежать прочь. Как любопытно ты, детство...

Откашляв черную пыль, я взял лопату, пролез к корзине, зажмурившись, сбросил тряпье. Поднял скрипучую крышку.

Книги!

В корзине были книги. Старые покоробленные переплеты. Тусклое золото букв. Пятна ржавчины на пожелтелых страницах. Посеченная мышами бумажная крошка.

Я не умел читать, но страстно любил книги. Мне всегда нравились их корешки, обложки, картинки такие понятные, что вот и не читаешь, а ясно все. Книги покупали мне и отец, и мать. Они всегда очень любовно говорили о книгах, читали мне в редкие свободные вечера сказки Пушкина, «Руслана и Людмилу», «Дети

капитана Гранта», сказки Киплинга, «Аленушкины сказки». Я сразу и накрепко запоминал их названия.

Многие свои детские книжки знал наизусть, рассказывал слово в слово, если меня просили, и бывал очень доволен таким обращением.

В корзине лежал целый клад книг. Едва я снял верхний, дурно пахнущий мышами и котовой мочой слой, как открылись слежалые кипы журналов. Здесь были, как выяснилось позднее, «Нива», «Вокруг света» и «Всемирный следопыт» в запыленных цветных корочках.

С корочек смотрели зеленые пальмы. Коричневые индусы с голубыми глазами заклинали змей. Бежали в упряжках северные олени. Сурово целились из винтовок краснокожие люди в перьях. Там были оскаленные тигры, тонущие корабли, страшные ящеры.

Позабыв о бабушке, времени, Верке, о великой осторожности, я сидел у корзины перед несказанными богатствами, раскладывал их, смотрел, перелистывал.

— Бабушка идет! Скорее! — закричала Верка, просунув голову в створку ворот.

Я захлопнул амбар и, убежав за сарай, долго кашлял, очищая рот и нос от густой въедливой пыли. Мои «чертокожие» штаны не очень замарались, а вот полотняную рубаху не удалось отчистить.

Придя с работы, мать еще от ворот окликнула меня.

— Где же ты был?

— Играл...— отворачивался я.

— В трубочистов?

— ...

— Я кого спрашиваю. А? Я кому говорю. А?

Это «А» не предвещало ничего хорошего. Когда оно начинало добавляться, дело редко обходилось без лупцовки.

— Да.

— Вечно по чердакам возишься... Чтоб этого не было! Слышал?

— Да.

— Чтоб не было!

— Да...

— Задакал!

Мать вспыльчивая и не всегда справедливая. Но я люблю ее, как все дети любят матерей. Она балует меня, приносит пирожное и конфетки. Она очень щед-

рая, и можно выпросить у нее что хочешь. Она высокая, очень полная и красивая и ходит по земле плотно, крепко. Я редко ласкаюсь к ней. Я не лезу целоваться и сюсюкаться, как, например, сосед Эрнешка к своей маме. Я и не жалуюсь. Мать до вечера на работе. Она где-то учится еще. И моя жизнь идет с бабушкой, с Веркой, а больше в одиночку. У меня нет братьев. Втайне я завидую Мише Симонову, Верке и Генке Пашкову. Вот был бы у меня брат! Да еще старший. Я бы с ним везде вместе бегал. Он бы мне кораблики делал, самолеты с резиновым мотором. Тогда бы Курицыны живо присмирели. Пусть-ка бы они попробовали меня лупить. «Скажу вот брату, так он вам! Ага! Брат-то у меня знаешь какой силач? Как дядя Симонов».

Лазать в кладовку мне запретили настрого. Мать все-таки узнала, что я брал ключ. И началось: «Спички утащит! Заронит! Пожар устроит! Пыли, заразы наглотается!» Чего только не придумают взрослые, если захотят. Ведь я отлично понимаю, что спички в кладовке жечь нельзя. А если тогда и загорелась та проклятая утка, я же не знал, что она горючая. Теперь станут всю жизнь попрекать...

Ключ исчез. Но разве можно заставить человека отказаться от мечты? В детстве вообще много запретного: то нельзя, другое не трогай, не хохочи, не прыгай, не кривляйся, как обезьяна, не лазай по крышам, не кидай камнями — в окна попадешь... А ведь творить все это очень хочется.

Журналы и книги в корзине на некоторое время отдалились от меня. И тем заманчивее вспоминались белые парусники в синем океане. Я с закрытыми глазами видел странных очковых змей, нарисованных на обложках. Впоследствии, раздумывая о странствиях и путешествиях, мечтая о далеких землях, я всегда вспоминал цветные многокрасочные обложки журналов.

В конце концов я надумал извлечь книжное сокровище из кладовки и перенести в штаб. Вместе с Веркой мы привязали веревку к старой плетенке. Я спускался вниз и, нагрузив ее на ощупь, командовал:

— Тяни!

Верка вытаскивала плетенку, разгружала и подавала снова.

Все добытые журналы и книги мы выхлопали, подклеили, разобрали по номерам и годам. На это ушла

целая неделя. Потом мы сложили их пачками вдоль стен. Штаб превратился в настоящую библиотеку, и мы по очереди играли в библиотекарей. Все книги просто делились на интересные и неинтересные. Неинтересные, то есть без картинок, мы откладывали на самый низ. Зато журналы с картинками разглядывали и обсуждали оживленно, стукаясь лбами и перебивая друг друга.

— Он его сейчас съест,— говорила девочка, показывая на леопарда, вцепившегося в человека на обложке «Вокруг света».

— Да, много ты понимаешь! Видишь, другой-то рукой он наган достает. Он его застрелит...

— О-о-о!

— Застрелит! Только выхватит и «бах, бах» ему...

— А страшно... Правда?

Там голый индеец плыл куда-то, сидя на огромной морской черепахе.

Вот очкастый старик с белой бородой бежит по пальмовому лесу за гигантской бабочкой. На спине у бабочки череп и кости. Как на высоковольтном столбе. Сильно хотелось прочитать. Узнать все в точности. Да оба мы были пока неграмотные.

Выручал Юрка. Изредка он приходил, брал журналы и сбивчиво, каким-то не своим голосом, читал вслух. А мы слушали, боясь проронить слово, боясь кашлянуть. Слушали, как человек-амфибия Ихтиандр жил у доктора Сальватора, как ловил его негодяй Зурита, слушали про диковинный сад Сальватора и про любовь Ихтиандра к Гуттиэре. Хороши были чудесные рисунки, сделанные с пониманием текста, наполненные фантазией и романтикой. Лавка Бальтазара, раковины, оскаленные рыбы, морские звезды. Человек-амфибия на дельфине. Ихтиандр в сетях Зуриты в бледном свете предутреннего месяца. Девушка Гуттиэре «с лучистыми глазами».

Человек-амфибия потряс мое воображение. Здесь сбывались мечты о далеком, неведомом, необычном. Есть! Есть где-то Южная Америка. Одно слово «Южная» было уже таким тропическим. Есть далекая Аргентина. Кактусы у белой стены владений Сальватора на скалистом океанском берегу. Есть какая-то теплая река Парана. А самый океан, полный рыб, жемчуга и чудовищ! Что если б я тоже мог спуститься в его синие глубины? Я искал бы жемчуг, собирал раковины,

плавал на дельфинах и чертовых скатах. Я боролся бы с акулами, побеждал кальмаров.

...Спускаюсь, спускаюсь в глубину. Меркнет свет. Вода легко обнимает меня. Я плыву, как плаваешь во сне, не замечая никакого сопротивления, я дышу под водой. У меня есть жабры. Зеленые страшные щупальца тянутся ко мне из тьмы пещеры. Гигант-осьминог таращит фосфорические глаза. Сейчас он кинется на меня, и я начну рубить его резиновые щупальца, как рублю сплеча лопухи. Раз-раз! Бей его! Ага, удираешь... Эх, не могу оторвать присоски. Р-раз... Есть! Бежит осьминог. Бежит! Сейчас наверх. Только вот жемчуга еще нагребу...

— Что ты? Оглох, что ли? — толкает меня Верка.— Я тебе сто раз сказала — бабушка зовет.

Я спускаюсь по лестнице и все еще думаю о битве с осьминогами.

К концу повесть об Ихтиандре стала грустной. Человек-амфибия в тюрьме. Сальватор тоже. Гуттиэре выходит замуж за Ольсена. Почему за Ольсена? Ведь Ихтиандр любит ее. И мне горько, что все плохо кончается, будто бы я сам Ихтиандр, это мне надо плыть далеко, от людей прочь, от земли. Почему Гуттиэре не показалась ему в последний миг? Почему простояла за скалой, когда он шел к ночному океану...

Вот Юрка дочитал до конца, и мы узнали, как бедный безумный старик Бальтазар выходил в бурю на берег океана и кричал туда, звал: «Ихтиандр! Сын мой!»

Я едва не заплакал. Целый день я тосковал. Все грезились мне какие-то дальние волны и человек-амфибия, одиноко плывущий все вперед и вперед. И одни слова не сходили с языка:

«Но море хранит свою тайну».

Верка

Бывает, в середине лета заненастит. Нанесет с запада ползучих облаков. Посереет, задумается небо. И теплый дождь с утра все сеет и сеет, шумит по крыше сенок. По темной мокрой земле бегут ручейки. Темны заборы. Темно утро.

Смотрю: слезятся окна, белеют листвой вершины тополей. Слушаю: дождь кропит по глухой северной

стене дома, будто ласковый котенок осторожно царапает лапой. Мне не то чтобы скучно, а грустновато. Ненастье мне по душе. Мне нравится пахучая прохлада дождя, отмытые гальки и камешки, вдруг ставшие заметными везде. Славно побегать босиком по грязи. Хочется пробраться меж осыпающих дождь коноплин в огороде, поглядеть, как-то все растет под дождем. А растет в ненастье очень здорово. В огороде по бороздам чистейшая дождевая вода. Листья капусты густо посеребрены. А мокрый ревень и крапива словно бы нежатся под тихим дождем.

Все-таки чего-то не хватает мне. Я брожу по комнатам, путаюсь у бабушки на кухне. Нигде не нахожу себе места. Сяду к окну рисовать — получается криво, плохо; полистаю книжку — все уж тут знакомо-перезнакомо...

Тогда я беру палку и стучу в пол у печки, где прибит крашеный железный лист. Через минуту-две снизу слышится ответный стук. Это называется «телефонить».

На крыльце топот босых ног. Я бегу отворять. И в сенках мокрая, пахнущая дождем девочка в линялой фуфайке с продранными локтями. Верка часто простывает, всегда шмыгает носом. Руки у нее холодные и немножко липкие. Иногда она нарочно запускает их мне за ворот, и я ору во все горло.

Верку зовут моей невестой. Говорят, когда меня, еще совсем несуразного малыша, в шутку спрашивали: «Коля, ты на ком женишься?», я всегда хмурился и отвечал просто: «На Верке».

Верка очень тихая девчонка, но ни одна затея не обходится без ее участия. Катались ли мы на ледяной катушке, в кровь расшибая носы и зубы, или «летели через полюс в Америку», везде она была моим помощником и подчиненным, с которым обходился я порой незаслуженно сурово, но всегда первый приходил мириться.

Дело никогда не доходило до серьезной ссоры.

Придет Верка, и сразу конец скуке. Мы складываем дома из кубиков, читаем, то есть наизусть пересказываем книжки, глядим вместе в окно на дождик. Мы «прибираемся» — расставляем на столе и полочках игрушки, украшаем самодельными ромашками портрет Ленина. Этот цветной портрет я вырезал из журнала.

Ленин там в кепке, с красной ленточкой на пиджаке. Он смотрит, как движутся мимо красные флаги, машет рукой демонстрантам.

Приходит бабушка. Хвалит нас за порядок и зовет на кухню поесть. Моем руки, брызгаемся, хохочем и садимся за стол в теплой кухне. Бабушка кормит нас щами, пшенной кашей с масляным колодцем и киселем. Нам весело. Мы дурачимся. Снова уходим играть. Верка лезет под стол. Я делаю вид, что завожу патефон. Она тонким голосом начинает: «У самовара я и моя Маша». Это фокстрот. Его поют все. Мы тоже его поем:

Маша чаю наливает,
И взгляд ее так много обещает...
У самовара я и моя Маша,
А на дворе совсем уже темно.

Новая «пластинка» — «Каховка». Потом «По долинам и по взгорьям», «Синее море — красный пароход», и так, пока «патефон» и я не напоемся до хрипоты.

Лишь поздним вечером девочка собирается домой. Провожаю ее в темные сенки и спрашиваю:

— А завтра придешь? — Я знаю ответ и без вопроса.

— Ага.

— Я потелефоню?

— Ага.

Она боится темных сенок, боится темноты, торопливо сбегает по лестнице. Я жду, пока она достучится. Вот открылась скрипучая дверь. Щелкнул крючок. Слышно, Семеновна ворчит на Верку.

Но, наверное, Кипины не очень обижаются, что дочь живет больше у нас, чем дома. Заработка Ивана Алексеевича не хватает на пятерых, хоть гранильщик еще мало-мало прирабатывает. Он делает медные колечки под золото или серьги со стеклышками, а то еще брошки из яшмы. Этой яшмы на свалках груды. С виду некрасивый бурый камень — только и всего. Но если его распилить на тонкие досочки — фаски и долго полировать, шлифовать сперва на точиле, потом на войлочном круге, тогда обозначится рисунок. Полированной яшмой залюбуешься. Вот яшма облачная, желтоватая, как вечернее небо в грозу; лесистая, словно бы с далекими горами, покрытыми лесом. Есть яшма, как морской прибой. Брызги расхлестнувшейся волны взлетели вместе с пеной да так и застыли. А вот просто красноватая,

бурая, коричневая, как будто горькая на вкус яшма.

Иногда я не могу разгадать яшмовый узор. Он мучает меня своей знакомостью. Я спрашиваю Верку. Она берет камешек в худые пальцы, поворачивает и, точно заправский гранильщик, кладет на верстак.

— Дерево там...

— Сама дерево! — ворчу, а понимаю, верно, очень похоже на дерево. Вот глаз у Верки.

Старший сын Кипиных Валька мало помогает отцу. Он живет улицей, гоняет голубей и только перед выходным, злой и надутый, шлифует в сенках колечки. По базарным дням Иван Алексеевич носит колечки на рынок, продает деревенским модницам.

Интереснее всего Кипины отапливают свое жилье. У сарая всегда лежит большое, смолевое, со всех сторон пощепанное бревно. Рядом валяется тупой, как утюг, колун с полированным от старости, треснувшим топорищем. Колун слетает с топорища, если посильнее размахнуться, но большой надобности в этом нет. Им добывают от бревна одну-две щепки на растопку. Остальные дрова Кипины заготовляют из соседних заборов, из домишек, которые сносят под новостройку. Так же отапливаются у нас в слободке и Пашковы, и Курицыны, и Балалаевы, и даже Федор Иваныч Насонов, хоть собирает щепу и доски не сам, а его старуха Лизонька.

Неистощимое бревно все лежит подле сарая, почти не уменьшается год от году.

Необыкновенные жары бывают в детстве. Таких уж не чувствует взрослый человек. Помнится: вот выйдешь из сенок — всего обольет ленивым зноем и сразу покрываешься загаром, точно муравленый горшок глазурью. Обжигает ветер с юга. А воздух так сух, что перехватывает дыхание, свербит в носу. Земля горячая. От нее тянет печным жаром. Она извилисто потрескалась. Мне кажется, земле больно под выцветшим небом.

Это понимают березы, разомлевшие в знойной истоме, тополя с напудренной пылью листвой, черная собака Мушка — она лежит в тени за конурой и часто-часто дышит, свесив на сторону длинный розовый язык. Это понимают и воробьи с очумело разинутыми клювами. Жарко! Ох, как жарко!..

В жару лучше всего насекомым. Кузнечики в огороде трещат, как сумасшедшие. Бабочки кружатся и приседают на забор, мигают пестрыми крыльями. Откуда-то налетает дополна зеленых стрекоз. Иногда они тянутся над двором с утра и несчетной вереницей. А в добела раскаленный полдень взлетают даже скромные жучки-жужелицы, которым вроде бы и летать-то незачем.

И вот, когда жара достигает предела, всему живому нечем становится дышать. Все вдруг смолкает, затаивается, замирает, словно бы ждет чего-то. Я чувствую смутное беспокойство. Что-то неясно тревожит меня. Я лезу на горячую крышу сарая, цепляюсь за конек и оттуда вижу далекую сизую полоску.

— Туча! — кричу я.— Гроза идет!! Гроза будет! Гроза!!

Становится легче, веселее, и есть небольшой страх внутри — как оно заблестит, загрохочет...

Пока я слезаю вниз, туча оказывается над дальним краем слободы. Уже видно мерцающий красный блеск. Уже слышно роптание грома. Туча сердится. С улицы отворяет ворота Верка.

— Гроза будет! — возвещаю я.

Девочка запрокидывает голову. Смотрит. Лезет на сарай, мелькая трусиками из-под короткой юбчонки. Вот Верка взбирается на самый конек. И смотрит, смотрит... Она очень любит грозу. А я все-таки боюсь. Грозы-то ведь бывают разные. Никогда не забыть мне страшной грозы-урагана. Тогда снесло крышу с нашего дома. Повалило заборы. Выбило градом стекла. А смирная Основинка разбушевалась, как Волга, снесла в понизовье всю картошку с огорода. Нет, такой грозы я вовсе не хочу.

Бабушка тоже не любит гроз. Вот она старательно запирает окна, крестит их. Лицо у бабушки строгое. Сейчас она зажжет у себя за ширмой лампадку и станет молиться.

Туча укрыла весь горизонт. Она гонит перед собой странно высокое белоснежное облако. Цвет тучи мрачно-синий, грозовой. На улице разом стемнело. Потухло белое облако. Сильно, приятно запахло землей. Он такой летний — запах засеянной дождем земли. Куры бегут под навес. Стоят, ощипываются, ждут. Тихо становится.

Одни ласточки стригают над двором, да Верка все сидит на коньке. Ветер сбивает и ворошит солому ее волос.

— Пойдем, Верка! Счас начнется...

Она мотает головой, молчит.

Вот туча вздрагивает от молнии. Гулкий гром катится тяжелым катком. В общем гремит не страшно, а вспыхивает все ближе и ближе. Вдали улицы встала пыльная завеса. Она несется сюда. Летят листья, травинки, бумажки. Качнулись, зашумели тополя. Ударило, хлестнуло пылью. Ветер пронесся дальше. И вот они — первые капли. Они стукают всегда неожиданно, непохоже на дождь. Теперь туча над головой. Мигнула, воткнулась в телеграфный столб яркая молния, и гром тотчас ударил гулко, и дрогнула земля.

— Верка, пойдем!

Она нехотя слезает. Дождь прибавился. Он сыплется горохом, ощутимо круглый, веский и холодный. Капли долбят по голове.

— Верка, чего ты? Совсем с ума сошла? — Я беру ее за руки и тащу в сени.

Продолжение грозы мы смотрим из окна. Уже нигде нет голубого неба.. Везде серо. Бежит по улице Генка, накрывшись пиджаком. Дождь набирает силу. Из желобов хлещет вода. По взмокшей земле — грязные ручейки. А светит и гремит все чаще. То здесь, то там полыхает дрожащий свет, и гул одного грома сливается с гулом другого. Иногда молния ветвится до крыш, и тогда раскат бывает рокочущий и страшный, иногда она лишь неуловимо бледно блеснет и тут же треснет, отскочит подальше гром.

Что такое гроза? Отчего блестит молния? Почему грохочет? Отец объясняет, что это просто электричество. А мне непонятно. Какое же электричество, если там нет никаких проводов? И почему электричество так гремит, вон в лампочках оно светит совсем мирно. А бабушка говорит, что гремит Илья-пророк. Он катается там на огненной колеснице и мечет в землю стрелы. Это мне куда понятнее, хоть и трудно представить огненную колесницу. Я думаю, она вроде телеги с большими колесами. Темногривые кони мчат ее по небесным раскатам, хлещет огненный бич, и стоит этот страшный, пугающий злой Илья, грозит земле и небу. Лицо у Ильи, как у китайского бога на картинке в «Ниве».

Верка всегда поскорее переворачивает ту страницу. А нет ли у слова «пророк» тайной связи с порогом? Порог — тоже вещь неприятная, запнешься о него второпях и растираешь потом синяк на лбу. Рассказ бабушки про Илью интереснее, а все-таки я чувствую, что прав-то отец. Только бы он понятнее как-нибудь объяснял.

— Уйдите от окна! Уйдите,— беспокоится бабушка.— Прилетит стрела...

Я бы не прочь отойти, да Верка... Она прилипла к стеклу — не оттащишь. Совестно прятаться.

Вдруг вся комната вспыхивает голубым блеском. Становится так ярко, тихо и ужасно светло, что я замираю, стиснув кулаки у груди. От грома останавливается маятник часов.

— Свят, свят, свят,— причитает за ширмой бабушка.

Ливень рушится за окном, заплескивает стекла. Мы с Веркой сидим у печи. В окне ничего не видно, кроме зеленой стены дождя. Гудом гудит крыша. Где-то капает с потолка. Ах, как блестит, и вспыхивает, и грохочет...

— Ну, дура старая... Кадку-то, кадку-то не открыла,— бормочет бабушка.— Вода-то мягкая, дождевая. В самый раз стирать. Ведра бы, корыта наставить.

Верка вдруг бежит в сени. Следом за ней выбегаю я.

— Куда! Куда? — кудахчет бабушка.

Остро пахнет грозой. Все крыльцо в воде. А двор словно плывет куда-то. Сплошной поток, пузырясь, идет от ворот. Верка, накрывшись рогожей, бегает где-то, гремит ведрами. Я вылетаю под дождь за корытом, волоку его, гулкое, к сеням.

Вдруг желтый крутящий шар подлетает к железному уголку ворот, где идут со столба провода.

Дико смотрю, как он вертится. Синие искры сыплются с угла. Что же это такое? И тут шар лопается с таким треском, что я валюсь на четвереньки, в грязь, а тело прокалывает тысяча иголок. Подбегает Верка. Я хватаюсь за нее. И мы в сенях.

— Видела? А?

Она молчит. Под прилипшим к ее худому телу платьем я чувствую тепло, бойкий стукоток сердца и отпускаю руки. Она смотрит на меня по-чужому в темноте. Нагибает мокрую голову. Что же это такое было?..

...Верка не только моя подружка — она и учительница. Осенью она пошла в школу и с первых дней стала носить к нам свои синие замусоленные тетрадки. Счастливый, я выводил вкривь и вкось: «Ау, ау, мама, Маша, Маша, ау».

В школах еще оценивали «уд» и «неуд». Это значило «хорошо» или «плохо». Верка, точно заправская учительница, проверяла мои каракули, подчеркивала ошибки, ставила отметку. Уроки ее были удивительно понятны, донельзя наглядны. Все буквы она сравнивала с какими-нибудь знакомыми предметами. О, например,— с колечком, А — со столбом высоковольтной линии на пустыре, У — с рогаткой. Объясняя буквы Ш и Щ, она выломала все зубья из своей гребенки, кроме трех. Она притаскивала мягкую медную проволоку, и мы делали буквы ювелирными щипчиками.

По-печатному я немного знал и раньше, а на письме путался. Не сразу запомнишь, сколько там палочек или хвостиков надо писать. Зато чтение освоил скоро. Месяца через два я бойко читал нудный рассказец о том, что Иван и Ахмет не знают друг друга, но делают они одно дело. Ахмет выращивает на полях хлопок, а Иван ткет из хлопка ситец. Тут же была нарисована ткацкая фабрика и бровастый узбек в тюбетейке, собирающий хлопок.

Даже сейчас при воспоминании о том букваре хочется зевнуть. Почему-то авторы его считали, что на среднеазиатском материале лучше всего учить чтению. И вот вам рассказ про узбечку Ниаз. Этой Ниаз сперва все командовали: «Ниаз, замеси тесто! Ниаз, разведи огонь! Мечется по комнатам Ниаз...» и т. д. Но потом Ниаз сняла паранджу и пошла учиться. Дальше в букваре были стихи Джамбула, а еще дальше какой-то рассказ об арыках.

Но я терпеливо писал свои буквы и помаленьку бабушку просвещал. Через год, когда сам пошел в школу, неграмотная бабушка умела писать. Одного я не мог от нее добиться: она не отличала письменную букву от печатной, строчную от заглавной.

За дружбу с девчонкой приходилось платиться. Ребята в слободке с нами не играли. Водиться с девчонками считалось зазорным. И на мою голову сыплются клички, прозвища, злорадные песенки. Я «девичий пастух», «девка»... Меня дразнит Генка Пашков, изводит

Димка Мыльников, толстый Эрнешка и ребята Курицыны. Я лезу в драку, а потом сижу в лебеде, стараясь унять кровь из расквашенного носа. Иногда я огрызаюсь подобными же прозвищами. А дружба с Веркой не рассыхается. Я не могу долго играть без Верки. Она и сама терпит из-за меня, да только умеет обороняться всегда одной нескладной фразой.

— Дурак ты какой-то ненормальный,— медленно говорит она обидчику в упор и идет прочь.

Часто залезаем мы с ней на конек сарая и сидим там, нахохлясь, как воробьи в пасмурный день. Дует ветерок. Бегут на дальних улицах машины. Шелестят тополя. А нам сверху все виднее, «красиве́е», говорит Верка. Мы молчим. И хорошо думается о земле, городе, о тех заводских трубах, что дымятся полегоньку вдали, о тополях, о домишках улицы, еще не знаю о чем. Все хорошо. Все люблю я дорогой непуганой любовью. Здесь все детское, милое, обжитое от неба до этой кровли из голубоватых с зеленым тесин.

Мы притаскивали на крышу хлеб с солью, с луком или с сахарным песком. Мы ели краюхи на ветерке, не торопясь, впервые познавая истинный вкус хлеба.

— Вкусно?

— Ага! — она любила это слово.

Нам нравилось помогать взрослым. Мы таскали воду с колонки, хвастались, у кого ведра полнее. Я добывал для Верки растопку из того единственного бревна. Она копала со мной грядки. И всегда вдвоем мы ходили за веничками из приторно пахучего клоповника.

А однажды я даже защищал Верку от ее матери. Семеновна была психоватая, кликуша. Часто, не знаю уж за какие провинности, она лупила дочь чем попадя.

В тот раз Семеновна схватила березовое полено. Я заорал от ужаса, когда это полено с маху треснуло Верку по спине, в голову, по бокам. Не помню, как оно получилось, но, выдернув черен из метлы, я кинулся на разъяренную Семеновну. Она отпустила Верку, вырвала черен из моих рук; мне пришлось бы плохо, но меня прикрыла бабушка, наседкой вылетевшая на крыльцо.

Бить меня тоже били. Мать изредка. Отец и бабушка никогда. В детстве самое черное — ремень. Он опаляет душу. Он никогда не забывается. С ним не идут в сравнение тычки и синяки, полученные в ребячьих войнах. Эти изнашиваются без всякого душевного руб-

ца. Да и драли-то, по-моему, вовсе ни за что. Разбил камнем окно нечаянно — лупцовка, говорил какие-то слова — смысл их оставался темен — опять ремень.

Жизнь бывала всякая. И удивительней всего, Верка не запоминала обиды. Она не сердилась на мать. Стоя в проулке за сараем, она плакала, потирала спину и только повторяла с дрожью, рвущимся голосом:

— Да-а-а, хм... прой-де-е-ет. Нни-че-го. Все пройдет...

Я молчал. Я отворачивался от нее...

Жуки

Мне и Верке нравилось искать жуков. Мы брали банки из-под горчицы и отправлялись на пустырь. Часами бродили по бурьянам, осматривали травинки, отворачивали камни.

Извивается, прячется в землю желтая тысяченожка. Мелкий жучок норовит удрать в траву. Втягиваются в сырые норки бледные червяки. И так под каждым камнем. Жуки попадаются часто, да все одни и те же. Это некрупные жужелицы или жуки побольше, тусклые, с красными лапками. Они выпускают изо рта вонючую коричневую каплю и отчаянно двигают жвалами, едва возьмешь их в руки. Часто мы ловим лаковых божьих коровок с шестью точками на выпуклом панцире. Божьи коровки живут вместе с зелеными жучками, которых мы зовем «лебедиными черепашками». Они встречаются только на лебеде. А чаще всего попадаются нам хлопотливые летучие жуки. В июне их множество на траве и на листьях. Они везде — узкие, синеватые или красные.

Всякого нового жука мы радостно оглядываем, а уж потом сажаем в банку. Нам кажется, чем больше камень, тем крупнее под ним жуки. Мы с вожделением поглядываем на полутонный гранитный брус от фундамента. Вот бы его перевернуть! А вдруг там вот такие вот!!!

Достать новых жуков очень хотелось. Из журнала «Мурзилка», из рассказов отца, который раньше тоже собирал коллекции, я знал, что жуки бывают очень интересные: олени, носороги, водолюбы и усачи.

Жук-олень, неправдоподобно большой, коричневый

и рогатый, был у Миши Симонова. Миша рассказывал, что привез жука с фронта первой мировой войны его дядя. Дядя командовал броневиком, воевал в Румынии, а жук попался ему случайно. Он привязал жука проволочкой за рог и так возил в броневике всю войну. Как хотелось мне поймать такого оленя!

В то лето я нашел-таки замечательного большого жука. Я нашел его на пне от срубленного тополя. Жук был овально-длинный, твердый, весь малахитовый с позолотой. Маленькими изумрудами мерцали его глаза. Он сидел в морщине коры странным образом, почти сливаясь с ней, несмотря на свой золотой наряд (вот так же сливаются с осенним бурьяном пестро-яркие щеглы). Я протянул к нему руку — жук тотчас свалился с коры. Он притворился мертвым, этот хитрый жук, и сколько я его разыскивал в колосящейся траве у подножия пенька! Я хранил жука в отдельной коробочке на вате, как великую драгоценность. Больше такие не попадались, хоть пеньки у сычовских тополей мы оглядывали чуть не каждый день. Вот великое ли дело — жук? А тогда он был событием, и память хранит горьковатое от тумана утро, серую грубую кору пня, зеленую клейкость широколистых побегов, прямо тянувшихся от корней, и самую радость счастливой находки.

Через два дома от нас жил Димка Мыльников. Он постарше меня, да какой-то уж очень тонкий, хлипкий, засохший на корню. Он ходит быстрой походкой. На чистеньком лице прячутся мелкие глазки. Брови у Димки словно бы седоватые. А уши торчат в стороны и розово просвечивают.

Димка отличается опрятностью, хозяйственностью. Книжки у него всегда обернуты. Тетради с наклеечками. Штаны чистые, глаженые.

Димка — коллекционер. Он собирает открытки, марки, старинные деньги, пуговицы, папиросные коробки, даже конфетные обертки. Он складывает их на манер порошков.

Есть у Мыльникова и жуки — тоже в аккуратном ящичке на булавках с картонными ярлычками. Громаднейшие черные водолюбы поблескивают там, как лакированное дерево. Кургузые навозники растопырили зубчатые лапки с голубым отливом. В середине коробки красуется длинноусый до невозможности жук-усач. Есть и веслоногие плавунцы с желтой каемкой. Они раз

в десять больше тех плавунчиков, которых я ловил раньше под камнями на Основинке.

— Где же ты их взял, Димка? — удивлялся я.

— Где, где... На небе — вот где,— хихикал он.

— Чо вре-е-ешь!

— Ха-ха...

— Отдай хоть одного. Вон у тебя водолюбов сколько... Раз, два, три... семь!..

— Чего дашь?

— Не знаю...

— Давай серию авиапочты, а я тебе навозника, может быть.

— Всю серию?!

Там было семь длинных чудесных марок с могучими самолетами. Их подарила мне мама.

— Конечно, всю серию. А ты думал, я тебе навозника за марочку? Да? Попробуй найди такого! Найди-ка! Это редкость! Видишь, с вороненым отливом. Это не навозник вовсе, а египетский скарабей. Понял? Священный жук. Понял? Лучше я с Эрнешкой на Либерию сменяюсь. У него знаешь какая Либерия! Марки-треуголки! Слоны, зебры... Куда твоей авиапочте. Давай сюда ящик!

— Димка, погоди... Сейчас принесу марки.

— Нет уж, не хотел сразу, нечего... Не дам скарабея...

— Ну, я же ведь сразу. Чо ты? Ну хочешь, еще какую-нибудь марку принесу.

Димкины глазки не в состоянии скрыть торжества.

— Так бы и говорил! Бегом! Живо!

Очень скоро все мои марки, кроме самых замусоленных и рваных, перешли к Мыльникову. А у меня оказалось несколько мелких плавунцов и синеватый навозный жук, или скарабей, как пышно именовал его Димка.

Коллекция Димки осталась нетронутой. Он доставал где-то новых жуков, а про место никак не говорил. Я не удивлялся и не обижался на него. В детстве мы очень терпеливы ко всему: хорошему и к дурному. А Димка был таким человеком — обычные ребячьи черты и привычки странным образом сочетались в нем со взрослой сметкой, хитростью и твердостью.

Часто втроем-четвером: я, Димка, Юрка и Верка Кипины — собирали мы по свалкам металлолом. Мы

сносили его на соседнюю Ключевскую улицу. Там в дощатом киоске в заборе его принимал оплывший скучный человек с бельмом на левом глазу. Я всегда подходил к ларьку последним и старался не глядеть на отвислую воспаленную губу лавочника и молочное бельмо, которым он страшно ворочал из стороны в сторону. Странным образом он напоминал большого и пыльного жука. Такой жук попадался нам изредка на пустыре, всегда возле какой-нибудь дряни, вроде дохлой собаки. Мы боялись брать его в руки...

— Опять приперлись! — кисло встречал утильщик одним и тем же гнусавым возгласом.

Мы молча топтались у ларька.

С гримасой филина, выглянувшего из дупла, он щурился на нас.

— Вон энту фтуковину возьму, а энто пять копеек.

«За все!» — в душе ахали мы, оглядывая кучу лома, собранного за день с таким трудом и привезенного к ларьку в скрипучей тележке. Мы-то рассчитывали: никак не меньше рубля.

Но возражать не приходилось. Захочет — совсем не возьмет. Иногда жук-утильщик ездит по улицам на низкой лошаденке и берет тряпье. В большом ящике поперек телеги у него множество хороших вещей. Есть там ленты, куклы, игрушки, оловянные солдатики. Один раз мы с Веркой приволокли ему на телегу целую гору тряпок, завернутых в старое бабушкино платье. Верка хотела выменять голубую ленту, а я двух солдатиков. Утильщик сунул нам английскую булавку, хлестнул лошадь. Телега заскрипела дальше. А Верка бросила булавку в траву и медленно ушла в сенки.

Получали пять — десять копеек. Понуро шли домой. Один Мыльников хитренько улыбался. Он-то получил целый рубль за медный брус, который и нашли-то вместе, да только он первый крикнул: «Чур, мой! Чур, мой!»

Мы знали, что у Димки есть бочонок-копилка. Копилка закрывается на ключ, а ключ Димка дает только отцу, когда тот устраивает ему ревизию. Димкин отец — бухгалтер. Каждый вечер ровнехонько в пять часов он идет с работы, заложа руки за спину. Он тоже чистенький, седенький, с желтым сморщенным лицом. По Мыльникову можно проверять часы.

Обычно свою долю от выручки я отдавал Верке или выпрашивал у бабушки двугривенный, и, соединив ка-

питалы, мы покупали в магазине, который бабушка смешно называла «церабкоп», самых дешевых мятных подушечек.

Я ходил собирать лом, тряпки и кости вовсе не по нужде. Каждый раз мать ругала меня за испачканную одежду и руки. И все-таки мне очень нравилось искать и находить в отвалах и на пустырях разные железяки. Быть может, тем питалась страсть к находкам и путешествиям. Ах, как хотелось найти пистолет, штык, солдатскую каску, камень-самоцвет или мамонтов бивень! А находили мы ржавые трубы, сломанные кровати, бычьи челюсти с брякающими зубами да битые синие стекла...

...Недалеко от слободки открылся пионерский парк. Парк старый. Прямые аллеи берез в величавой тени. Дуплистые липы. Боярышник и сирень. По углам парк глухо заткан бузиной и крапивой. Посредине парка зеленый прудок с островком. Гордо плавают лебеди, стаей полощутся утки. Пеликан стоит на берегу. В парке есть пионерский стадион, шахматный клуб, игротека, зоосад, читальня и буфеты, городок фанерных зверей. В общем, парк очень хорош, и когда я впервые пробежал утром по его желтым веселым дорожкам, у меня родилось ощущение свежести, прохлады и чистоты, всегда возникающее и теперь при воспоминании о нем.

Верка и я стали часто ходить туда. Мы играли в песочнике. Мы катались на карусели. Мы читали книжки или просто бродили по дорожкам, полизывая круглые мороженки с двумя вафлями сверху и снизу.

Так шли мы раз по аллее, и вдруг навстречу Димка Мыльников. Он семенил по боковой тропинке, нес стеклянную баночку, которую тотчас сунул в карман.

— Здорово!

— Ха-ха! «Жених с невестой, месили тесто...»

— Да иди-и... Задразнился!

— Дурак какой-то ненормальный! — Верка не любила Мыльникова.

— Гуляете? — посмеивался он, а сам все придерживал баночку в кармане.

— Что у тебя там?

— Ничего. Спрос. Кто спросит, того в нос...— И он двинулся дальше, похихикивая, аккуратный, чистенький, в кепочке.

— Куда это он ходил? — вслух подумал я.

— Жуков ловил на пруду... Водяных.

— Врешь?

— Да-а... Я недавно видела.

— А чего не сказала-то?

— Думала, у тебя есть уж...

Подходить к воде в парке строго запрещалось. За порядком следила чересчур даже бдительная пионерская милиция в белых штанах и в белых рубахах с настоящими милиционерскими свистками.

Мы отправились по Димкиной тропинке и скоро вышли к пруду. Огляделись. Никого. Тихо-тихо прокрались мы вдоль широких ивовых кустов, пролезли через густерню к воде.

— Ой!

Большой водолюб, медленно перебирая лапками, пошел в мутную глубину.

— Вер! Есть! — прошептал я, не отрывая глаз от поверхности зеленой цветущей воды с пятнами солнечных лучей.

— О-о, какая страшная!

Проплыла волнообразная черная пиявка.

Водомерки катались, прыгали по воде. Жуки-вертячки россыпным серебром переливались возле затонувшей коряги. На круглом листе кубышки задумчиво сидел мелкий лягушонок, будто пораженный красотой тихого илистого пруда в зелени ивовых кустов. А рядом упавший в воду червячок беспомощно шевелился так и сяк, и ясно было: нет, не видать ему больше берега.

Невиданно большущий плавунец всплыл из подводного сумрака, выставил кончик сухого брюшка, повис на поверхности. Жук был чудесный, великолепный, удивительный.

Ноги у меня задрожали. Такого гиганта не было у самого Димки.

Хвать! Я ударил ладонью по воде, но мгновением раньше жук успел нырнуть. Эх, незадача. Если б со мной был сачок. С досады я сел в пахучую крапиву. Я едва не плакал.

— Он выплывет. Как он без воздуху-то? — сказала Верка.

И мы затихли, вглядываясь в воду.

— Подымается!

— Где? Где?

— Во-он!

— Это не плавунец. Это водолюб. Счас я...

Кто-то крепко схватил меня за руку, за плечо. Вскрикнула Верка.

Пионерская милиция.

Нас без церемоний выволокли на аллею, окружили со всех сторон.

— Сказано, не ходить к воде! Читал надпись? — грозно допрашивал милиционер лет тринадцати, остриженный нагладко. Он дергал меня за воротник, так что я едва стоял.

— Из какой школы? Говори быстро! — приставал другой.

— А ты его не дергай! — вдруг сказала Верка.

— Чего, чего? — переспросил стриженый, отпуская воротник.— Говори номер школы?

— А мы не учимся.— Верка взяла меня за руку.

— Да... Я еще осенью только.

— Дошкольники... Ну их, ребята,— протянул стриженый.

— Зачем к воде подходили?

— А мы за жуками...

— За жуками! За жуками! Сами вы жуки. Свалитесь в воду — отвечай за вас. На первый раз выгнать из парка.

Нас выпроводили за голубые решетчатые ворота. Мы переглянулись и побежали.

— А здорово ты их обманула, что мы неграмотные.

— Ясно...

— Все равно я того водолюба поймаю.

— Не ходи.

— Ага, обрадовалась!

...Я поймал черного водолюба, хоть пионерская милиция еще дважды хватала и выдворяла меня из парка, последний раз с водолюбом, шевелящимся в кулаке.

Птички

Сдувало переменчивое тепло августовских дней холодными ветрами. Являлись в побледнелом небе косые северные облака. Что-то вдруг менялось и в моей душе — по-иному радостно становилось жить в преддверии осени, накануне великих перемен в природе. Ведь это очень

важно — первому увидать желтый крап на березах, кузеньку, пинькающую в саду... А редкий первый листопад, а снежинки, что бережно садятся на стылую землю, укрывают ее волшебным пухом.

Я вставал раным-рано. Бежал к окошку — узнать, какая сегодня осень. А она была разная. Ой, какая разная! То ясно голубело за окошком. В инее полосатились крыши. Сникнув под заморозком, сизел и кудрявился малинник. То упрямо дул ветер. Ватаги печальных облаков волочились над крышами, и по-осеннему замирала душа от одного вида тех сиротских облаков. Или сыпалась без конца мелкая морось, скрывая даль. Или просто в безветрии стояло свежее пасмурное утро— самая дорогая погода осенью.

Осенью двор, огород, сычовский сад и бурьянный пустырь за бывшей речкой приобретали необыкновенный вид и смысл.

Сарай пятнило ржавым листом. Оранжево загоралась сычовская яблоня. Двор делался просторнее и шире. Бурела на нем птичья гречиха. Воробьи пересыпались по ней. А роняющие рябое семя коноплины в огороде так славно пахли остывающим солнышком и утренним холодом.

В бурьян спускались пролетные стаи. Я бродил там каждое утро. Смотрел. Где мне было знать, что птички с голубыми горлышками — варакушки, что долгохвостые серенькие со скорбным писком взлетающие из лебеды — лесные коньки. Однажды из нашего малинника выпорхнула рыжая бесшумная птица. Сейчас я знаю, что это был настоящий соловей. А тогда это была обычная «птичка». Я подолгу бывал в бурьянах, вглядываясь в их потаенную жизнь. А иногда я просто сидел, смотрел в осеннее небо, прислушивался к запахам ветра и земли, и было мне хорошо и ясно одному. В такие часы я не хотел быть даже с Веркой.

Вот тащится оторванная ветром одинокая туча. Край ее золотится спокойным светом скрытого солнца. И вот оно прорывается, косой свет упирается в землю. Вздрагивают прикорнувшие травинки. И почему-то печально по-осеннему, летом солнышко не светит так...

Напрасно думают взрослые, что детям непонятны самые тонкие чувства. Напротив, детство всегда найдет поэзию там, где для взрослого одна сплошная проза. Ну разве может взрослый играть камушками? Разве

станет он скакать на обыкновенной палке? Что ему в этом пустыре с репьями — в моей нехоженой стране?

Взрослые, большие! Вас не ругают без права ответа, вас не лупят ремнем и не оставляют без обеда за невымытые руки. Вы думаете, что вы самые умные и справедливые, и все-таки иногда дети сильнее вас, богаче, щедрее...

Осенью соседские сады редели, хорошели. Солнечный свет застаивался в них. Он шел от листьев, разбросанных на земле, на ветках, на вкопанных в землю гнилых скамьях. В холодное солнечное утро я подолгу висел на заборе, вглядывался в чудесную голубизну неба меж ветками. Со стуком опадали яблочки. С легким шорохом терялись листья. Крупные с хохолками птички налетали вдруг, осыпали рябины, давились терпко-холодной ягодой. Большие желто-крапчатые дрозды пугливо чакали на тополях.

Братья Кипины ловили птиц. Подле огорода у них стояла на столбах неказистая голубятня, выкрашенная синей краской. В голубятне хранились и клетки. Рано на свету то Валька, то Юрка выносили оттуда западенки, в которых сидели белые щеглята или серенькие снегирихи. Бывали у Кипиных чижи — маленькие зеленые птички с хитрыми глазенками. А чаще всего прыгали в западнях чечетки. Для меня, любителя всякой живности, птички были несказанным богатством. За любую из них я охотно отдал бы игрушки, книги, ботинки — все что угодно. Птиц мне не покупали. Бабушка говорила, что скоро в школу, а «птички до добра не доведут. Через них он ученье забросит. К деньгам приучится. С жульем может связаться...»

Странно мне было слышать это от моей бабушки. Но мать соглашалась с ней. Даже отец помалкивал. Птички! Сколько же я слышал тогда, потом, да иногда и теперь слышу от трезвых, солидных, добропорядочных людей это слово с глубокой иронией. Его произносят, сморщив нос, оттопырив нижнюю губу, покачивая головой, как над безнадежно больным.

— Птички?! Неужели вы правда ходите в лес, ловите птичек?! А это вы их э... э... сеткой или э... клеткой? Вон как... Скажите, пожалуйста, как интересно.— И глаза собеседника прячутся в сторону, чтоб я не увидел насмешку.

Сперва я довольствовался тем, что крыл воробьев

простейшей ловушкой из ящика, палки и веревки. Возьму обыкновенный ящик, подопру палкой, к палке веревку, под ящик — овес. Воробьи кучей слетают на зерно, и я, выждав, дергаю веревку. Ящик падает.

Очень трудно доставать воробьев из-под ящика. Одного поймал — десять вылетело. Да и что за птица, воробей-то! Не поет он, и красоты в нем никакой. Дичатся воробьи сильно, и в конце концов выпускаешь их на волю, чтоб через неделю-другую снова ловить.

А братья Кипины в сентябре начинали готовиться. Юрка чинил дырявую сеть — тайник, делал западенки. Верка красила ветхие клетки. Надо ли говорить, что в этих делах я принимал самое непосредственное участие.

В опустелом огороде выравнивалась площадка-ток. Ее очищали от корешков, утаптывали, укатывали березовым кругляшом. На току-то и «расколачивалась», прибивалась к земле за ременные петли залатанная сеть на палках— главное орудие ловли.

Деревьев у нас в огороде не было. Жадный портной срубил их все на дрова, когда уезжал из дому. А птицы без деревьев не ловятся. Они не спускаются на землю без «присады». И Кипины вместе с Генкой Пашковым устраивали налет на сычовские владения. Предметом налета был заранее облюбованный сук тополя или жимолости, который надо было сломить или спилить во что бы то ни стало. В набеге я довольствовался скромной ролью, которая называлась «стоять на стреме». С утра занимал наблюдательный пост на сарае, ждал, когда старик Сычов уйдет из дому. Едва черный картуз скрывался за воротами, я летел к Юрке, братья бежали за Генкой и перелезали в сад.

Как сейчас вижу, Юрка спрыгивает в ворох палой листвы. Секунду стоит, озираясь, прислушиваясь, и потом крадется вдоль решетчатого палисада. Валька и Генка лезут на дерево. Генка меньше, ловчее. Он скользит, как змея, подтягивается на руках, и вот он уж почти на вершине, пилит неподатливый сук.

Я на сарае холодею от страха. Вдруг сейчас с грохотом распахнутся двери парадного и оттуда с проклятиями выбежит кудлатый хозяин? Вдруг бахнет выстрел? Вдруг перемахнет забор страхолюдный Джульбарс?

Вспоминаю — зашел я однажды во двор к Сычовым повидать Мишу Симонова. Миши не было дома. Зато

во двор вышел Шурка с овчаркой. Он отцепил поводок. Я кинулся к воротам. В два прыжка собака догнала меня и придавила к забору. Помню ее жесткие лапы и тяжелый запах теплого дыхания. Насытившись моим страхом, Шурка отозвал овчарку. Я побежал домой. А вечером, забравшись на сеновал, подвывая от ненависти и восторга, выбил из рогатки все стекла на веранде Сычовых.

— Скорее, Генка, пили скорее! — шипит Валька.

С макушки несется брань. Видно, что Генка пилит изо всех сил и вот, наконец, хруст, треск, кажется, слышный за две улицы, шелест и шум сползающего сучка.

Генка прыгает с трехметровой высоты. Валька и Юрка подхватывают сук, перекидывают через заплот, и оба, объятые внезапным страхом, лепятся на забор, стучат коленями, шумно дышат и сваливаются в проулок.

— Фффу,— проглатывает слюну Юрка. На широком лице Вальки все еще испуг. Более опытный в воровских делах Генка только молча посасывает ободранный палец, жмурит из-под челки карий глаз.

— Э, вы, нате,— Генка вытаскивает из-за пазухи горсть яблочишек. Как и когда успел он их набрать, остается загадкой. Птиц Генка тоже не держит. Он помогает нам просто так.

Жуем яблоки. Чмокаем. Морщимся. Плюем. Довольны все. Большой сук у нас есть. Теперь его надо приколотить на шест. Это будет большое дерево для западенок. На него спускаются птичьи станички. Ниже располагаются вокруг тока воткнутые в землю ветки-кусты. Их-то можно без большого риска наломать в саду у Зыкова.

Наконец после целой недели хлопот ток в огороде приобретает нужный вид. В центре высокое «дерево», по краям кусты, пучки репьев, снопики переросшей лебеды.

Из картофельной ботвы и гороховой мякины складен в углу забора теплый скрад. Сидеть в нем необыкновенно уютно. Сухо, пахнет тут ботвой и полынком. Семена лебеды сыплются на голову. Сознание того, что это с в о е жилье, с в о я крыша над головой, делают шалаш истинным дворцом.

Птицы на нашем току ловятся неплохо. Попадают

доверчивые чечетки, реже щеглята, изредка чижи. Иногда мы кроем степенных снегирей. Я говорю «мы», потому что являюсь непременным участником всех охот, но с правом совещательного голоса и без добычи. Пойманных птиц братья забирали себе, по выходным дням несли их на птичий рынок. А я довольствовался лишь процессом ловли и не смел просить большего.

Раз Юрка дал мне только что пойманную чечетку. Не чуя ног от восторга, я зажал теплую птичку в кулаке и помчался к крыльцу. У самого крыльца случилось непоправимое — я запнулся о камень, упал, а птичка вырвалась и, радостно чечекая, улетела. Я расплакался и сел на крыльцо. Не от боли я плакал, хоть колено и локоть помаленьку пропитывались кровью. Если б можно было вернуть дорогую светлую птичку с черным пятнышком под желтым клювом! Птичку с карминовыми перышками на голове.

И чечетки, и снегири лучше ловились по первому снегу. Мы ждали его с нетерпением. А ведь известно, чего ждешь, то приходит нескоро.

Бывает, осень застаивается. Студеные дни чередуются с оттепелями. По неделям мочит редкий дождь. Мокнет и зябнет земля. А в редкие сухие дни с теплом она так сладко пахнет запахами вялых листьев и трав, что душа разрывается от любви к этой неясно-печальной земле в светлом и сизом тумане на далях.

Осенью все волнует: жучок, бегущий по глине прятаться в трещину, бабочка-репейница, сонно прильнувшая к последнему цветку осота, одинокий листок, плавно кружащийся в подсиненном воздухе. Уже давно облетели тополя. Сквозь нагие березы просвечивает небо. Полегли бурьяны. Сникли и почернели астры, посаженные матерью в огороде. Мать любит садовые цветы, а я не люблю. Мне не нравится их будто нарочная яркость. Каждый георгин кичится своим цветом: «Вот я какой! Во!» Садовые цветы не идут к нашему небу. Они не ладят с осенью. Первым же инеем их сожгло, а полевой белый тысячелистник на пустыре все еще гордо держит голову на студеном ветру. Зелена сирень в саду у Зыкова. По утрам в ней кричит зорянка — краснозобая птичка, которую мы никак не можем поймать.

Мы сидим в огороде каждое утро, но певчая птица ловится очень худо. Бывает, до полудня никто не прилетит. Одни серые дрозды с храпом тянутся над городом.

Утки и гуси летят в поднебесье очень высоко. Говорят, по ночам они спускаются на городской пруд.

Мы мерзнем в шалаше, зябнем. Я кашляю всю ночь. У меня заложило грудь. Но мы терпеливы. Все мальчишки терпеливы безмерно. Вон Юрка еще рыбачит на пруду, часа по два стоит в ледяной воде — так лучше клюет. И не болеет Юрка, только губы у него все в лихорадке.

Мы кроем бойких синиц-кузнечиков. Желтогрудые и белощекие, сперва они кажутся очень красивыми и нужными, но скоро надоедают. Синиц множество. Они лезут в западенки, таскают семя с тока, пинькают и трещат в малиннике. А в клетке злобно долбят прутья, протискиваются сквозь них, стукаются в окна, больно щиплют пальцы плоскими клювами и шипят. Нет, не годится кузенька для клетки. Мы выпускаем их, гоняем с тока и вообще не считаем за добычу, хотя задорная белощечка очень хороша, когда прыгает, посвистывая, по забору, звенит в макушке нагого тополя.

Иногда прилетает стайка щеглят. Они долго порхают по репьям, драчливо ворчат, ссорятся и вот один за другим падают на ток. Надо видеть, с каким лицом Валька дергает за веревку! Как переметывается, хлопает тайник, и мы с воплем вылетаем из скрада, бежим к току. Там прыгают и бьются под сетью несказанно красивые белые с желтым, с красным и с черным щеглята. Кажется, собрала наша скромная природа самые яркие краски и велела кому-то доброму расписать птичек пестро и талантливо...

И вот с утра засеверит. Тучи, одна другой мрачнее, начнут сдвигаться. Захлопнулся последний ставешок в голубое небо. Серый свет вечера. В темноте посыпает о стекла дождь.

Бабушка весь день охает, сильнее обычного шаркает ногами. У нее разломило поясницу. Лечиться она будет из того маленького шкалика с водкой. Он стоит у нее в застекленном, оклеенном изнутри обоями шкафу и служит лекарством от всех болезней. Как-то пробовал им лечиться и я. У меня долго болело горло. Не помогала ни сода, ни противные красные порошки. И тогда я решил лечиться по-бабушкиному. Я влез на кровать, открыл шкапчик, налил пузатую рюмку водки, понюхал и выпил, зажмурясь, одним духом.

Сперва показалось, что я хватил кипятку. Я ошалело

плюхнулся на кровать, замотал головой. Ватный ком стоял в горле. Насилу я выдохнул его. Долго еще жгло под ложечкой, было горячо в животе. Стало вдруг весело. Я долил шкалик рюмкой воды и поставил на место.

Горло болеть не перестало, но повторять опыт не хотелось.

Бабушка в тот ненастный вечер все жаловалась, что кровь уже не греет. Вот и водка не помогла, слабая какая-то...

Мне оставалось помалкивать. Поздно вечером пришел с работы отец, отряхивая пальто в коридоре, сказал, что идет снег.

Я проснулся в серо-белых сумерках. Снег! Все за окнами побелело. С низкого мутного неба бесконечно сыпались, валились, неслись к земле сероватые на свет снежинки. Столбы забора стояли в пуховых беретиках.

«Ловить надо, скорей! — подумал я.— Ведь это первый снег».

Я оделся, выбежал на улицу и застучал в нижнее окно, занавешенное тряпицей. Лишь спустя долгое время показалось заспанное лицо. Юрка зевал во весь рот, тер глаза.

— Снег! Юрка, снег! Вставай скорее!

— Не охо-та-а-а...

— Ведь первый снег-то?!

— Ну и чо-о-о... Не будем сегодня...

— Эх... Ну, дай хоть чечетку половить!

— Бери сам... в сенках,— донеслось из-за стекла.

Я подпрыгнул, побежал к сенкам. Отворялись они у Кипиных очень просто — фанерной дранкой. Стоило подсунуть дранку под крючок, немного приподнять ветхую дверь, и крючок слетал с петли. Закрывалась дверь еще проще. Приподнял крючок. Хлоп! И он защелкивался.

В сенках среди хлама, ветоши и ржавых коньков я разыскал тайник с веревкой и гвозди, снял со стены желтую западенку с чечеткой и маленькую клетушку с чижом — «подтайничник». Это потому, что ее ставят на ток под сеть.

В огород я вышел торжественный, самостоятельный. Было еще рано, сине. Бушевала теплая метель. Снег путался, шелестел в малиннике, летел в глаза.

Я торопливо размел ток, принялся расколачивать, т. е. прибивать через специальные ремешки палки тай-

ника к земле. Руки быстро озябли. От снега и холодной земли пальцы стали непослушными. Я совал их в рот, грел и продолжал налаживать сеть. Тайник — снасть капризная. Поспешишь, установишь неправильно боковые веревки-растяжки — и прощай добыча: то сеть кроет слишком медленно, и птички вылетают из-под нее, то завернется в перекос, то вовсе не опадает на землю. Нет, лучше уж проверить десять раз.

Наконец все готово. Бегу к шалашу, разматывая веревку.

Сперва я очень внимательно слежу за током. Слушаю, жду. Не полетят ли чечетки. Но ничего не слышно, кроме слабого шелеста снежинок. Ток уже припорошило. Снег, снег, снег идет — настоящая зима кругом. Я люблю зиму. Раздумываю, как отец построит нам катушку. Мы будем ездить с кадочкой за водой. Будем поливать, а потом кататься с Веркой на расхлябанных салазках...

Вдруг кто-то перелетел из малинника к току. Хватаюсь за веревку. Кто же это? Нет, не кузенька... Не кузенька... Батюшки! Зорянка! Птичка с оранжевым зобиком нахохлилась на сучке над сетью. Сердце мое застукало громко. Зорянка! Она самая... Вот, если поймаю... Птичка прыгает прямо на палку тайника, потом на ток и стоит настороженно. Крыть? Но ведь она головой ко мне. Сидит навылет. Но я забываю все правила, зажмуриваюсь... Хвать! Выскакиваю из шалаша и сразу понимаю — прокрыл! Вылетела зорянка. Вот она звонко кричит где-то в малиннике: «цир-цирик-тик, цик, цирик-тик».

Растяпа, растяпа! Едва не плача, я бреду прибирать тайник.

Чечетка в западне вдруг бойко начинает свое: че-че-че-че, чи-чи-чи. Чиж на току пиликает звонко.

С неба слышно ответное чечеканье. Летят.

Ныряю в шалаш и весь дрожу от охотничьего азарта. Голоса птичек ближе и ближе. Чечетки, чечетки! Вот они! Три серо-светлые пухленькие птички падают на дерево к западенке. Начинается тихий разговор: «чи-чи-чи, тиррлю, тиррлю, чи-чи-чи, пяйн-пяйн». Совещаются птички.

Меж тем я смотрю в окошечко, между стеблей репья и шепчу: — Ну, попадись, попадись, пожалуйста... Ну, попадись...

Одна чечетка слетела, села на хлопок.

Ну!

Вот прыгнула на сторожок.

Ну!

Видно, как птичка наклоняется, клюет, лущит коноплю, а западок не захлопывается. Второпях слишком туго я его насторожил. Что же это такое? Как мне не везет! Второй раз, второй раз...

Я кусаю рукав и все смотрю, как она там ест. А меж тем на другой западок спустилась вторая чечетка, и щелк — сработала пружина.

— Да есть же! Есть!! — не своим голосом завопил я, выскакивая в метель, роняя шапку.

С какой осторожностью вынималась первая добыча — обыкновенная на чей-нибудь равнодушный взгляд пташка! Я снял западенку, прижал к себе, подождал, пока перестанут трястись руки. Потом тихонько достал птичку.

Теперь она в кулаке — такая милая, теплая, черноглазенькая. Как гулко стучит ее сердчишко. Я подбираю шапку и иду домой, для верности сунув кулак за пазуху. Клетка у меня давно припасена тайком. Есть и конопля в баночке. Все спрятано под кровать.

— Вот! — говорю, с торжеством появляясь на кухне.— Вот она! — И, не разжимая кулак, показываю всем.

На кухне топится печь. Красный свет отражается в кастрюлях. Отец, мать и бабушка пьют чай, переглядываются, улыбаются. Бабушка качает головой, пытается разжалобить меня. Это чтоб я выпустил птичку. Где там! Я несу чечетку в комнату, выпускаю в клетку, а клетку ставлю высоко на шкаф, чтобы не достал кот. Только теперь я по-настоящему разглядываю птичку, любуюсь ею. Какая же она светленькая, аккуратная! Клювик махонький, словно восковой. На груди два розовых пятна. Значит, чечень! Самец. А на голове точно тройной язычок красного пламени и красивые полоски на брюшке.

Руки мои тонко пахнут ее перышками. И я чувствую, что чечетка такая же родная мне, как снег за окошком, как тополя, дом, бабушка и вообще все, с чем идет мое детство, бегут куда-то мои счастливые дни.

Бабушка

Вон какие руки у бабушки! Я никогда не видал таких рук у женщин. Широкие, с загрубелыми в черных трещинах пальцами, они похожи на древесные корни. Пальцы не гнутся в суставах и ничего «не слышат», как говорит бабушка. Иногда она берет раскаленный уголь, выпавший из печи, кастрюлю или чугун с кипятком. Наверное, нет такой работы, которую не сделают ее руки по-своему умело, пусть не совсем красиво.

По-мужицки, через плечо, она колет березовые плахи, носит коромысло с тяжеленными бадьями, орудует лопатой в огороде, стирает и моет, гладит и стряпает, вяжет и штопает. На бабушке держится весь дом. Утром она ставит самовар, готовит завтрак. Днем прибирает в комнатах, варит обед. А вечером снова стряпает, моет посуду, вяжет что-то.

Я видел, что иногда и мать могла бы приготовить ужин или обед в воскресенье. Однажды я сказал об этом бабушке.

Она раскатывала тесто на пироги. Выслушала мои суждения, усмехнулась, провела мучной рукой по щеке, убирая под платок волосы, и сказала:

— Она работает. Устает. Ей отдохнуть надо.

— А тебе не надо? Ты больше работаешь...

— Ну, моя работа не видная. Я деньги не в дом, а из дому несу.

Ночью, лежа в постели, я раздумывал: «Как же бабушка не работает? Вот мы спим уже, а она все еще чем-то брякает на кухне, шаркает по прихожей. Неужели бабушке не надоело каждый день подыматься чуть свет, делать зимой и летом одну и ту же работу. Мать иногда ругает бабушку, сердится, если она пересолит суп или разобьет тарелку... Помню, раз бабушка заболела к весне. И по полдня я бегал голодный. Суп мы ели невкусный. Картошка почему-то все пригорала. А мать ворчала вечерами, закончив мыть посуду, что это не жизнь, а каторга.

А что, если бабушка помрет? Померла же недавно старуха Зыкова, осела у крыльца — и все... Я очень боялся такой беды.

Иногда к ненастью, к худой погоде, выпив рюмку-другую, бабушка утихала, садилась в кухне на лавку

под окно и, покачиваясь, пела жалобную проголосную песню «Доля бедняка».

Уж ты, доля, моя доля,
Доля бедняка.
Тяжела и безотрадна,
Тяжела, горька...

И плакала, вытирала сырые глаза углом белого в мелкий горошек платка.

— Ты почему плачешь?

— Так, милой... От жизни плачу,— всегда одинаково отвечала она.

Как можно плакать от жизни? Можно от обиды, иногда от боли, от тоски, говорят, и от радости можно... А от жизни? Наверное, только большие плачут от жизни. Моя-то жизнь хорошая. Хорошо пахнет утро на крыльце. Хорошо светит солнышко. Хорошо идет снег. И в дождь, и в грозу, и когда пасмурно, и когда вечереет, и когда звезды заглядывают в мою кровать — всегда хорошо.

Все бабушки рассказывают сказки, и моя тоже рассказывала. Случалось оно редко, если у бабушки не было работы, или я чем-то особенно отличался, или когда болел. Наверное, мне нравились даже не самые сказки — знакомые наизусть,— а та обстановка, в которой они сказывались. Бабушка сажала меня к себе на постель, кутала толстой пуховой шалью, гасила свет и неспешным, напевным голосом говорила:

— Вот, значит... В некотором царстве, в некотором государстве, за тридевять земель да за три моря, на самом краю земли жили-были старик со старухой...

Я слушал, закрывал глаза, и тотчас представлялся мне край земли. Избенка стоит на том краю-обрыве. Черная, бедная избенка, как у бабки Федосьи в конце слободки. Синее небо в пустоте за краем земли. Необыкновенные белые звезды.

Ясно видел я простоватого Иванушку-дурачка. Я знал, какие очи у заморской царевны. Они сине-зеленые, точно камни в серьгах. А баба-яга похожа на Семеновну — такая же болтливая, нечесаная и грязная...

Открываю глаза. Темнота мягко стоит кругом, синеет в окне. Желто лучится лампадка, отражаясь в стекле икон. И лицо бабушки, сморщенное, с тенями на щеках, исполнено вещей мудрости.

Была та сказка про ясного сокола-перышко.

В другой сказал колдун крестьянину: «Приди ко мне не сыт, не голоден; не наг, не оболочен; не по дороге и не без дороги...»

Знал я сказки про медведя с еловой ногой, про золотые яблоки, про злую мачеху... Но еще больше, чем сказки, нравились несложные рассказы из бабушкиной жизни.

Бабушка была уроженкой Староуткинского завода. Десяти лет ее увезли в город, отдали в люди.

И жила она в городе нянькой, стряпкой, кухаркой, горничной вплоть до замужества. Жила у англичанина Ятеса, потом у купцов Селивановых, у помещика Клепинина.

Слышал я рассказы, как графа Строганова, приехавшего в Утку на медвежью охоту, до берлоги тащили на лубках шестеро мужиков; про купца Селиванова, который кормил собак орехами; и про то, как прадед мой, кричный мастер на демидовском заводе, успевал, пока подымется водяной молот, так и сяк перевернуть клещами пятипудовую каленую штыку.

— Придет из завода, а рубаха-то на ем белехонька, вся просолела. Сила у него была страшная, прямо тарелки ходят вот на этих-то местах... Шибко проворный он был. Раз привезли управителю из Перми рояль. Водой привезли, на барке. А нести эту музыку по сходням несподручно значит. Послали по отца. «Можешь,— говорит управитель,— вдвоем, втроем, с кем ее на берег спустить?» — «Не знаю, мол, тяжела ли. Попробовать можно».— «Пробуй,— говорит.— Да гляди не урони. Всей шкурой не ответишь...» Драли тогда в заводе на съезжей нагайками. Крепостное время было. Подневольные люди — и отказаться нельзя...

Пошел он на барку, повздымал эту музыку да один, милой, на спине ее и снес на берег.

Я знал прадеда по старинной желтой фотографии, где сидел он, сложа руки на коленях, девяностовосьмилетний большой старик.

По воскресеньям и в праздники бабушка ходила в церковь. Иногда и меня брала с собой.

И вот я разглядываю бережные огоньки свечей, золото икон и крестов в притворах, узорные решетки царских ворот. Меня занимают крылатые ангелы на закопченно-темном своде, сам бог, величаво восседающий в клубах облаков, долгобородые старцы с посохами и кни-

гами. Есть в церкви и целые картины. Вот Христос шествует по волнам, а там добрый Николай-чудотворец вытаскивает тонущих. В другом месте светлые ангелы гонят вниз стадо чертей. Все это словно в сказке. Мне не скучно в церкви. Надоедает лишь тленный запах ладана да обилие старух в черных и белых платках, истово кладущих земные поклоны.

«Ясно, почему у них все поясница болит, покланяйся так-то»,— раздумываю я. Бабушка тоже молится, забыв обо мне.

Я убегал из церкви на кладбище. Гулял меж могил и оградок, слушал пение птиц в соснах. Кладбище вовсе не тяготило меня тогда размышлениями о скоротечности жизни. Какое мне дело до этих могил, то свежих и крикливо убранных гнусно-яркими мочальными цветами, то едва приметных, зарастающих молодыми сосенками.

Бабушка не заставляла меня молиться, но многие ее молитвы я знал наизусть, повторял их, как попугай, слово в слово. Знал «Верую», «Отче наш», рождественскую молитву. Только одну бабушка настоятельно велела запомнить — молитву от испуга и от нечистой силы.

— Вот если поблазнит тебе чего или покажется кто-нибудь... Не бойся. Стой твердо. Читай три раз: «Да воскреснет бог, и разыйдутся врази его...» Прочитаешь так-то, и сразу оно изгинет. Не переносит нечисть этой молитвы. Пуще креста боится.

Я запомнил ее накрепко, но применить ни разу не мог. Мне ничего не блазнило.

Однажды, сентябрьским вечером, отправился я за чем-то на сеновал. В сарае было темно. Синий полусвет проникал в слуховое окошко. На ощупь, боязливо я двигался вдоль стены по скрипучим доскам. Вдруг что-то белое зашевелилось под стропилами. Я замер. Будто кто-то полил кипятку по спине. А белое все возилось и трепыхалось. Привидение?

Вдруг оно оборвалось вниз, побежало ко мне. Все молитвы разом выдуло из моей головы. Не знаю, что бы со мной было, если б я не узнал в белом пятне кошку Федора Иваныча. Зачем она лазала под самый свод крыши? Может быть, шарила по ласточкиным гнездам?

Я не очень-то верил в существование чертей, леших, ведьм, домовых. Я никогда не видел их. Иногда мы с

Веркой пытались подглядеть домового. Он жил, по рассказам бабушки, в подпечье, там, где складывали ухваты, куда уходил перед морозами наш ленивый и сытый кот. Помню, по часу и больше сидели мы, тая дыхание, в субботние вечера. Ждали. Домовой по всем приметам показывается людям в субботу. Но нам не явился. Один раз вылезла из подпечья маленькая бусая мышь, побегала перед печью, подобрала крошку и ускочила обратно. Не было домового, хоть Верка потом спорила со мной, что это он выходил, только в мышь превратился.

Зато бабушка на своем веку повидала нечисти множество.

— Вот понесла я отцовы рубахи на Чусовую полоскать, под Винокурский камень. А уж к ночи было. Темнело помаленьку. Месяц рога показал. Ну, полощу я рубахи, кладу в корзину. Только последнюю взяла, спустила с мостка... Ка-ак потянет ее у меня, чуть самое в реку не сдернуло. В голове помутилось. Опамятовалась я, а рубаха-то уж на середке Чусовой мелькает, да и потонула на самой глуби. Видно, он себе ее ладил. Вдругорядь девку под тем камнем уволок. Купались девки возле лав, а одна, Грунька, подальше заплыла. И нету ее, и нету. И крику никто не слыхал...

— Может, она просто потонула? — сомневаюсь я.

— Нет, Грунька смелая, сколь раз Чусовую переплывала. Он ее захватил. Красивая была. В русалки, может, взял.

— Кто он? Водяной?

— Водяной, милой, водяной. В каждой реке он есть.

— И в Основинке?

— А как же... И в Основинке...

— А что он ест? Рыбу?

— Может, и рыбу...

Сомнения так и донимают меня. Какой же водяной в Основинке, если течет там в трубе вонючая, масляная, дегтярная жижа. Если давно там ни одной рыбки. Наконец, зачем водяному рубаха? На праздник, что ли, наряжаться. И какой он с виду, этот водяной? Бабушка словно догадывается о моих недоверчивых мыслях.

— А то вот еще многие старики и отец мой видали, как лешачиха рубахи полощет. Вылезет из лавы ночью месячной и хлопает, хлопает хвостом, сама черная, страшная, глаза коровьи, а блестят.

Она говорит так убежденно, просто, и я не знаю, кому верить — ей или отцу, который на вопрос, есть ли взаправду домовые и черти, сказал:

— Никого нет и не бывает. Все это сказки, и ты никогда не бойся. Станет тебе ночью страшно где-нибудь, а ты одумайся, представь это место днем при солнышке, и пройдет страх.

Я понимаю, что правду говорит отец. Но, если от души сказать, мне даже хотелось, чтоб была немножко нечистая сила. Ведь без нее нет сказок. Что за сказка, если ни тебе русалок, ни лешего, ни бабы-яги.

Лечила меня тоже бабушка. Поила малиной, липовым цветом, прыскала святой водой с угольков. Но чаще приходилось ей прикладывать старинный орленый пятак к исправно получаемым шишкам.

— Эко место ты дерешься! Гляди-ка, гляди, какой синяк. Ох, Аника-воин... Не ладно это. Не ладно.

— Чо они дразнятся...

— А ты, милой, отойди, не связывайся. Они подразнят да перестанут.

Редко следовал я этой бабушкиной заповеди. Рос я дикарем, всегда полагался сам на себя, и не припомнить, сколько износил я синяков и ссадин от целой орды всевозможных врагов. Я не вступал ни в какие союзы. Разве только с Веркой, а она драться не умела. Треснут ее, и бежит она к дому молчком, зажимая нос.

Часто приходилось драться с Генкой Пашковым, с ребятами Курицыными. Пашков трусил нападать в одиночку, караулил меня с друзьями. Братья Курицыны наваливались втроем. Я отступал с разорванной рубахой или спасался бегством до своего забора. Здесь храбрость ворочалась ко мне, а враги останавливались. Тут проходила незримая граница, и я был на своей земле.

У Генки Пашкова тоже находились уязвимые места. Едва поспевала рябина в саду у Зыковых и Генка совершал на нее опустошительный набег, я атаковал его комьями глины и бычьими костями, которые заранее запасал, складывая за углом дома.

Вообще драки и войны не были таким уж противным занятием. Каждая сторона находила в них некоторое удовлетворение. Большой злобы на врагов не было. Никто никогда не жаловался, за исключением толстого мальчика Эрнешки Попко. У Попко не было

врагов, не было и друзей. Все ребята в слободке молча презирали румяного «пончика» в полосатом пижамном костюме. У него было две бабушки и домработница Глаша. Целый день, как наседки, они кудахтали над ним. А «пончик» орал, топал ногами и вообще, как говорила моя бабушка, «уросил». Не отличался он и миролюбием.

Однажды Эрнешка влез на забор к Пашковым и стал плевать на черномазого Генку. Расплата последовала тут же. Большая кость прилетела Попко прямо в лоб. Он свалился с забора, завизжал, точно зыковский поросенок, на всю слободу. Сбежались бабушки, мать, Глаша, выскочил важный папа в полосатых брюках.

— Да ты убил его, мерзавец! — орал Попко-старший во дворе у Пашковых.

— И-и-и-и-и, — паровозным свистком заливался «убитый».

Кричали бабушки. Причитала Глаша.

А под вечер сквозь щели забора я и Генка видели прогуливающегося Эрнешку. На лбу у него даже царапины не было.

— Вот гад, а заорал-то! Я думал, взаправду убил,— почесывался Генка.

— Давай накладем ему, ябеде?

— Не-ет! Лучше я у них ночью всю сирень острадую. Айда?

Я сомневался в необходимости страдовать сирень и промолчал.

— Полезешь?

— Нет.

— Боишься? — Генка спросил, конечно, не так. Это уж мой перевод.

Генка говорил иногда будто не по-русски: «дал мазу», «держи пять», «хиляй отсюда». Нельзя сказать, чтоб мне не нравился острый воровской жаргон. Я усердно учился. Да и выражения-то вроде: «Ты, профура, сыпь с маком!» — запоминались на удивление прочно.

Но воровать я не решался. Здесь бабушкины запреты были непереступимы.

— Не зарься на чужое. Кто на чужое обзарится — все свое потеряет,— поучала она.— Старые люди так говорили: «Меряй-примеривай, вешай-привешивай».

И сердилась, когда узнавала, что я работал черпалкой, по целым дням не разговаривала со мной.

Генка предлагал украсть чего-нибудь «на пару».

— Эх, голуби у Сыча — блеск. Уведем?

— Ну тебя.

— Испугался. Ты только на шухере постой.

— Ну тебя.

Черные глаза Генки так и стригли. Они никогда не стояли на месте — все время беспокойно перебегали, наглились, посмеивались под густой челкой. И весь он, маленький, ловкий, напоминал зверька, готового укусить и нырнуть в кусты. Он редко ходил шагом, все бегом, вприскочку, оглядываясь и втягивая голову в плечи, точно так же, как его братья, щеголявшие в рваных пиджаках с рукавами до земли.

Голубей у Сычова он украл. Потом Шурка Сычов совершил набег на голубятню Пашковых.

Сделал он еще хуже. Поотрывал Генкиным голубям головы.

Через неделю кто-то страшно избил самого Шурку Сычова, и я радовался, глядя, как он, весь забинтованный, ходит во дворе.

«Так тебе и надо, кровопийца!» Это был единственный человек, которого я возненавидел навсегда, навечно от всей души и за голубей, и за кур, и за яблоки, и за его совиную рожу.

Иногда я удивляюсь, что в таком окружении я уцелел, не связался крепко с тем темным миром, что доживал в слободке свои последние дни. И его последними жертвами были Генка, Валька Кипин, ребята Курицыны — все они со временем попались на кражах.

Я с благодарностью думаю о бабушке. Нет, не мать. Матери я не боялся. Даже не отец. Где ему было уследить за мной? Бабушка. Меня растила бабушка.

...В конце зимы я заболел. Все тело в один день покрылось мелкой коричневой сыпью, стало вдруг горячим и непослушным. Странно остро ломило в горле. Я понял, что заболел чем-то сильно, необычно. Страшно было и название болезни, тревожно оброненное за дверями толстым доктором. Лысый, губастый доктор приехал под вечер, даже не заглянул в рот, а только велел приподнять рубашку и тотчас вышел, вытеснился в дверь.

Тяжелый жар притягивал голову к подушке. Временами я плыл в густой горячей воде. Я то окунаюсь в нее с головой, иду ко дну среди красных кошмаров,

то выплываю, чувствую мокрый холод на голове, слышу голоса матери и бабушки. И снова тону, силясь вынырнуть, зову отца, бабушку, Верку. Они отзываются. Я что-то говорю им, а что, не могу сообразить.

Очнулся я утром. Уже светило солнце сквозь морозные стекла. Возле топящейся растворенной голландки сидел кот, лизал лапу, тер ею за ухом. А у кровати была бабушка.

— Папа на работе?..— не знаю зачем спросил я.

— Слава тебе, господи, слава тебе,— вдруг вслух замолилась она, а лицо ее сморщилось, затаяло слезами. Они капали на кофту.

— Ты почему?..

— Заговорил, милой, оклемался...

— Дай попить... Я спал, что ли?

— Спал, милой, спал. Жар у тебя был.

Потом я узнал, что пролежал в бреду четыре дня. И четверо суток бабушка не отходила от моей кровати.

Потянулись однообразные зимние дни. Снег медленно летел за окошком. Я смотрел на свои исхудавшие руки, выпрастывал из-под одеяла ноги — они стали тонкие и сухие, как лутошки. Вставать мне не разрешали, но и лежать уже было свыше сил. Однажды я приподнялся, спустил ноги на пол, сел, встал и тяжело грохнулся на четвереньки. Расшиб локти. Ноги не держали меня...

Снова пришлось лежать.

Пошел второй месяц. За окном уж капало. Согнало снег с крыши сенок, и капли по железу выговаривали: «бам», «бам», «бам». Ночью метался мартовский ветер. Плыли куда-то яркие звезды. На чердаке орали коты. Я почти не спал по ночам. Лежал и чувствовал, что во мне что-то ссыхается, съеживается. Я словно прирос к кровати. И все сильнее срастался с ней, беспомощный и нелепо худой. У меня отросли косицами волосы. Вечерами мать и отец прятали от меня испуганно-тревожные взгляды. Если бы хоть Верка приходила. Она и приходила, да ее ко мне не впускали. И тогда она влезала на крышу сенок, к окошку. Приплюскивала нос к окну и глядела. Иногда говорила что-то. Я не мог разобрать и только кивал. А потом плакал, отворотясь к стене. Как хотелось вон из душной, пропахшей лекарствами комнаты! Какими счастливыми я считал тех, кто ходят сами! Неужели я останусь, как

безногий урод Павлуша, которого возят по слободе на расхлябанной визгливой тележке... Мне казалось: выберись я посидеть на крыльцо, поглядеть, как курятся весенним паром влажные доски на солнцепеке, послушать, как вызванивают на березе синички, и я начну поправляться.

Я рассказал бабушке об этом. Она тотчас поднялась, ушла. Ее долго не было. Но вот она воротилась, неся целое беремя сухой лебеды и полыни-чернобыльника.

— Зачем ты? Зачем...— удивленно спрашивал я. Мне показалось, что бабушка сошла с ума.

— А вот, погоди-ка... Погоди-ка...— говорила она и все улаживала странный букет. Принесла чистое ведро. Поставила в углу. И вдруг я почувствовал: в комнате ясно запахло весной, запахло талым снегом и мартовским ветром. Я приподнялся в подушках и все дышал, тянул этот приятный забытый запах воли. От него щекотало в носу. Хотелось плакать... А все-таки стало веселее, стало лучше.

Днем солнышко так тепло смеялось в окошки, разбегалось по вымытому полу. Грохались о крышу побежденные им сосульки. Стеклянным колокольчиком заливался на окне желтоперый щегленок — подарок Юрки.

Ночью я спокойно заснул. А утром вдруг почувствовал, что ноги словно бы ожили, понял, что стану поправляться. Я до сих пор очень уважаю лебеду и полынь.

Стеклянная весна

Непонятный человек ювелир Федор Иваныч. Одутловато-насупленный, он донельзя молчалив и угрюмо суров. Среди ювелиров и гранильщиков слободы Насонов считается одним из лучших. Ему дают самую сложную работу, и с рассвета до ночи можно видеть его перед окошком, как он паяет, клепает, подпиливает. Летом дверь в комнатушку не затворяется, и я с порога тихонько слежу за Федор-Иванычевой работой. Потом, осмелев, я перебираюсь в угол на сундук и там сижу заколдованный, завороженный его умением.

Смотреть, как работают люди, всегда интересно. Чинят ли бесконечно братья Михеевы огромный американский мотоцикл «Индиана»; или кривой, похожий

на старого петуха, плотник Зыков — всегда с плоским карандашом за ухом, с желтеньким складным метром в кармане спецовки — строгает на своем верстаке; копают ли рабочие ямы, выбрасывая сырую оранжевую глину,— мы с Веркой всегда тут.

Без нас не обходится постройка семиэтажного дома на пустыре за соседней улицей. Мы торчим там по целым дням, глядя, как каменщики кладут и ровняют раствор, ловко втискивают в него ряды кирпичей, пристукивают треугольными лопатками. Хорошо глядеть, а еще бы лучше самим взяться — строгать, пилить, класть кирпичи...

Иногда в нашу улицу приходят художники. Они останавливаются почти всегда возле избушки Пашковых. Расставит художник треногу, стул, ящик с красками и начинает по бумаге или по холсту осторожную прорисовку.

Я стою поодаль и постепенно приближаюсь по полшага. Вижу, на холсте сперва блекло, некрасиво, а потом все увереннее, яснее проступает большой тополь, ворота, угол крыши нашего дома, а там и вся зеленая основинская улица, такая похожая и неотразимо запоминающаяся. Как хорошо художник смешивает краски на дощечке, выдавливает их из маленьких тюбиков (вот бы мне такие тюбички). Краску хочется попробовать языком, а самый оловянный тюбик куснуть на зуб. Он берет краску на кисть и кладет на холст осторожно, откидываясь, смотрит, посвистывает тихо.

Все у художника получается словно бы красивее, сочнее. Чего, например, хорошего в гнилой хибаркеразвалюхе? А тут она так живописно покосилась, так хорош над ней тронутый инеями тополь и неяркое небо в длинных перовых тучах. Все бы смотрел да смотрел. Обсуждая с Веркой работу художников, я всегда говорил, что, если бы мне краски, я бы еще получше нарисовал. Мне и впрямь казалось, что дело лишь за ящиком с оловянными тюбиками.

Однажды мать принесла тонкий рисовальный альбом и картонную палитру с налепленными пуговицами красок. Я обрадовался им несказанно, побежал мыть руки. Ну, теперь держитесь, художники! Теперь держитесь! Что бы такое нарисовать? Даже не знаю что... Надо начать, а там видно будет... Я благоговейно обмакнул кисточку в стакан, растер, размочил голубую

краску и положил первый сочно-яркий мазок. Я любовался им с полчаса. Пусть это будет небо, мартовское ясное небо. Я нарисую желтое солнце, ручьи и тающий снег. Только вот какого он цвета, тающий снег? Какого цвета? Дальше дело пошло хуже. Небо получилось матерчато-голубое, жесткое и плоское. На него не хотелось глядеть. Тогда я решил, что не хватает облаков, набрал синей краски — густая грозовая синева перекрыла горизонт, я добавил черной, и туча превратилась в ужасную лиловую грязь. Я повторял опыт снова и снова, пока хватило альбома. Ничего путного у меня не получалось.

Я бросил рисовать. Но краски по-прежнему влекли.

Я видел их в зареве закатов. Голубые, розовые, красные, желтые тона. Эх, если бы научиться, как те художники... А то и краски уже протерлись до дыр, а все толку нет.

Работа Федора Иваныча напоминала все работы вместе. Вот он тянет и вальцует серебряную проволоку. Кует на маленькой наковальне игрушечным молоточком. Плавит на углях блестящие кольца.

Лицо Насонова с красными бровями, переспелой клубникой носа и прокуренными усами немо молчит. Меня старик словно не замечает. Взглянет исподлобья сквозь проволочную оправу очков и снова пилит, плавит, дует на пышущий пламенем уголь через изогнутую на конце февку.

А на верстаке одна за другой появляются серьги с фиолетовыми аметистами. Тихим огоньком лучатся топазы. Желто горят граненые камушки. Временами Федор Иваныч, точно как художники, откидывается назад, воздев брови и очки, смотрит на серьгу, поворачивает в желтых пальцах и наконец тихонько кладет на место. Он шарит в карманах ватных, лаковых от копоти штанов, достает кисет и, скрутив газетную цигарку, наподдевав в нее табачку, сладко затягивается. И кашляет, кашляет, кашляет.

В комнате Федора Иваныча низко. Окна выходят в огород. Крепко стоит запах махорки, кислот, ламповой копоти. Убранство комнаты простое: справа от входа, у окна, верстак, стул с кошмой, по стенам рядами заткнуты за ремни щипчики, напильники, ножовки, пилы, широкие в ладонь и узкие, как струна. Там же сверла, дрели, долота. На окне — пузырь с голубой во-

дой. По верстаку февки, куски угля, керосиновые жестяные паяльники один другого меньше. В треть комнаты русская печь с неметеной сорной лежанкой. Там спит грязная белая кошка Липа. Занавески с цветочками, полка с кастрюлями, сундук в углу, стояла в простенке и железная кровать с тремя подушками в ситцевых наволочках — вот все, что есть у Насонова и его старухи Лизоньки. Детей у них нет и не было. Никто к ним не ходит. И целые дни Лизонька чего-нибудь стряпает или ворожит в засаленные карты. А Федор Иваныч молчит за верстаком, только кашляет долго и смешно: эхе-хе, эхе... хе, эхе... хе — так сто раз подряд.

Смотреть, как работает старик, я прибегал каждый день. Временами мне начинало казаться, что я уж чему-то научился. Вот, например, я и сам бы мог отшлифовать то некрасивое пока, черное и закоптелое кольцо, чтоб стало оно до боли блестящим, бросающим солнечные зайчики по стенам. Я мог бы вставлять камушки с серебряным переливом в золоченую оправу и загибать тоненьким молоточком боковые зубенки держала. Мог бы взять тусклую яшмовую досочку, совсем некрасивую, и отполировать ее до зеркального глянца, когда в полную красоту проступит неповторимый рисунок камня. Мог бы... Однако, помня позорный провал с красками, я сердился сам на себя.

В руках Федора Иваныча все получалось легко и просто. Иногда я замечал, что старик словно бы внимательно поглядывает на меня из-под очков. Но говорить он по-прежнему ничего не говорил. Он и со старухой своей объяснялся почти как немой.

Так было до тех пор, пока Федор Иваныч не запивал. Случалось оно не часто, зато основательно. Обычно запой приходил после большой получки. Утром Насонов завязывал в ситцевый платок «сдачу», надевал рыжую кепку, брал свою железную тросточку и уходил.

А где-то в середине дня на улице раздавалась пьяная песня. Песня приближалась, и, расхлябанив калитку, старик издалека кричал на весь двор пропитым голосом:

— Ллизонька... Цыпонька... Домо-о-й!

Лизонька, сидевшая на лавочке с другими ветхими неудельными старухами, послушно ковыляла в сени. И начиналось беспробудное пьянство. Старики пили оба.

Пьяный Насонов был необыкновенно разговорчив. Он приставал ко всем на дворе, рассказывал разные истории, хвастал. А то плакал мутными слезами, сидя на пороге, грозил Лизоньке рыжим кулаком.

— Нне жена ты... мне... Да! Холостым я родился... холостым и помру...

Лизонька не возражала. Довольно болтливая старуха, в пьяном виде она была молчалива, как мышь.

В такие дни я не ходил к Федору Иванычу, скучал и с нетерпением дожидался конца запоя.

Взрослые удивляли меня. Зачем они пьют водку? Она же такая противная. Ну, если б хоть как фруктовая вода... Пьют для веселья? Но от веселья не плачут... Может, Федор Иваныч напивается оттого, что нет у него детей? Тогда почему еще пуще пьянствует сапожник Пашков, у него детей-то целых шестеро...

Наконец, пропив все, что можно, опухший, еще более одутловатый и суровый старик филином сидел на лавке во дворе, казалось, безучастный ко всему, нещадно смолил махорку. Это означало конец запоя.

Однажды, когда я проходил мимо, Насонов вдруг остановил:

— Ты пощщему ххоdишь ко мне? А?

— Интересно...

— Правда?

— ...

— Я сам вижу. Ты... ходи. Хощщешь, я тебя всему ннаущу... А?

— Хочу.

— Вот и ходи. Все-е тебе покажу. У тебя знаешь что есть... Не-ет, брат, не знаешь ты еще. Нничего-о не знаешь. А вот я знаю. Да. Взгляд у тебя есть... Понял?

— Нет.

— И не поймешь пока. Взгляд — это мно-ого... Да...

Я молчал, несколько даже напуганный и удивленный его речью. Никогда он со мной не говорил, а тут, какой взгляд? Почему взгляд? Спьяну это он, должно быть. Я не любил и боялся пьяных.

А Насонов продолжал:

— Я все-е знаю... Да... Семьдесят первый год землю топщу. Вот какая нонче весна? Какая весна, спрашиваю... А?

— Хорошая.

— Нет. Худая нонче весна... Стеклянная... И снег будет и дождь... Да...

Какой снег?! В мае-то! Стоял светлый безветренный вечер. Небо на закате спокойно-розово. На тополях расхохлатились почки. Малиновка, дрожа хвостиком, пела на коньке сарая. И почему весна стеклянная? Этого я совсем не мог понять, робко спросил:

— Федор Иваныч, как это стеклянная?

— Пощщему? А потому что нет ей настоящей цены. Понял?

Я снова ничего не понял, но промолчал.

Федор Иваныч тяжело встал, плюнул на цигарку и направился домой своей стариковской иноходью.

Я сел на лавочку, так и сяк прикидывал слово «стеклянная» в приложении к весне. Все-таки оно ничего не объясняло. Было известно только, что стекло у ювелиров не ценится, хоть его и часто берут в поделки, мешают с топазами, крашеное «рубиновое» ставят в дешевые перстни и серьги. Но к чему тут весна? Была та весна теплая, ранняя. Рано согнало снег. В конце марта просохли дорожки. Побелели городские мостовые. Скворцы тоже не опоздали. Трава на пустыре проклюнулась вовремя.

Я снова поглядел на небо. Закат был чист. Лишь одно узкое облако, точно белое разлохмаченное перо, протянуло острие на синеющий север. Большая звезда мигала там.

И разве станет малиновка петь к ненастью? А она продолжала свою грустную песенку теперь уже прямо возле меня на выступающей повыше доске забора. Где-то малиновка будет гнездиться нынче? Каждое лето мы искали ее гнездо. Не для того, чтобы зорить. Нет. Но было страшно интересно взглянуть на нежно-голубые яички, лежащие грудкой средь соломинок, перьев и травинок в гнилой выемке бревна под застрехой.

В детстве вообще очень хочется искать гнезда птиц, будь это хоть даже обыкновенная курица.

Куриц у нас держали много. Неслись они в конюшне. Но часто находил я и потаенные гнезда на сеновале и под крыльцом. В прошлом году потерялась породистая красная кура, которая несла крупные желтоватые яйца с мелкими крапинками. Куру искали по всему околотку. Мать ругала меня и бабушку. Курицы не было. И все решили, что она как-нибудь прокралась к Пашко-

вым. Оттуда курицы не возвращались. А дней через пять я обнаружил пропажу. Курица сидела в дальнем углу огорода, в дремучей картошке. Со всех ног я пустился сообщить о находке, но, добежав до сенок, остановился. А что, если дождаться, пока она выведет цыплят, и объявить тогда? Сказать о находке очень хотелось, так и подмывало, но было мне жаль гнедую хохлушку. Таких вот «паруний», которые начинали с квохтаньем искать место для гнезда и вечно куданибудь девались, мать и бабушка подвергали настоящей пытке. Хватали курицу за крылья и купали в бочке с холодной водой.

Чтоб никто не узнал о моей затее и курица какнибудь не объявилась, я заделал все лазы и дыры в заборе, а парунье носил каждый день горсть овса и консервную банку воды. Сидела она очень долго. Еще дней шестнадцать. Я уже устал ждать, решил рассказать бабушке, как вдруг услышал под вечер, что клушка с кем то разговаривает. «Квох, квох»,— мягко кудахтала она. Желтенькие пуховые шарики перекатывались у нее меж лапками. Их было целых одиннадцать.

Я подождал два дня, пока цыплята подрастут, и торжественно пригнал семейство к самому крыльцу.

Удивлению всего двора не было конца. Бабушка и мать изумлялись так, будто цыплят выпарил я сам, а не добрая толстая квохтуша. Меня редко хвалили, и я от смущения убежал в огород, ведь, если по правде сказать, цыплят мы с наседкой вывели просто ради озорства.

...Долго я сидел на лавке, припоминая разные случаи и проказы, и поплелся спать лишь после двадцатого обещания выпороть «как сидорову козу».

Кто был тот Сидор, что за бедная его коза — мне неизвестно, а обещание такое я слышу каждый день.

Я не люблю спать. Не люблю, если мать и отец в выходные ложатся спать днем. Бывает, в солнечный полдневный зной такой невыносимой скукой веет из родительской комнаты вместе с храпом и посапыванием. Мне тоже приказано спать Я ворочаюсь, комкаю простыню Скучно жужжат мухи под потолком. Солнечные пятна еле-еле ползут по стене. Еще когда-когда они доберутся до угла, и все будут вставать. В конце концов удираю, потихоньку отворив окно, на сени Кипиных, оттуда по двери вниз и — я на дворе.

...Ночью пробудили стук и шорохи. Прислушался. По стене шуршал, царапался дождь. Ветер с маху бросался в рамы. Брякало железо на кровле, словно кто-то ходил там редкими шагами. Я слез с кровати и откинул штору. В мутной тьме сыпал снег вперемешку с дождем. Качался фонарь на уличном столбе. Перед ним беспрерывно и косо летели снежинки.

Снег. Все было так неожиданно, что, уже лежа под одеялом, я не мог заснуть, с тревогой думал о скворцах и о той малиновке, у которой уже, наверное, гнездо. А ласточки? Как же будут ласточки? Ведь они ловят букашек только в воздухе.

Наутро была полная зима. На четверть, как сказала бабушка, выпал снег. Злой ветер задувал с севера. Деревья, покрытые замерзшим дождем, обратились в ледяные. Удивительный стоял сад Сычова, весь в ледяной коре, в сосульках, блестящий и холодный. «Вот она, стеклянная весна»,— с уважением вспомнил я слова Насонова. Сад и впрямь позванивал, как стеклянный.

Я бесцельно бродил по снегу. Следом ходила собака. Она радовалась снегу и то принималась кататься, ерзать на спине, подняв лапы кверху, то поддевала мордой снег, глядела лукаво, приглашая подурачиться.

К вечеру снег повалил с новой силой. Бабушка говорила, что так же было лет сорок назад, в какую-то троицу.

И новое утро было не лучше. Метель. Ветер. Холод. Я чуть не плача грозил ветру кулаком. Не стало скворцов в моем скворечнике. Малиновку я видел под навесом. Она бегала по земле, прыгала по ящикам. Я набросал ей крошек, но птичка даже не поглядела на них. А под вечер я вытянул из снега за крыло мертвую ласточку. Она уже закоченела, один глазок прижмурился, другой мертво глядел на меня. Ласточка... Я всегда ждал их прилета. Радовался, когда долгохвостые говорливые птички вдруг появлялись, прямо из неба, на проволоках телеграфного столба. И вот ласточка погибла. Наверное, и остальные тоже. Их было четыре.

Я погладил птичку по спине, попробовал посадить на палец, подышал, слабо надеясь, что она как-нибудь оживет. Ничего не получалось. Птичка по-прежнему тускло глядела одним глазком, и так же были взъерошены красноватые перышки на ее горле. Ласточка

умерла. И, пожалуй, то был первый случай, когда с такой очевидностью я понял сущность смерти и возненавидел ее от всей души.

Я зарыл ласточку в снег за сараем. Пошел домой, отирая горячие слезы.

В это время отворились сенки Федора Иваныча. Старик с порога замахал рукой.

— Зайди! — сказал Насонов. Наверное, он в первый раз говорил со мной трезвый.

Я переступил порог. В комнате жарко топилась печь. Лизонька стряпала пироги с сырым мясом. А на печи, отгороженные обрывком рыбачьей мережи, бегали десятка полтора мокрых, черноглянцевых и взъерошенных скворцов.

— На пруду... Возле плота подобрал. Совсем озябли... Пурхаются в снегу, а силы лететь нету,— говорил Федор Иваныч и незнакомо улыбался. Вечно хмурое лицо его оттеплело.— Чем кормить-то? Им червяков подавай. И то всех им вытряс. На леща заготавливал...

— Они хлеб едят и кашу. Можно в молоке хлеба намочить,— посоветовал я.

— Ну это устроим... Главное, чтоб... Цыц, проклятая! — топнул он на кошку, которая тихо-тихо пошла к приступку, не сводя алчных глаз с печи.

— Унеси-ка ее хоть к Кипиным. Наделает она мне делов,— сказал Федор Иваныч.

Снег стаял лишь на пятый день. Пар закурился над землей. Вернулись мои скворцы. И малиновка уцелела. Через неделю снова чисто звучал ее малиновый голосок. Только ласточки не воротились. С тех пор их уже не было на старом сарае.

Бабочка француза Мореля

Бабочек я боялся. Нет, не всех, а только ночных. У них толстые мягкие брюшки. Они ворсистые и мягко трепещущие. Мне ни за что не взять их в руки. Может быть, это с тех пор, как жили мы в деревне Крутихе, когда поутру, повернув подушку, я в ужасе вскочил: из-под нее поползли, волоча раздавленные брюшки, две оранжево-пятнистые и черно-белые бабочки-медведицы. Было в них что-то невыносимо противное, как в гусеницах, отчего вздрагиваешь и передергиваешь плечами.

Зато дневных или, как их называют, булавоусых бабочек я ловил столь же охотно, как и жуков. Они тоненькие, яркокрылые, совсем не страшные.

С бабочками связано много славных воспоминаний.

Апрель. Бурые проталины в огородах. Мокрая парная земля. Скворец, хрипло орущий, высвистывающий на скворечнике. Синее, синее, синее небо. Первое тепло, и первая крапивница рыжим лоскутком так и мелькает по сухим репьям. Чего ест? Что пьет та бабочка? Чем жива? Носится по огороду, как шальная, и веет от нее летом. Может, и впрямь она рада солнышку, весне и земле — так же рада, как мы с Веркой.

Летний вечер. Я закрываю окно. Зажигаю свет. И сотни бабочек летят на него, стукают о стекло, взбираются по нему. Это совки, пяденицы, монашенки. Поглядите — глаза их светятся, точно у настоящих сов. Они кажутся маленькими злыми духами из волшебной сказки. Они хотят ворваться в комнату. Ерунда! Это обыкновенные бабочки... Обыкновенные? А почему они летают по ночам? Почему такие колдовские узоры на их крыльях? Почему они складывают свои крылья, словно волшебники и монахи свои мантии? Почему они могут гудеть и даже словно пищать? Почему они летят на огонь? Тысячи почему...

Я внимательно оглядываю все углы, нехотя гашу свет, укладываюсь, закрываюсь с головой. Долго еще чудятся мне мягкие стуки за окном. Это «они» пытаются пробраться ко мне. Странное дело, ночные бабочки словно знают, что я их терпеть не могу и, залетая в комнату, обязательно направляются только ко мне, норовят сесть на голову или попасть за ворот...

Вздрагиваю, засыпая.

А утром непременно нахожу две-три темные совки на подоконнике, треугольником сложившие свои крылья. И как только бабочки пробрались сюда?

Дневных бабочек летает много. Но для коллекции попадаются не часто. Сколько переловишь в огороде за день, а все крапивницы да белянки. В ящике из-под иконы у меня собраны самые крупные крапивницы. Есть похожие на них репейницы, а дальше все капустницы и желтушки. Была еще бабочка «павлинье перо» — кирпичная, с голубыми глазками, и еще были две великолепные траурницы, черные, с белой каймой.

Раньше траурницы никогда не залетали во двор. Но

вот в конце лета нам привезли сырой осинник на дрова. Отец распилил зеленокорые бревна на кругляши, и весь двор на несколько дней пропах сладко-горьким осиновым соком. Выйдя утром на крыльцо, я тотчас метнулся в сени за сачком. Черные большие бабочки красиво кружились и порхали над дровами. Бабочки присаживались на чурбаки, пили желтое осиновое вино. Тут же на торцах сидели синие мухи, мелкие жуки, кучки лесных клопов. Откуда их столько?

Массовый прилет лесных бабочек я сразу связал с дровами. Но как же бабочки узнали, что нам привезли сырой осинник? Позднее, читая в книгах Фабра о невероятном чутье насекомых, я всегда вспоминал случай с траурницами.

И все-таки моя добыча никуда не годилась в сравнении с коллекцией Мыльникова. У Димки настоящие лесные бабочки. В центре коробки желтый с черным махаон — чудесная тропического вида бабочка. Когда я гляжу на его узорные крылья с длинными хвостиками на концах, мне сразу грезятся Бразилия, река Амазонка в розовых туманах, индейские лодки, гигантские бабочки, пауки, ягуары, лягушки.

Есть у Мыльникова другая великолепная бабочка — аполлон. Тоже огромная, белая, с красными пятнами в черных ободках, а еще была в коробке переливница — совсем волшебное насекомое. Смотришь: одно крыло у нее шелково-голубое, другое кофейное, с белым крапом, а повернешь коробку, и то, что было коричневым, тотчас вспыхнет электрическим бликом, а прежнее голубое померкнет. Переливница! На пустырях и свалках такие бабочки не встречались.

У коробки с Димкиными бабочками я мог бы сидеть долго, но Мыльников не позволял. Едва показав свои сокровища, он тут же убирал их.

— Постой! Дай еще поглядеть...

— Обрыбился! — Это было его глупое слово.

— А, жи́ла! Жи́ла ты, понял...

— Тресну!

— Ты! Ты! Мыльница-кадильница...

Мыльников никогда не вступал в потасовку. Забрав коробку, он удалялся домой и запирал дверь. Я плелся к себе, вспоминал о прекрасных бабочках, сердясь на отца, который никак не берет меня в лес. В лесу-то я наловил бы...

Мой отец осенью и весной часто ездил на охоту. Возвращался он дня через три. И с каким же нетерпением ждал я его! Сколько раз в утро выбегал за ворота!

Отец никогда не ворочался без добычи. Никогда не говорил сразу, что привез. Правом открывать его огромную суму-рюкзак пользовался я один. И я доставал из этой пахнущей лесом, порохом и пером сумы белобрюхих тетеревов, пепельного цвета рябчиков с красными бровями, долгоносых вальдшнепов в ржавом пере.

Осенью отец приносил зайцев и белых куропаток с мохнатыми, словно бы не птичьими, лапами. А как был огромен тяжелый осенний глухарь! Поднимешь птицу за жесткие лапы — клюв все равно достает до полу. Весной чаще в суме были утки: чирки, кряквы, тонкоклювые лутки, нарядные гоголи.

Эти богатства шли из лесу. И еще отец часто рассказывал, как встретил то ящерицу, то жабу с кулак величиной. А на бабочек и жуков он внимания не обращал. На все расспросы только рукой махал.

— Да, много, много...

— А когда меня в лес возьмешь? Когда?

— Ну, подрасти еще. Мал. Уходишься...

— Ты бы не на охоту, а просто так. Недалеко.

— Недалеко возьму...

— Когда? Завтра?

— Вот уж и завтра! Будет время свободное...

Но этого свободного времени как раз никогда и не было. Большой портфель отца был всегда набит бумагами, папками, скоросшивателями. После ужина отец раскладывал бумаги по столу и за полночь писал, щелкал на счетах, а мать ворчала, что ему «надо больше других». По выходным дням оба они уходили на субботники, на Уралмашстрой. А еще отец работал в Осоавиахиме и в Мопре. Занимался в кружке ворошиловских стрелков. Он носил красивый снайперский значок — предмет моей великой гордости. У редкого папы был такой значок.

— Ну когда же в лес? Когда? — ныл я вечерами.

— А вот как-нибудь освобожусь от дел только...

Наконец мы едем за бабочками в лес. Едем недалеко, на трамвае, но все-таки едем. Мы — это отец, Верка, я и черная охотничья собака Мушка в ременном наморднике. Мушка — вогульская лайка с медвежьей мордой. Она невысокая на лапах, но крепкая и сильная. Отец привез

ее взрослой из Старой Утки от охотника-промысловика. Дважды Мушка перегрызала ошейник, убегала искать прежнего хозяина. Оба раза возвращалась через неделю, на брюхе ползла до калитки, вымаливая прощение. Никто никогда не бил ее. С ней играли мы в наши простые игры. Она возила нас на санках. Слизывала мои слезы, когда приходил я к конуре поплакать от обиды или боли. Не у каждого ли в детстве была такая добрая собака? Собаки ведь любят детей, а дети любят собак.

От трамвайной остановки мы долго шагали по пыльному тракту мимо строек и карьеров, пока не вошли в редкий сосновый бор. Он шумел на угоре. Тонкие свечи-сосны спускались в травяной ложок. Поблескивала в осоке речка.

Славно было здесь в безмятежный июньский день с легким и теплым ветром, шорохом сосен, песенками зябликов в их вершинах. Хорошо пахло земляникой и сосновой смолой.

Отец расположился на бугре в тени, раскрыл книжку. А через минуту, уткнувшись в нее, он уже крепко спал. Собака лежала возле, часто дышала, посмеивалась глазами.

Мы побегали вдоль речки по озеринкам и стали совещаться.

— Айда в лес за бабочками! — звал я.

— Бабочки-то вон где!

— Где?

— Там,— Верка показала на разноцветный луг.

Она точнее ориентировалась в обстановке. Ее доказательства были не очень подробны, зато всегда верны. И вообще во многом она превосходила меня. Взять те же ягоды. Я их плохо вижу, хожу, топчу, а она идет и наклоняется, собирает, собирает, собирает.

— Нá...

— Сам найду...

— На...

— Отстань. Сказал, сам наберу.

— На...— Ее облачные глаза так хорошо и спокойно смотрят, что всякая спесь сразу слетает.

Верка лучше меня играет в мячик. Верка может не один час простоять в очереди. Верка умеет вязать...

Мы сняли сандалии. По колена в прохладной воде перебрались на ту сторону.

На косогоре стояла ветхая изгородь в две жерди.

— Полезли!

— Ой, боюсь! — вскрикнула она, отступая.

По жердям сидели рядком осы не осы, шмели не шмели, а ужасной величины черно-мрачные существа. Где же нам было знать, что это ведьмы из мира насекомых — хищные мухи-ктыри, которые ловят разных букашек, сосут из них кровь.

— О-о, какие страшные! Как начнут нас жалить! — боязливо пятилась Верка еще дальше.

Жуткие мухи словно сговорились не пускать нас на луг.

— Погоди,— сказал я.— Счас их песком.

— А вдруг они на нас?

— А мы тогда папу разбудим...

Наши сомнения разрешила Мушка. Ей надоело лежать в тени. Она подошла к воде, напилась, переплыла речку, отряхнулась радугой мелких брызг и, лукаво оглядываясь на отца, полезла по откосу под прясло.

Часть мух слетела, а одну я сбил комом мокрого песка, затоптал ее с победным кличем, и мы перелезли в цветы.

— Бабочек-то! — вырвалось у нас в один голос.

Все пространство луга, вплоть до молодого березового леса, кипело, жужжало, гудело насекомыми. Шмели недовольно грозились нам. Полосатые мухи, точно подвешенные на невидимых нитях, стояли над цветами. Вишневые жуки-бронзовки дремали в кистях таволги. Кто-то стремительно пролетал взад и вперед, так что не успевал охватить глаз. Но бабочки! Сколько их здесь было!

Мы бросились ловить их. Мы совали их в коробки и морилки. Взмах сачка — и шуршит, трепещется в марле лесная перламутровка, сероватая шашечница, маленькая нежная голубянка, красная, как кумач, бабочка-червонец.

Много бабочек. И все-таки скоро мы убедились, что и здесь попадаются чаще одни и те же. Ведь дневных булавоусых бабочек на Урале немного — около восьмидесяти видов.

Конечно, улов наш богат. Нам попались шафрановые желтушки, оранжевые, словно мандарин. Есть одна полосатая — такой у самого Димки в коробке нет. То-то он, Мыльница, теперь попросит.

Мы гонялись за зелеными и красными кобылками,

ловили огромных серых кузнечиков с длинными усами и наконец повернули обратно, потому что ушли далеко от прясла.

Вдруг Верка взвизгнула, замерла на месте.

— Змея!

— Где? Где? Где?

— Вон! О-о, какая!

Мне странно даже самому — змей я не боюсь. Ночные бабочки куда страшнее. Я не испытываю отвращения к ящерицам, жабам, лягушкам...

В траве лежала сероватая змея с черными ромбиками по хребту. Она не двигалась, точно мертвая.

— Спит она, что ли?

— Не подходи...

Змея беспокойно шевельнулась. Голова у нее была маленькая, треугольная. Черный язычок вдруг заполоскал, заплевался у нее изо рта.

— Беги, Коля! — крикнула Верка.

Нет, я не побегу. Мне интересно посмотреть на живую змею. Я никогда не видел настоящих змей.

Наверное, гадюке надоело назойливое любопытство. Она развернулась и стала ввинчиваться в траву.

Чем-то злым и холодным точно повеяло на меня. А что, если б Верка наступила... Она укусила бы Верку!

И я треснул сачком по уползающей змее. Раз!

— Ага? Закрутилась! На тебе! На! На! А, ты кусаешь палку! Ну, погоди.

Змея сипела, клевала палку сачка, разинув маленькую пасть под прямым углом. Я выждал мгновение и так метко и крепко хватил по треугольной голове, что палка сачка треснула пополам. Я думал, что Верка убежала. Но оказалось, она стоит за спиной, вся белая, зажав щеки ладонями.

— Ха, испугалась! Видала, как я ее...

Девочка молчала. Но и без слов было ясно: высоко поднялся я в ее глазах и все из-за одной несчастной гадюки, которую, может быть, не стоило убивать.

Мы обошли змею стороной.

Теперь Верка очень внимательно глядела под ноги. При каждом шорохе она хваталась за мою руку. По правде сказать, не очень приятно знать, что на такой солнечной луговине есть змеи.

Огромная желтая бабочка вдруг сорвалась с кустика полевой акации и замелькала впереди.

Махаон! Настоящий!

— Вон он! Вон! — завопил я, бросаясь в погоню. Я сразу забыл обо всем на свете и мчался, прыгал, летел, стараясь догнать стремительную бабочку.

Махаон повернул к березняку, покружился над зарослью синих цветов и снова полетел вперед.

Вот я догнал его. Раз-раз! Мимо. Раз! Мимо. Сачок короток, палка обломлена.

А бабочка помчалась с такой скоростью, что через минуту исчезла из виду.

Эх, и надо же было бить ту проклятую змею...

А Верка между тем к кому-то подкрадывалась. Хлоп. Поймала.

— Эй, кого ты там?

— А вот, иди...

— Кого поймала?

— А этого... махаона...

— Врешь?

В ее сачке действительно сидел большой желтый, с черными узорами, драгоценный махаон. Она поймала его на том же кустике цветущей полевой акации. Любят они акацию, что ли?

Осторожно-осторожно мы достали прекрасную бабочку. Вот она уже шуршит в отдельной коробке.

— Ты его себе?..— печально спрашиваю у Верки.

— Нет... Я тебе...

Так началось мое знакомство с настоящими лесными бабочками. Впоследствии отец все чаще брал меня в лес, и редкие бабочки пополнили мою коллекцию. Я поймал аполлона, переливницу, даже тополевого ленточника — крупную темную бабочку, с белыми пятнами и перевязками. О каждой из них можно было бы написать не одну страницу, но расскажу я только, как ловил действительно большую редкость для севера — бабочку «мертвая голова».

Это таинственное насекомое очень привлекало меня. В журнале «Вокруг света», что сбивчиво читал нам Юрка, рассказывалось, как француз-ученый Морель заблудился в лесах на Амазонке. Он погнался за необыкновенной гигантской бабочкой, и она завела его в такие дебри, откуда не смог он выйти назад. Сорок лет прожил в лесах отшельником Морель. Множество насекомых он собрал. Такой коллекции не было ни у кого в мире.

Но за столько лет жизни без людей Морель разучился говорить, забыл свое имя. Полубезумным стариком вернулся он на родину — был случайно найден какой-то научной экспедицией. В предисловии говорилось, что основой для повести писатель Беляев взял действительный случай.

Ученый Морель так и не встретил больше ту бабочку, за которой погнался в первый раз... Бабочку «мертвая голова».

Как-то утром я вышел в огород по обыкновению с сачком на плече. Весь огород был в солнечной росе, капельки ее сияли и переливались. Я медленно шел по борозде. Сильное гудение привлекло мое внимание. В углу огорода, возле забора, над зонтиками семенной моркови кружилось что-то огромное и непонятное. Летучая мышь? Ночная бабочка невероятного размера? А почему днем?

Теперь я ловил в коллекцию и ночных бабочек, но делал это так: накрою сачком и бегу за Веркой. Она-то их не боится и достает спокойно, а я, содрогаясь от страха, жду где-нибудь за углом. Да, да. Не смейтесь. Что ж тут смешного? Боятся же некоторые червей, пауков, пиявок, тараканов, мышей, а я, наоборот, никого из них не боюсь. Высушенных и расправленных бабочек Верка отдавала мне.

«Наверное, бражник»,— подумал я, боязливо подходя ближе. Гигантское насекомое сантиметров пятнадцать в размахе крыльев парило с гуденьем, и гул напоминал отдаленно грохот военного истребителя.

Ловить или не ловить? Ловить или не ловить...

Я шагнул, прицелился. Хлоп! И гудение прекратилось. Кто-то сильный, желто-темный отчаянно бился в реденькой марле. Я решил взглянуть, кто там.

Приоткрыл сачок и... Навстречу мне со злобным писком ползла, вибрируя крыльями, фантастического размера не то бабочка, не то оса...

Я содрогнулся, швырнул сачок, стрелой вылетел из огорода. Никогда еще не испытывал такого дерущего страха, как в тот раз. Даже сейчас пишу, вздрагиваю.

Вышла из сенок заспанная Верка. Я рассказал о случившемся. Молча она пошла в огород, принесла пустой сачок.

— Этой-то и ты бы испугалась,— уверял я.— У нее череп с костями на спине. Крылья черные с желтым,

а брюхо — во какое, полосатое, как у осы. У, какая страшилища! Как запищит на меня: и-и-и-и.

— Она кусается, наверное... Такая-то...

— Может, и кусается,— неуверенно сказал я и плечами передернул.

Так и кончилась моя встреча с той самой бабочкой, за которой, как видно, гонялся француз Морель.

Школа

Кто из ребят не ждал этого дня... Ты идешь по улице с портфелем, с букетом георгинов и астр, наглаженный, чистый, с промытыми руками и шеей. Идешь, запинаясь новыми ботинками, сам весь новый, незнакомый для себя. Идешь первый раз в школу первого сентября.

Как долго не приходил этот день! Сколько раз провожал я в школу счастливчиков, кто был старше. Пошли в школу Юрка, Димка Мыльников, Верка, а мой срок все не наступал.

Двухэтажная начальная школа № 18 была совсем недалеко, на углу улицы Свердлова. Я часто бегал возле ее окошек — смотрел, как учится Верка. Она подмигивала мне с парты у окошка...

В школу меня никто не провожал. Отец и мать были на работе, а бабушка топила печь. Она вывела меня за ворота, перекрестила, заплакала...

— Ступай с богом...

И я пошел. Я был бабушкин внучек.

— Как звонок прозвенит — сразу домой беги,— вдогонку крикнула она, улыбаясь и плача одновременно.

«Ясно домой... Куда же еще»,— думал я, шагая степенно, солидно: пусть все видят, в школу иду. Мне казалось, что прохожие глядят только на меня. В это лето я заметно подрос, выглядел старше своих восьми лет. Впрочем, восемь мне еще не исполнилось.

У школы и на крыльце толпилось дополна маленьких ребятишек и девчонок, тоже с портфелями, ранцами, букетами. Было много бабушек, мам, учительниц. Были здесь и знакомые ребята. На крыльце в обычной грязной рубахе сидел средний брат Курицын. Сновал в толпе Генка Пашков. Толстый Эрнешка щурил один глаз,

подпертый пухлой щекой, переминался с ноги на ногу. Его привели сразу обе бабушки.

В школу пока не впускали. Толпа шумела и галдела. Пищали девчонки. Эрнешка показал мне круглый язык. Я плюнул ему на ботинки и хотел дать раза, да тут индюшкой закудахтала одна из бабушек, и я скрылся в толпе.

Вот на крыльцо вышла заведующая Клавдия Васильевна, худая женщина со впалыми глазами. Она строгая, в белой кофте, в длинной черной юбке. Шум затих. Начали выкликать по списку 1-й «А». Там меня не оказалось. Вот и 1-й «Б» построился, гуськом потянулся в школу. И там меня нет. Ушел Генка Пашков, с которым на сегодня у нас получилось негласное перемирие. «Неужели меня не приняли? Наверное, потому что мне нет еще восьми»,— подумал я и так испугался, что ноги у меня задрожали. Я хотел уже кинуться домой, но тут стали выкликать 1-й «В» и где-то в середине назвали мою фамилию.

Я встал за мальчишкой в нахлобученной кепке, из-под которой, как ручки у тазика, торчали уши. Мы двинулись в двери, вверх по желтой новокрашеной лестнице с точеными перилами.

В школе пахло олифой и краской. Класс оказался большой, светлый, со скучно-голубыми стенами и высоким потолком. Ничего в классе не было, кроме парт, доски на ножках, портрета Ленина да еще таблицы с цифрами и крестиками. Кажется, такая таблица была на корке тетради. Верка все учила ее, и я тоже знал немного: «Пять у пять — двадцать пять, пять у восемь — сорок восемь», что ли...

Мы усаживались, шумели, спорили из-за парт, пока не вошла учительница.

Марье Васильевне Хмелевой было лет под семьдесят. У нее учился еще мой отец. Она высокая, прямая, с золотой брошкой на вороте белой кофты. О ее необыкновенной строгости и черствости ходили легенды. Отец говорил, что за малейшую провинность учительница ставила его к доске на целые дни, а Верка, например, рассказывала, что Марья Васильевна так громко стучит ногами на учеников, что в их нижнем классе с потолка сыплется мел.

Со страхом и любопытством смотрели мы на первую учительницу, пока она вызывала нас по журналу

и пересаживала так, чтобы мальчик сидел с девочкой. Лицо учительницы и впрямь было неласковое и совсем не напоминало добрых тетей с открыток «1-е сентября». Лицо Марьи Васильевны, как я сейчас представляю, чем-то напоминало Ивана Грозного на знаменитой репинской картине.

Серые мутноватые глаза устало обводили нас, ненадолгу задерживались на каждом. Руки были худы и жилисты. Нет, не понравилась мне учительница.

Соседкой моей, вместо брата Курицына, оказалась черненькая девочка Варя с приятным приподнятым носом и смородиновыми глазками. Она только раз косо и быстро взглянула на меня и отвернулась насовсем.

Марья Васильевна велела доставать тетрадки с карандашами, подошла к доске. Стали писать палочки.

Я старательно выводил их, вдавливая карандаш. Сравнивал с соседкой и был доволен: у нее получалось намного хуже.

— Эх ты, каких червяков пишешь! — не утерпел я.

— Эт-то кто?! Предупреждаю. На уроках не разговаривать. Чтоб муха пролетела — слышно...

Я испугался, смутился, снова принялся за свои палочки.

Варя писала, писала, вдруг уронила карандаш и заплакала.

— Что такое там?!

Варя молчала.

«Сейчас Марья Васильевна как поставит ее к доске»,— со страхом подумал я.

— Встань! Перестань плакать! Сядь. Пиши снова,— сказала учительница.

Я думал, что соседка разревется еще сильнее, а она села, высморкалась в платочек и начала писать.

Самый маленький в классе, востроносый и похожий на мышонка мальчик в вельветовом костюме вдруг пошел к выходу.

— Черезов? Ку-у-да?

Мальчик смущенно отвернулся к стене.

— Куда ты? Сейчас же на место!

Мальчик стоял.

— Ну?!

— Я... по-маленькому хочу,— чуть слышно сказал он.

И тут забрякал звонок.

«Ха, и делов-то в этой школе»,— подумал я, забирая свой пахучий клеенчатый портфель, и пошел из класса восвояси. Я был доволен, что школа так хорошо и скоро кончилась и сейчас можно будет дома играть в солдатики, рассказывать бабушке, что как было, есть суп на кухне.

Я спустился по широкой лестнице, где взад и вперед сновали ребята. Направился к двери.

— Мальчик, ты почему с портфелем? Куда идешь? — остановила меня в дверях незнакомая толстая учительница с красной повязкой на рукаве.

— Я домой...— спокойно ответил я.

— Ты болен?

— Нет. Мне бабушка сказала, как прозвенит звонок, чтоб сразу домой.

— Ха... ха... ха... Ну и смешной же ты. Так ведь только первый урок кончился... Еще три урока будет. Понял? Ну-ка иди обратно. Сима, звони.

Придурковатая техничка Сима, которую знали в слободке все, забрякала медным звонком.

И каким же долгим, невыносимо скучным показался мне второй урок, когда писали мы снова эти дурацкие палочки и загогулинки. Это мне-то! Который уж давно умеет и писать, и читать! С чувством оскорбленного достоинства я машинально выводил палочки, раздумывая о своем бедственном положении. В школе вообще трудно. После почти неограниченной свободы не повернись, не стучи ногами, не разговаривай, гляди на доску. Попробуйте-ка просидеть так целых четыре часа!

Зачем мне палочки? Лучше бы учиться по-веркиному. Мы и разговаривали, и хохотали, и ногами болтали, а ведь научился я? Научился. Эх, если б Верка училась со мной! Мы бы сели с ней вместе и хоть шептались бы потихоньку. Даже этого не надо — Верка все с одного взгляда понимает. А эта Варя таращится на меня, будто я ее съем. Нет! Второй урок, наверное, никогда не кончится. Наверное, время остановилось. Или Сима заснула там внизу.

Как долог, мучительно долог час...

От скуки я стал отколупывать капли полузасохшей краски на краю парты, считал мух на окне, разглядывал затылки... И вот он наконец, освободительный звонок.

Все словно подпрыгнули и разом заговорили.

— Эт-то что такое? Без перемены хотите остаться? Звонок для меня. Поняли? Встать! Окончен урок. Идите теперь...

Теснясь и толкаясь, мы вывалились в коридор, и я припустил по нему так, что чуть не сбил с ног ту же толстую учительницу с повязкой.

— Опять ты? Ну и озорник... Разве можно так бегать...

Я подумал, что могу бегать и не так еще.

Зато на школьном дворе я набегался до колотья в боках. Как не хотелось идти обратно в пахнущую краской школу. Я увидел Генку Пашкова. Он засовывал книжки под рубаху.

— Удрал? — догадался я.

— Делов-то! Мы с Курицей голубей гонять пойдем. Айда?! — Он отбежал подальше.

Я увидел брата Курицына, неторопливо идущего вдоль забора.

— Айда? — повторил Генка.

Я не решался.

— Ну и вот тебе! — Генка запустил в меня камнем и убежал.

Опять звонок. Я заткнул уши. Без конца звонок. Неужели целых десять лет пройдет теперь с этим звонком?

На третьем уроке мы складывали и считали палочки. Дело знакомое. Я умел вычитать и складывать до ста. А тут в пределах десятка и то многие путались. Малыш Черезов на вопрос, сколько будет два да два, ответил «три». И замигал мышиными глазками под смех всего класса. Варя тоже считала плохо и не по палочкам, а по пальцам...

День за окном стоял, как нарочно, сухой, солнечный, тихий. Такие дни редко выпадают даже в сентябре — тепло по-летнему, а чувствуешь по запаху, по низкому солнышку, что уже осень, хорошая осень на дворе. В окно мне видна желтая вершина одного из сычовских тополей. Тополь этот растет ниже других у самого забора. Весной очень рано он зеленеет, покрывается листом. Но так же рано и желтеет, облетает донага. На этом тополе весной поют скворцы, садятся пролетные дрозды, по зимам трещат сороки. А один раз кружилась возле тополя настоящая летучая мышь. Словно большая трепетная бабочка, она то выныривала из вечернего

сумрака, то взмывала к вершине, то бросалась в сторону и пропадала.

Юрка сказал, что если надеть белую рубаху, мышь сядет на нее. Сломя голову я помчался домой. Но пока бабушка искала рубаху, а я ее надевал и бежал обратно, мышь улетела совсем.

— Ну-ка, Никитин, сколько будет? — вернул меня к действительности жесткий голос Марьи Васильевны.

Я встал. Я не слыхал вопроса. Переспросить боязно. Не отвечать нельзя. Я ляпнул наобум: «Пять». Класс захихикал. «А сам-то, сам-то!» — сказала Варя. Оказывается, надо было ответить, сколько три да три...

Я пришел из школы с видом делового и усталого человека. Впервые я устал как-то по-особенному. Впервые пришла мысль: «А ведь папа и мама работают так целые дни». Да и так ли? Ведь все уроки я больше бездельничал да глядел в окно. Почему же я устал? Я степенно обедал. Не отказался ни от супу, ни от каши. Бабушка стояла у печки подпершись, глядела, как я ем.

— Трудно, милой, ученье-то?

— Ага...

— Строгая Марья-то Васильевна?

— Ага.

— Ишь, как проголодался. Ешь давай, ешь. С хлебом ешь...

А после обеда я вышел на крыльцо поиграть и с удивлением понял, что день прошел. Уже вечерело. Неужели теперь всегда будет так? И все-таки к горьким сожалениям об утрате свободы примешивалась новая гордая мысль: теперь уж я не маленький, я ученик, я буду учиться, как и все.

Двойка

— Двойка, Никитин! — сказала Марья Васильевна.

Я, дотоле сидевший в полусонном благодушном созерцании голубого тихого утра с полосатыми заиндевелыми крышами, вылез из-за высокой парты и скривился, точно меня вдруг ударили палкой.

Двойка?! Я никогда еще не получал ее за весь месяц учебы в первом классе. Я умел читать и считать. Я простодушно полагал, что мне никогда не грозит эта страшная оценка. Но чаще, видимо, случается в жизни

то, чего не ждешь, к чему не готовишься. Помню, как дошел до стола учительницы, принял из жилистых рук с белым некрасивым кольцом свою тетрадку, пошел обратно, скорбный и туманный, как ходили с двойками от стола почти все. Должно быть, Марье Васильевне еще мало было моего отчаяния или я недостаточно явно его обнаружил, потому что, едва я подошел к парте, беспощадная учительница сказала, жестоко стуча козонками пальцев в стол: «Останешься сегодня без обеда!»

И я сел, совершенно обезоруженный, прихлопнутый новым наказанием.

— Ага! Будет тебе теперь! — услышал шепот соседки Вари Ползуновой. Она даже отодвинулась от меня, как от отверженного. Почему вы, люди, еще и злорадствуете, когда без того тяжело...

Как я уже говорил, наша Марья Васильевна была похожа на Ивана Грозного. Она даже и ходила всегда в каких-то старинных шапочках вроде скуфьи, осенью в шерстяной, зимой — в опушенной мехом, однако не в наряде дело. Вот у Марьи Васильевны, в нашей же школе, работает сестра — Софья Васильевна — тоже учительница начальных классов, и одевается она точно так же, в длинную клетчатую или черную юбку, белую кофту с кружевным воротничком, шаль и шапочку-скуфью. Даже брошка у нее точно такая же, из яшмы. Но Софья Васильевна — полная противоположность старшей сестре. Она никогда не кричит на учеников, не топает, не стучит карандашом, хотя лицо ее тоже напоминает какого-то из древних русских царей — наверное, все это из-за шапочки. Ученики в голос хвалят свою Софью Васильевну, правда, и мы свою Марью Васильевну тоже хвалим, мы как бы гордимся, какая она строгая, как нас держит. Ага! Попробуйте-ка поучитесь в нашем классе, узнаете...

Весь урок я сидел в безмолвной полуслезной отрешенности, что-то слушал, но ничего не слышал, что-то писал, но ничего не понимал. Я никак не мог отделаться от мысли, что в моей новой, новешенькой тетрадке с лощеной бумагой стоит эта изогнувшаяся, жалящая, как змея, оценка. И получил я ее за одну проклятую букву «М». В задании, где надо было написать: «Маша. Мама. Маша мала. У Маши Мурка. Маша мыла. Мама мыла», я везде написал эту букву с закруглениями вверху, а потом еще две строчки этой же «М», совершенно не об-

ращая внимания на жирные и волосяные линии, как требовалось по образцам прописи. Может быть даже, я написал как раз наоборот — там, где надо волосяную линию,— жирную, а где надо жирную — волосяную или сплошь одни жирные, их как-то легче писать. К тому же я торопился, мне очень хотелось бежать во двор, играть в пароход, который я построил еще вчера из досок, чурбаков, старого кровельного железа и самоварных труб.

И вот — двойка! И еще — «без обеда».

Казалось, что большего бесчестья быть не может, и если я не ревел в открытую, как говорят,— белугой, то глаза мои плавали в слезах, в горле все время саднило, и тайком от Вари, отворачиваясь к окну, я вздыхал и утирался. «Без обеда» — это еще хуже, чем «садись на заднюю парту!». Страшное место, подобное скамье подсудимых, где с первых дней этого трудного солнечного сентября бессрочно обитали три наших второгодника — Курицын, Нохрин и Шашмурин. Курицын — никогда не мытое, равнодушное ко всему существо с липкими руками. Нохрин — тихий мальчик с лицом в виде большого белого огурца и такой голубизны светлыми глазами, точно сквозь его голову всегда виднелось летнее небушко. Шашмурин — беспризорного вида мальчишка с белыми пятнами на остриженной темной голове, вертлявый и гримасничающий, как обезьяна. Ребята эти сидели поодиночке. И к ним на урок, на два, в зависимости от тяжести проступка, Марья Васильевна ссылала провинившихся.

Девочки от такой ссылки рыдали, точно их отправляли в пещеру циклопов, а Курицын, Нохрин или Шашмурин — глядя по тому, к кому вселяли опального,— несколько оживлялись, хоть и было в их оживлении что-то паучье. Я не боялся попасть в компанию второгодников, уже дважды побывал там у Нохрина и Шашмурина, и в общем все обошлось хорошо. У Шашмурина я выменял на старинную марку и рублевку в придачу очень нужную мне рогатку, сделанную с большим мастерством, а с Нохриным мы просто тихонько дружески толкали друг друга в бок: он толкнет — я толкну, он толкнет — я толкну. Я был бы счастлив, если б меня сослали на заднюю парту, хоть бы к кому, хоть на все уроки...

А теперь все пропало. Дома, конечно, хватятся. Ба-

бушка по часам ждет меня из школы. А часы у нас замечательные: с медными гирями, с боем, с календарем, с узорным маятником. Они тихо живут в своем длинном темном от времени резном футляре и знают много-много. Иногда, когда бабушки нет дома, я ставлю на стол табуретки, залезаю на них, боясь упасть, и заглядываю в темное боковое окошечко часов, затянутое паутинами: там видно в полутьме неподвижные пыльные колеса, зубчики и всего одну, мерно двигающуюся взад-вперед штучку — так странно и безвременно живет время. Часы подскажут бабушке, что со мною что-то приключилось, бабушка пойдет в школу...

А сколько же будет это самое «без обеда»? Наверное, очень долго, ведь Марья Васильевна — сам видел — уходит из школы, уже когда улицы закатно горят стеклами и на них тепло и солнечно-грустно. Я увидел, как Марья Васильевна в своей шапочке-скуфье неторопливо идет по тротуару, в одной руке старинная сумка, в другой сетка с тетрадями. Когда Марья Васильевна уходит пораньше, у нее нет сетки, а позади идут, как оруженосцы, отличники, несут тетрадки. В общем-то, Марья Васильевна старая, и ей, наверное, в самом деле тяжело носить две пачки тетрадей (но об этом я как-то тогда не думал... Ого, старая, а как выхватила Черезова из парты, когда он там зажигал спички,— так Черезов как пробка выскочил). Марья Васильевна живет ведь недалеко от нас, через пустыри в улице-одинарке. А вдруг она, оставив меня без обеда, зайдет к бабушке и все расскажет: и как я двойку получил, и как не слушал, когда меня ссылали к Нохрину и Шашмурину, и как теперь вот оставлен без обеда — ужасное наказание... Что мне теперь делать?

Очень долго тянулся этот страшный день. Кажется, время потеряло свой привычный смысл, каждый урок длился невыносимо... И я ждал и не ждал конца уроков. Что толку? Все пойдут домой, а я-то ведь останусь, неизвестно на сколько. Куксясь и шмыгая, я машинально писал, зарабатывая, наверное, новую двойку.

Но вот уроки все-таки кончились. Пробрякал последний звонок, по коридору грохотали отпускаемые классы, а мы даже не шевелились, сидели как сидели, потому что очень редко отпускала нас Марья Васильевна первыми, только когда была особенно довольна нами, а это случалось редко, или когда торопилась в

какой-то там методкабинет, о котором она всегда упоминала торжественно-благоговейно, приходила в тот день в новой белой кофте с кружевами, с новой брошкой и в длиннейшей шуршавшей черной юбке, и мы уже знали: сегодня Марья Васильевна в методкабинет — и радовались...

Счастливчики со счастливыми лицами покидали класс. Для них за дверями была прекрасная свобода — что может быть лучше этого слова. Свобода — когда беги куда угодно и куда хочешь — хоть направо, хоть налево, хоть домой, хоть по улице, все время ощущая теплое солнце, даль неба — все-все, что и входит в понятие свобода и что дорого в нем вместе с ощущением освобожденности, самостоятельности и счастья быть самим собой. Наверное, в мире все устроено справедливо. Сколько раз уходил я так, пусть не очень злорадно, но все-таки оглядываясь на потупленно сидящих, грешно сознавая свое превосходство над ними, и вот теперь на месте их сижу сам и на меня теперь оглядываются, уверенные в том же неизмеримом превосходстве.

Впрочем, не один я: в опустелом классе осталась еще маленькая Катя Помелова. Оказывается, ее тоже оставили без обеда, как и когда — я не слыхал, занятый своими горькими мыслями. Марья Васильевна, строго глянув на нас, велела сесть за первые парты, а когда мы перебрались со всем скарбом, вышла, строго стуча каблуками. Дверь захлопнулась, точно подтверждала наше заточение и обреченность. Мы заплакали, не сговариваясь,— Катя громче, я — тише. И опять мне показалось, что случилось нечто ужасное, непоправимое, все кончено, все пропало, и никогда уже не будет так чисто и радостно, как было мне всегда, и что я самый обиженный несчастный человек на всей земле. Но в то же время я слышал и плач Кати. Мы ведь остались двое. И вдруг я почувствовал теплую братскую любовь к этой девочке, размазывающей слезы по щекам грязным худым кулачком. Катя Помелова. Я никогда не обращал на нее внимания, точно ее и не было в классе. Она в самом деле такая незаметная, что можно, наверно, десять лет проучиться и не знать ее совсем. Много ли мы помним тех, с кем учились? Из тридцати — сорока одноклассников — пять-шесть фамилий, пять — десять лиц. А остальные? Но сейчас за соседней

партой плакала Катя Помелова, маленькая светловолосая девочка с желтыми ленточками в жидких косичках и с отстегнувшимся сползшим чулком. Наверное, и она почувствовала ко мне то же, что я к ней, потому что, всхлипывая и заикаясь, потянула мою тетрадку.

— З-з... Зза что-о т... т... тте-бя-а-а?

— За м-м-м... Зза бу-уу-ук-ву-у-у... А тте-бя-а-а? Хм?

— Мм... По арих... По арихме-е... По арихме-тике-е-е. Мн... Хм...

Проплакавшись, мы придвинулись поближе, не перелезая, однако, через ряд, и стали смотреть тетрадки.

Катины примеры показались мне пустяковыми (ведь я умел считать до ста). Ну как это можно ошибиться — из семи отнять три, получится — пять? Из десяти отнять четыре и получится — четыре? Или к пяти прибавила два — у нее восемь?!

— Давай, я за тебя буквы перепишу? — сказала вдруг Катя.— Я чисто перепишу.

— А Марья Васильевна?

— Она не узнает!

Вот уж сколько раз в жизни убеждаюсь, что женщины храбрее мужчин.

— А я тебе решу примеры...

— Ага!

— Только...

— Ничего. Услышим, как она идет по коридору. Она знаешь как топает.

— Ну давай...

— Скорей, бери тетрадку...

Через минуту очень старательно — не моя ведь тетрадка-то, Катина,— я выводил цифры, для верности проверял по пальцам, писал ответы. Катя, видимо, тоже старалась, даже мизинцем придерживала тетрадку и забрала обе промокашки, чтоб не испачкать как-нибудь.

— Ты только немножко похожее на мое пиши — а то она сразу догадается,— сказала Катя.

— Ясно...— Я об этом подумал, выводил цифры такие, как у нее в тетради. Я, например, тройку совсем не так пишу, а тут стал писать по-катиному, с гребешком.

Мы успели как раз вовремя. В коридоре послышался цокающий шаг Марьи Васильевны. Быстро передали тетрадки, и учительница застала нас согбенными, усерд-

но пишущими. Иная бы учительница умилилась, так старательно мы трудились, гнулись за партами, а она ведь еще ничего нам не задавала. Значит, осознали вину, сами поняли... Но это была Марья Васильевна!.. Мы оба притворялись изо всех сил. Все было написано. Да как чисто, красиво выведена каждая буква — ай да Катя! — буквы со всеми нажимами и волосяными линиями и все-таки похожие на мое письмо, тот же наклон, величина, даже кое-где нарочно закругление сделано...

Дверь отворилась, и в класс неожиданно зашла Софья Васильевна.

— Опять у тебя грешники,— сказала она, с улыбкой поглядев на нас и сестру.

А я изумился, как это можно так свободно говорить с нашей учительницей, с Марьей Васильевной! Даже называть ее на «ты» и как бы оспаривать ее деяния...

— Давай-ка отпускай их,— сказала Софья Васильевна.

Наверное, Марья Васильевна ощутила недопустимую вольность обращения сестры, потому что строго взглянула на нее, как царь Иван Грозный на своего сына, но ничего не сказала, подошла к парте и взяла мою тетрадь.

— Ну? Можешь ведь писать? Можешь...— сказала она.— Все вы можете учиться... Лентяи... Только бы по улицам бегать, камнями лупать (она почему-то всегда употребляла это странное слово). И ты тоже давай свою тетрадку... Написала? Ладно уж. Идите! Да чтоб впредь у меня... Поняли?

Забрала тетрадки!! О счастье, счастье! Значит, и двойку я не понесу домой! Значит, никто ничего не узнает! А бабушке скажу, что просто зашел поиграть к Мыльниковым. И все будет хорошо...

Наверное, и Катя думала так же, потому что, когда она вышла следом за мной, глаза у нее сияли, косички торчали, и она сказала, пристегивая чулок:

— Хорошо, что мы остались вместе...

— Хорошо, конечно,— поспешил ответить я.

И мы пошли домой.

Подозрение

У Нины Силантьевой потерялась красивая ручка. Не первый это был случай в нашем классе, и, в общем-то, все мирились, забывали — ну, потерялась и потерялась.

Ручка — не шуба, которую, например, подменили у Алеши Чижикова: взяли хорошую, а оставили драную; ручка — не сапожки, которые украли у Лены Фоминой, и было целое разбирательство, а потом оказалось, что Лена забыла, пришла в школу в туфлях, а сапожки остались дома. Это еще ничего, а вот одна девочка из первого «Б» пришла в школу без платья, а я, например, один раз так торопился, что прибежал в разных ботинках, один черный — новый, а другой коричневый — старый. Пришлось мне тогда целый день сидеть за партой, будто зуб болит, ведь больше всего я боялся, что Марья Васильевна вызовет меня к доске — и что тогда?

В общем, потерялась-то ручка не чья-нибудь, а Нины Силантьевой. Силантьева — некрасивая худая девочка с кукольными волосами, и волосы у нее так причесаны, что ни один волосок не выбьется. Нина такая аккуратная, что даже ходит будто по одной половице, тетради у нее чистые-пречистые, в обложечках, с наклейками, промокашки на шелковых ленточках — по арифметике ленточки желтые, по письму — розовые. Руки Нина моет каждую перемену, а когда пишет, на парту стелет клееночку. Марья Васильевна всем ставит Нину в пример по чистоте и аккуратности, даже отличникам. Отличников у нас трое: Гриша Несмеянов, Валя Шумкова и Вера Малкова. А Нина хоть и не отличница, но все-таки любимица Марьи Васильевны. Ручка потерялась на последней перемене, и Нина тотчас это заметила, подошла к Марье Васильевне, которая сидела за своим столом, проверяла тетрадки, и сказала ей что-то потихоньку.

— Посмотри под партой,— приказала Марья Васильевна.

— Я уже там смотрела,— сказала Нина и стала платочком вытирать слезы, так осторожно, будто слезы у нее хрустальные.

— Сядь! — сказала Марья Васильевна. Она не любила слез.

Последний урок начался. Было природоведение, и мы ждали, что нас поведут в парк собирать листья и делать осенний гербарий, как в прошлый раз. Тогда это был очень веселый урок. Тепло было, как летом, и мы радовались, что не сидим в школе, солнце греет, небо синее, а листьев — красных, желтых, оранжевых, голубоватых и розовых — хватает всем. В парке благостно пахло

теплой спокойной осенью, и ее умиротворенность, вместе с необычной свободой, возможностью совсем скоро отправиться домой, идти тихими, солнечными и по-осеннему пустыми улицами, настраивала мою душу на счастливый и тоже безмятежно-спокойный лад. Хорошо тогда было, очень хорошо. И даже Марья Васильевна подобрела, не казалась, как всегда, карающей и грозной, просто сидела на скамейке, на солнце и, если б не ее шапочка-скуфья, показалась бы ветхозаветной старушкой, вспоминающей свое прошлое.

Сейчас мы томились, ждали, когда Марья Васильевна кончит проверять тетрадки и скажет строиться. Марья Васильевна никогда не торопилась, она часто заставляла нас сидеть и всю перемену, и целый урок, и мы уже были приучены не роптать. В таких случаях я научился развлекаться фантазиями, смирно сидел, положа руки на парту, а сам представлял себя то путешественником, идущим по темному тропическому лесу, то мореплавателем в океане, то полководцем на манер Суворова, и что только не чудилось мне в этих мечтаниях — какие-то волны, острова, берега, пальмы — обязательно пальмы! — мокрые борта парусных шхун, бочки с солониной, пиратские пушки, канаты, в которых поет ветер, солдаты в киверах и в белых лосинах, марширующие с примкнутыми штыками-багинетами, кавалерия, несущаяся пыльной лавой,— мало ли что еще... Иногда я так глубоко уходил в свои фантазии, что не слышал, как Марья Васильевна разрешала идти, и надо мной хохотали.

Наконец-то Марья Васильевна кончила проверять тетрадки. Она встала и, строго глядя на всех нас, сказала:

— Кто взял ручку у Силантьевой, пусть положит ее на стол.

Все стали оборачиваться туда, где сидел четвертый наш второгодник — Миша Болботун. Один раз его уже поймали на краже, когда он стащил у отличницы Веры Малковой два пирожка с повидлом, и теперь, как что потеряется, смотрят на Болботуна. А Болботун — он и есть Болботун. Учится плохо, на уроки опаздывает, и вид у него — точно по фамилии: голова стриженая — яйцом, уши торчат, глаза маленькие, рот большой, и все время он что-нибудь лопочет, хохочет, вертится, кому-нибудь мешает или сбоку, или спереди, потому что

позади него сидит Курицын, а Курицыну помешать невозможно, он ни на кого не обращает внимания и разговаривать с ним — как со стеной. Получив замечание, Болботун говорит всегда одно и то же:

— А чо я сделал?

— Опять «зачокал»?! — вскипает Марья Васильевна.— Сейчас же к доске!

— А чо я сделал? — говорит Болботун и, встав у доски, строит рожи, показывает язык, едва только Марья Васильевна отвернется.

— Встань к той стене! — шумит она.

— А чо я сделал? — бурчит Болботун, идет от доски к противоположной стене, так, чтоб Марье Васильевне было видно, однако и тут стоять он не может, переминается, сует руки в карманы, вытаскивает монеты, пуговицы, роняет их, поднимает, незаметно дает щелчка Нохрину, тот молча, кривясь, трет затылок, потом дает Болботуну тычка.

— Вон из класса! — выходит из себя Марья Васильевна.— Сейчас же вон!

— А чо я сделал? — медленно говорит Болботун и плетется к двери.

— Стой тут! — одумывается учительница. Выгоняет она очень редко, только за чрезвычайнейшие проступки. Она не любит выносить сор из избы, не таскает никогда к директору, и за это мы благодарны Марье Васильевне, хотя боимся ее пуще всякого директора.

— Стой и не вертись! Вертушка...— говорит она.

— А чо я сделал...

С Болботуном все время что-нибудь случается. У него уже три раза было сотрясение мозга. Наверное, оттого он и есть такой дурной. Один раз он выпал из окошка — сотрясение. Второй раз на него свалились парты, сложенные в углу коридора до потолка — опять сотрясение. В третий раз он разодрался с нашим знаменитым на всю школу хулиганом Бучельниковым, и Бучельников так его толкнул, что Болботун, растворив двери своей яйцеобразной головой, вылетел в коридор, и вот вам опять пожалуйста — сотрясение.

Сотрясения на него, однако, не влияют. В первом и во втором классе он только вертелся да болтал, а сейчас...

— Болботун, ты взял ручку? — сразу приступила Марья Васильевна.

— Не-е...— сказал он.— А чо я сделал?
— Шашмурин?
— Не я...
— Нохрин?
— Чо-о...
— Курицын?
— ...
— Не брал, Курицын?
— ...
— Ну садись, вижу, что не брал... А кто все-таки взял ручку у Силантьевой? Кто?! Пока ручка не найдется — никуда не пойдем.

Молчание. Угроза-то основательная. У Марьи Васильевны характер крепкий — это мы знаем предостаточно. Уж если скажет — выполнит. А солнышко светит! А синички звенят! А день такой голубой там, ясный, тихий, туманный. Бабье лето. Солнышко прощается. Сейчас бы выбежать из школы, подышать бы вольным последним теплом, ощутить, как оно греет плечи и затылок. Хочется на улицу. Ой, как хочется на улицу! А тут — сиди теперь...

— Если ручка не найдется — останетесь и после уроков. Кто-то один подводит всех. Умеет подводить — пусть и выручит. А я прощу. Мы все простим. Да?

— Да-а-а,— нестройно прокатилось по классу.

Что это с Марьей Васильевной? Неужели ей тоже хочется на улицу?

— Ну, взял случайно,— продолжала она.— Ручка, конечно, валялась, а ее и подобрали. Так ведь? Так — я спрашиваю?!

— Та-а-а-к...

Но никто не вышел. Все только переглядывались. Я сижу и вижу, как Марья Васильевна, точно следователь, прощупывает взглядом каждого. Острый у нее взгляд, пристальный, и я опускаю глаза, смотрю на парту, краснею, будто бы я взял. А я и не брал. Не видал даже. Уши начинают гореть. Неужели она на меня подумала? И Варя тоже ежится. Не по себе ей. А Варя-то уж точно не брала. Осторожно взглядываю на Марью Васильевну. И опять она смотрит прямо мне в лоб, даже словно бы усмехается. А я не брал. Нет...

Вот так же было у меня в детском садике. Я туда ходил недолго, в старшую группу. И отличался от всех

тем, что никак не спал днем — я был несадиковый, просто отдали меня, пока болела бабушка. Я никогда вообще не спал днем и сейчас не сплю, а там был тихий час, который вовсе и не час, а много больше. Легко ли лежать так, не двигаться, когда кругом сопение и похрапывание (был у нас там такой Тарсуков, мальчик в тесных штанах на лямочках, который всегда все съедал и еще просил добавки,— вот он и храпел). Лежишь, лежишь, а потом вытянешь перо из подушки и начнешь тихонько щекотать по носу соседа. Он чихнет — проснулся, тогда вместе будим других. Мои фокусы подсмотрела воспитательница, и меня перевели спать отдельно в игровую комнату. Мучился там я еще больше, лежишь один, разбудить некого и встать боюсь, даже в уборную не отпросишься. Вот и смотришь, как движется солнце, ползут его желтые, веселые пятна по розовой стене, медленно ползут, невидимо, а все-таки двигаются. Я даже такую игру придумал: закрою глаза и считаю дыхание: сто раз дохнешь — солнце должно доползти до выключателя, еще сто раз — до точки, где был вбит гвоздь, еще сто раз — до картины «Три поросенка». Там они приплясывают, строят дом, а из-за угла выглядывает волк.

В игровой комнате была круглая стойка, куда мы вешали халатики, у каждого вместо номера была картинка, у меня, например, земляника. Как раз перед Новым годом раздали нам всем подарки, и в каждом подарке по маленькой куколке. Когда все пошли на тихий час, халатики сняли, а куколок положили в карман. На другой день кудрявый мальчик Бобка Иванов сказал воспитательнице, что я украл его куколку из кармана. Это было так неожиданно несправедливо, что я ничего не мог сказать. Я вообще всегда теряюсь, когда слышу несправедливое. А тут я глупо молчал, моргал и смотрел на воспитательницыны туфли и на Бобкины тапочки. Тапочки переминались. Туфли были спокойно расставлены — носки врозь. «Это он, он, он украл! Украл мою куколку»,— торопливо и горячо говорил Бобка, так возбужденно, что я еще более растерялся, онемел. А потом я заплакал и сказал, что никакой куколки не брал, что могу отдать ему свою, зачем она мне — я в куклы не играю...

— Вот видите, свою отдает, а мою себе оставит! — наседал Бобка.

— Не брал я! — уже рыдая, кричал я, и воспитательница стала меня успокаивать.

Все же тяжкое обвинение гнуло меня целый день. Я не знал, что делать, как защититься, как доказать свою правоту. Меня сторонились, как отверженного, никто мне не верил, и все на меня поглядывали с усмешкой, в глазах у всех было: «Ага! Это ты! Мы знаем, знаем. Это ты...» Самое страшное, что под этими взглядами, обвиняющими, осуждающими и радостно-любопытными, я тоже съеживался, краснел и со стороны, конечно же, был похож именно на того, за кого меня принимали. О следователи, следователи, как, наверное, порой ошибаетесь и вы... День до тихого часа тянулся бесконечно, и, когда я стал одиноко раздеваться, я уже совсем решил положить свою куколку в карман Бобкиного халата. Куколки-то были одинаковые. И мне ее было не жаль. Но все-таки ведь я не брал, не брал — за что же я должен отдавать?

В коридоре послышались шаги воспитательницы, она ходила на высоких каблуках. Я кинулся к постели, так и не успев выполнить своего намерения.

Воспитательница села возле моей кровати и, глядя насмешливо-ласково (как-то сходно глядели на меня сегодня все), опять спросила:

— А может быть, ты тогда не сказал? Ну, скажи теперь... И никто не узнает. А куколку мы ему отдадим, скажем, что нашлась в игрушках. Ну?

— Да не брал я ее! Не бра-ал! — заходясь плачем, закричал я, вскочил с кровати и куда-то побежал. Куда? Не знаю. Наверное, домой, домой, к своей единственной справедливости. Думаю, если б меня не удержали, я побежал бы, как есть, раздетый и босиком, по морозу, лишь бы только уйти от этой проклятой несправедливости, которая мучила меня хуже всякой боли. Воспитательница поймала меня уже на лестнице у дверей и кое-как увела, заставила лечь. Я и до сих пор помню ее руки, крепко державшие меня, и живот, в который я упирался носом, от платья пахло одеколоном.

Куколка не нашлась, но доверие постепенно возвратилось ко мне, может быть, просто поверили, может, слышали, как я тогда кричал. А мне и сейчас горько за ту несправедливую обиду...

— Сумки на стол! — приказала Марья Васильевна. Уже был звонок. Урок мы просидели. Теперь начался

обыск. Есть ли что-нибудь более унизительное, противное, чем обыск, когда тебя осматривают, подозревают, уничтожают одним только подозрением. Но я с радостью вынул книги, даже вытряс сумку. Нате, смотрите, ничего у меня нет. И многие поступали так же, а Нохрин, Болботун и Шашмурин даже вывернули карманы. Ручки не было. Марья Васильевна и сама, видимо, понимала, что обыск — мера крайняя, для того лишь, чтоб хоть как-нибудь убедиться в отсутствии ручки и воров. Поэтому она приказала девочкам идти домой. А сначала отпустила отличников. Обыска они избежали. Все трое.

Валя Шумкова и Вера Малкова сразу поднялись, расстегнули свои портфели, поставили их на стол, но Марья Васильевна только сердито посмотрела. Смуглый Гриша Несмеянов сумку не раскрыл, к столу не подошел. Это был очень тихий мальчик, иногда он плакал, даже если получал четверку, жил он бедно, в большой семье, в подвале, окна которого выходили на людную улицу; из этого подвала, когда я проходил мимо, всегда пахло Гришиным запахом. Думаю, что Марья Васильевна скорее из жалости к тихому мальчику, из-за его постоянных слез, а не за действительные успехи выставляла ему круглые пятерки. У Марьи Васильевны было странное правило: если уж ты попал в отличники, так тебе все равно — пять и пять, а если ты троечник, попробуй-ка заработай у нее пятерку, тут семь потов с тебя сойдет, и все равно в лучшем случае — четыре. На пятерку же надо было так выучить, чтоб, как говорила Марья Васильевна, от зубов отскакивало! Именно так отвечали Малкова и Шумкова. А Гриша? Он и есть — Гриша, такой действительно — Несмеянов.

Вот и сейчас он тихонько брел к двери с портфелем под мышкой (портфель у него старый-престарый, ручка оторвана).

— Погоди-ка,— сказала Марья Васильевна, когда Несмеянов был у самой двери,— дай-ка сюда портфель...

— Он не возьмет,— обратилась она к нам.— Но уж раз всех — так всех...

(И тут я понял: все-таки не настоящий он отличник, правильно я догадывался.)

Она запустила худую руку в портфель сумрачно стоявшего отличника, и все увидели, как меняется ее лицо: сначала оно было даже благодушно добрым, по-

том по нему разлилось удивление пополам с недоверием, потом глаза учительницы засветились, и, наконец, потрясенная, словно бы напуганная и торжественная, она достала ручку Нины Силантьевой.

— В подкладку затолкал! — воскликнула она, поднимая эту черную ручку и возмущенно хлопая свободной рукой по столу.

— Не-сме-я-нов?! Да это ты ли?? Гри-ша?! Ай-яйяй... Просидели весь урок... Обыскали всех... Подозревали всех...

Голос и лицо были словно и не Марьи Васильевны.

Мы молчали.

И голос обрел привычную интонацию Ивана Грозного:

— Сейчас же домой... За матерью!

В пионеры

Красный галстук с серебряной смычкой в виде костра! Те, кто носили его, казались очень взрослыми ребятами. До галстука далеко. Первый класс, второй, третий... В третьем уже принимали, да только не всех, а кто лучше учится, помогает дома.

А я учился по-среднему. Я сбегал с уроков. Иногда и вовсе прогуливал. Так бывало осенью, в пролет чижа и чечетки. Выйду из дому с портфелем, а ноги сами ведут меня мимо школы. Постою за оградой, дождусь, когда Сима забрякает звонком, и потихоньку, с сознанием непоправимости совершившегося бреду к пионерскому парку.

Парк уже давно закрыт. Ворота заколочены. Я лезу через забор, спрыгиваю в липняк. Оглядываюсь. Никого нигде. И вздохнув свободно, махнув рукой на будущие неприятности, весело иду в глубь сада.

Теперь все утро мое!

Я один в этом пустом, поределом и туманном парке, в утреннем холоде неяркого осеннего солнышка.

Я один в суживающихся, засыпанных листом аллеях. Я один... Но мне так счастливо-вольно.

Осень в парке лесная. Она никогда не пахнет так на дворе. Ясный холодный запах веток и листьев. Большие дрозды бегают, шелестя, по дорожкам. Пищат синицы. Стучит дятел. Везде полно рябиновых гроздьев

и терпкой кисло-вонючей калины. Я ем ягоды, ищу в облетелой листве палые яблочки. Они всегда с червоточинкой и слегка завялые, но сладкие, вкусные, если не очень брезговать. Бывает, что выплюнешь беленького червячка.

А потом я лазаю в черемушнике у воды, выслеживаю каких-то зеленых птичек. Или гляжу, как стаи чижей осыпают макушки берез. В кустах шиповника и рябины каждый листочек разный: есть листья темно-бордовые, запеченные, есть красные, а вот, точно арбузная мякоть,— студеный заревой цвет.

Наберу разных листьев полные карманы. Да жаль, дома листья будут уж не такие. Они жухнут в карманах, бесследно теряют свою красоту.

А на другой день приходится что-нибудь врать Марье Васильевне и жить в тревоге перед неизбежной расплатой.

Дома я тоже не помогаю. Разве за хлебом в магазин пошлют. Состроют тогда самую кислую рожу и плетусь, мотая сеткой по земле. Хорошо, если к хлебу бывает привесок. Его полагается обязательно съесть по дороге. Привески вкуснее хлеба.

А еще не ладится у меня с русским. Мы учим его по хоровому методу. Марья Васильевна рассказывает правило. Отличники повторяют. А потом всем классом нараспев мы тянем:

— По-о-сле ши-пящих:
же-че-ше-ще...
не пи-шется я,
а пи-шется а.
Не пи-шется ю,
а пи-шется у.
Не пи-шется ы,
а пи-шется и...

Нудное повторение рождает желание искажать и перевирать правила.

И вот потихоньку я пою:

— Не пишется а,
а пишется я...

И писал в диктанте: чяй, лыжы, щюка.

За одну-единственную такую ошибку строгая Марья Васильевна ставила «кол» — размашистую красную единицу, в полтетрадки. Это считалось верхом бесчестья. Ошибку Марья Васильевна подчеркивала четырьмя

жирными линиями и заставляла переписывать злосчастное слово двадцать раз. Правила меня удивляли. Ну зачем же писать «и» в слове лыжи, когда там никакого «и» не слышится Зачем запоминать слова — исключения на «цы»? Изобретательная учительница предложила запомнить такую фразу: «Цыган сидел на цыновке, ел цыбулю и цыпленка, возле него лежал панцырь. Вдруг он цыкнул на цыпку».

Никак не хочется запоминать эту ересь. Какой цыган? Разве цыгане ходят в панцырях? И что такое «цыкнул на цыпку?» И кто цыкнул, цыган или панцырь? Я не понимал необходимости ставить мягкий знак в словах «рожь, мышь», ведь не ставится он в слове «нож»!

Вылезал я только на контрольных. Они были в конце каждой четверти. Перед контрольной диктовкой я готовился, точно бывалый солдат к обороне. Прочитывал правила, зубрил исключения и заставлял Верку диктовать. Она копировала Марью Васильевну, ее глуховатый голос и манеру ходить по классу размашистым шагом.

На контрольной я весь обращался в слух, проверял каждое слово. И вот результат:

— Несмеянов — «отлично», Малкова — «отлично», Шумкова — «отлично»... Никитин,— голос учительницы играет угрожающей интонацией,— «хорошо». Мог бы на «отлично», да раз все прошлые диктовки одни колы, тут и «хорошо» слишком. Вот, можешь писать. Можешь, когда захочешь...— Марья Васильевна теплеет, пытается воззвать к моему самолюбию.

Молча стою, подставив голову под град упреков. Марья Васильевна отчитывает. Уж лучше бы она «посредственно» поставила. Вот говорит, что отец мой учился куда лучше. (Неужели она помнит, как он учился сорок лет назад?)

А в общем, за четверть я получаю «посредственно» и больше не волнуюсь до следующей контрольной.

Я очень люблю рисовать, но у меня ничего не получается. Я только представляю, как бы взял краски, свежий, плотный лист и начал писать облака на закате, какие-то дальние леса под грозовым небом и рассвет. Остро хочется передать серые, зеленоватые тона ненастных туч, цвет дождевой земли и мокрой листвы. В тетрадке, в карманах, между страничек книг у меня мно-

жество засушенных листьев и травинок. Круглый листочек осины такой нежно-палевый и голубоватый.

А как сделать это краской? Почему выходит на бумаге зелено-голубая муть?

Рисование ведет тоже Марья Васильевна. У нее не спросишь. Она не считает рисование за предмет и часто заменяет его решением задачек. Раз в четверть мы рисуем на свободную тему. Тогда в мятых альбомах появляются перекошенные домики с кудрявым дымом из труб. Бегут по улицам собаки, похожие на коров, и пузатые человечки. Соседка Варя рисует всегда одних и тех же кукол с красными яблоками на щеках.

Отличник Гриша Несмеянов, пригнув кругло-стриженую голову, вдумчиво выписывает акварелью самолет Чкалова АНТ-25, одномоторный, красный, летящий над голубым полюсом.

За полюсом бьется во льдах ледокол «Седов», висит зубчатым полотенцем северное сияние. Красиво рисует Гриша, лучше всех.

А я просто крашу бумагу разноцветными полосами. У меня по любимому рисованию не бывает выше «посредственно».

Родители не вникают в мою учебу. Для бабушки я сам учитель, а контролировать учителя не полагается. Только мать изредка смотрит мои тетрадки. Мать ругает за неряшливость, за колы. Грозит выпороть. А в конце концов отступается. Ведь четвертной табель у меня без «плохо». Учишься, переходишь, и ладно.

Я уверовал в свою посредственность. В пионеры не просился. Чтобы стать пионером, надо было иметь «хоры» по всем предметам.

Пионеры жили интересной жизнью. У них были отряды, звенья, начальники с нашивками, барабаны и горны. Я завидовал, когда шли они на майскую демонстрацию. Шли белыми рядами. Шли под стук барабанов. Шли со знаменем с золотыми кистями у древка.

Я всегда счастливо ждал майские праздники. Ждал тот день — накануне, когда можно будет достать из шкафа большой кумачовый флаг с вышитым на углу серпом и молотом, залезть на ворота и приколотить древко к верхнему карнизу.

Потом с сознанием исполненного долга я расхаживал под воротами по улице, глядел, как теплый ветер колышет, свивает и разворачивает алое полотнище, и

флаг как-то связывался в моей душе с наступающим праздником, радостью приодетых людей, доброй весной и лаской майского солнышка. Вслед за нашим появлялись флаги на других домах и воротах. Улица наряжалась, чисто выметенная, сухая, в зелени липучих тополевых почек, в майском запахе согретой земли и смолки.

А на другое утро я, Юрка, ребята Пашковы и Курицыны спозаранок бежали в город. Глухой дальний гомон и звуки музыки подхлестывали нас. Там, по Нагорной, по Свердлова уже двигались густые колонны, вспыхивала, желтела и звенела медь оркестров, глухо бухали барабаны: тум-тум, тум-тум, тум та-ра-та-та-та.

Ошалело мчались по тротуарам ребятишки.

Нескончаемо, вызывая удивление, шел новый завод Уралмаш. Двигались знамена, плакаты и портреты. Шли голубые физкультурницы.

Иногда над городом повисала медленно плывущая алюминиевая громада дирижабля. Стайки листовок отрызались от ее игрушечно маленьких кабин, неслись по-птичьи высоко-высоко и вдруг падали на плечи, на заборы.

И все бежали за этими листовками, лезли даже на крыши, и в первую очередь мы.

Но было и огорчение от тех демонстраций. В центр и на площадь, где проходила парадом Красная Армия, нас не пускали. Везде на углах милиция в белых рубахах, в белых касках с двумя козырьками спереди и сзади. И как тут пройдешь, если ты не пионер, если не со школой, а просто так бегаешь, точно беспризорник.

Из моих знакомых пионером был один Димка Мыльников. Он даже в звеньевые попал. Ходил серьезный, спесивый. Со мной теперь не разговаривал, да и я перестал с ним водиться. Подумаешь, пионер, ну, пионер...

Но вот в пионеры приняли Верку. Как это? А я? Она теперь будет ходить на сборы, на субботники, во Дворец пионеров. А я? Мне-то что делать?

Я долго обдумывал свое новое положение. Теперь Верка еще командовать начнет. Она сразу повзрослела, покрасивела в пионерской форме.

Несколько дней я сторонился Верки, а потом опять начал играть с ней и ходить везде вместе.

Как-то во время пионерского субботника по сбору лома подошел ко мне младший вожатый Костя Зыков.

Костя был наш сосед. Он немного заикался и, как отец его — столяр, тоже походил на рыжего петуха.

Я только что прикатил к школе тяжелую ось с колесами от вагонетки и, весь умазанный ржавчиной, сидел на ней. Вообще-то лом собирала Верка. Я помогал. Я обстоятельно знал, где валяются обрезки труб и рельсов, где есть ценные залежи лома, например, в закутке за голубятней Сычова. Сычов свой лом не сдавал, и однажды мы реквизировали все запасы до последней железки.

Костя потрогал чугунное колесо вагонетки и спросил:

— Ты пионер?

— Нет.

— А ппочему работаешь?

— Хочется...

— Ты давай, вступай? А?

— ...

— Нну?

— Да у меня «посредственно» по русскому, по чистописанию, по пению, да по рисованию еще...

— Что же тты, брат, ттак? — нахмурился Костя.— Тты, может, не понимаешь? Может, к тебе уд... уд... ударников прикрепить?

— Понимаю...

— Тогда я ничего не ппонимаю? Лодырничаешь, значит. У-у-уроки нне учишь?

Как было ответить на такой вопрос? Уроки я учил. И в школу вроде бы ходил с охотой. Может быть, Марья Васильевна чересчур строга? Нет, она просто справедлива.

— Лентяй ты, вот что. Ведь сознайся, лентяй! И нна субботники к нам не ходи, ппока не исправишься. Ппонял?

Костя вдруг ушел, не добавив ничего.

Слова его больно задели меня. Я? Лодырь? Ну и ладно. И не буду ходить. И без вас мне хорошо... Вот наберите-ка столько лому без меня. Я и еще места знаю, где лом есть. Ага!

Но долго обижаться я не умел. Костя прав, ведь в самом деле иногда я просто озорничаю.

Вот взял вчера и опрокинул Варе на тетрадку чернильницу. Из этой «непроливашки» вылилась целая река чернил. Я не слушал на устном счете и получил «плохо» по арифметике. Я пустил по классу муху с

привязанной за ноги ниткой, все шумели, хохотали, а потом два урока я стоял у стены, тоскливо переминаясь с ноги на ногу. Хорошо еще два урока. Иногда стоишь по целому дню.

Как-то придя домой, я изорвал все старые тетрадки, словно они были виновниками невеселого прошлого. Потом достал из отцовского стола новые, надписал и старательно вывел: 16 октября 1940 года. Домашнее задание... Я писал строчку за строчкой чисто, красиво...

Учиться я стал заметно лучше. Я вдруг постиг простую выгоду хорошей оценки. Просидишь за уроками на полчаса больше и минуешь многие беды.

В тетрадке одни «хоры». Мать не ругается. Марья Васильевна не отчитывает. От доски к парте идешь довольный. И не надо врать дома и в школе, когда вызывают на родительское собрание.

Правда, до отличников я не добрался. Слишком высока та вершина. Я стал крепким ударником. У Марьи Васильевны все делились на отличников, ударников, середняков и двоечников. Были даже крепкие двоечники: Миша Черезов и Шурка Курицын. Они не вылезали из «колов». Их истертые грязнейшие тетрадки демонстрировались весь год. Целое лето Марья Васильевна занималась с «крепкими» двоечниками по своему почину, а осенью выводила переводной балл. Все начиналось сначала. Класс у нас был стопроцентный, по успеваемости лучший, по дисциплине самый лучший. Наших отличников не снимали с почетной доски. Марья Васильевна заслуженно получала грамоты. А что касается двоечников, то они тоже привыкли, притерпелись к своему положению. Миша Черезов тихонько улыбался, когда нес от стола дневник. На немытом и равнодушном лице Курицына вообще никогда ничего не было написано, кроме тупого спокойствия. Он преуспевал только по рисованию и всегда оформлял классные календари погоды — рисовал синие крестики снежинок и овальное солнышко с красными ножками, похожее на мокрицу.

И вот сегодня меня примут в пионеры. Ноябрьский холодный рассвет сине стоит в окне. Я торопливо одеваюсь. На столе новый шелковый галстук и смычка. Сегодня я дам торжественное обещание и меня примут. «Я, юный пионер Советского Союза...» — повторяю я тысячу первый раз.

Иду в школу, конечно, без пальто. Я давно закаляюсь. У меня побаливает горло и ноет зуб. Но все это пустяки. Ведь сегодня... Дует вдоль улицы снеговой ветер. Он уже не пахнет листьями, как в октябре. Земля застыла твердо. Закоковела, говорит бабушка. Снегу нет. Глухая осень на дворе. Безлистые тополя грустно качают ветками в пасмурном небе. Я слышу чечеток. Слышу жалобное поскрипывание снегирей в садах. Но сегодня эти волнующие звуки и голоса словно бы не для меня. В самом деле, сегодня я вернусь домой, как взрослый. Меня будут поздравлять. Мама уже торт купила. Это я видел тайком. А через три дня Октябрьские праздники, и парад, и веселая, какая-то уютная демонстрация. Я пойду на нее вместе с отрядом. Наверное, будет порошить снежок, путаться над знаменами, над красной радостью кумача. Он будет на плечах и на шапках, под сапогами красноармейцев. А еще впереди зимние каникулы. А самое главное — я уж не буду маленьким мальчиком — октябренком. Я сниму картонную, обшитую красным звездочку и надену галстук. Я буду пионером.

Хулиган Бучельников

Бучельников был страшный хулиган. Описывать его долго не стоит — представьте себе черного бычка с широкой головой и с очень широко расставленными дикими глазами. Это и есть Бучельников, черный, набыченный, всегда зло посматривающий из-под вьющейся блестящей челки. Взгляда его было вполне достаточно, чтоб у многих-многих душа уходила в пятки. Этот взгляд всегда спрашивал только одно: «Боднуть?» Наверное, из таких Бучельниковых и выходили раньше Соловьи-разбойники, всякие Кудеяры-атаманы, а теперь это просто обыкновенные школьные хулиганы.

Учился Бучельников, к счастью, не в нашем классе, а в третьем «Б», но знала его вся наша восемнадцатая школа, все — от первоклашек, которым походя давал он бесконечные тычки и щелчки, до старших учеников, которые тоже почему-то не связывались с Бучельниковым. Кроме своей хулиганской славы, Бучельников был известен еще и тем, что в третьем «Б» он был единственным «третьегодником». Учился он так: в первом

классе — год, во втором — два, а в третьем досиживал третий год. Наверное, если бы он перешел в четвертый, нетрудно угадать, сколько бы там он находился. Да и не учился он, по-моему, совсем. Просто ходил в школу. Звенит, бывало, звонок, и все бегут, торопятся по классам, а Бучельников сидит на крылечке, ухом не ведет, подставляет ноги тем, кто торопится. Пошлет, например, меня Марья Васильевна среди урока намочить тряпку (а знаете, как это все любят и просятся — мочить тряпку) — так вот, пошлет Марья Васильевна, придешь с тряпкой в уборную, а там на окошке почти всегда сидит Бучельников, болтает ногами, курит и плюет на стены, не поберегись — и на тебя плюнет. Или играет ножиком. Ножик у него самодельный — острый, страшный, ручка из патронной гильзы. Этим ножиком он на стенах и на подоконнике разные слова вырезает, ну, сами знаете, какие,— нехорошие. Так вот и учится он в уборной. Я из-за него даже ходил два раза мочить тряпку к девочкам.

Зачем Бучельников в нашей школе — понять невозможно. Говорят, что из-за всеобуча. Обязаны его обучать, пока ему шестнадцать не исполнится,— и все тут. Не один раз прокатывалась по классу и по всей школе радостная, как весенний ветер, весть: «Бучельникова выключили!!! Выключили Бучельникова!!» — исключили то есть из школы.

И верно: смотришь, нет его, нигде нет! Никто не дает подзатыльников на перемене, не бьет носы в уборной, не пинается в раздевалке и не играет ножиком. Нет Бучельникова, и все люди как люди, ученики как ученики. Ну, если кто и подерется немного, скоро и помирится. Подумаешь... Нет Бучельникова — и сразу радостно-легко идти в школу, спокойно, точно гора с тебя свалилась, исчезло противное гнетущее напряжение, с которым живешь постоянно и везде ощущаешь темный взгляд этого парня, слышишь его злой голос.

Может быть, став взрослым, будешь усмехаться своему детскому страху. Но тогда нам было не до смеха. Мне ли одному внушал этот Бучельников почти физически ощущаемый ужас. Достаточно было взглянуть на темно-смуглое его лицо, заметить на себе взгляд упрямозлых глаз, в которых словно бы никогда не мелькало ни одной доброй мысли, увидеть руки с короткими грязными ногтями. На одной руке у Бучельникова выколо-

то синим — Валера, на другой — половина солнца и сердце, проткнутое кривой стрелой.

Я уже говорил, что Бучельникова исключали из школы. Но не проходило и недели, как, явившись в школу, я вздрагивал: в коридоре, на лестнице или в раздевалке опять, как ни в чем не бывало, стоял Бучельников. Был он разве что чуточку потускневший, чуточку посмиревший, но по-прежнему наглый и глядевший кругом с еще более затаенной угрозой.

И сразу гасла моя радость. Хотелось убежать из школы домой. Вообще не ходить в школу. Это очень плохо — всякий раз чувствовать бессилие мировой справедливости, всегда живущей, по-моему, даже в самом маленьком человеке. Обходя хулигана подальше, я угнетенно думал: почему бывают такие бучельниковы, словно нарочно соединившие в себе многие человеческие пороки?

И вот с таким-то вором, хулиганом и дураком возятся больше всех прочих, уговаривают, увещевают, воспитывают. Сколько раз Бучельникова обсуждали на совете отряда, на совете дружины, на пионерской линейке, в учительской, на педсовете, без родителей, с родителями. А результат пока был один: убежденный в безнаказанности, Бучельников спокойно продолжал творить зло ежедневно, ежечасно, может быть, даже ежеминутно. Наверное, за тем только и ходил в школу. Он срывал уроки у тихой Софьи Васильевны, плевал на парты, тыкал девочек иголкой, разливал чернила на тетрадки, грозил ножиком старшим, походя колотил младших. Он испытывал, по-видимому, подлое наслаждение, глядя, как очередная жертва, кто с воем, а кто молчком, зажимая нос, бежала прочь.

Самых безобидных и пугливых он изводил своим гнетом, безошибочно угадывая эту безобидность каким-то особым своим инстинктом. Бучельников и меня сразу причислил к этой своей дичи. Я был еще в первом классе, когда познакомился с его шутками.

Однажды я поднимался по лестнице, как вдруг что-то обожгло мой стриженый затылок. Я ойкнул, выронил портфель и схватился за голову. Под пальцами выступила кровь. Не понимая, в чем дело, я стоял сжавшись, морщась, смотрел на руку. А в это время голову снова обожгло, и снова, схватившись за нее, я поглядел вверх. Там на площадке стояли большие ребята четвероклас-

сники и среди них этот черный, нагло хохочущий. Он натягивал на пальцах тугую красную резинку. Я успел нагнуться — железная пулька звонко цвенькнула о стену.

В другой раз Бучельников пнул меня в раздевалке, просто так, ни за что. А когда я, вскипев гневом, бросился на него, пытался оттолкнуть, он так ударил меня в глаз, что я ослеп и закричал от боли. Он был выше на две головы — уже тогда учился в третьем, и ему ничего не стоило излупить меня как угодно. Спасло от худшего появление заведующей — Клавдии Васильевны. Недели две я ходил с багровым синяком. А Бучельников, наверное, и не заметил выговора Клавдии Васильевны, зато теперь он причислил меня к своим врагам и преследовал при каждом удобном случае.

Эти преследования, наверное, пошли мне на пользу. Говорят, и трус становится храбрым, если долго преследовать. Слишком храбрым я не стал, но зато научился уходить от Бучельникова всеми возможными и невозможными способами. В классе, если Бучельников заходил к нам туда на перемене, скрыться можно было за дверкой шкафа, за стойкой с географическими картами, на худой конец — под партой. Я узнал все школьные закоулки, где можно было скрыться, отсидеться, если расправа готовилась на улице. Это были чуланы техничек, где пахло метлами, ведрами и еще не использованной на тряпки новой ветошью, это была ниша под лестницей и ход на чердак, закоулок, где стоял школьный кипятильник и где в узкое окошечко можно было удобно наблюдать за Бучельниковым, смотреть, как он прогуливается у входа и на выбор дает тычка то одному, то другому, руководствуясь, должно быть, своим хулиганским вкусом. Наблюдая за Бучельниковым, я приходил к выводу, что он бьет в основном меньших и младших, тех, от кого не может быть серьезного сопротивления.

Если Бучельникову не надоедало ждать и он не уходил восвояси, оставалось последнее средство — сидеть в классе вместе с Марьей Васильевной, изображать прилежного ученика, чтобы потом выйти из школы вместе с учительницей, под ее прикрытием дойти до нашей улицы. На своей улице я был храбрый, а Бучельников не рисковал нападать. Почему это так — не знаю.

Конечно, скрыться удавалось не всегда, иногда я все-таки попадался, получал крепкие тумаки, хотя,

ближе к лету, научился уходить от Бучельникова, спускаясь по водосточной трубе со второго этажа. Тогда я убегал даже торжествующий. Уйти от грозного врага казалось немалой доблестью.

По своему короткому жизненному опыту я уже понимал, что люди, подобные Бучельникову, способны уважать только силу. Но я не мог представить храбреца, который бы осмелился поднять руку на хулигана хотя бы в свою защиту. Однажды повздорил с ним прямо в классе на перемене наш второгодник Болботун. Но вы ведь знаете, что из этого получилось. По-моему, Бучельникова побаивалась даже Марья Васильевна. Как-то пришел он в наш класс. Он часто к нам приходил, наверное, не только чтобы сводить счеты со мной, а еще потому, что в нашем классе училась крепкая высокая девочка Вера Носкова. Бучельников никогда не толкал и не бил Носкову, только поглядывал, а она его терпеть не могла. Отворачивалась, когда он на нее смотрел, уходила из класса. Так вот, пришел Бучельников к нам, а Марье Васильевне как раз понадобился ножичек подточить красный карандаш. Она проверяла тетрадки.

— Дайте-ка перочинник! — сказала Марья Васильевна, обращаясь ни к кому. Все стали искать, смотреть в сумках, но ни у кого ножичка не нашлось, даже у Нины Силантьевой.

Бучельников стоял недалеко от стола Марьи Васильевны и смотрел на парту Веры Носковой.

— А отдадите? — вдруг спросил он.

— Что? Что такое? — строго спросила Марья Васильевна.

— Ножик отдадите?

— Конечно, отдам...

— Нате...— Он подал ей свой ужасный нож с ручкой-патроном.

Марья Васильевна поморщилась, как-то неловко взяла его, точно брала в руки гусеницу, но точить карандаш не стала. Хмурясь, отдала нож и сказала строго:

— Зачем же ты с таким ходишь?

— А чео? — спросил-ответил он, нагло улыбаясь и бросив взгляд в сторону парты, откуда смотрела на него круглыми глазами, подняв брови, крепкая девочка Вера Носкова.

— Как что?! Разбойник ты, что ли? Нельзя с таким ножищем ходить! Да еще в школу...

— Ну и чео?

— Ничего. Сейчас же убирай! В другой раз увижу — заберу.

— Хм-ха,— ответил он и, как видно, очень довольный пошел из класса, сунув руки в карманы.

А я снова увидел гневный, темный взгляд Веры Носковой. Она была очень сильная девочка, пожалуй, сильнее любого из нас. Однажды, когда Нохрин дернул ее за косу, она залепила ему такую затрещину, что Нохрин и теперь боязливо косится, когда проходит мимо.

Потом я посмотрел на Марью Васильевну и понял: никогда еще не замечал ее такой обезоруженно-растерянной и как-то едко огорченной. Она стала было проверять тетрадки сломанным карандашом, а потом сердито бросила его в раскрытую сумку, встала и, стуча каблуками, ушла из класса.

Дело было к весне. Уже притаивал снег. Он стал оттепельно-мягким и липким. В один такой день я вышел из школы с радостным намерением скорее бежать домой, лепить снежную бабу и кататься на еще не осевшей катушке. Но едва я отворил наружную дверь, ледяной ком ударил мне в лицо, разбил нос и засорил глаза. Кашляя, протирая их, я побежал отмывать кровь, которая сразу и обильно хлынула на руки и на пол. Я даже не понял, от кого мне досталось, ничего не видел.

Оказалось, что Бучельников взял школу в осаду: всякий рискнувший выйти получал порцию крепко слепленного снега так метко, что пострадавшие спешили отмываться и отсмаркивать кровь.

Когда с распухающим носом я вернулся в раздевалку, тут стояла порядочная толпа ребят и много девочек. Кто-то плакал, кто-то всхлипывал, кто-то кричал Клавдию Васильевну. А снаружи в дверь, как бы подзадоривая и убеждая в бесполезности сопротивления, с грохотом бухали ледяные комья.

— Да что это? Что такое?! — вдруг высоким, странным голосом крикнула Вера Носкова. Она была выше всех тут. Она да еще наша отличница Вера Малкова, ростом почти с Марью Васильевну. Прикрывшись сумкой, Вера Носкова кинулась в дверь и следом за ней повалили, посыпались, завываливались другие девочки и ребята. Я оказался где-то в середине, но скоро выскочил. Я увидел, как первый ком угодил Вере в грудь,

второй, кажется, попал в голову, но она смело бежала к Бучельникову, и вот, должно быть, узнав ее, он оторопело остановился. Остановилась и она перед ним. Вера была даже повыше его. Секунду они смотрели друг на друга.

— Ты кончишь или нет? — вдруг быстро сказала она все тем же не своим голосом.— Кончишь?!

— Чео? — протянул он.

— Ух ты!

И все увидели, как крепкий ранец Веры с размаху треснул Бучельникова. Шапка его полетела в снег. А ранец взвился снова.

— Девочки! Бей его! — крикнула она, кажется, уже орудуя кулаками, потому что ранец тоже брякнул в снег.

— Девочки-и! — на помощь Вере уже спешила Лида Зудихина, Валя Попова, Вера Малкова.

И на Бучельникова со всех сторон посыпались тумаки, замелькали портфели — все это, двигаясь, перемещалось по кругу, и видно было только спины, валенки, руки, да мелькало решительное лицо Веры Носковой в сбившемся платке. Девочки колотили Бучельникова, окружив со всех сторон, как галки бьют ястреба.

— Ура-а-а! Бей его! Так ему! — кричал кто-то храбрый от дверей.

От страшного хулигана Бучельникова летели перья. Вот он свалился, поднялся, заорал и вдруг, вырвавшись, побежал прочь, зажимаясь, подвывая и причитая,— точно так, как бегали всегда все его жертвы.

На снегу валялась черная шапка, варежка, чьи-то два шарфа и знаменитый ножик с патронной ручкой...

Исцарапанная, красная, с лицом в пятнах, Вера подобрала этот ножик и, вруг заплакав, понесла его в школу. Видимо, теперь девочки опомнились, вспомнили, что им не полагается драться, и некоторые из них, идя за плачущей Верой, тоже завсхлипывали.

Я посторонился с уважением, даже с немым восторгом, пропуская их. Но когда за девочками захлопнулась испятнанная мокрым снегом дверь и перед школой осталось пустое место сражения, я почувствовал вдруг, что мне становится жарко от угнетающего, тяжелого стыда. Вспомнил, что девочки даже не взглянули на меня, заходя в школу... Я снял шапку и вытерся. Нос еще болел. Солнечный ветер студил мне голову, и все

равно было стыдно. Простоял в сторонке... Можно было, конечно, оправдаться про себя — ведь я был вроде как раненый. Но совесть никогда, наверное, нельзя заглушить насовсем. И, медленно надев шапку, не поправляя ее, пиная ледяной комышек, я поплелся домой.

«Что же теперь будет? — думал я, шагая талой весенней улицей.— Неужели Бучельников потерпел полное поражение?» И хоть сам я очень был рад этому событию, даже совсем забыл про опухший нос, все-таки тревожился: что теперь будет?

Когда дня через три мрачный Бучельников появился в школе, он почему-то не задел ни Веру Носкову, ни Лиду Зудихину. Он не заходил больше в наш класс. Словно бы приглядывался, оценивал обстановку. Бучельникова точно подменили: он уже не пинал в раздевалке, не давал щелчки, и его перестали слишком сторониться, поглядывали смелее и увереннее. Несколько дней прошло в напряженно-натянутом ожидании.

Но Бучельников недаром, наверное, походил на упрямого бычка. И через неделю он попытался вернуть свою славу. Однако он не знал, что утерянная слава редко возвращается. Кроме того, былую славу восстанавливают помаленьку, а он решил начать с главного — и ударил в коридоре самого юркого нашего второгодника Шашмурина. Похожий на обезьяну, стриженый Шашмурин, к удивлению Бучельникова, тут же дал сдачи, они сцепились, как маленькая собачонка с огромным догом, но драчунов разняла Марья Васильевна, появившаяся в коридоре. Весь урок Шашмурин о чем-то советовался с Нохриным, Болботуном и даже пытался толковать с Курицыным, показывая ему что-то на пальцах, хоть Курицын и не ответил, а только покосился. На следующей перемене соединенное войско четырех второгодников во главе с Шашмуриным нанесло такое поражение Бучельникову, что он скатился по лестнице, выскочил из школы и еще долго удирал, преследуемый одним Шашмуриным. Это была победа уже полная и окончательная.

А еще через несколько дней хулиган Бучельников совсем исчез из нашей школы. Одни говорили, что он перевелся в новую школу, другие — уехал, а третьи, что Бучельникова видели в гараже, там он помогает шоферам и собирается учиться на шофера. Ну и пусть учится, лишь бы не дрался.

Зима

В детстве всегда с нетерпением ждешь снежок, те нерассветные ноябрьские деньки, когда неожиданно начинается первая легкая метель. Тихо, лениво кружат снежинки, и бежишь без шапки на улицу встречать их.

Эти первые весточки зимы всегда пушисты и невесомы. Они бесследно пропадают на горячей ладошке, пресно холодят язык. Бабушка стучит в раму, качает головой: «Простынешь!» Куда там! Я бегу к сараю доставать санки и лыжи, стучу к Верке — поделиться радостью первого снега.

Мы долго бродим потом по улице, на пустыре и в огороде, глядим, как хозяйничает зима. К вечеру все понемногу белеет. Не так безнадежно смотрятся в низкое небо макушки тополей и берез. Вороны и галки тащатся куда-то на ночлег. И теплая непонятная жалость к зазимовавшей земле потихоньку тревожит мою душу.

А вечером я люблю сидеть у печки. В комнате полутьма. Только красные отсветы дрожат на потолке. Пыхает что-то в печке, щелкают и шипят поленья — поют свою тихую песню огню. Иногда выстреливает из печи каленый уголек, и он тоже пищит, точно живой, угасая и покрываясь пеплом.

За стеклом в морозных разводах голубое и синее сияние. Смутные тени снежинок мелькают там. Там зима. И мне вспоминаются стихи Пушкина:

...Пришла, рассыпалась,
клоками
Повисла на суках дубов,
Легла волнистыми коврами
Среди полей, вокруг холмов...

Или вот:

Сквозь волнистые туманы
Пробирается луна.
На печальные поляны
Льет печальный свет она...

«Мчатся тучи, вьются тучи»,— с восторгом вспоминаю все новые волшебные слова, и даже мурашки бегут по спине. Как же здорово он написал!

Книги Пушкина стоят в старом книжном шкафу на самой верхней полочке. Там, как говорит отец,— «высокая поэзия». Книги Пушкина большие, в бело-желтых

пахучих переплетах. Странно, что эти книги даже пахнут свежо и ново, как все чистое, незахватанное. Они кажутся мне очень дорогими. И каждый раз я мою руки с мылом, прежде чем открываю толстую корку переплета с выдавленным на ней портретом Пушкина.

Осторожно листаю тяжелые страницы, разглядываю яркие цветные гравюры к сказкам, прикрытые тонкой папиросной бумажкой. Чудо-книга! Она уводит меня во дворец Черномора, где «на краю седых небес качает обнаженный лес», на диковинное лукоморье.

Там на неведомых дорожках
Следы невиданных зверей...

В шкафу у отца есть Лермонтов, синие томики Гоголя и два Толстых, которых мне еще не дают читать. Отец часто приносит книги. Иногда в комнате родителей слышится тихий разговор:

— Надо бы Горького-то выкупить. На Тургенева вон подписку обьявили...

— Да вот, с деньгами как быть? Хватит до получки?

— Как-нибудь проживем... А Тургенева надо...

И я уж заранее ожидаю, как в выходной день отец принесет из магазина новую красивую книгу.

Тихонько скрипит дверь. Я знаю эти шаги и не оборачиваюсь. Холодные жесткие ладошки закрывают глаза.

— Да знаю, знаю... Садись!

Это Верка пришла.

Теперь мы вдвоем греемся у печки и молчим. Мы любим молчать так. А Верка вообще первая никогда не разговорится.

Сбоку я вижу, как огоньки отражаются в ее широких зрачках, а прямые желтоватые волосы то становятся точно медные, то странно блекнут, сереют. Меня сильно занимает игра цветов. Белый лист бумаги в отсветах печки кажется оранжевым. А утром, пока не взошло солнышко, тот же лист лежит серо-голубой, как предрассветное небо.

Нынче осенью попробовал я нарисовать нашу улицу. Я устроился с красками прямо на заборе и стал рисовать вечернюю тучу. Провел сизую полосу, положил красно-желтый закат под ней, черной краской написал домишки. Но картина была не та. Чего-то сильно недоставало в ней, хотя краски как будто верные. «Чего не хватает? — думал я.— А что, если и крыши кое-где тоже

оранжевые? А если в тенях прибавить синевы?» Торопливо смешал краски, мазнул здесь и там и вдруг закричал на всю улицу: «Попал!» Точно ожила моя жесткая и скучная картинка. Она не стала, конечно, очень красивой, но теперь я видел закат над нашей улицей, силуэты берез и крыш. Картинку я сохранил. Она долго висела на кнопке у изголовья кровати.

Иногда к печке приходит бабушка, садится с нами и вяжет или штопает, или рубит мясо в корыте. Изредка бабушка приносит старинную деревянную прялку. Она вроде лопаты, воткнутой черешком в широкую доску. Прялка очень старая, темная и расписана блеклыми голубыми узорами. Бабушка садится на доску, вытягивает из путаной шерсти нитку и прядет. Веретено забавно и ловко вертится в ее огрубелых пальцах и тихо жужжит. Я пробовал прясть. У меня и пальцы гибкие. А не получается ничего — валится веретено на пол, да и только.

Бабушки мы никогда не стеснялись. Разговариваем при ней обо всем. А чаще спорим, кто кем будет.

Мне сегодня, например, хочется стать летчиком, а завтра я уже передумал — не в моряки ли податься? Неплохо стать путешественником или зоологом в очках, а то, может, шофером на грузовике? Что ни день, то у меня новая мечта. Одно я знаю твердо: в бухгалтеры ни за что не пойду. Мать и отец у меня работают в конторе. Мать даже какой-то «управделами». Но это все равно скучно. Зачем надо делами управлять? Что они, самолет, автомобиль? Лежат в папках по шкафам.

А вот Верка знает, кем будет. У нее всегда один ответ:

— В больницу пойду работать.

— Подумаешь, нашла работу.

— Да-а.

— Надоест тебе лечить да лечить!

— ...

Разве ее отговоришь! Верка упрямая. Вот через десять лет посмотрим... Через десять лет, наверное, и слободы не станет. Ведь сказал же недавно Миша Симонов, что на будущий год нашу улицу будут сносить. Здесь построят большие дома, как те семиэтажные за речкой. Мы знали, что дадут нам хорошие квартиры, и все-таки не хотелось уезжать. Жаль было свою зеленую улицу, свой старый дом и двор.

Наше горе разделяла только бабушка. Ей тоже не хотелось никуда уезжать. А мать и отец радовались. Они говорили о каких-то «удобствах» и новой обстановке.

И все это, как мы думали, начинается из-за инженера Симонова. Нам всегда казалось, что он нарочно засыпал нашу Основинку, а теперь и улицу решил снести. Мы не любили инженера Симонова. Невысокий и крепкий, он ходил по улице зимой без шапки, у него были рыжие волосы и выпуклые голубые глаза.

— А ты, баба, кем через десять лет будешь? — в шутку спрашивал я у бабушки.

— А меня, милой, уж не станет тогда. Помру я.

— Что ты, баба! Ты живи, долго живи,— пугаюсь я.

А бабушка вздыхает, качает седой головой...

...Еще не успеет лечь как следует молодой снег, а мы уж бежим с санками на крутую Нагорную улицу. Наши сани тяжелые, разбитые от многолетнего употребления. Сколько на них перевожено воды и поленьев! Они скребут по земле еще не раскатанным заржавелым полозом. Я волоку их изо всех сил.

На санках пластом лежит Верка. Она в рваной материной телогрейке и в подшитых кожанками пимах. Верка не надевает на катушку пальто. Недавно Юрка купил ей новое. Юрка теперь гранильщик. Каждое утро уходит с Иваном Алексеевичем на фабрику. А мы завидуем Юрке. Он-то теперь «большой». Юрка курит. У Юрки растут усы...

Там, где улица круто лезет в гору, Верка помогает ехать, отталкиваясь руками. Потом она сама пробует везти меня, да скоро выдыхается и останавливается.

— Эх, куричья лапа,— ругаюсь я.— Не бралась бы уж лучше!

— Ты вон какой...— тянет Верка.

— А мало я тебя вез? От самого пруда.

— Да-а...

Когда мы вступаем в борьбу, я без труда валю худую девчонку в снег, но она кошкой хватается за мои ноги, и вот я тоже валяюсь в снегу. Мы возимся и хохочем до колотья в боках, а потом выбиваем снег из валенок, держась друг за друга. Снова попеременно едем в гору. Нам в голову не придет подниматься с пустыми санками. «Чего им зря-то ехать?» — рассуждаем мы.

Правда, хорошо бы к саням мотор, хоть маленький.

Скатившись под гору, застреваем на полдороге. Нагорную посередине пересекают трамвайные пути, и тут наши сани не едут никак. Да еще гляди, под трамвай не угодить бы. Бабушка сто раз наказывала.

Так мы катались по Нагорной, пока в толстом журнале «Пионер» я не прочитал статейку о коньковых санях. В «Пионере» был чертеж саней и все размеры. Мы с Веркой тотчас поняли, что, если б построить такие сани, на них до самого пруда несло бы.

И мы принялись за дело. В сенках у Кипиных всегда валялось несколько ржавых коньков. Верка и Юрка катались на них, прикручивая коньки веревочкой к пимам. У меня тоже была пара коньков с толстыми полозьями. Такие странные коньки я больше нигде ни у кого не видел. Они назывались «английский спорт», и кататься на них было плохо.

Мы сколотили деревянный щит, прибили к нему бортики, накрепко приколотили по краям коньки. А впереди Юрка Кипин сделал поворотную доску с двумя моими коньками и привязал две крепкие веревки. Потянешь за одну веревку — сани поворачиваются влево, потянешь за другую — вправо. Когда сани были готовы, я попросил у бабушки банку с остатками спиртовой эмали. Целое утро мы красили свое неуклюжее произведение в зеленый военный цвет. После окраски сани стали хоть куда. Мы называли их «самоход».

Испытывать «чудо техники» пошли вчетвером: сам Юрка, я, Верка и Генка Пашков. Пока мы строили самоход, Генка все время юлил возле двора, подсматривал в щели забора — у нас с ним была война. А тут он и про войну забыл.

Бегом взобрались мы на гору. Юрка установил самоход, взял «вожжи», уперся ногами в бортики по краям поворотной доски. Я и Верка поместились сзади. Генка встал на запятки и тихонько оттолкнулся. Тихо, плавно наш коньковый плот тронулся вниз и заскользил, набирая скорость. Вот уже замелькали домишки, зарябили палисадники, тополя запрыгали назад. Самоход со скрежетом пересек трамвайную линию, помчался под раскат горы и в вихре снега вылетел на лед городского пруда. Долго мы катились по гулкому зеленоватому льду. Наконец сани затихли. Мы ликовали, на все лады расхваливая свою «машину» и друг друга.

Езда на самоходе так увлекла нас, что теперь, едва сделав уроки, мы бежали кататься. Я усвоил управление санями и лихо поворачивал их, если дорогу пересекал трамвай. Самоход был послушной машиной.

Катались мы втроем с Генкой Пашковым. Потом он почему-то перестал ходить.

Как-то поздно вечером мы с Веркой, не торопясь, брели домой. Светила мутная луна. Падал редкий снежок. Руки и ноги у нас ныли теплой усталостью. Мы волокли самоход за веревки и тихо переговаривались.

Вдруг из-за угла нашей улицы вышло четверо ребят. Они загородили нам дорогу. В свете луны я тотчас узнал всех братьев Курицыных и самого Генку.

— Хватит, накатались,— сказал Генка, вырывая веревку у Верки.— Теперь он наш будет. Поняли?

Я молчал, потрясенный неслыханным предательством.

— Вали отсюда! — сказал я, переходя на Генкин язык, и тут же получил пугачом по голове. Шапка слетела в снег. Разозлившись, я двинул большого «курицу» головой, а средний неудачно наскочил на мой кулак. Драка разгорелась не на шутку.

Отбиваясь сразу от трех врагов, я хотел только прорваться и удрать, но, оглянувшись, увидел чудо: Верка молча тузила Генку Пашкова, и он отступал, пятился к забору. Вот он запнулся и полетел в снег. Силы прибыло у меня. Я свалил старшего Курицына и погнал среднего, а младший, трусливый брат, отбежав в сторону, только глядел на мамаево побоище. Мы одолели. Мы ушли от бессильно грозящих врагов со своим самоходом. И хотя уносили мы немало синяков, а у Верки был расквашен нос,— это была убедительная победа над могущественным противником.

— Как это ты Генку-то! — с уважением удивлялся я.

— А пусть не лезет...— Верка прикладывала к носу снег.

— Да ведь он сильнее тебя!

— Пускай не лезет...

С тех пор война кончилась. Враги признали нашу силу. Мы часто катались теперь попеременке, уступая самоход и Курицыным и другим ребятам. А иногда ездили «кучей». Сваливались на крепкий самоход сколько всех было, и он, поскрипывая, мчал нас под гору, пропахивая в дороге глубокие колеи.

Однажды, в конце декабря, мы катались вдвоем с

Веркой. Время было позднее. Трамваи ходили редко. Я пустил сани во всю прыть, хотел проскочить линию одним духом.

Я задумался и вдруг похолодел. Мы мчались прямо под трамвай, который был совсем близко.

— Верка! — крикнул я и рванул поворотную доску. Зазвенело, хрустнуло, треснуло. Словно большой рукой меня хватило в спину, и я очутился без шапки и валенка на тротуаре. Через секунду я увидел встающую на четвереньки, вываляннную в снегу Верку и остановившийся трамвай.

Как нас ругали вожатая и оба кондуктора! Как бранились высыпавшие из трамвая люди... Под конвоем кондуктора пошли мы домой. Я думал, что влетит нам теперь. Спина и бок болели. Но самое главное — жаль было наш зеленый самоход...

После зимних каникул пришли неслыханные морозы. По утрам даже в постели было зябко. Серый свет скупо сочился через замерзшие доверху стекла. Я протаивал дыханием кружочек, глядел на улицу. Вся слободка и город дымились прямыми и белыми дымами, а блеклое небо казалось куском голубого льда. Снег скрипел и визжал, и голоса паровозов были отчетливо ясны, будто мы жили у самой станции. «Сорок семь сегодня»,— говорил утром отец. Я пробовал высунуться на крыльцо и скоро уходил. В носу свербило. Ресницы опушались инеем. Пальцы рук больно прилипали к железу скобки.

Я удивлялся, как бабушка терпит мороз. Она ходит по воду и, напустив в прихожую облако холодного пара, опрокидывает с коромысла в кадку обледенелые ведра. Бабушка носит белье полоскать на ключ и возвращается вся в морозном инее, с красным лицом.

— Не замерзла ты?!

— Нет, милой...

А вечером она мажет руки скипидаром и ходит взад и вперед по кухне, заложив их под мышки. Видно, сильно руки у нее болят. Мне-то от морозов одно удовольствие. В школу ходить не надо. Рано вставать не требуется. Одна беда — не спится подолгу никак.

Обычно меня отец стаскивал с кровати и я, сонный и злой, нехотя одевался, проклиная про себя школу и первую смену. Теперь проснешься задолго до утра и слушаешь — скрипит, постанывает легонько наш старый дом. Видно, ему тоже холодно, жмет его стужа.

На пруду что-то гулко стреляет. Кот высовывает голову из-под одеяла в ногах, недовольно посвечивает чертовскими глазами. В морозы кот спит день и ночь. Я лежу, слушаю ранние заводские гудки и раздумываю, долго ли еще будет холод — в школу ведь хочется...

В одно такое утро наконец замечаешь — словно потеплело. На окне отступает морозная накипь, и видно, хоть еще северит на дворе, а небо пасмурное, теплое. И сыплются, сыплются мелкие снежинки. И рад не рад я, что мороз кончился.

После таких полярных холодов однажды выпал большой снег. «На сажень»,— говорит бабушка, она орудует лопатой, отбрасывает снег от крыльца. Я не знаю, сколько это «на сажень»,— должно быть, очень много. Вчера кот спрыгнул с забора в сугроб, утонул в нем, и бежали над снегом из огорода одни котовы уши да хвост.

Под вечер мы увидели на пустыре Мишу Симонова с его отцом, инженером. Они бродили там по пояс в снегу. В руках у инженера была фанерная лопата. В одном месте он остановился и стал быстро копать. Такой здоровила, вон какие глыбы поддевает! А зачем?

— Речку, что ли, они откапывают?

Верка отрицательно качнула головой.

Симонов копал допоздна и наворочал целую гору снегу.

На другой вечер Симоновы явились снова и привезли большие сани с лыжными полозьями. На санях стоял ящик. В ящике болтались лопаты. Удивленно глядели мы, как инженер и Миша грузили снег в ящик, везли его в кучу. Мы не вытерпели, побежали узнавать.

— Папа катушку для ребят строит,— объяснил Миша.

— Для всех?

— Для всех. Папа любит строить.

— Можно, мы будем помогать?!

— Конечно, можно,— сказал Миша и посмотрел на меня, точно взрослый на маленького.

Когда Симоновы ушли ужинать, мы забрали свои старые сани, поставили на них гремучее железное корыто, стали возить снег.

На другой день пошли вместе с нами строить катушку мой папа, Юрка Кипин и Генка Пашков со своим братом Ленькой. А под конец привалили и братья Курицыны, тоже на санях, вместе с другими ребятами с их конца.

Инженер усмехался своим жестким выбритым лицом, глядя на наши старания. Он не командовал нами и не приказывал никому. Просто копал лопатой, подбрасывал пудовые комья. Мы боялись разговаривать с ним — очень уж суровый был у него вид.

Огромная катушка встала на бурьянном пустыре. Мишин отец все не унимался. В другом конце пустыря он снова начал возить и грузить снег, и вторая снежная гора выросла там раскатом к первой.

Странный обоз громыхал вечерами по нашей улице. Мы везли на санках кадушки и ведра, волокли железные бочки. У водопроводной колонки мы занимали очередь и равнодушно выслушивали ругань старух, пока все посудины не бывали налиты до краев.

Поливали катушки сам Симонов и мой папа. Сперва они лили осторожно, понемногу, потом все хлеще. Вода пищала и пела на морозе. Потрескивал молодой ледок, а мы все возили и возили обмерзлые санки — воды требовалось ужасное количество.

Общая работа сблизила нас. Прежние непримиримые враги мирно и дружно таскали ведра, тесали снежные брусья. Отец и Симонов затеяли строить снежную крепость поблизости от катушек. К нам валом валили ребята со всей слободки.

Кое-кто уж лез кататься, да инженер не позволял. Миша стаскивал нетерпеливых. «Пусть окрепнут катушки, промерзнут хорошо»,— говорил он рассудительно.

В один из морозных дней мы полили катушки последний раз, и на следующее утро началось веселье. Сани с хохотом и визгом неслись по ледяному раскату через весь пустырь. А там мы взбирались на другую катушку и мчались обратно.

Ух, как здорово лететь вниз с крутой горы! Бешено несутся санки, лед гудит под полозком. А сзади орут и свистят ребята. Теперь на наших катушках вся слободка катается. А вечером даже взрослые парни приходят.

— А чо вы сюда? — орет на них задира Пашков.

— Нельзя, что ли? — огрызаются парни.

— А где вы были, когда мы строили? Обрадовались задарма-то.

— Тебе платить, что ли?

— На́ сам копейку,— язвит Генка.

— Ишь, какой шкет! — хохочут парни.

— Да ладно уж, катайтесь,— ворчит Генка, хозяйским глазом оглядывая катушки. Он теперь с утра до ночи здесь торчит.

А инженер Симонов больше не приходит. Изредка появляются Миша с Ниночкой. Миша говорит, что отца переводят на другую стройку и скоро они уедут.

Перед самым отъездом Симоновых инженер пришел на катушки. Стоял, дымил папиросой, глядел и улыбался.

...Веселой и короткой оказалась та зима.

Скоро потеплело. Из-за дальних морей прилетали ветры. И дни в преддверии весны стояли солнечно и безмятежно.

Мы приходили из школы, и нам не сиделось дома. Расстегнув пальтишки, сбросив шапки, мы бежали в этот сияющий солнцем полдень с запахом согретых тополей и первых робких сосулек. Мы ждали весны и радовались ей, как могут радоваться только одни дети.

Варя, пятерка и птички...

Это было в четвертом классе, в середине года. Я раскрыл тетрадь, положенную дежурным на краешке парты, и вздрогнул: на странице с домашним заданием стояла яркая веселая пятерка. Пятерка?! Не поверил глазам. Пятерка. Она как бы улыбалась мне и в то же время посматривала с недоверием. Она говорила: «Ну, что ж ты так долго не мог меня получить?» Это была моя первая пятерка у Марьи Васильевны и, наверное, потому показалась ослепительной, невероятной наградой.

Исполненный торжества, я не закрыл тетрадь, приложил все усилия, чтобы Варя тоже увидела мой триумф. С Варей у нас было не то чтобы соревнование, а какое-то непонятное соперничество с первого дня, когда ее посадили со мной вместо Курицына. Если я говорил «А», Варя говорила «Б», если я приносил в школу пирожки и угощал Варю — она ела, но на другой день приносила пирожное, и мне приходилось есть, признавая Варино превосходство. Она, не скрывая, торжествовала, когда я хватал двойки или стоял урок-два у доски. В свою очередь, я не забывал отыграться, если ее ссылали на заднюю парту к Нохрину или когда она плакала, получив единицу — кол.

И в то же время я так привык к этой своей черноволосой соседке, к ее смородиновым глазам, что когда Вари не было (она часто болела ангиной, гриппом, свинкой, еще чем-нибудь), я люто скучал, ждал ее, видел даже во сне, и мне все время хотелось услышать ее как бы немного простуженный голос, запах мягкого фланелевого платья и жестких черных волос. От Вари всегда пахло одинаковым хорошим Вариным запахом. Может быть, она потихоньку мазалась духами «Красная Москва».

После болезни Варя приходила немного изменившаяся, с побледневшим и похудалым лицом, но все-таки по-прежнему довольно плотная, и я, оглядывая ее, скрывая радость, ворчал:

— Опять всю парту заняла!

— А тебе-то чо! — огрызалась она, сурово взглядывая из-под нахмуренных черно-широких бровей, разводя трубочкой яркие губы.

— Чернуха-черномазая! — говорил я. — Хоть бы отмылась.

— А ты — белобрысый! — Это был ее обычный ответ, хоть никакой я не «белобрысый», только немного посветлее Вари, да глаза еще у меня или серые, или голубые, в общем — не черные и не коричневые.

Так мы переругивались при встрече. Но я как-то знал, чувствовал, что Варя на меня не сердится. Это она просто так. Она всегда такая. Она — женщина, а женщины любят притворяться строгими. И Варя, кажется, понимала, что я не со зла говорю ей гадости и тоже рад, что она пришла, опять сидит со мной и есть кого толкнуть под локоть или подуть в ухо, отчего она всегда забавно ежилась и стукала меня кулаком по плечу. К тому же Варя знала, что мужчины любят ворчать.

В прошлом году, осенью, я тоже заболел коклюшем и не ходил в школу целых полтора месяца. Это очень хорошая болезнь — коклюш. Сидеть дома не надо, температуры нет, в школу ходить нельзя, а бегать можно сколько хочешь, ловить чечеток, лазать за яблоками, стрелять из рогатки по консервным банкам и воевать с младшими Курицыными. Только кашель ужасный донимает, особенно по вечерам, а так — ничего, можно терпеть... Когда я пришел в школу после коклюша, Варя даже улыбнулась мне. У нее очень красивые зубы,

белые-пребелые, ровные-ровные. Но Варя почти никогда не улыбается, наверное, потому, что если она улыбается, видишь, какая она добрая и смешная. А тут она не удержалась, засияла, как странное черное солнышко. Правда, скоро спохватилось это солнышко и зашло за свою обычную тучу.

Больше всего я боялся, чтоб Марья Васильевна не пересадила меня от Вари или Варю — от меня. Иногда мне казалось, что Марья Васильевна догадывается об этих моих тайных мыслях, знает их. Однажды она так пугнула меня, сказав, что пересадит насовсем к Нине Силантьевой, что потом я целую неделю сидел примерно, боялся повернуться, да и Варя что-то присмирела, хотя она и была не из разговорчивых. «Отстань!» — было ее любимое слово. Впрочем, разговор-то ведь о пятерке...

Тетрадь была не закрыта, и Варя, которая вечно совалась куда ее не спрашивают, теперь делала вид, что не замечает мою пятерку. Тогда я подвинул тетрадь поближе к Вариной руке. Она отодвинула ее, не глядя. Вот вредная!

— Варя,— сказал я,— а что задавали по русскому?

— Отстань! Сто тридцать шестое,— ответила она, не поворачивая головы и глядя на доску.

— Варька! Я пять получил. Ага!

— Отстань! — сказала Варя.

Тетрадка легла под Варин нос. Теперь уж не отвертится.

— Да видела, видела... Расхвастался, у-у,— сказала она, поджимая яркие губы, морща нос и водя им из стороны в сторону.

Не удался мой триумф. Вроде бы как сам себя я похвалил. И все-таки домой я не шел, а летел вприпрыжку, и первая, кого встретил, была бабушка. Покачиваясь, она несла воду на коромысле.

— Бабушка! Пять! Слышала? Пять! Я пять получил...— Заставил старуху смотреть в тетрадь, не снимая ведер с коромысла. Правда, скоро опомнился, велел бабушке ведра снять и потащил их сам, а она шла сзади с моим портфелем. Ведра показались мне совсем легкими.

То ли родители мои понимали, как велика была заслуга — получить пятерку у Марьи Васильевны, то ли они посчитали, что за первой пятеркой другие пойдут косяком, но мать спросила меня после ужина, что мне

купить — имелась в виду награда за успех. Мать и отец в самом деле были довольны — еще бы, после стольких двоек-троек ПЯТЕРКА.

Я помялся для виду. Что говорить! Многое хотелось: и мяч футбольный, настоящий, кожаный, не кирзовый, каким мы все время играли, и такое ружье, как у Эрнешки, гулко стреляющее пробками, и заводной танк — такой тоже был у него, и книжек хотелось, и двухколесный велосипед (но не просить же велосипед за пятерку, надо же совесть знать). Вообще-то я удивился, такое было второй раз в жизни, когда меня спрашивали, что мне купить. О первом случае я еще расскажу. Но я знал, что мне надо больше всего. Птичку надо. Чижа. Пока что у меня жили одни чечетки, и получить желтенького, зеленого, черноголового чижа было моей несбыточной мечтой. Такие чижики жили у Кипиных, а мне их никак не покупали. И мать, и бабушка считали, что ловить птиц вредно, держать в клетках — тоже. На все мои просьбы ответ был один: «Ни к чему! Незачем! Есть у тебя птички — и ладно... Учился бы лучше...»

«От птичек у него ученье и не идет... С птичками только свяжись...» — говорила моя справедливая бабушка. Я очень сердился на нее за это.

Теперь же я мог законно просить об исполнении своих желаний и потому сказал:

— Купи мне чижа! Ну пожалуйста, купи...— При этом я смотрел в лицо матери, стараясь понять, не слишком ли велика моя просьба и как мать отнесется к ней.

Просьба не обрадовала ее.

— Ну ладно, посмотрим,— неопределенно ответила она.

А отец и бабушка промолчали. Им-то и вовсе не понравилось высказанное желание. «Неужели мне теперь ничего не купят? — грустно подумал я.— Или купят, как в тот раз...» Теперь, наверное, можно рассказать и о первом случае, когда меня спросили, что мне купить. Было это еще до школы, летом. Тогда к матери приехала младшая сестра, тетя Дуся. Эта сестра, очень живая говорливая женщина, всегда тискала, целовала, обнимала меня, говорила, какой большой я вырос, удивлялась способности читать книжки наизусть (какая же тут способность, если я заставлял мать читать мне одно и то же по двадцать раз). И еще тетя Дуся очень любила ходить по магазинам. Иногда они с матерью брали

меня с собой, и хорошо помню, как я ныл, мучился, бродя по всем этим трикотажным, галантерейным, обувным отделам из магазина в магазин, с площади на площадь, а тете Дусе все было мало, все надо было еще куда-то зайти, заехать, посмотреть, заглянуть на минутку. Вот почему в один из ее приездов я наотрез отказался идти в магазины. А тетя Дуся и мать великодушно решили вознаградить меня и спросили, что мне купить. Это и был первый случай, когда меня спросили, что купить.

— Рыбку! — не задумываясь, сказал я.— Рыбку-вуалехвоста в зоомагазине.

— Рыбку? Зачем тебе рыбка? Лучше что-нибудь другое,— удивилась тетя Дуся.

— Нет-нет. Ничего другого. Рыбку... Пожалуйста.

— Ну, ладно, посмотрим,— точно, как сегодня, ответила тогда мать, и они, переглянувшись, ушли. Меня обеспокоило только, что они не взяли с собой никакой посуды под рыбку: ни баночки с водой, ни даже хотя бы бутылки. Но тут же вспомнил, что в магазине с голубой вывеской «ЗООМАГ», где вдоль окон громоздились этажерки аквариумов, чивкали-чиликали желто-синие попугайчики и ползали медленно в ящиках зеленовато-коричневые черепашки, где пахло сушеной дафнией и скачущими в клетках белками, где всегда хотелось подолгу стоять, не отлипая от витрины,— имелись в этом магазине и банки, и склянки для рыб, и целые аквариумы, которые, видимо, были необычайно дорогими, потому что я боялся даже заикнуться о такой покупке. Зато рыбка — желтый вуалехвост — у меня была. Она жила целых два года в банке на окне, и я кормил ее манной крупой. К сожалению, рыбка погибла при смене воды, выскочила на пол и разбилась. Я очень жалел ее, плакал, дулся на бабушку. И теперь вот ждал, ждал, ждал, когда же вернутся мать и тетя Дуся с обещанной новой рыбкой. Они пришли только к вечеру. Должно быть, тетя Дуся обошла все магазины в городе... Я сидел за воротами и едва увидел в улице крупную медленную фигуру матери и тонкую тетю Дусю, помчался к ним сломя голову. Уже подбегая, среди вороха свертков, коробок и прочего, что несли они обе, я не заметил желанной банки с рыбкой.

— Ну, как? Весь день ждал? А мы так устали... Так устали... Такая жара сегодня,— говорила тетя Дуся.

— А... А... А где же... рыбка? — спросил я, переводя взгляд то на свертки, то на лица матери и тети.

— Рыбка? — как-то смущенно смеясь, сказала тетя Дуся.— Так вот же мы тебе купили! — И она подала мне картонную обувную коробку.— Там еще и лягушка есть...

Она продолжала смеяться.

— Рыбка? — меняясь в лице, спросил я, все еще словно бы надеясь на что-то. Я открыл коробку. В ней лежали, конечно же, обыкновенные летние сандалии, желтые, пахнущие новой кожей. Скучные-прескучные. Что еще могло быть в обувной коробке? Я сунул ее матери и, горько заплакав, побежал прочь.

Я очень боялся, как бы и на этот раз полуобещанная птичка не оказалась какими-нибудь новыми ботинками или рубахой. Я даже вообще не очень любил новую одежду — и не запачкай ее, и не сядь где хочется, и на забор не залезь. То ли дело обношенная, трепаная одежонка, как хочешь ее, так и носи, вымокнешь, в грязи вывозишься, порвешь даже — все ничего.

На другой день (было как раз воскресенье) мать с утра куда-то ушла, не сказав ничего. Я же еле высидел за столом завтрак, побежал на улицу. Здесь легче ждать. И вообще, по-моему, на улице легче переносятся и всякие разочарования. А все-таки неужели она не купит птичку?

Есть люди равнодушные к природе, есть полуравнодушные, которые могут радоваться только елке в Новый год, корзине грибов и нетронутой земляничной поляне; может быть, половина взрослого человечества любит природу по-настоящему, любит солнце, опушки, пни, облака, звезды, грозы, бабочек, птиц, цветы, окуней и пескарей, любит природу во всех проявлениях, будь то причудливый корень или хвойная ветка, которую человек, не найдя лучшего, несет домой. Детей же, равнодушных к природе,— нет. Я, сколько помню себя, любил живое болезненно-острой и радостной любовью. И этим чувством была согрета и освещена вся моя жизнь. Просыпался с первым солнечным лучом, и первые мысли были уже там, на воле, уже виделся огород в росе, и речка, и запахи сада, и красные, голубые стрекозки, которые всегда там тихим летним утром; ждали меня голоса птичек в листве, золотой жук, ползущий медленно куда-то, и какие-то жесткие пахучие цветы, которые

я нашел вчера на огородной меже у забора и сегодня снова хотелось их отыскать, осмотреть, и понюхать, и попробовать на вкус. Все влекло меня, жадно заставляло задумыватсья и восхищаться, и не раз, конечно, прохожие видели, как мальчик в истасканной отгорелой шапке-матроске, сидя у обыкновенной грязной лужи на дороге с консервной банкой в руке, вглядывается в рыжие тучи дафний, перемещающиеся в глубине подобно звездным туманностям. Этот мальчик ловил банкой крапчатых мелких водолюбов и бойких коричнево-черных плавунцов, он бродил по пустырю, отворачивая камни, подолгу сидел у тополевых пней, и с ним случались истории, одна другой удивительнее. В каменных кучах на свалке он обнаружил мелких черно-серых ящериц (откуда они взялись тут, в самом городе?), он открыл, что, если шмеля быстро схватить на цветке репья за ворсистую спинку, шмель не может укусить, только изо всех сил старается вырваться и все время стрижет из кончика брюшка плоским черным кинжальчиком. А еще над цветущими репьями парят желто-полосатые мухи, похожие на ос. И если поймать такую муху, можно пугать ребятишек и демонстрировать свою заколдованность от укуса. А еще под осень в бурьянах бывают настоящие вальдшнепы. Один раз такой глазастый длинноклювый кулик вышел к мальчику, когда он тихо сидел в бурьяне. Вальдшнеп всовывал клюв в землю и что-то глотал, а потом вспорхнул, рыжим платком метнулся над бурьяном и пропал в сычовском саду...

Мать возвратилась скоро. Я увидел в руках у нее светло-зеленую клетку, а в клетке — нет, вы даже представить не можете, до чего я обрадовался! — в клетке прыгали яркий желтый чижик и бело-пестрый с красным и черным щегол. Кажется, я закричал «ура!», обнял мать и торжественно понес клетку домой.

Этот день останется со мной навсегда. Я отлично помню, как устраивал новых птичек, как любовался ими, всяким перышком, глазенками, ворсинками у клювов, черной шапочкой чижа, его золотистой, отливающей зеленью грудкой и зеленоватыми «зеркальцами» на крыльях, а про щегла и говорить не приходится — так он был бел, наряден с черно-красной головой, коричневой спинкой и солнечной желтизной перевязей по середине каждого крылышка. Я принес им в клетку свежих веток, увязая в снегу, раздобыл в огороде сухих репьев,

поставил блюдце с водой для купанья. Хлопотал дотемна, забыв о еде, о том, что надо еще выучить уроки. И единственное, чего мне еще хотелось,— поделиться своей радостью с кем-то понимающим. Человек, видимо, неосознанно стремится к этому, недаром же пословица говорит, что разделенная радость — вдвое большая радость.

Поздно вечером я сел наконец учить уроки, глаза у меня слипались, задачи не получались. Под неодобрительное ворчанье матери и укоризненные взгляды бабушки я все-таки кое-как доделал задание, столкал учебники в портфель и лег спать.

Спал я плохо. Все чудилось, что птичек у меня нет, то их кто-то выпускал, то мать, возвращаясь, приносила мне коробку с желтыми сандалиями, а тетя Дуся, смеясь, говорила: «Там еще лягушка есть...» То щегол и чиж вылетали из клетки, и их хватала на окне наша старая дымчато-серая кошка — так схватила и съела она у меня вылетевшую из клетки только что пойманную синичку. Помню, как я вскакивал, смотрел на клетку, где мирно спали рядышком чиж и щегол, как ложился, облегченно вздыхая, и как снова снились мне сны один страшнее другого.

Я пришел в класс рано. И едва дождался Варю. Варя имела обыкновение опаздывать и вообще не торопиться. Уже звонок в раздевалке бренчит, а она все еще копается, сумку застегивает, чулки поправляет, в зеркало поглядится, а потом уж плывет, подняв свой нос. Ни за что не поторопится. За это Марья Васильевна не один раз оставляла Варю стоять у дверей. А Варе хоть бы что. Простоит и опять опаздывает. Сегодня, правда, пришла под звонок.

— А мне-то птичек купили! Чижа и щегла! — выпалил я.

Против обыкновенного, Варя приняла новость с интересом, не фыркнула, как обычно, не сказала: «Отстань!»

— Птичек? — переспросила она.

Я кивнул.

— А какие они?

Очень обрадованный таким неожиданным проявлением интереса от девочки, да еще от самой Вари, я принялся подробно описывать, какое оперение у чижа и как окрашен щегол. Но тут в класс вошла Марья Ва-

сильевна. Начался урок. Я пытался и на уроке шепотом рассказывать Варе об окраске щегла, но ведь вы знаете, как ярко-пестро его оперение, и пока я все объяснил, получил от Марьи Васильевны два замечания за разговоры. Вместо третьего замечания она вызвала меня с тетрадкой к доске. А это — я знал по опыту — ничего хорошего не предвещало. Марья Васильевна тут же у стола проверила задание, исчеркала его так, что там стало красным-красно, и выставила мне жирную единицу — кол.

«Вот они — птички... Сбываются бабушкины слова»,— думал я, обреченно бредя обратно. В самом деле — только что получил пятерку и вот же на тебе — кол. Я еще не знал простой житейской мудрости, что за радостью всегда следует горе, за горем — радость.

Вздохнул и сел, ждал, что Варя опять будет злорадствовать. Скажет так, шепотом: «Ага, атличник! Схватил?» Но Варя на этот раз молчала. Может быть, чувствовала, что в моей единице есть доля ее вины, ведь рассказывал-то я ей, Варе. Насупившись, я сидел над тетрадкой, размышлял о превратностях жизни и еще о том, как мне теперь быть. Эту нежданно прилетевшую единицу надо было скрыть во что бы то ни стало, иначе прощай мои птички — мать или бабушка выпустят их непременно.

— А ты — плюнь... Подумаешь... Исправишь ведь,— сказала вдруг Варя шепотом.

Я вытаращился на нее. Варя ли это?

— Задание перепиши, а единицу вырви... И все...

Варя ли это? Какая она, оказывается, смелая. Впрочем, я это в ней смутно подозревал, хоть, конечно, не думал, что она такая же храбрая, как, скажем, Вера Носкова, которая отлупила хулигана Бучельникова. А Варя даже чуть-чуть улыбалась. Только чуть-чуть. Так умеют улыбаться одни женщины.

— Пойдем к тебе птичек посмотреть,— вдруг предложила она на последнем уроке.

— Пойдем! — невероятно изумленный (и обрадованный) согласился я. Почему-то я сразу забыл, что получил единицу, что впереди еще...— Пойдем!

Мы вышли из школы вместе, под косые взгляды ребят и поджатые губки некоторых наших девочек. В классе ведь все считали, что у нас с Варей вражда на всю жизнь. В этом были все уверены, и сам я, спроси меня

об этом кто-нибудь еще вчера, незамедлительно подтвердил бы это.

Я обнаружил, что с Варей очень приятно идти по улице. Идем, как большие, разговариваем, смотрим на дома, на ворота, на тополя. Я говорю Варе о том, что мне нравится. Она говорит, что нравится ей. Иногда наши вкусы сходятся, и это очень здорово, я поглядываю на Варю с уважением, и, наверное, вообще ничто так не сближает людей, как общие вкусы. А кроме всего, было тепло. Ворковали по карнизам голуби. Кричали галки. Дворники на тротуарах скребли снег. И пахло весной. Хоть это была еще и слишком ранняя весна. Весна в феврале.

Птички Варе понравились, особенно щегол. Стоя на стуле, заглядывая в клетку, Варя причитала:

— Ой, ты, мой хорошенький! Ой, какой чистенький, беленький! А смотри, на крыльях-то какое яркое, желтое-желтое... Ой, прямо такой невозможно красивый...

И восторженно глядя на стоящую надо мной черную, стриженную косицами девочку, слушая ее голос, умиляясь ее восхищению, я тут же простил Варе все — все насмешки, все подковырки, все ее «Отстань!» и «Ну тебя!». А самое главное, что обрадовало меня еще больше, Варя понравилась бабушке. Это я понял сразу и одобрил бабушкин вкус. Бабушка у меня — человек политичный. Никого не отпустит без обеда, без закуски, даже пожарного инспектора, который ругался, что у нас не вычищена сажа в печках, и сказал, что принесет штраф, а потом закусил, выпил с бабушкой по рюмке водки и сказал уже, что штрафа не будет, но сажу надо вычистить. Когда Варя слезла со стула и мы принялись смотреть книги и игрушки, бабушка явилась, позвала нас в кухню обедать. Варя страшно застеснялась, покраснела, сказала, что ей надо бы домой. Но бабушка и слушать не хотела.

И опять, если бы кто-нибудь предсказал еще неделю назад, что мы с Варей вот так дружно и сообщно будем есть суп на нашей теплой кухне, я бы ни за что не поверил. Но это было так. Не во сне. Наяву. И, обрадованный этим, как-то необычно воодушевленный, я не столько ел, сколько смотрел на Варю, не сводил с нее глаз, замечая про себя и как она откусывает хлеб своими фарфорово-ровными голубоватыми зубами, и

как опускает ложку, как поправляет волосы и как иногда поводит своим вздернутым носом — что мне особенно непонятно нравилось, все хотелось, чтоб Варя еще сделала так.

А потом я проводил ее по пустырю через трамвайную линию до Вариной Нагорной улицы и побежал домой.

Я сел за домашнее задание, необычайно прилежный, весь наполненный новой чистейшей радостью. Я точно боялся ее расплескать и лишь вспоминал осторожно, как Варя перешагивала блестящие трамвайные рельсы, как шла в гору в своих новых валенках, коротком черном пальто и красном чепчике, простой шапочке, которую — я знал это — она связала сама.

Я и Варя стали друзьями. Больше того — неразлучными друзьями. Часто мы даже вместе учили уроки и вместе оставались исправлять двойки и тройки. В классе про нас сначала сплетничали, а потом перестали. Надоело. Мы учили уроки и играли то у нее, то у меня. У нее было даже удобнее. Мать Вари работала медсестрой в больнице и мало бывала дома. Варин отец служил в армии, и Варя все собиралась к нему поехать, но говорила, что мать не отпускают с работы.

Варя по-прежнему любовалась птичками, кормила их, поила, чистила клетки и делала это лучше меня, как-то аккуратнее. Я же стал очень хорошо учиться и пятерки теперь получал часто, наверное, потому, что учил уроки с Варей и мы просиживали за ними хоть три, хоть четыре часа подряд.

Однажды я решил подарить Варе щегла. Но она не взяла. «Пусть у тебя будет. Ведь я часто прихожу к вам,— сказала она. А потом добавила: — Пусть считается, что ты мне его подарил, и он — мой. А живет пусть у тебя... Ладно?»

Я был рад и этому очень мудрому решению.

Так счастливо-безмятежно мы дожили до весны, перешли в пятый класс. Варя на каникулы уехала к отцу, на запад, в город Брест. Перед отъездом она пришла ко мне, и мы целый день играли в классы и сидели на скамейке, пока не подошло время прощаться.

— Ну? До осени, правда? — сказала Варя.— Через три месяца уже будет осень... Может, я опоздаю... Ты береги мое место... Опять сядем так...

Кажется, я не очень расстроился, провожая Варю

по обыкновению до трамвайной линии. Она перешла линию и, поднимаясь в гору, остановилась, помахала мне. Блеснула ее улыбка... Если б я знал, что вижу Варю в последний раз...

Таня

Много раз я слышал это слово. Любовь. Любит. Его говорили взрослые. Что-то хорошее и стыдное было в нем. Я ни за что не сказал бы его вслух. Даже про себя не скажу.

И все это началось с того, что в желтеньком доме Осиповых, наискосок от нас... Нет. Лучше уж по порядку.

Бежал я по улице с пруда. Я только что выкупался и летел с мокрой головой, в брюках, закатанных по колена. Рубашку свою я привязал спереди в виде фартука. Так делали все ребята, если ходили купаться.

Близ ворот нашего дома я едва не наткнулся на незнакомую девушку лет семнадцати в черной рубашке, черной юбке и белых тапочках на полных загорелых ногах. Девушка была темноволосая, с аккуратно стриженной челкой и удивительно юная — иного слова не подобрать к ней. Она спокойно посторонилась, спокойно пошла дальше. А я встал, словно почувствовал пустоту вокруг себя. Оглянулся. Вон она идет, легко шагают ее ноги.

Кто она? Почему я ее никогда не видел? Что девушка красивая, невозможно красивая, я боялся сказать сам себе. Я видел красивых женщин и полагал, что знаю, какие они бывают. Такой считалась в улице девушка-парикмахер, что жила у Сычова. Или мать Эрнешки — величавая дама со сливовыми глазами. Но я глядел на этих красавиц все равно что на неряху Семеновну. Вот мать Эрнешки вся в бусах, в кольцах, в золотых часах. А парикмахерша красится сегодня в белый, а завтра в рыжий цвет. У нее штук сто разных платьев... А у этой девушки не было ни бус, ни колец, ни сережек.

Пустынна кривая улица. Две белые козы у забора удивленно смотрят на меня. И поет во все горло петух на сычовском дворе. И я не знаю, что мне делать...

Я встал у ворот в цветущий пырей и всерьез раз-

думался. Что такое? Почему мне стало так скучно? Зачем я думаю о совсем незнакомой прохожей? Само слово «девушка» я не могу произнести. Оно взрослое — это слово. Незнакомая? Нет. Словно бы я знал ее уже. Словно бы знал, что она где-то живет, ходит по земле. Или я действительно ее встречал? Видел? Нет, не видел, твердо сказал я. Может быть, в журнале «Работница»? Может быть, она та чернявая из кинокартины «Пятый океан»?

Нет, не она. С чувством странной тоски я припоминал все: белые спортивки, стриженые волосы, немного качающуюся походку. А глаза? Какие же у нее глаза? Не запомнил... И все-таки я понимал, что отличу ее теперь из миллионов, узнаю когда угодно: и через год, и через два года, и через всю жизнь. И день этот — ветреный июньский день с золотыми и молочными громадами облаков — остался мне навсегда.

А через неделю я опять изумленно-радостно увидел ее. Она выходила из ворот Осиповых.

Неужели она живет здесь?! Неужели на нашей улице... Каким счастьем повеяло на меня. Я проводил девушку до трамвая, идя в отдалении. Я простоял за телеграфным столбом, пока она села на «пятерку». Уехала...

Я прибежал обратно и снова не пошел домой. Сел на том месте, где худой забор нависал над землей, перебирал желтые головенки одуванчиков.

Стебель одуванчика полый, как тонкая резиновая трубочка. Сорвешь его, и по краям трубочки выступит белое молоко-сок. Он горький. Он липучий... Он пахнет летом. А что, если она не живет у Осиповых? Нет. Нет. Живет. Ведь она вышла так рано. Потом она недавно встала. Лицо у нее заспанное немного. Странно даже подумать, что она может спать, как все. Куда это она ходит с книжками? Учится где-то... Она учится. Она... И само простенькое местоимение приобрело теперь прекрасный смысл. Она — это девушка. Очень красивая девушка. Может быть, как Гуттиэре. А какие у нее глаза, я опять не заметил. А вдруг «синие, лучистые», как у Гуттиэре?

Весь день прошел праздником. Непонятно и радостно было мне. Я сбегал в магазин за хлебом. Потом побежал за квасом. Я натаскал полную кадушку воды и склал в поленницу наколотые вчера дрова. Бабушка,

удивленная невиданным трудолюбием, только качала головой. А мне хотелось работать еще и еще...

Часто выбегал я за ворота посмотреть, не идет ли она. Нет. Ну так я в другой раз. Нет. Ну так я через полчасика.

Не зная, чем заняться еще, я принялся колоть дрова. Березовые чурбаки неподатливо прочны. Тяжелый топор отскакивает или заседает — ни взад, ни вперед. Я стукаю чурбаки упрямо, весь в поту, измазанный березовой пудрой. Кончилось тем, что топор сорвался, разрубил ботинок и вошел как раз между пальцами. Кое-как я перевязал кровоточащую ногу и, приступая на пятку, поплелся за ворота.

Я приоткрыл их и тотчас захлопнул. Гулко, испуганно застучало сердце. Она стояла у ворот Осиповых, пинала камушек. Я глядел на нее в щель, сквозь забор, пока она не ушла во двор, тряхнув густой гривой волос. И что мне до моей разрубленной ноги, если... Она! Живет! Тут!

...Глаза у нее не синие и не «лучистые». Они темно-серые с большими зрачками. Я знаю это совсем точно. Сегодня встретил ее три раза.

Утром она всегда уходит с книжкой, в которую вложена клеенчатая тетрадь. Одета девушка просто: кофточка, юбка, спортивки. Днем она возвращается часа в три. А вечером иногда снова уходит, сменив спортивки на серые туфли. Они так идут к ее крепким ногам. Обратно я ее не всегда дожидаюсь.

Мать велит в десять часов ложиться спать, и я нехотя плетусь домой.

Теперь мне не хочется играть с Веркой. Я не ищу жуков и не лазаю на сарай. Она слишком много места заняла в моей жизни. Я все думаю, думаю о ней. И когда просыпаюсь, думаю, и днем, и по вечерам. Я жду ее вечерами на лавочке за воротами. Гаснет, увядает небо. И она как-то сливается в моей душе с красно-желтым огнем облаков, с бережными лучиками звезд в синей высоте над ними. В ней есть что-то от дальних неясных туч, от задумавшихся тополей. Лицо у нее нежное, грустноватое. Брови над ясными глазами темные и широкие. А губы всегда чуточку улыбаются. И во всем лице скрыта прекрасная добрая улыбка. Вот так солнышко просвечивает иногда сквозь редкую облачную завесу.

Я не слыхал ее голоса, но уверен — голос должен быть добрый, звучный.

Я не знаю, как ее зовут. Мне хотелось бы, чтоб Таней. Таня — мое любимое имя. Она не должна быть ни Зоя, ни Вера, ни Галя, ни Наташа. Таня...

Наверное, девушка не могла не заметить мальчишку-подростка, который попадался ей каждый день и, странно, дико взглянув на нее, опускал голову, проходил мимо. А может быть, она не замечала. Девушки не смотрят на таких мальчишек. Таня вообще казалась слишком холодной, равнодушной, независимой. Я не представлял такого смельчака, какой решился бы с ней заговорить. Сам я и не рассчитывал, что она мне скажет хоть слово. Это было бы слишком великое счастье.

Однажды вечером она пришла не одна. Ее провожал парень с выгоревшими волосами. Он был весь темный от загара. На нем белая футболка и синие брюки. Если бы с ней пришел гигант, красавец с благородно кудрявой головой, я бы не удивился. Но этот белобрысый и Таня? Они долго стояли у ворот, и «моя» Таня мучительно весело улыбалась ему, встряхивала волосами, пинала камушек. Это у нее была привычка. И голос у нее оказался таким, как я думал. Я не слыхал еще такого задушевного девичьего голоса.

Парень приглашал ее в кино. Она отказывалась, говорила, что надо куда-то готовиться, что-то там сдавать. Я слышал все, хоть подслушивать нельзя, хоть это гадко, противно, нечестно. Я не мог уйти. Я и не подслушивал вовсе. Я сидел на заборе. Я разве виноват, если у меня такой слух, что слышу по ночам на пруду диких уток и шепот мышей в подполье.

В конце концов она согласилась. И сразу я возненавидел аккуратного спортивного парня с желтыми волосами и желтыми бровями. Она пойдет с ним в кино? Моя Таня! Которую я иногда вижу во сне и просыпаюсь от счастья только потому, что смотрел на нее прямо... Я слез с забора.

Я побрел домой.

Вечер показался мне невыносимо тоскливым.

— Коля, в мячик играть пойдешь? — спросила Верка.

— Ну тебя!

— Пойдем! Там все...

— Нет!

— Пойдем же!

Я не ответил. Верка постояла. Верка наклонила голову. Потом она медленно притворила калитку. Ушла. Я боюсь, что она единственная догадывается обо всем. Верка смотрит на меня не так, как раньше. Верка часто зовет меня куда-нибудь. И я не иду. Я ничего не хочу. Ах, если б Таня не согласилась идти с тем белобрысым, если б сказала «нет». Каким счастливым отправился бы я спать.

Хотелось плакать. Но глаза были жарко сухи. Я лег на кровать. Не снял даже ботинки. Пусть. Пусть меня сейчас отругают, пусть отдерут даже. Никогда не было мне так горько.

Тихо-тихо пришел кот. Мурлыкнул и прыгнул на кровать. Я сбросил его, и кот обиженно шмыгнул в угол. Он огорчился. Ведь я всегда нарочно звал его спать здесь. Кот пробирался тайком, чтоб не заметили мать и бабушка. Он спал у меня в ногах, под одеялом.

И все-таки я уснул скоро. Уснул, не раздеваясь, в ботинках. Тогда я не знал, что такое «не могу заснуть».

...Мою Таню зовут Нина! Совсем недавно кто-то позвал ее со двора, когда она стояла у ворот с «тем». Он приходит теперь часто. И я уж словно привык к нему, хоть не примирился бы никогда. Он всегда наглаженный, причесанный на пробор. От его ботинок пахнет ваксой на всю улицу. В душе я издеваюсь над ним. Вырядился! Еще бы волосы покрасил! Сметана...

А ведь я и сам прошу у матери рубаху почище. И вчера я по-новому причесал волосы. А то, что ее зовут Нина, мне наплевать. Она все равно Таня.

Теперь вижу ее чаще. Она подолгу стоит у ворот с белобрысым. Или смотрю на нее с забора. Сквозь окно.

Она читает. Желто горит настольная лампа. Мне видно волосы, овал щеки и косую черту ресниц. Ресницы у Тани длинные и черные. Иногда она сидит задумавшись, подперев лоб пальцами, по-женски, по-девичьи. Иногда так хорошо встряхивает волосами и улыбается.

Теперь нельзя сказать: я часто думаю о Тане. Нет. Она просто всегда со мной и останется навсегда. Она вдруг вытеснила всех и стала для меня такой необходимой, незаменимой никем. Было ли со мной что-нибудь подобное? Об этом я часто спрашивал себя. И не находил точного ответа. Все казалось, словно бы и раньше я знал эту Таню и ждал ее и думал о ней... А Варя?

А Верка? Совсем не то. Это были обыкновенные девочки, мои подружки, и хотя обе они как-то входили в мою душу, обе были мне не чужие, я не мог сравнивать их с Таней — она была первая из тех чужих людей, которые приходят неожиданно и вдруг остаются навсегда. Таня, Таня... Какая непостижимо незнакомая, непонятная, взрослая, и почему я не могу не думать о ней, почему не могу забыть, и кончится ли когда-нибудь это. Или я буду связан с ней никому не ведомой тайной, неизвестной даже ей самой, и тайна эта всегда будет жить со мной?.. Я представляю, как она сказала бы мне что-нибудь. Ах если б пойти с ней по улице, как ходит тот. И почему мне одиннадцать, а не семнадцать!

В мечтах я был смелее. Спасал ее от белых и стрелял до последнего патрона, нес ее раненую на спине десятки километров. Я вытаскивал ее из воды, защищал от бешеных собак, отдавал ей последний кусок хлеба, когда мы заблудились в дремучем лесу. И кто знает, скажи она мне, чтоб я залез по пожарной стремянке на крышу семиэтажного дома, откуда сорвался и разбился насмерть самый шустрый парень Толька Кичигин, я бы и туда полез, хоть ночью.

Уже темнеет. Вот она встала. Ушла. Вот снова появилась в окне. Вот вынимает приколку из волос, встряхивает своей стриженой темной гривкой и вдруг... с боков тянет кофточку вверх, через голову. С высоты забора я прыгаю вниз и бегу прочь к сараю. Останавливаюсь, обняв столб навеса. Сердце колотится громко и гулко. И горячим, горячим вспыхивают щеки. Нет. Никогда я не буду смотреть. Ведь это... Таня!

А через два дня случилось необыкновенное. Утром, как всегда, я ждал ее за воротами. Было тихо и солнечно. И хорошо пахло травой. Что-то долго Таня сегодня. Вот наконец растворилось окошко, Танина голова показалась в нем. Таня улыбалась, такая счастливая, заспанная и спокойная, что мне было больно на нее взглянуть. Я вообще смотрел на нее украдкой то в щель забора, то в спину, то даже не знаю как...

— Ой, мальчик! Иди сюда,— позвала она.

Я удивленно поднял голову, посмотрел по сторонам. Не ослышался ли? Может, она кого другого зовет? Нет. Она кивала и улыбалась... мне!!

Глупо и медленно я подошел.

— Мальчик,— сказала она, ясно глядя мне в глаза.—

Достань, пожалуйста, мою скрепку. Она упала вот тут. В траву. Вот где-то здесь...

Я молча опустился на четвереньки и стал ползать под окошком по кудрявой птичьей гречихе, разбирая ее руками. Вот! Обыкновенная женская приколка с желтенькой обложкой из пластмассы лежала в корнях травы. Я поднял и подал ей, заметив, что ногти у Тани красивого розового цвета.

— Ты здесь живешь?

— Да...

— А почему ты все по заборам лазаешь?

— Так...

А она уже забыла обо мне, разговаривая с кем-то в глубине комнаты, закалывая волосы.

— Завтра еще один сдать, а послезавтра поеду...

И она уехала. Я ждал ее за воротами целый день. Скучно тянулось время. Скучно летел пушок с тополей. Скучно гнал пыль по дороге низовой ветер. Я хотел есть и боялся пропустить ее. Она пришла под вечер с какими-то свертками, с рулоном бумаги в сетке. Прошла мимо обычно грустноватая и прекрасная. А через полчаса вышла с чемоданчиком, с коротким плащиком на руке. Лишь на секунду ее взгляд из-под черных ресниц коснулся меня. И скоро фигура ее уже растворилась в июньском сумраке улицы.

С тех пор я не встречал ее никогда.

Тяжелый день

Воскресенье началось безветренное. Голубое прозрачное небо лежало над городом. И солнышко золотилось в березах, так ласково-мирно ласкало каждый листочек. Оно словно бы проглядывало сквозь ветви веселыми глазами, и оттого еще вольготнее, привольнее становилось на душе, хотелось улыбаться и подставлять солнцу ладони, а потом стащить майку, вздрогнуть от смешанного холода утренней земли и жаркой ласки лучей и греться, дышать, упиваться настоем утренних запахов огородов, росы и травы, словно бы растворяться в их неге, прохладе и свежести, в нежном веянии ветерков и в жарком пригреве, когда ветер никнет.

Походив по двору и пораздумав, я устроился загорать на поленницу, бросил туда старое ватное одеяло

и бабушкин белесый брезент, от которого всегда так славно пахло ветром, дождем и солнцем. Утреннее солнце самое сильное. Это я знал. И загар в июне самый крепкий. Почему-то мне всегда хочется загореть до черноты — вот как Генка Пашков, и никак у меня такого загара не получается даже на спине, у Генки она была черно-коричневая, как у негра. А грудь у меня вовсе никак не загорает, и потому и хотелось ее жарить и калить, авось все-таки станет темнее.

Я лежал, полуприкрыв глаза, смотрел и думал.

Куры бродили в тени забора. Гордо вышагивал гнедой петух. Потоптавшись на месте, пришпорив распущенное до земли крыло, петух с хрипотцой орал: «Ко-ко-рэ-ку-у-у» и умолкал, прислушивался. Эхом отзывался ему другой петух с соседнего двора. Куры блаженно купались в пыли, разгребали землю под забором. Иногда, отрыв червяка, они кучей бросались на него, начиналась свалка, пока белая поджарая кура не удирала с червяком в клюве.

Я поворачивался на спину, глядел в ясное небо. Высоко летел самолет, поблескивая белым. Даже странно подумать, что там сидит человек. Он управляет грохочущей машиной. Я думал о будущем. Может быть, и я стану летчиком, полечу, как тот человек. Может быть, стану моряком. В детстве быстро меняются мечты. А может быть, я буду художником. Меня волнует игра красок и света. Я без конца могу смотреть на березы, на облака, на дали. Краска для меня больше, чем просто краска. Вот оранжевая. Я уже могу написать ею закат, могу изобразить морозное солнце, языки пламени, зарево ночного города. А если я прибавлю синюю, зеленую, красную? Я люблю даже названия красок: кадмий, охра, краплак...

Я извожу гору бумаги... Я хочу быть как те, что приходят с полированными этюдниками на нашу улицу. Вот осенью пойду в пятый классс, и тогда можно поступить в студию. Она во Дворце пионеров. Однажды мы с Веркой видели, как там рисуют ребята. Они стоят за мольбертами и очень серьезно, точно, красиво тушуют по бумаге. Иногда, отводя руку с карандашом вперед, словно прицеливаясь, они что-то вымеривают. Сперва студия. Потом художественное училище. А еще потом я просто не знаю что. Нет, знаю! Я напишу вон те березы, чтоб на холсте они так же смеялись под солнцем,

чтобы солнце, щедрое солнце светило всем с этой картины.

Да скоро ли выйдет на улицу эта засоня Верка! Мы собрались сегодня на пионерский праздник в парк, а она встала поздно и все что-то копается.

Верка вышла из сенок по-обычному неулыбчивая, но приодетая в новую синюю юбку, в новую кофту с наглаженным галстуком. Желтые Веркины волосы причесаны на славу. Вот модница-то еще! Верка стала опрятнее. Даже загар на ногах у нее не выглядит грязноватым.

— Все спишь да спишь,— ворчу я, слезая с поленницы.

Я отряхнул со штанов опил, надел рубаху. Мы пошли в сад.

После нашей тихой, почти деревенской улицы в городе очень шумно. Люди идут толпами. Лотки с мороженым со всех сторон. За газировкой не протолкаешься. Мы пьем у каждой стойки, у каждой квасной бочки. У нас есть немножко денег. Мне дал папа, а Верке Юрка. Он уже работает гранильщиком. И почему не попить вдоволь, если так жарко. Пьют все, жарко всем, и все улыбаются, хвалят лето, солнышко, июнь.

Попались навстречу какие-то веселые, хохочущие. Впереди парень с девушкой. На голове у девушки венок. Парень в белой рубашке.

А сзади приятно поет баян. Бережно несут мелодию басы:

Ой ты, песня, песенка девичья,
Ты лети за ясным солнцем вслед
И бойцу на дальней пограничной
От Катюши передай привет...

Свадьба? Прокатил автобус, дополна набитый ребятами в синих испанках. Испанки тогда носили все пионеры.

И в парке было празднично-хорошо. В липовых аллеях гомонили воробьи. В песочнике возились младшие ребятишки. На пруду в купальне плеск, визг, хохот. В шахматном клубе умная тишина. Ребята постарше и такие, как я, сидят за досками. Редко один или другой двинут, переставят фигуру и снова сидят, смотрят на клетчатые доски. Игра в шахматы всегда казалась мне непостижимо сложным колдовством. У нас дома в шахматы никто не умел. Учил меня раз Димка Мыльников.

Расставил фигуры, велел мне их двигать, а сам все рубил, выигрывал, хихикал. Не стал я с ним играть.

Мы постояли у шахматной веранды и пошли в глубь сада. У меня осталось несколько копеек, у Верки тоже немного. Мы сложились, сосчитали, и получилось, что можно по два раза проехать на карусели, съесть по одной маленькой мороженке да еще выпить по стакану газировки без сиропа.

— Сперва на карусель, потом по мороженке, а газировку, как домой пойдем,— рассудила Верка.

Мы крутились на карусели, сидя на двух деревянных конях.

Мы смотрели на поляне опыты по физике с жидким воздухом. Показывал какой-то пожилой учитель. Брал он трубку из резины, опускал в этот жидкий воздух, и трубка замерзала так, что от удара молотком разлеталась на мелкие куски. Ветка яблони, опущенная в голубоватую жидкость, звенела и рассыпалась, точно стеклянная.

Все смотрели с интересом, большие и маленькие...

Вдруг куда-то пробежали ребята. Где-то оборвалась музыка. Заговорил репродуктор. По песчаным дорожкам топали ноги. Женщина в сбившемся платке потерянно кричала: «Нинка! Витька! Где вы?» Что-то случилось, а что, никто не понимал. Пожар? Учитель прекратил свои опыты. И тут короткое, неизвестно кем брошенное слово пороховой нитью побежало по всем.

— Война!

— Война??

— Война...

— Война!

— С кем?

И мы тоже бежали туда, к центру парка. И бежал галопом этот старый учитель, зачем-то сняв очки, пытаясь затолкнуть их на бегу в карман пиджака. Потом он выронил очки и обогнал нас.

У серебряного динамика грудилась, молчала пестрая толпа.

— Сегодня... в четыре часа утра... Вероломно... Без объявления войны...

Немцы! Гитлер. Фашисты. Это которые были в Испании. Кто занял Польшу. Разбил Францию. Почему немцы? Ведь с ними пакт о ненападении? Ведь Молотов

ездил в Германию. Были газеты — он, Гитлер, Риббентроп и еще какой-то там доктор Лей.

Медленно падали слова:

— ...Наше дело правое... Враг будет разбит... Победа будет за нами.

Молча стояли. Молча расходились. Взявшись за руки, мы припустили домой. Мы догнали Димку Мыльникова.

— Димка! Война ведь! Война!

— Ну и что? Теперь наши им дадут! Ха...

Мы бежали дальше.

Война. Значит, отец опять наденет шинель с двумя кубиками в петлицах, как в финскую... Когда же наши разобьют фашистов? А может быть, уж разбили, отбросили. Наверное, разбили. Ведь он сказал... Как ни неожиданна была эта чугунная весть, а все-таки о войне говорили часто. О ней пели в песне: «Если завтра война, если враг нападет, если черная сила нагрянет, как один человек, весь советский народ за свободную Родину встанет...»

И Ворошилов говорил. И какие-то слухи ходили все время.

Война. Мы жили в далеком тылу, на Урале. Здесь было трудно понять весь ужас этого слова. О войне мы читали в газетах, слышали каждый день по радио. Война шла где-то там, во Франции, в Югославии, на Балканах. Я видел в газете карту Франции с черными стрелками продвижения немецких танковых корпусов. Слышал имена генералов: Роммель, Гудериан, Клейст. Противное лицо Гитлера с косой челкой, озверелыми глазами и усиками было нам знакомо. Знакома была черная ногастая свастика в белом круге. Она была на крыльях пикирующих «юнкерсов», на башнях несуразных танков. И все это было тоже там, далеко-далеко, за границей.

А дома мать достала из сундука командирскую фуражку отца. Отец сказал, что объявлена мобилизация и что утром он пойдет в военкомат. Бабушка за перегородкой вздыхала и крестилась. Радио передавало музыку. Других сообщений о войне не было.

Вечер наступил спокойный, розовый. И никак не верилось, что сейчас где-то строчат пулеметы, стонут раненые, захлебываются безумным криком искалеченные, в одно утро осиротелые дети. Не верилось, что война уже палит украинские степи. Что те проклятые танки с крестом зловеще и упорно спешат сюда, на восток.

Что горят в тучах мрачного дыма бомбардированные города: Киев... Одесса... Севастополь.

Утешала уверенность в Красной Армии. Красная Армия самая сильная. Она остановит. Может быть, уже остановила. Я люблю свою Красную Армию. Красная Армия — это мой отец в шинели под ремнем, в шлеме со звездочкой. Красная Армия — танки КВ, истребители, многомоторные черные бомбовозы. Красная Армия — это Хасан, Халхин-Гол и прорванная линия Маннергейма. Нет. Никогда фашистам не одолеть нашу армию, не захватить нашу страну. В этом никто не сомневался.

День-два прошли неприметно, непамятно.

И вот поздним вечером, когда все мы сгрудились у репродуктора, ждали новые известия с фронта, где-то далеко заиграла музыка. Я уже знал, что это такое.

Я выпрыгнул на крыльцо, побежал по темной улице туда, к Вокзальной.

Стрелковый полк в касках, со скатками через плечо, с винтовками, с ручными пулеметами в первых рядах, мерно и ровно шел на вокзал.

«Рра...рра... рра-та-та»,— военно и браво отстукивал барабан, так что шевелились волосы на затылке, холодели скулы. Приглушенно грозно пели трубы. Подымался, звенел, поблескивая в сумраке, плечистый бунчук с двумя конскими хвостами.

Шли, стояли, плакали женщины, и мне нестерпимо хотелось плакать. И все колыхались в мерном движении молчаливые, суровые ряды. «Рры-рып, ррып-рып»,— печатали сапоги. Полк шел на войну!

Я не знал еще, что завтра к вечеру уйдет мой отец, что война разлучит меня с близкими, умрет бабушка, убьют Юрку, потеряется Верка, не вернется Варя, и я никогда не узнаю, что стало с ней там, в Бресте...

И все-таки смутно, неясно, как птица перед дальней дорогой, я чувствовал тяжесть грядущих дней, понимал, что сегодня кончилось детство.

1961 г.

Лесные дни

Я собирался надолго уехать в леса. Желание пожить в лесу просто так, без определенных занятий и целей, появилось еще с тех далеких пор, когда воскресными летними днями ходил я вместе с отцом недалеко за город, на Основинские прудки. Там засыхал на корню редкий сосновый бор, в глинистом ложке текла мелкая Основинка, на подмытом косогоре горбилось серое гнилое прясло. А подле речки тянулось множество ям и разрезов, налитых водой, окруженных осокой, калужницей и белокрыльником. Раньше по Основинке мыли золото и платину, и ямы — остатки шурфов и выработок — превратились со временем в естественные озерки. Обыкновенно отец укладывался на траву, где-нибудь в редкой тени, читал книжку или просто спал под задумчивое пение зябликов и сухой шорох сосен. А я с марлевым сачком, со стеклянной банкой на веревочке бродил по плитняковым и галечным отмелям, по краям глубоких калужин, и столько удивительного попадалось тут — невозможно перечислить. То плоский, бурый, как отмерший лист тополя, водяной скорпион, то белоспинный гладыш с красными глазами, то жуки-вертячки, синеватые искорки, прытко ныряющие от сачка. Уходя вглубь, сачок вытаскивал и не совсем приятное — конскую пиявку сантиметров тридцати, плоскую бархатную ленту, и шестиногих кольчатых личинок такого свирепого отвратного вида, что мороз гадливости и страха драл меня по спине. Иногда в сырой марле оказывались бурые существа, не то огромные мухи без крыльев, не то подводные кузнечики. Они не прыгали, не торопи-

лись, а степенно передвигали свое неповоротливое вздутое тело на цепких лапах. Я не знал еще, что это личинки тех самых лазурных и бронзовых стрекоз, которые стаями носились над самой водой, изредка с треском падая в осоку.

Набродившись по берегу, я бежал в лес, катался и ползал по суховатому дерну, усыпанному упругими желтыми иглами, искал ананасные ягоды земляники, заглядывал под кору пеньков, гонялся за плюшевыми траурницами и шафранными желтушками. Или же подкрадывался к махаону, распахнувшему соломенные крылья на кустике желтого бобовника.

А вечером, усталый и торжественный, нес домой банки с лягушатами, плавунцами, тритонами и личинками. Кое-кто в тех банках занимался с горя разбоем. И не один раз я с удивлением замечал, как иная личинка впивалась в жука или сам жук остервенело смыкал челюсти на теле личинки...

Своих пленников я опускал в кадушки, стоявшие под потоком по углам дома, и там эта живность или жила припеваючи, или гибла, а чаще всего задавала тягу, когда очередной дождь наполнял кадушки до краев.

Я считал дни до нового воскресенья, с волнением ожидая, что в субботний вечер отец скажет: «Готовь-ка давай сачок да банки. На Основинские завтра пойдем...»

К сожалению, редко это случалось. Отец мой работал бухгалтером, и я почти не помню, когда он бывал свободен от работы. Сразу после вечернего чая он раскладывал на столе свои скучные желтоватые бумаги с колонками аккуратных цифр. И я уже знал, что там написаны такие же скучные слова — дебет, кредит, инкасса... Я засыпал под мерное пощелкивание косточек на счетах и часто, пробуждаясь далеко за полночь, видел под дверью полосу света из соседней комнаты. Счеты стукали сухо и четко: щелк-щелк... щелк...

С тех пор прошло более двадцати лет, но так же остро было желание уйти в леса, и теперь уж надолго, на неделю, на месяц, уехать куда-нибудь, где поглуше, и всласть набродиться в безмолвных чащах, среди буреломов и мхов.

Зимой вытаскивалась из-за шкафа свернутая в рулон карта Урала, и я рассматривал кружочки лесов, овалы гор и голубые штрихи болот. В средней и южной части поражало обилие поселков, сел и деревень

самых разнообразных названий. Были Ключи, Гари, Липовки и Ольховки, Раскатихи и Шутихи. Были села с поэтическими названиями: Черный плёс, Белая гора, попадались смешные — Шаня, Аюшка, Дрыгунова и Тараканкова, были безобразные, вроде деревни Скареды. Но деревни не очень интересовали меня, ведь собирался я в леса. И глаза сами тянулись по карте вверх, где число деревень резко убывало. По голубым жилкам рек, по берегам озер шли непонятные Вотьпа, Евра, Ошмарья и Мартымья. Там открывался северный край, страна хантов и манси, оленьих троп и журавлиных болот. Озера, болота, снова озера, большие и малые, именованные и безымянные, лежали там. В нетронутых лесах текли к океану студеные рыбные реки. Край гранитной суровости! Край невысказанной поэзии! Она жила даже в названиях озер — озеро Туман, Чертово озеро, озеро Леушинский туман... А какие болота открывались на сотни километров! Лесные болота, где только ели, мох, филины и мало ли еще какая жуткая прелесть.

Даже по ночам снились мне эти странные дали: то бродил я меж елками по осыпям увалов, то взбирался на выветренные каменные столбы, то плыл по реке и все пытался разгадать ее понятное и непонятное название — Ворья.

Мечты мечтами, а время летело. Уже весна позади, пробегает июнь, экзамены в школе, выпускные вечера, служебная поездка в Москву, недели жизни в красивом, шумном, суматошном городе. Возвращение в Свердловск, мелкие дела и хлопоты. И вот, оказывается, двухмесячный, ожидаемый как спасение, учительский отпуск уже на исходе. Отпуск, на который копились все надежды, все свершения больших и малых дел.

К тому же я работал директором школы и по опыту знал, что даже имеющийся остаток едва ли придется использовать. Обычно перед началом учебного года директоров отзывали из отпуска за надобностью и без таковой.

Я заторопился. Два дня бегал по магазинам, закупал продукты и припасы, готовил снаряжение. Осталось взять билет — и в путь. Однако в намеченный день уже поутру небо принахмурилось, заскучало, влажный ветер зашумел листвой высоких тополей, а с полудня начался такой ровный сеяный дождь, что я только молча злобствовал.

Ненастье затянулось на неделю. Каждое утро видел я под окном подернутые зябкой рябью лужи, следы калош, налитые водой, тучи из-за конька соседней крыши да мокрых воробьев под карнизом.

А когда во вторник дождь затих, бледно проглянуло солнце, небо начало расчищаться, рассыльная из районо принесла приказ об отзыве на работу. Требовалось усилить набор в школу...

Прощай, отпуск, север, еловые болота, Леушинский туман и новая повесть — она, кажется, умерла, еще не успев родиться.

На просьбу об отпуске новый заведующий роно — человек молодой, но уже кругленький, лысоватый и важный — спокойно и бездушно ответил, что для него я прежде всего директор, а не писатель. Подавленный служебной логикой, я не нашелся что ответить.

А между тем лето отходило. Стоял конец августа. Надежд выбраться в леса, кроме как на воскресенье, не было никаких. Воскресный поход меня не устраивал. Уж очень не люблю я воскресную сутолоку на вокзале, толпы туристов. Знаю по опыту, что по воскресеньям в окрестностях железной дороги километров на двадцать в любую сторону будешь натыкаться то на компанию грибников, то на массовку с баянами, бутылками, яичной скорлупой и хмельными голосами, то на древнюю бабусю, невесть каким образом очутившуюся в самом глухом и недоступном болоте. Глядя, как ковыляет она через кочки, шатаясь от старости и что-то причитая под нос, всегда думаешь: вот завернет за елку, скажет волшебные слова, грянется оземь и обернется совой, рыжей лисицей или красной девицей — иначе откуда ей здесь появиться?

Все-таки мне удалось получить в счет отпуска целых три дня. Трое суток! Да еще с воскресеньем в придачу. Итого четверо. Когда имеешь мало свободного времени, начинаешь ценить каждую минуту, чувствуешь себя словно поденка-однодневка — маленькая молочного цвета букашка, что вылетает из-под воды и живет всего от вечерней до утренней зари. После такого сопоставления четыре дня показались мне невероятно долгими.

Конечно, я не думал уж ехать на север. Путь в леса сложился сам собой. Захотелось навестить те самые места между озерами Щучьим и Черным, куда еще мальчишкой ходил я на охоту вместе с отцом. С тех

пор прошло много лет. Сколько воды утекло из тамошних болот, сколько берез выросло на гарях и сечах и сколько новых морщин появилось на каменных лбах увалов!

— Стоит ли ехать? — отговаривали домашние.— Август ведь... Лес скучный. Ничего красивого. Уж подождал бы сентября.

Но я только отмахивался.

Отъезд совпал с открытием охоты. Это стало понятно, когда с нагруженным рюкзаком я вышел на перрон.

Побрызгивал дождичек из шальной тучки. Встрепанное солнце выглядывало и пряталось. Однако нестройная рать охотников, что толпилась на мокрой платформе, ничуть не огорчалась. В ожидании электрички я отошел в сторону и наблюдал за прибывающими. Пестрый поток вытекал из горла тоннеля и расползался вдоль путей. Платки, чемоданы, связки сушек, узлы и баулы — все это мелькало мимо. Пахло паровозным дымом, дождем, сырым асфальтом и еще чем-то, чем всегда пахнет на станциях и перронах. По крышам вагонов перелетали галки. Люди же — одни суетились, разыскивая кого-то, другие стояли спокойно, привычно сидели на чемоданах, покидывали в рот семечки, лущили их, как птицы, беззаботно сплевывая шелуху. Охотники заметно выделялись среди всех своими гимнастерками, брезентами, старыми фуражками военного образца, ружьями в чехлах и такими укладистыми рюкзаками, против которых мой показался сморщенным карликом.

Охотники были разные. Вот в кучке молодых добротно-щеголевато одетых людей стоит высокий величавый старик. Возле — рыжий ирландский сеттер на ременном поводке. Старик в охотничьем одеянии, в болотных сапогах, в немецкого покроя фуражке великолепен. Поблескивает очками, что-то рассказывает молодым охотникам. Ирландец вдумчиво ищет блох, поймав, кусает, презрительно скаля зубы.

Лицо старика мне знакомо. В прошлом году, зимой, он читал в обществе охотников лекции для начинающих. Помню, как, взойдя на кафедру, привычно взявшись за ее края, воздев седую кудлатую бровь, он возгласил мягко, по-московски: «Ахота с сабакой и ахота...— тут он помедлил мгновение, дирижерски оглядев аудиторию, и веско бросил: — ...без сабаки!»

Удивительно, что едет он сегодня по железной дороге. Обычно охотнички такого сорта отправляются в лес на «Волге» с изрядным количеством закусок и «горючего», а возвращаются налегке, привозят домой ведро карасей, купленных в деревне, застреленную компанией чайку или хлипкого чибиса, зато в теории лучше не спорьте с ними — бесполезно.

Вот прогуливается пожилой, в пенсне, стендовик, мастер спорта. Этот бьет без промаха, снимает утку за уткой, как автомат... Лицензии ему в первую очередь. Он знаменит, горд своей славой. Ружье у него тысячное. Добычу считает на десятки. Таких я совсем не люблю.

Поодаль стоит невзрачный мужичок в кепчонке, в серой курточке из шинельного сукна. Сапоги у него клеены-переклеены, рюкзак в пятнах, чехол у ружьишка протерся до дыр, оттуда и проглядывает высветленная кромка стволов. Он смачно курит, щурится от садкого махорочного дыма — чувствуется, человек наверху блаженства: опять в лес выбрался. У ног его сидит полулайка-полудворняжка с желтыми, волчьими глазами.

Мягко подкатывает электричка. Гружусь в вагон вместе с охотниками. Вагон быстро наполняется. Люди оседают на скамьях и полках, спорят, шумят, суетятся. Брякают, скрипят чемоданы. Плачет ребенок. Женщина, укачивая, шипит: «Ш-ш-ш-ш». Чьи-то сапоги свешиваются с верхней полки, грозя треснуть по лбу. Человек возится. шуршит, бормочет чего-то, укладывая узлы. Неожиданно подле стенки начинает сыпаться какая-то крупа. Оказывается, у пассажира на полке лопнул кулек с рисом. Отряхивает щедро засеянную рисом голову, улыбчиво морщится соседка — большая, тихая, красивая девушка. И я улыбаюсь. Так она мне нравится сразу. Вагон дергает. Стихают суета и шум. Люди замолкают, усаживаются, приглядываются друг к другу. Женщина с ребенком, завернутым в шаль, молча появляется в проходе, молча протягивает руку. Пальцы в кольцах.

— Бог подаст! Работать надо! — презрительно окатывают сидящие с краю женщины. Побирушка молчит. Идет дальше. Лицо бесстыжее. Из тех не то цыганских, не то среднеазиатских лиц, по которым не разберешь, тридцать ей или пятьдесят.

Я люблю в дороге смотреть на людей и потихоньку догадываться: кто они, куда едут, какую жизнь прожили. Вон тот, с морщинистым, словно продымленным лицом и подстриженными неопределенно-рыжеватого оттенка усами, должно быть, машинист, сейчас на пенсии, а едет по грибы. Рядом с ним женщина, добрая с виду. У ней, наверное, много детей. Вот болезненная старуха с молодыми вставными зубами. В очках, за толстыми стеклами, глаза ее кажутся огромными и сырыми. Она, конечно, ездила в город «ко врачу».

Свежая бабенка в белом полухалатике с большой корзинкой пирогов является из тамбура.

— Пирожков кому, с рисом, с ливером,— звучно и весело говорит она. Начинается торговля.

— Пощём оне? — спрашивает болезненная старуха и, подумав, не берет.

А поезд все никак не может выбраться из станционных построек. Мелькают и отстают пакгаузы, вагоны, цистерны, железное кружево перекидных мостов, домики станций с белыми обводами.

В окно подувает ветром, и новый запах — сладковатая гарь нефти — доносится в купе. Везде тепловозы. Они стоят на путях, тянут составы, грохочут, вихрем проносятся навстречу, так что вздрагиваешь с перепугу. Редко виден черный паровоз-трудяга. Глядя на него, думаешь: «А ведь дорога-то совсем изменилась». Вон и столбы из бетона, и длинные обтекаемые вагоны, и толстые проволоки контактной сети, туго натянутые над рельсами. Плечистые столбы высоковольтных трасс часто перешагивают полотно, уходят в леса. А подле дороги старые теплушки в тупиках. Кое-где живут люди, сушится бельишко — голубые женские трусы, рубашки, порты и простыни. В детстве я до боли завидовал жителям на колесах. Какая благодать! Захотел и поехал всем домом куда-нибудь... В детстве всегда хочется ехать.

Охотник с дворняжкой опять без стесненья кадит махрой. Моя соседка улыбается и покашливает, а я смотрю на ее крупные белые руки, на волосы теплого ржаного цвета и не перестаю удивляться ее цветущей молодости. Таких девушек не бывает в городе. Только в деревне на лесном воздухе, парном молоке и простом хлебе может подняться эта юная свежая красота.

Девушка, должно быть, студентка или поступать ез-

дила. На коленях у нее ученический портфельчик да сетка с разным женским добришком.

Хочется заговорить, но не решаюсь.

Не начинать же беседу заношенным вопросом: «Далеко едете?»

А за окном уже мелькают березняки, зыбкая тень бежит по стеклам. Яркими вспышками прорывается солнце. Елани со скошенной травой плавно уносятся назад, и снова лес, мелькание стволов, на поворотах кажется, что сосны и березы бегут, бегут, обгоняют друг друга. Скоро моя станция. Надеваю рюкзак, беру ружье, а сам все думаю об этой девушке.

— Ну, вот мне выходить уж! — глупо говорю кому-то, надеясь втайне, что она, может быть, откликнется, хоть доброго пути пожелает. Девушка чуть розовеет. Молчит. Иду к выходу. Затылком чувствую ее взгляд. А в груди теснится не то обида, не то не знаю что...

Грустны подчас такие нежданные, негаданные, молчаливые встречи. Столкнутся два человека, посмотрят друг на друга, затоскует один, а то и оба, и дальше идут, теряясь навсегда.

Станция. Желтые домики. Сад из тополей. Старинный колокол. Башня водокачки. Все как пятнадцать лет назад... Нет, не все. Новые светофоры, новые пути. Радио простуженным железнодорожным голосом объявляет отправление. Два зеленых электровоза с грохотом сдвигают бесконечный состав, клацают автоматические стрелки.

Новые лозунги висят над чисто прибранным перроном, над входом в станцию. «Мы боремся за звание коллектива коммунистического труда». Та же, что и в городе, большая, заботливая жизнь бьется здесь.

Сворачиваю по мостику через речку с черной водой, иду поселком. Он вырос, раздался, улицы оттеснили лес. Двухэтажная школа стоит на бугре в зелени тополей. Ее тоже не было. А улицы тихи, как прежде. Редко взлает собака, ребячьи голоса донесутся со двора, истомно пропоет петух да чье-нибудь любопытное лицо выглянет из-за тюлевой занавески, из-за горшков с геранями. У иных изб подрублены венцы, антенны телевизоров подняты высоко над крышами на сосновых жердях, новые срубы в золоте щепы, свежие крыши... А вот на ошкуренном, с подтеками серы, толстом бревне сидят две девочки, лет трех и четырех. Обе бело-

волосые, сероглазые, обе в коротеньких измазанных платьях и без штанишек. Они, как две лесные зверушки, с упорным младенческим вниманием смотрят на нового человека. Закатное солнце светится на их головенках.

Тороплюсь. До кордона, где думаю остановиться, добрых пятнадцать километров, а ведь темнеет в августе скоро, не то что весной. Можно, правда, заночевать в лесу, однако лучше выспаться в избе, ведь одинокие ночевки у костра только в романах хороши, на практике спать приходится одним глазом. Торная тропа ведет меня с уезженной грузовиками и тракторами лесовозной дороги через пустой сосняк на высоковольтную трассу. Нет ничего скучнее такого вот обжитого, дачного, сухого леса. Высокие голые сосны, трава вытолочена, сучки собраны, желтая хвоя пересыпается под сапогом. В таком лесу нет ни птиц, ни бабочек, ни грибов, ни ягод. Здесь можно лишь развешивать гамак и наслаждаться тем целебным сосновым воздухом, о котором, закатывая глаза, рассказывают любители лечиться и «адыхать». Что ни говори, а близкое соседство с человеком лес пока не привык переносить. Может быть, люди не научились жить с ним в ладу?

Тощий сосняк сопровождал меня до самой трассы. Широкая и ровная, она привольно пересекала горы, суживаясь, уходила куда-то на запад. По-видимому, здесь кончался привычный маршрут дачников, потому что лес пошел веселее, гуще, или просто кончилось унылое однообразие соснового бора. Березы, осина, ольха и липа росли по обе стороны вперемежку с темными елями. Добрый густой лес живо напоминал среднерусские дубравы с их оврагами, зарослями орешника, с песней черного дрозда и славок-черноголовок. Здесь не было дубов и орешника, зато обильно краснела калина, жимолость пряталась в тени осин, темные стволы молодого липняка образовывали красивую и густую чащу, а высоко над макушками леса поднимались лиственницы с бледно-зеленой хвоей и немногими серыми сучьями. В их торжественной, величавой высоте есть что-то первобытное, загадочное и жуткое. Стоя у подножья дерева, чувствуешь себя пигмеем рядом с его необъятным стволом, нацеленным в облака. Недаром любит лиственницы древняя птица глухарь и лесные орлы строят гнезда по их вершинам.

Сейчас в лесу глохла предвечерняя тишина. Ав-

густ — самый молчаливый месяц лета. Не поют птицы, меньше насекомых, один кузнечик сонно и сухо засипит в пожухлых соломинах злаков и тут же смолкнет — совестно ему. Птицы линяют, готовятся к осеннему кочевью, к долгим холодам. Надо зорко смотреть, чутко слушать, чтоб по немногим отрывочным звукам, писку и шелесту чувствовать, как бьется лесная жизнь. Вообще уши в лесу важнее, чем глаза. Они предупреждают и указывают раньше того, как успеваешь заметить.

Вот сейчас, достигнув вершины лесистого увала, я услышал за гребнем негромкие гортанные звуки вроде квохтанья. Уши сказали: «Это не копалуха, не рыжая самка тетерева и не лесной голубь вяхирь». Я осторожно выглянул за вершину и увидел на склоне большую сгорбленную птицу. Птица что-то клевала, вернее сказать — отрывала, низко опустив шею, переступая оперенными лапами. По светлому хвосту и угловатому корпусу я узнал орлана-белохвоста и спрятался за гребень. До птицы было шагов сорок, и я начал снимать ружье, но потом передумал, надел снова. Орлы так редки стали сейчас, что убивать их рука не поднимается. К тому же пришлось бы ворочаться с добычей назад — не таскать же за собой полупудовое пернатое чудовище.

Я шагнул за гребень — хищник встрепенулся. Неловкий прыжок, и он взлетел, широко и плавно вскидывая саженные крылья. Орлан был очень старый, пепельно-светлый и белесый снизу.

В примятой траве близ тропы нашел я остатки трапезы — кровавые клочья рыжей шкурки, лапки и голову молодого зайца. Очевидно, незадачливый белячок перебегал трассу. Странным было то, что орлан охотился в лесу. Обычно они живут по большим озерам. Быть может, мудрый хищник уже почуял приближение осени и неторопливо двинулся к югу или трасса привлекала его возможностью ловить перебегающих зверьков.

Склон увала упирался в заболоченную низину. Густой ельник обрамлял ее справа и слева, верблюжьими горбами стояли высокие кочки, и бревенчатая длинная слань серым половиком пролегла через болото.

Место отчетливо припомнилось. Здесь еще подростком я видел другого большого хищника — ушастого филина. Он вылетел вечером на трассу и присел на столб телефонной линии, желтоглазый и пушистый, в полосатых штанишках. Филин тогда мне очень понра-

вился, и я, разинув рот, глазел на круглую, теплую птицу, пока она не слетела и серым привидением исчезла в ельнике. Может быть, этот филин по-прежнему жив-здоров, смотрит на меня, идущего по зыбкой гати, припоминает, где встречались.

Идти по слани трудно. Бревенчатый настил давно иструх, поленья шевелились, ерзали, мягко ломались. Иные места были обрушены совсем, жидкая топь зеленела в «окнах». Из нее торчали обломки стволов, и временами что-то всхлипывало и чмокало. Через провалы я переползал по главным слегам — они были из листвяных стволов и не гнили даже в болотной сырости. Другой причиной медленного продвижения было удивительное обилие змей. Серые и черноватые гадюки то и дело не спеша спускались в осоку, уползали под настил. Я не испытываю к змеям того гадливого ужаса, какой испытывают многие, но все же близкое соседство ядовитых пресмыкающихся было не из приятных. Особенно остро я почувствовал это, когда присел отдохнуть и опустил ноги в болото. Близко послышалось злобное «с-с-с», тонкий хвост юркнул под настил. Я вскочил на слань еще поспешнее, оставив в болоте один сапог.

Уже миновав змеиную гать, радостно ступая по твердой земле, я испугался снова. Что-то серое зашелестело под ногами. Кинулось по траве наутек. Оказалась совсем не змея, а большая ящерица. Ее я загнал под куст, поймал, посадил в банку из-под горчицы.

— Сиди! — сказал я ей.— Ишь какая пузатая! — Ящерице по человеческим законам давно пора было в отпуск. Она сидела, как малахитовая статуэтка, только белая кожица под горлом быстро-быстро пульсировала.— Привезу домой, выпущу в огороде.— Детская страсть тащить домой всякое зверье не прошла у меня с годами.

После гати, по моим расчетам, оставалось километра два до места, где тропа сворачивала в сплошные леса. Ни теперь, ни раньше я не мог установить — сколько же километров от станции до этого поворота? Отец говорил — десять, лесник, у которого мы ночевали,— восемь, рабочие со станции — пятнадцать. Мне же казалось, что поворoток перемещается: то подбежит совсем близко — рукой подать, то шагаешь, шагаешь с горы на гору, с увала на увал, а его все нет и нет.

Терпение стало истощаться. Беспокойство: «Уж не прошел ли мимо как-нибудь?» — крепко засело в голове. Но вот тропа резко повела вправо и вверх по пологому склону с высоким сухим редколесьем.

«Наконец-то»,— вздохнул я, устало присаживаясь на голубой овальный валун. До Ягодного кордона теперь восемь километров, полтора-два часа ходьбы. К ночи как раз доберусь. Замечу, что восемь тоже равно десяти, равно и пятнадцати. Уж больно приблизительны тягучие лесные километры.

Наслаждаясь отдыхом, бездумно сидел на теплом камне, поглядывал окрест, жевал ржаную горбушку. По склону когда-то прошел низовой пал. Он пощадил немногие большие деревья, и теперь они засыхали, высокие и истощенные, с причудливыми изгибами сучьев. На такие «сухары», как зовут их на Урале, любят садиться ястреба и соколы, караулящие свою добычу, и я дважды отметил вдали четкий силуэт перепелятника, похожий на брошенную кем-то, плавно летящую кирку. Ястребишка, конечно, первым разглядел человека и не рисковал соваться на выстрел...

...А хлеб был такой вкусный, свежий, с ароматной потрескивающей коркой, вот пишу сейчас, вспоминаю — так бы и поел. Я купил его на станции в сельском универмаге, где было все, начиная от колесной мази и водки, кончая мануфактурой, корытами и аккордеоном. Почему-то в Свердловске не пекут такого замечательного хлеба. Да кроме того, вприкуску с лесным воздухом в сладость и ржаной ломоть, и лук, и квас, и другая немудрая снедь. Это давно известно. Папиросы в лесу не годятся. Лучше всего махорка — ядреная, кислая, трескучая махра, от которой с одной затяжки глаза лезут на лоб и в один день желтеют ногти, будто окрашенные хной.

На старой гари во весь склон рос сплошной ягодник. Темный брусничник с кожистыми лаковыми листочками путался с похожей целебной толокнянкой. Светлыми островками зеленела черника.

На ягоднике кормились дрозды. С квохтаньем и чаканьем взлетали они далеко впереди, напуганные шелестом шагов. Я различал крупных, с галку почти, деряб; сизоспинных рябинников и еще каких-то мелких дроздов, не то певчих, не то белобровиков. По весне, на гнездовьях, дрозды не боязливы. Они налетают на

человека со всех сторон, оглушая его треском и стрекотаньем, обливая жидким пометом, едва он приблизится к глиняной дроздовой колонии где-нибудь в невысоком сосняке. Зато под осень нет птицы пугливее дрозда.

Брусничник на склоне уже был кем-то старательно обобран, одни белые мелкие ягодки попадались изредка. Срывая их, я ел, морщился и с горечью думал, что, пожалуй, не добраться мне до страны звериных троп и непуганых птиц. Иногда, набродившись в далеких лесах, до слез радуешься первым следам человеческой деятельности: стогу сена, затеске, поленнице дров, но когда идешь в леса из города с намерением забраться в глушь, желание бывает противоположным. Вообще лес возле трассы за пятнадцать лет стал заметно беднее птицей и зверем. Я помню, как по этой же трассе то и дело с пугающим шумом вылетали тетерева, осторожные копалухи величественно снимались с высоких лиственниц, басовито кокая, помню, как косули рявкали в ольховом болоте совсем близко. И куда же все подевалось? Такой вопрос сам собой рождается, если идешь сквозь грустно молчаливый лес. Это очень горький вопрос.

А между тем тропа клонила к подножью увала. Там должен был попасться темный ложок. Даже в самый безоблачный день в нем было темно, как в подполье. Лог зарос липой, елями, пихтой. Липовые дуги нависали над тропой. Молодые елочки, зачахшие в полутьме, теснились к тропе дружной гурьбой, тянули к свету зеленые ручонки. Запахи сырости и грибов, влажного мха и пихтовой хвои всегда стояли там.

Пара вальдшнепов темными силуэтами слетела с дорожки при моем приближении. Глазастые лесные кулики добывали червей, я увидел ланцетные дырки на мокрой земле — сюда птицы погружали свои чуткие клювы.

Черный лог начался. И было в нем мертвенно тихо и жутко.

Непроглядный ельник постепенно переходил в сырой липняк. Плюшевые ели стояли теперь гигантскими пирамидами меж кривых и склоненных лип с черной и серой морщинистой корой. Рябина светло краснела и пряталась тут же в желтом и малахитовом бархате. Опавшие круглые листья уже густо устилали землю,

желтели на темном лапнике. Поздно цветет, рано облетает русская липа, и хороши бывают ее черные ветки с немногими желтыми листами в осеннем блеске холодного, голубого дня.

Тропа суживается, почти исчезает, и у самого ее края, приподняв лесную подстилку, проглядывают сырые грузди-моховики. Осторожно переворачиваю один, другой, третий, обламываю хрупкие корешки, оглядываюсь и вдруг соображаю, что грибов здесь видимо-невидимо. Все пространство под широкими ветками молодых лип, между стройными елочками покрыто бугорками, под которыми угадываются грибы. Иные уже потрухли, другие стоят крепко, уставив уши-воронки, слушают лесную тишину. Грузди растут семьями, мостами, плотами, а над ними возвышаются поодиночке колпаки подосиновиков. Важные грибы стоят, как начальники станций на перроне. А вдалеке, под елками, краснеют пантеровые мухоморы, бледные поганки в модных шляпках торчат у гниющих колод — целая грибная симфония.

Я начинаю понимать, что темный ложок был тем последним заслоном, которым отгородился лес от грибников. И если дряхлые бабуси, что ходят по грибы километров за тридцать, как-нибудь, с помощью Николы-святителя, перебирались через гать, то тьма и глушь Черного лога были для них препятствием неодолимым. Лес после лога пошел совсем глухой, и, если не считать едва различимого лотка примятой травы, никаких признаков людей не обнаруживалось. А впрочем, следопыт я неважный, потому что хороший следопыт, вроде Кожаного Чулка или Дерсу Узала, тотчас сказал бы, какой человек прошел здесь месяц назад, был ли он старик или ему тридцать, как мне, был ли он женат или холост. Зато нашел я в траве новую заржавелую подкову, из чего заключил, что она принадлежала лошади, лошадь — леснику, а лесник, живущий на Ягодном кордоне, вероятно, человек бесхозяйственный, ленивый или больной, потому что у доброго хозяина конь всегда кован крепко, на полный круг.

Находке своей я очень обрадовался. Во-первых, издавна известно, что подкова — некий счастливый амулет, и, значит, неизменная удача ждет меня впереди, а во-вторых, она напомнила мне далекие детские дни.

В огороде возле нашего дома при перекопке гряд

подков попадалось немалое количество. Моя бабушка Ирина Карповна, приняв находку в корявые изробленные руки, всегда с теплым умилением осматривала ее и бережно уносила под сарай. Не знаю, откуда брались эти большие, изъеденные земляной сырью подковы. Может быть, шли здесь лет пятьсот назад неведомые племена, может, кипела жестокая битва, о которой не знает история,— ясно одно, что по количеству найденных подков я был одним из счастливейших людей, и вот надо же — еще одна, даже плоские гвозди в ней целы, а это, как уверяла бабушка, счастье внакладку.

Так, раздумывая о подковах и счастье, я прошел без приключений километра три, пока не встретил гигантскую сосну, рухнувшую поперек тропы. Я сел верхом на ее толстый комель, отдыхал, ступни ныли сладкой болью.

В долгой тишине слух настолько обострялся, что слышалось, как падает лист с берез, как шелестит хвоя под лапками муравьев. Вдруг совсем рядом раздалось какое-то поскрипывание: «зи, зи, зи». Оно казалось знакомым. Я силился вспомнить, где слышал такой звук, и вспомнил — стал внимательно приглядываться к морщинам коры. Вот же! На серо-бронзовом сучке сидят два жука-усача. Сосновые дровосеки. Их называют в народе стригунами, будто бы за способность стричь волосы на голове. Сколько раз пускал я таких стригунов бегать по голове, и ни один из них не брался за парикмахерские обязанности. Я почти уверен, что на стволе сидела влюбленная парочка. Скрип же не что иное, как вечерняя серенада, которой услаждал свою подругу жук покрупнее и подлинноусее, быстро-быстро двигая жесткой шейкой. Маленькая самка слушала молча. Впрочем, здесь мог быть просто семейный разнос, устроенный нерасторопной жене. Один вариант не исключает другого. Ведь в мире жуков, бабочек, птиц должна быть и ревность, и ссоры, и сентиментальные минуты, не говоря уж о любви.

Жуков-усачей я знал хорошо по тем временам, когда искал их для коллекции. Они попадались поодиночке, реже парами, но никогда компанией, хоть были многочисленны. Цветочные усачи — лептуры, полосатые, как зебра, странгалии встречались мне очень часто. Сорвешь на луговине пахучую кисть таволги, и на ней обязательно есть пара усатых-полосатых. Реже находил

я зеленых осиновых скрипунов. Это были серьезные жуки-мечтатели. Возьмешь такого в руку, а он и не пытается вырваться, лишь шевелит членистыми усиками, сидит, поскрипывает задумчиво.

Пока я разглядывал жуков, стемнело. Я заспешил. А когда торопишься, всегда начинает попадать что-нибудь интересное. Сначала из липняка у тропы слетел большой черно-сизый глухарь, потом за поворотом в темном осиннике затрещало, и кто-то большой начал ломиться во всю мочь, тяжко вздыхая. Я встал. Слушал, как шумят листья. Руки дрожали. Кто там ломился, удаляясь прочь: лось ли, медведь или сам леший — ничего не знаю.

Да скоро ли кордон? Уж не заблудился ли я?

И вдруг через десяток шагов с радостью узнал место. Тропа вывела на небольшую елань, обросшую темным лиственным лесом, в сочной траве хлюпала вода. Не знаю почему, но лужок этот всегда сочился водой. Даже в самое засушливое лето здесь было сыро, хоть ни ручья, ни ключика, ни какой-либо другой теклины нигде не обнаруживалось.

— Тако уж мочливо место,— пояснял мне когда-то огневщик Кузьма, живший на кордоне.— Из-под земли, видать, вода проступает.

Я перешел хлюпающую елань, пересек полосу густого ельника, и передо мной открылась широкая луговина меж двумя пологими лесистыми увалами. Ближе к опушке чернел полуразрушенный барак с пустыми глазницами широких окон. Давным-давно жили тут рабочие-лесорубы. К бараку примыкал добротный дом лесника — кордон. Громадные многоствольные березы величаво стояли на опушке над осиново-ольховым мелколесьем.

В синем воздухе пахло сыростью и сеном. Навстречу мне со злобным лаем вылетела взъерошенная дворняжка. На глухом дворе лесника, гремя цепью, басила овчарка. В жилой части барака заскрипела дверь. Сгорбенный старик, стриженный по-кержацки, в скобку, вылез на порог.

— Кого надо? — щурясь всем загорелым лицом, спросил он.

Пока я объяснял, что хотел бы видеть лесника, старик что-то жевал, поблескивая на удивление крепкими зубами, выбирал крошки из бороды и разгляды-

вал меня с простодушным любопытством, как ребенок обновку.

— А никого нету. Павел Васильич в Свердловско уехал, и жена с им. У его двое сыновей в Свердловском живут. Дома хорошие у обоих,— словоохотливо пояснил он.

— Как бы мне переночевать или пожить здесь дня три,— изложил я свою просьбу.

Старик еще раз поглядел.

— А живи, место есть,— просто ответил он.— На охоту, што ль?

— Вроде бы...

— Айда, заходи...

Так я познакомился с помощником лесника, или, как он сам себя именовал, полесовщиком, Иваном Емельянычем.

Комната в бараке была все та же, что и пятнадцать лет назад, когда жил в ней огневщик Кузьма,— низкая, с облупленным от многократной побелки потолком, с бревенчатыми стенами, на которых висели пожелтелые картинки, с покривившимся окном. Немудреная печка. Очажная плита, стол, лавка, икона в углу с темным ликом неведомого святого и тусклой позолотой, кровать с пологом из цветастого ситца. На столе на перевернутой кринке семилинейная лампа. Даже воздух в комнате тот же — пахнет керосиновой копотью, махоркой и овчинными тулупами. Стало, пожалуй, погрязнее, да ведь в чужой монастырь со своим уставом не ходят.

Иван Емельяныч был один.

— Старуха к дочере в Мурзинку ишо вчерась укатила,— сообщил он мне.— Чай, что ли, пить станешь? Самовар горячий. Али молока принести? Ну, и я с тобой за канпанию посижу.

Я достал из котомки разную снедь. Мы сели за чаепитие. Сближает людей совместная еда. Садишься чужаком, встаешь иной раз близким родственником. Так получилось и сейчас. Иван Емельяныч расспрашивал про городскую жизнь, интересовался, что там и почем, и есть ли в магазинах хорошие резиновые «сабоги», и в какие дни открыт толкучий рынок. Про свою жизнь он говорил просто и кратко. Было видно, что она для него так же ясна, незамысловата и пряма, как торная лесная дорога. Иди себе, все равно к людям придешь.

Старик неожиданно оказался в курсе всех внешнеполитических событий.

— Радиво есть,— ответил он на мой удивленный взгляд.— Наушники. Зять наладил. Всё со старухой слушаем... А то еще Павел Васильич «Уральский рабочий» получает. Я же за им в Мурзинку по два раз в неделю езжу. Вот кабы электричество нам провели. Ну тогда бы мы со старухой и телевизор как-нибудь купили. Ой хороша штука! У дочери есть... Тогда бы не жизнь, а, прямо сказать, рай. Вечером смотри себе сиди, а хошь — на койку приляг... Вот, сказывают, скоро к Верхнеуральску трассу станут рубить. Тогда уж электричество нам будет.

Потом он пустился рассказывать, где видел какое зверье, где сгонял крупную птицу,— справедливо полагая, что меня, как охотника, должны заинтересовать его сообщения.

Сам же Иван Емельяныч, к изумлению моему, охотником не был, даже ружья не имел.

— С малолетства не приучен. А счас уж поздненько начинать... Не люблю... По малину, по клюкву, по шишки — это пожалуйста. Павел Васильич, однако, охотник. Сыновья евонные тоже... Оне тут и выколачивают птицу-то.

Он хотел еще что-то добавить, но, помолчав, перевел разговор на другую тему.

— Третьего дня иду утречком с покосу по Рябиновке. Солнышко ищо чуть поднялось. Холод. Роса. Слышу, мельтешит кто-то у речки, в ситнике. Ближе подошел — барсук. Гладкой, как боровок. Увидал меня, уркнул — и ходу... Только кусты сшумели... Лису надысь видел, за увалом, на вырубке. По ягоды я ходил. Дак ведь она до чего хитра, поняла, что ружья при мне нет, и стоит, шарешки-то вытаращила...

Спать легли поздно. Старик все рассказывал и рассказывал. Я слушал, пока не почувствовал, что под веки надо ставить подпорки.

— Ну-ко, давай-ко ложись,— засуетился Иван Емельяныч,— хошь на койку, хошь на пол, а то на пече спи...

Лезть на пыльную печь не хотелось, занимать кровать было совестно, и потому я устроился возле очага на двух полушубках, а сверху накрылся курткой. Старик дунул на лампу и тоже улегся.

«Э, добро! — подумал я, засыпая.— В лесу сейчас холод, сырость, а здесь хорошо...»

...Проснулся скоро. Было темно. Ноги и тело нестерпимо зудели. Я попытался заснуть снова, но не смог. Теперь уж явственно чувствовалось, как кто-то маленькими шажками бегает под одеждой. Я сел, нащупал спички. Зажег.

По печной стене, напуганное светом, заметалось стадо гнедых поблескивающих тараканов. Какие-то тени мелькнули на полу. Но самое страшное, что открылось в догорающем свете спички,— вереница клопов.

Иван Емельяныч храпел под ситцевым пологом, как испорченный водяной насос.

Я встал, не зная, что предпринять, и в конце концов решил выйти вон.

Глухая тьма августовской ночи. Темно так, что кажется, будто ты ослеп. Лишь понемногу глаза осваиваются, начинают различать неясные предметы, угольную темь леса, линию горизонта. Жителю города трудно представить настоящий лесной мрак. В городе и окрестностях его нет. Фонари, окна, вспышки сварки, белые стены — все разгоняет тьму, светлит ночь, а здесь не светит ничего, кроме звезд. Зато какие ясные звезды сияют в несказанной высоте! Как много их! Здесь видны и те, которые в городе не замечаются. Тысячи тысяч, бездны невообразимо далеких огоньков, а за ними, едва видимыми, глаз угадывал еще что-то светящееся, не различимое вполне.

Звезды, звезды! Они всегда рождали неясное волнение. Они светили сюда из непохожих миров, и моя жизнь под ними была микроскопической пылинкой. Вот эти же волшебно-прекрасные сочетания белых огней видел и кроманьонец, с кремневым копьем подбирающийся к стаду мамонтов, они светили ладьям норманнов в волнах Атлантики, по ним шли к западу кочевые орды. На них смотрели партизаны в пустошах Брянских лесов, к ним в смерче огня и грохота взмывали тяжелые ракеты... Пройдут века, тысячелетия и эры, а они все так же будут светить новым людям новой земли и, быть может, приблизятся, когда фантастически могучие звездолеты направят к ним свой кометный путь. Звезды... Они всегда звали человека куда-то вдаль, давали ему силу и мужество, и недаром люди взяли звезду символом счастья и свободы.

До предела расширенные зрачки уже различали лесистый склон спящего увала, смутную белизну ближних берез, силуэты высоких лиственниц, а само небо словно посинело, особенно над горизонтом, прозрачной темной синевой. А какое первобытное молчание стыло над луговиной: ни ветерка, ни шороха, ни звука.

«Что, если заночевать в пустой части барака?» — подумал я.

Я прошелся мимо отверстых окон барака, заглянул в одно из них и не очень смело полез внутрь. Нога сразу же встала на упругое, мягкое, так что я вздрогнул всем телом. Но через секунду стало ясно: на полу метелки и веники, целая груда свежих березовых метелок. Тогда я сходил за полушубками, основательно вытряс их, расстелил один на метелках, другим решил накрыться. Ночь была свежая.

Известно, что, когда перебьешь сон, уснуть снова в незнакомом месте трудно. Я лежал с раскрытыми глазами, тщетно пытался настроиться на сон. А под метелками возились, попискивали мыши, цвирикали землеройки, в углу кто-то грыз и точил дерево острыми зубами. Я швырнул в угол веником, однако грызун угомонился ненадолго и вскоре продолжил свое занятие. Едва я начал засыпать, как явственно почувствовал движение воздуха. Черный силуэт птицы с блестящими глазами появился на подоконнике. Приподнялся на локте — птица исчезла. Чуть задремал — снова шорох на окне...

Я выругался и сел. Ну и барак! Не лучше ли было спать в лесу, а то и клопы, и тараканы, и совы, и мыши, и черт знает что! Не хватает лишь домового.

А в это время на чердаке завозилось, забегало, затопало, земля посыпалась сквозь щели прямо на голову, за воротник, и так же внезапно все смолкло. Вот и домовой. Кому же быть еще?

Однако ручные клопы Ивана Емельяныча показались мне страшнее. Я снова прилег на метелки, дремал, ощущая сладкий и свежий запах вянущих прутьев. Понемногу все начинало объясняться. Сова, наверное, прилетела в полуразрушенный барак на кормежку из-за обилия мышей, дерево грызла крупная полевка или крыса.

«А вот кто катался и прыгал по чердаку? Кто возился там, как черт за трубой, кто?» — думал я и чувствовал, что тону в глубоком сне.

Пробудился поздно. Солнце свежо и ясно светило в кривой проем окна. Кто-то неспешно отбивал косу на дворе. В летнем погожем тумане тепло и мирно синел лес.

И так хорош был свежий утренний воздух, безмятежный переклик петухов, сладкая истома отдохнувшего тела, что не хотелось шевелиться. Давно-давно не просыпался я так, разве — в раннем детстве, когда утром не ощущаешь ничего, кроме спокойной радости пробуждения, здорового голода и простой мысли, что впереди долгий-долгий и веселый и теплый день.

Нехотя я поднялся со своего упругого ложа и еще раз оглядел заброшенную комнату. Она была чистая. На земляном полу лежали березовые листья и веточки. Их зеленый, вянущий аромат напоминал о тепле, о солнышке, о сухих вырубках, зарастающих мелким веселым березняком.

А в сумрачном дальнем углу, где не доставали солнечные пятна, двумя пыльными комочками висели летучие мыши. Должно быть, они крепко спали.

— Заколдованный замок! — сказал я, на четвереньках выбираясь из окна.

— Что, паря, клопы выжили? — спрашивал Иван Емельяныч. Он держал в руке направленную литовку и молодо улыбался белозубым ртом.— Они страсть до свежего человека охочи, окаянные. Говорил я тебе — на рече ложись. Там их помене... Видать, жару не любят,— философски заметил он.

Я решил провести первый день в лесу, неподалеку от кордона, и оставил у Ивана Емельяныча все, что могло меня обременять. Взял только ружье, корзину, в рюкзаке еду и котелок. Очень приятно идти солнечным утром в веселый смеющийся лес.

День обещается ясным, безветренным. Об этом говорит светлая просинь неба, спокойный шепот листвы в березовых косах и густая роса, от которой по колено промокают брюки. Она серебрится в траве, мелкой изморосью блестит на фланелевых розетках медвежьего уха. Листья манжетки с росяными каплями в середине, будто зеленые брошки, разбросанные в мураве, с топазами самой чистой воды. Сорвешь листок, а он держит каплю ворсистыми складками, и даже опрокинешь — она не падает в траву, сияющая, рожденная зарей и холодом, зеркальная поэзия утра.

В мокрых кустах давно возятся птицы. Их трудно углядеть, но я чувствую по движению ветвей, по внезапному трепету листвы, что все кусты полны скрытой, невидимой жизни.

Мне хочется забраться, где поглуше, и я шагаю к логовине. По дну ее катится на луг блестящий мелкий ручей. Речка — на Урале не принято говорить «ручей» — называется Гремушка. У Ягодного кордона их две: одна пошире — Рябиновка, другая — ее приток. В летнее время ручей в логовине едва сочится. До сих пор не могу понять: что в нем гремучего? Весной он играет, разливается, но и тогда не слишком бурно. Может быть, раньше название было Дремушка?

В логу, среди моховых валунов, под сумрачным пологом елового леса, речка не торопится. Желтоватая ледяная вода струится, огибая камни, и только там, где течение выходит на скользкую гранитную плиту, она мурлычет говорливо и однообразно. Этот немолчный плеск не разрушает, а лишь дополняет величавую тишь елового леса. Молчание. Покой. Спокойные краски зелени. Седина и бархат мхов. Матовое серебро лишайников... Еловый лес самый угрюмый, зато и самый величественно тихий. Здесь нет суетливого лепета листьев, веселой болтовни птиц, дрожания солнечных пятен и бликов. Здесь все торжественно, сурово и мудро. Мне всегда казалось, что ельники погружены в колдовскую вечную дрему. Здесь живут глазастые совы, и посвист певчего дрозда звучит, как флейта.

Сперва я шел по кромке лога. Потом спустился на дно с намерением забраться как можно выше по течению в нехоженую глухомань. Я перелезал через валуны, перешагивал через трухлые стволы поваленных берез, все в копытах бархатных трутовиков, в безобразных наростах чаги, продирался сквозь плотные молодые елушки. Лог переходил в овраг, суживался, темнел лес на его плечах. И порой думалось, что я пробираюсь по глубокому подземелью — так остро пахло сырой землей, мхом и грибами. Не один раз в плотной хвое молодых елок попадались глиняные гнезда дроздов, а фантастические мухоморы словно светились в полумраке своими пятнистыми шапками.

Конец оврага открылся неожиданно. Из-под многотонной каменной губы стекала в песчаную ямку кварцевая струя воды, и зеркально-тонкие пузыри верени-

цей бежали со дна, где кипели, не образуя мути, золотые промытые песчинки.

От воды ноют зубы и лоб, но как же хорошо здесь в сырой прохладе среди елочек, пихт и рябин, никогда не видевших человека. Здесь открывался исток лесной поэзии — ведь от этой седой ключевой струи зависит и каждая ель, и моховая подушка, и рябчики, и ястребиные гнезда, и голоса дроздов.

А после короткого отдыха и водопоя я на четвереньках вскарабкался по желтой глиняной осыпи оврага и сразу попал в густой смешанный лес. Он одевал весь склон пологого увала, переходя по гребню в высокоствольный сосняк. Начали попадать грибы. Коричневые тонконогие подберезовики-обабки стояли в траве на равном удалении друг от друга. Я не обращал внимания на них. Не нравится мне хлипкий, быстро раскисающий шляпочник. Зато как хорош крепкий сафьяновый подосиновик на сером корешке или солидный боровик в дубленой кожаной шапочке. Они попадались не часто, и все же нашелся возле громадной березы целый выводок таких молоденьких грибят, хоть в игрушки играй. На широченных, плотных пеньках надеты крошечные беретики. Укладываю выводок в корзину и все жалею, что не взял с собой ни красок, ни кистей.

Впереди попадаются обезглавленные грибные корешки. Неужто и сюда забрались какие-то отчаянные грибники?

Вот раздалось недовольное ворчанье: «бу-бу-бу-бу». Рыжий зверек винтом зашуршал вверх по коре. Я подошел к сосне, постучал по стволу. На голову упало несколько шишек, шляпа свежего подосиновика стукнула под ноги. Самой белки не разглядел — или прилегла где-то в густой хвое, или скрылась в дупле. Белка не дурочка: знает, какой гриб взять для сушки. Шляпка гриба была в самой поре — не перерослая и не маленькая, без единой червоточины. Я насадил ее на сучок и тронулся дальше, придерживаясь южного направления.

А день между тем светлел и теплел. На пригретых прогалинах наивными девичьими глазами голубела, смотрела из травы луговая герань. Бабочки-перламутровки, рыжие и серые, перелетали над ней — обыкновенные бабочки лесного лета. Мрачные шмели, с брюшком, похожим на гетры футболистов, повисали на жел-

тых цветах погремка и, клоня их, сладострастно зарывались в медовый венчик. Тишина. Золотой свет. Сухмень. Малиновыми копьями взметнулся иван-чай. Нет ни комаров, ни докучливого гнуса. И так мирно голубеет вышина, так ласково пригревает, так горько, и сладко, и сухо пахнет воздух, что не веришь в отход летних дней, в близкую осень на пороге.

Но вот на пень взбежала семейка опят, перестойная трава ломается под сапогом, желтеет в тени осенний одуванчик-кульбаба, и сизые волосы осени уж протянулись от куста к кусту. Прощай, лето, прощай, ясное солнышко в березах.

Когда ходишь по лесу, голова удивительно очищается от городских и житейских дум. Здесь становишься проще, яснее самому себе, а может быть, просто умнее. Спадает, отслаивается, как омертвелый лишайник, все ненужное, что наросло на тебе, что тревожило и сердило. Оно становится далеким и ничтожным. Зато многое скрытое, подавленное жизнью города вдруг обостряется, встает на первое место. Уже чувствуешь, что острее глаз, вернее слух, легче ступает нога. Иногда мне начинает казаться, что и уши мои шевелятся, как у оленя, сами собой поворачиваясь на ветер.

В лесу легче проверить жизнь, оценить свои поступки, а впрочем, едва ли много думаешь об этом, когда перед тобою беспрерывно встают еще недостаточно оцененные человечеством, ждущие своего признания чудеса красоты. Они всюду, куда падает взгляд. Удивительны своей узорной белизной стволы берез, гибкие и высокие, с целомудренной короткой кроной. А елки? Пирамидальные, густые, пахучие ели, как непохожи они на те измызганные ошкамелки, что продаются зимой на новогодних базарах. Стройные, ровные, молодые, они выросли в глуши, дышали чистейшим лесным воздухом, пили ключевую воду подземных родников, их не ощупывал жадный глаз лесоруба, не примеривался вороватый топор. И перед ними стоишь благоговейно, как перед левитановской картиной.

А кусты песенной калины с полированными шипами, с коралловыми ягодами, резная зелень рябин и сероватые стволы осинок, таких пугливых, тоненьких, трепещущих... Вот удивительные муравьиные небоскребы, сухие грузди, осыпанные хвоей. Срезаю крепкие корешки грибов, оборачиваю и нюхаю грибную решетку,

всю в мелких медвяных каплях. Никакими словами не передать особенный сырой аромат свежих груздей! Его родит хвойный подзол, дождевая вода, туманные росы и еще что-то. Уж не раз пытались выращивать и грузди, и рыжики в садах, в парках, в теплицах, но пока растет там один шампиньон — гриб земляной и навозный. Я уже почти слышу, как какой-нибудь сухарь говорит: «Зачем вы воспеваете грузди? Кому нужны будут ваши рыжики через сотню лет, если люди научатся по своему усмотрению получать любые продукты?»

И я отвечу: «И детям, и внукам так же нужны будут боровые рыжики, ели и березы, речные плёсы и муравейники, как нужны нам, а может быть, ценить их они станут дороже и найдут наконец ту форму общения с лесом, которая сделает человека и лес закадычными друзьями».

В сущности, я ведь тоже враг. Вот срезаю самые крепкие грузди, выбираю помельче, рушу грибницу. Не уходить же с пустой корзиной от этого девственного груздевища в молодых елках, уже посыпанного оранжевым и багряным листом. Здесь светло. Лучи солнца свободно проходят сквозь высокие и редкие кроны берез. Небо меж ними безмятежно и чисто, земля тепла, а крепкие, запачканные землей желтоватые краюхи так холодны и влажны.

Корзина наполнилась на одну треть. Больше собирать не хочу. Пусть останется место. Может, рыжиков найду. И снова отдыхаю, лежу на траве. Муравьи подбегают к самому носу, удивляются, встают на дыбки, шевелят усиками, протирают глаза. Что за идол лежит тут? Они не боятся. Они только удивляются. Ведь храбрее муравья в лесу не встретишь никого. Мелкие синицы-пухлячки тенькают в вершинах берез, ныряют вниз, белыми комочками шмыгают в плюще елей, косятся хитреньким черным глазком, приподымают хохолки. Они тоже доверчивы, как дети, и, пожалуй, куда больше интересует их волосатый паук-крестовик, который застыл в самом центре своей синеватой поблескивающей шелковой сети, натянутой меж небом и землей.

Время в лесу бежит неприметно. И самыми верными часами бывает желудок. Вдруг почувствуешь такой здоровый голод, что вполне начнешь оправдывать волков, которым таковой приписывается.

Мне хотелось добраться сегодня до широкой гране-

вой просеки между лесными кварталами. Давным-давно мы собирали на ней бруснику. Просека разделяла сосновый бор, взбираясь из болота на склон лесистого кряжа.

На солнечной стороне горы брусника родилась в невиданном изобилии. Собирать ее можно было лежа. Ляжешь на живот или на бок и берешь горстями крупную бурую сладкую ягоду. Достаточно не глядя провести рукой по жесткому брусничнику, и в ладони останется порядочная кучка ягод, и так переползаешь потихоньку, пока не наберешь полный котелок. А котелок у отца был луженый, рыбацкий, ведро окуней легко укладывалось в него.

По расчетам, просека должна была проходить где-то близко. И все же не попадалась. Наверное, я отклонился к западу. Лес кругом глухой, незнакомый, нехоженый. Резко по компасу поворачиваю на восток, стремясь во что бы то ни стало пересечь лесную грань. Проходит полчаса, я плетусь через широкую гарь. Опаленные деревья засохли на корню, свалились, а кое-где обугленными столбами торчат средь живой молодой зелени высоких метлистых трав и пеньков-обломышей. На удобренной пеплом земле густо и светло зеленеет черничник. Место самое тетеревиное. Но никого нет. Только ветер слегка шелестит да мелкие птички шныряют в кустах, настороженно и удивленно провожают прищелкивающими восклицаниями и выкриками. «Так, так»,— глубоко и глухо выговаривает садовая славка. «Уить, уить»,— печально посвистывает пеночка-весничка. «Ти... ти... ти...» — однообразно повторяет теньковка. «Хи-чек-чек, хи... чек-чек...» — волнуется розовый луговой чекан. Но я не очень слежу за птицами, память сама регистрирует звуки, я даже не вглядываюсь в зеленую ткань кустов. Некогда. Впереди на обугленной сухаре сидит небольшая серая сова. Она, наверное, караулит полевку у норы. Ведь многие совы охотятся днем и вовсе не спят, как об этом усиленно распространяются несведущие люди. Завидев человека, сова благоразумно снимается с опаленной лесины. А я, проводив ее взглядом, тихонько выхожу на узкую поляну. Видимо, место здесь выгорело сильнее обычного и долго не зарастало. Серые плешины видны и сейчас в негустой траве. Даже две головешки лежат возле березового куста.

Но что это?! Головешки взлетают, превращаясь в узкокрылых длиннохвостых птиц, вроде ястребков. Козодои. Только почему вдвоем? Обыкновенно козодой, сероватая сумеречная птица с бесшумным полетом, встречается в одиночку. Лапки у них крошечные, как у стрижа, и потому козодои всегда лежат на земле, а пищу ловят в воздухе. Отлетают они рано. И вспугнутая парочка не иначе как задушевные друзья, полегоньку кочующие к югу.

Продвигаясь по компасу, я почти не выбирал дороги и скоро, как говорят плотники, «затесался» в такую чащу колючего малинника, что вынужден был искать обходной путь. Сухой пальник[1], перекрещенный так и сяк, возвышался сплошным завалом. Одни стволы приходилось перелезать, под другие ползти на четвереньках, и я был рад-радехонек, когда гарь наконец уткнулась в моховое болото. Когда-то болото сдержало бушевавший низовой пожар, и он заглох.

Отчего же он возник? Может быть, молния зажгла сухое дерево, может быть, тлеющий пороховой пыж упал на пересохший мох... А скорее всего, костер, безобразно брошенный на произвол судьбы, незатушенная спичка, позабытая головня... Сейчас невозможно подсчитать, во сколько тысяч рублей, килограммов золота, лет человеческого труда обходятся такие спички. Пройдут долгие годы, пока лес заживит горелую рану.

Припомнился рыжебородый огневщик Кузьма, который как-то сказал мне: «Гляди, парень, не балуйся с огнем в лесу! От баловства вот какая беда случается». Он достал коробок спичек, зажег и бросил одну за другой три штуки, а через минуту, тщательно затоптав поползший огонь, снова повторил опыт. Из каждых трех незатушенных спичек одна начинала пожар. Простой опыт на всю жизнь запал в памяти, всякий раз, проходя через гарь, я вспоминаю курносого Кузьму с его тремя спичками.

Кончилось моховое болото. Крутой каменистый склон. И место ожило. Вот груда округлых валунов, будто принесенная великаном и сложенная тут. Сейчас покажется старая поленница, если только она вовсе не сгнила. И точно: вот поленница, уже совершенно иструхшая, поверх нее наброшен толстый ковер из зеле-

[1] Пальник — горелые свалившиеся деревья.

ных и белесых мхов, редкие травины растут кучками, дружно лепятся семьи трутовиков. Скоро будет брусничная просека. Раньше по ней рос молодой сосняк. Теперь он поднялся высоко. Унылый серый карандашник, сквозь который надо прорубаться топором — иначе не пройдешь. Я никогда не узнал бы место, если б не старая высоченная лиственница с орлиным гнездом в развалине вершины. Она стоит так же величественно и крепко, как пятнадцать лет назад. Киргизской шапкой чернеет широкое гнездо. Может быть, орлы подправляли его каждую весну. Теперь я ориентировался точно и через сотню шагов был на брусничнике.

А где же он? Тонкое густое мелколесье толпилось вокруг. А брусничник заглох, он попадался на редких прогалинках, кое-где.

Разочарованный, я бродил по мелколесью, и вдруг впереди, справа, слева, сзади из травы и кустов начали вылетать пегие и рыжеватые глухарята. Выводок! «Ко-ко-ко»,— потянула над кустами матерая старка. А глухарята расселись по сосенкам, глуповато вытягивая шеи, следили за человеком.

Ружье не поднялось. Ну что же тут благородного? Что волнующего? Прицелиться сейчас в краснобрового петушка, давнуть на спуск? Выстрел. Большая птица, сбивая сучки, валится в траву, шумно бьется, роняя темные клюквины крови, и затихает уже в руках в предсмертной тоске, безумно и кротко глядя на убийцу.

«Не я, так другой...» — думает охотник и все-таки отводит глаза от еще теплого тела. Он роется в патронташе, суетится, продувает ружье и, видно... не рад, нет, пока вовсе не рад...

«Не я — так другой!» — проклятая формула. Из-за нее платили и платят жизнью тысячи тысяч жителей леса.

Иду прямо на глухаренка. Испуганная птица вся подобралась, еще сильнее вытянула шею и, подпустив метров на двадцать, полетела в глубь леса, невысоко над землей.

Спустя некоторое время я уж поругивал себя за излишнюю сентиментальность. «Попробуй-ка еще найти так удачно глухариный выводок. На самом виду сидели. Худо-бедно, а пару-то мог бы снять... И домой бы вернулся не как-нибудь... не попом».

Ведь в городе на идущего с вокзала охотника смот-

рит всякий. И если шествует он с раздутой сумой, увешанный по бокам и по спине белобрюхими утками и вороными тетеревами, торжественно-усталый, черный от лесного загара, деланно равнодушный к мирской славе,— всяк скажет: «Это, брат, да. Наколотил!!»

Зато с каким нескрываемым презрением посматривают на ссохшийся рюкзачок неудачника, и вряд ли он представляет, сколько обидных эпитетов и сравнений вслух и мысленно отсыпает ему любой встречный.

Обедать расположился я у того же елового лога по Гремушке. На обрыве оврага было чисто, сухо, уютно.

Могучие сосны росли по откосу. Их тихий мерный шум ладно сливался с простым и понятным шелестом красивых, высоких тонких берез. Будто одушевленные, они переговаривались спокойно и задумчиво, поглядывая, как человек у их подножия суетится, таскает сучья, ломает сухие остовы елок, снует взад и вперед по откосу к воде.

Я устроил над огнищем нечто вроде таганчика на рогульке и следил, как костер постреливает, клубит голубым еловым дымом, как пламя, добравшись до прогалины в сучках, жадно просунется в нее, грызет сухое дерево, палит хвою, обтекает копченый бок залуженного котелка. Минут через пятнадцать каша клокотала, пузырилась и фыркала — ни с чем не сравнимая лесная каша, с маслом, с дымом, с ржаным хлебушком и печенными с солью груздями.

Я принялся за нее усердно и временами, кажется, слышал тот самый писк за ушами, который отличает добротного едока от анемичного создания, едва ковыряющего в тарелке.

Всех больных, страдающих отсутствием аппетита, плохим сном, малокровием и худосочием, следует без раздумий отправлять в леса недельки на две. Успех лечения заранее обеспечен. Давно известно, что лес — целитель, но не умеем мы еще как следует пользоваться его дарами. Много-много лекарств пришло и приходит к нам из леса, но вряд ли можно представить, сколько векового дубового здоровья таят нетронутые чащи, сухие боры и светлые опушки. В лесу скрыты средства от рака, белокровия, туберкулеза — от всех болезней, перед которыми еще пасует иногда всесильная современная медицина.

Мне представляется курорт не в том виде, в каком

он есть, где отдыхающие с утра до вечера бродят между корпусами, от столовой до танцплощадки, и где лес служит скорее красивым обрамлением отдыха, а не местом его.

Не лучше ли дом отдыха из лесных избушек, где люди будут жить, питаясь молоком, мясом дичи, яйцами и медом, ягодами и грибами, не исключая, конечно, картошки и хлеба. Дни и ночи они будут дышать сосновым воздухом, бродить по лесам, купаться в озерах, ловить рыбу, загорать на песчаных плесах. Притом они не срубят ни одного дерева, не оскорбят траву яичной скорлупой или бумагой, не сорвут без надобности лишнего цветка. А пока такие курорты устроят — они уже сейчас доступны всякому без путевки и решения обкома профсоюза. Требуется лишь немного свободного времени, немножко решительности, самую малость денег на дорогу, как можно меньше боязни волков, комаров, клещей и змей. Зато побольше хлеба, картошки, луку и прочего — сколько в состоянии вынести спина и ноги.

Отправляться в леса надо пешком. От выезжающих на «Волгах», «Москвичах», «Ижах» и прочей технике слишком сильно пахнет бензином, сибаритством, водкой, ленью и другими запахами, которых лес не переносит. Будьте уверены, он найдет, чем отплатить.

Сколько бывает сломанных рессор, вспоротых покрышек, колес, севших в жидкую грязь, ведомо лишь ему одному. К тому же погода всегда солидарна с лесом — она портится при виде мотоохотников, мототуристов и даже моторыбаков.

До заката бродил я по лесу. Подымался на вершины увалов, заходил на глухие просеки, слонялся по зарастающим вырубкам, продирался через болотный густяк. Тетерева далеко поднимались на крыло, заслышав мои неосторожные шаги, рыжеватые зайцы не торопясь убегали в кусты, словно знали, что я не буду стрелять. Дятлы удивленно поглядывали вслед. Смешная птица — дятел. Человека совсем не боится и часто платится за чрезмерное доверие. Начинающий охотник считает первейшим долгом разрядить по нему свое новое ружье. И все-таки дятел любопытен и добродушен. Бывает, подлетит — рукой достанешь. Прилипнет к стволу, переберется на другую сторону и смотрит, выглядывает, так и сяк поворачивает расписную красивую голову.

Его берестяная спинка, алая шапочка и клетчатый заостренный хвост очень в тон березовым стволам, коре сосен, осин и лип. Да это можно сказать о любом лесном жителе. В лесу все просто, красиво, а если говорить канцелярским языком, то — целесообразно.

Солнце уже садилось, когда я вышел из темнеющего леса на луговину к Рябиновке. Две важные коровы и черно-белая телочка смотрели на меня с коровьим равнодушием, из стороны в сторону жуя и обмахиваясь хвостами. Два выводка белых гусей чинно, семейно тащились с речки. Ворота у кордона были отперты. Возле стояла запряженная в телегу калмыковатая лошаденка с девичьей челкой между ушами. А возле лошади и телеги суетился высокий, сухой и голенастый мужчина в серой рубахе с опояской и полосатых дешевых брюках, заправленных в рыжие хромовые сапоги. При ближайшем рассмотрении лицо у него оказалось бледным и благообразно постным. Постным блеском лоснился большой прямой нос, начинающийся от самого лба. На голове со свинцовой проседью по вискам плотно сидела форменная фуражка с двумя потемнелыми медными веточками.

«Это, наверное, и есть Павел Васильевич — тутошний лесник»,— подумал я, поздоровался и хотел пройти мимо.

Но лесник остановил.

— Билетик ваш, гражданин, предъявите,— официальной скороговорочкой попросил он, подходя.

Я достал охотничий билет.

Он долго рассматривал его, листал, шевеля губами. Потом все так же сухонько-быстро спросил, будто прислушиваясь к своему голосу:

— Ну как охотка-то?

— Я не на охоту.

— Вон чо!

— Просто поживу вот пару деньков, погляжу и уйду...

— А чего глядеть-то хотите?

— Ну, лес... Грибы, ягоды собирать...

— Ага... Так...

В это время из ворот показалась коренастая и толстая женщина с неприветливым круглым лицом. Она недружелюбно, вприщур посмотрела на меня и остановилась, сложив руки под наливным бюстом.

«Экая медведица!» — подумал я.

Лицо Павла Васильевича выразило скрытое беспокойство. Он вежливенько вернул билет и затоптался возле телеги.

— Пожить, значит... — как-то растерянно повторял он. — Значит, пожить?

— Как тут живется Павлу-то Васильевичу? — спросил я хозяина за кружкой вечернего чая.

Иван Емельяныч, видимо, был не в духе: не то воротившийся лесник задал ему перцу, не то еще что.

Он помолчал, со свистом схлебнул чай с блюдечка, которое держал по-старинному всей пятерней, похрустел сахаром и лишь тогда обронил:

— Помешшик он.

— Как? — поперхнулся я.

— Помешшик и есть,— повторил Иван Емельяныч уже более словоохотливо.— Живет. Что ему не жить. Получает мало, конечно. Вот хоть бы и я... Так ведь он лесом в десять раз больше наживает... Одне ягоды возьми... Он их возами в Свердловско-то всю зимушку возит. Грибы солит, рыбу ловит. Весной насакал ее в Истоке невпроворот. Лещ по Истоку шел, а Павел-то Васильич заездок сделал, перегородил Исток и давай черпать. Оба с Ефросиньей — жена евоная,— видал? А лещ мерный, во какой, заслонка... Продать не продал всего. Тепло ударило. Проквасил. Все из-за жадности из-за своей...

Иван Емельяныч хотел было продолжать, но, видимо вспомнив что-то, только губами пожевал, усмиряя раззудевший язык. «Кто знает, человек незнакомый все-таки». Однако молчать было свыше сил, и он снова осторожно заговорил:

— Да Павел Васильич еще ничо, хозяйственный мужик просто, а вот женка его... Уж до того жадна, до того жадна. У ее каждая криика, можно сказать, наперед сосчитана. Коров пару держит. Телок выкармливает. Гуси у ее, уточки, курнц штук сорок... Ну, вот лошадь еще. Живут. Где же им до лесу радеть, ежели они то по домашности, то в городе у сыновей, то на базаре... Никак невозможно. А жалованье у нас плохое, мало платят.

Старик закряхтел и, не подымая глаз, начал ощупывать карманы в поисках кисета с махрой.

А я припомнил заросшие просеки, поленницы дров, гниющие в глубине леса, снова увидел обширные вырубки и печальную гарь, где привольно посвистывал ветер, сеял по своей прихоти березы да осинки.

«Больно уж мы богаты...» — приходила мысль, когда смотрел я на молчаливые синегрудые увалы.

«Что, если б собрать весь этот ветровал, пальник, валежник, очистить леса от колод и хвороста — сколько бумаги, картона, дров и другого нужнейшего сырья и топлива получилось бы тогда. Сколько живого леса осталось бы на корню. Ведь собираем же мы лом, утиль, макулатуру».

Я прикидывал так и сяк, воображал, какой хороший завод можно построить, где каждое дерево будет превращаться в золотистый тес, кора и обрезь в картон, стружка в волокнистые плиты, опилки в целлюлозу, спирт и деготь, хвоя в пахучий бальзам,— словом, все будет использовано рачительно и умно. Однако... где же взять такую армию сборщиков? Как охватить леса на миллионах гектаров, куда не только проехать — пройти пешком не представляется возможным? И будет ли толк в том, что леса очистятся, приобретут тот подмосковно-дачный вид, от которого тоже не весело? Исчезнет тогда лохматая глухомань, живописный крен стволов, осторожное перепархивание птиц; сойдут мхи, вымрут дремучие филины, и уж нигде не увидишь березовый гриб-трутовик, широкий и коричневый, как лосиное копыто...

Вокруг Свердловска сплошь образцовые лесничества и егерские участки с плановой рубкой, с очисткой, а леса в дорожных зонах сохнут, и ничего, кроме тоски, не вынесешь, прогулявшись по сосняку где-нибудь в окрестностях Сибирского тракта. Время от времени тучи белой бабочки-монашенки отрождаются тут, и тогда лес в отдельных местах кажется занесенным метелью, а мириады отвратных серых гусениц суетливо ползают по стволам и земле, пока подоспеет служба безопасности.

Массовое появление вредителей объяснялось просто. Оказалось, что чересчур старательные лесники начисто вырубали дуплистый сухостойник, выкорчевали пеньки и сломы и тем лишили мест гнездования самых полез-

ных сторожей леса — синиц. Сотни московок, гаечек, гренадерок, поползней и дятлов откочевали из трактовых зон в дальние леса, и эпидемия монашенки вспыхнула на следующий год.

Припомнилось, как однажды нашел я на северном склоне горы у спуска к лесному болоту красивые сибирские орхидеи — редкие, как женьшень, цветы северного лета. Я пожадничал и сорвал их все. А на другой год весной, вспомнив про место, решил выкопать два-три растения в свой сад. Но сколько ни искал я их возле болота, орхидеи больше не попадались: лишенные цветов, они вымерли там навсегда. Пусть случай с орхидеями пустяковый, но ведь от леса не отмахнешься, без него невозможно обойтись, как без хлеба, когда грандиозная стройка ключом кипит по всей стране...

Я долго сидел на пороге барака, смотрел на луговину, на лесные дали, уже подернутые синим ночным туманом, слушал негромкие вечерние голоса. Близко журчала речка, переговаривались гуси в лесниковом подворье, устраиваясь на ночлег, да брякала боталом где-то в лугах стреноженная лошадь. Быстро темнело, лишь светились макушки исполинских лиственниц на заречном увале.

Спать я снова лег в бараке на метелках и уже не просыпался, хотя по-прежнему кто-то возился на чердаке, и золотые совиные глазки не раз, наверное, заглядывали из черной пустоты за окном.

И снова солнце разбудило меня. Новое утро смеялось и голубело за кривым окном.

Я поднялся значительно раньше, но хозяин опять опередил меня. Ивана Емельяныча нигде не оказалось. Дверь его комнатушки была закрыта на деревянную чеку, которая сама приглашала:

«Выдерни! Заходи...»

Новый день я решил провести на полянах и в лугах по Рябиновке.

По обкошенной ровной луговине спустился к самой речке и пошел по течению, не задумываясь ни о чем. По речкам легко и весело ходить. В лесу память и сознание напрягаются, приходится запоминать дорогу, следить за приметами, за солнцем, в пасмурный день сверяться по компасу, иначе неминуемо заберешься в такую крепь, где живет, быть может, одинокий леший.

А речка, как веселая живая дорога, ведет путника. Недаром по рекам заселяли люди отдаленные углы земли.

С непокрытой головой я шел по холодной росистой осоке, между островами ивняка и черемухи, шел навстречу солнышку, заспанный и счастливый простым и легким счастьем человека, у которого светло на душе, который хорошо выспался, у которого ничего не болит. Будто воскресло детство: Основинка, Солнечный бор, мерно шумящий от теплого ветра, грустная поэзия ветхого прясла. Рябиновка походила на ту золотую речку моего детства, была лишь пошире, но так же мелка и быстра. Никаких рябин не росло по берегу, и я думал: может быть, она зовется так за мелкую рябь ее скорого течения? Пойди-ка узнай, кто дал ей это имя. Сколько Ольховок, Ручьевок, Безымянок резво катится в лесах по склонам хребта! Все они похожи одна на другую желтоватой ледяной водой, широкими отмелями, черной, кремовой и белой галькой, кустами черемухи, наклоненными над водой, и стаями зеленых мальков.

Мальки ходят подле берега у самого дна. Их не сразу приметишь. Сперва вода кажется безжизненной. Легкое движение зеленоватых теней заставляет глаз насторожиться, и вдруг видишь одну, три, сотню, тысячу рыбешек, легко скользящих против течения. Мальки так сливаются с тонами дна, что сразу растворяются, едва рассредоточится глаз. Рыба покрупнее — щурята, окуни, плотва — держится в струе, в водяных травах, вытянувших свои узкие листья-плети по течению. Изредка медный блеск напоминает о ее присутствии.

Я знаю — закинь сейчас удочку в быстрину, поплавок понесет, а потом он юркнет, и елец трепещущей серебрянкой вылетит из воды. В ямах-омутках хорошо возьмется колючий окунь, мелконький ерш, осторожный чебак. И я уже невольно начинаю рыбацким глазом оглядывать излучины Рябиновки, высматриваю в черемушнике подходящее удилище, соображаю о приманке. Можно на кузнечика попробовать, на муху, муравьиных яиц поискать в коричневых земляных муравейниках. А если не станет брать, добудем ручейников, зеленых пиявочек, водяного цвета, Так уж всегда возле воды думаешь о рыбалке, а лески, крючки и грузила у меня при себе — лежат в жестяной баночке из-под леденцов.

Чем дальше ухожу я от кордона, тем глуше становится луг. Лес подходит ближе к воде. Короткая отава сменилась некошеными травами. Матово-сизые от неотряхнутой росы, они стоят, чуть поникнув. Позади темнеет торная тропа. Ни один стебелек не распрямится молодо и упруго. Август. Закат лета. Преддверие осени. Ни комаров, ни оводов... И невольно сравниваешь это тихое стариковское лето с июнем, когда бродишь в лугах, всем телом ощущая полдневный жар, знойную истому. Сухо во рту. Зольно тепла земля. Березы заснули вершинами в знойном и выцветшем небе. Лицо и руки облиты горячим загаром. На спине под майкой росистый пот. А эти оводы, что с гудением вьются, кружат, прилипают неслышно, пока не почувствуешь внезапную колющую и жгучую боль. Еще хуже маленький узкий слепень. Он жжет, будто кто-то прижимает к телу тлеющую спичку. Я молчу уж о красивых треугольных мухах с узорными крыльями, с золотыми глазами...

В июне пропасть цветов. Цветочные реки текут по луговинам. Иногда забредешь в такую высокую буйную поросль, что жутко становится. Кажется, вот-вот схватит кто-то. Стоишь по пояс в цветах, а глаз так и ловит сплетения венчиков, листьев, соцветий, полосатых шмелей, голубеньких бабочек. Все это — нагретое, накаленное солнцем, залитое светом — пахнет медово и пряно, сухо и одуряюще...

Сейчас на лугу все скромнее: и солнце, и цветы, и бабочки. Приглядываюсь к мокрому разнотравью, стараясь по листьям определить растения, и память начинает подсказывать: подмаренник, колокольчики, купальница, журавельник, золотая розга, черноголов, купыри... Я люблю народные названия трав и цветов. Самое глубокое чувство, тончайший аромат поэзии, поразительная меткость соединены в них.

Пустырник, дремляк, василистник и букашник, живокость и жабрей — таинственные, волшебные слова. А вот нивянка, овсяница, лисохвост и козлобородник, сушеница и сердечник, кипрей и таволга. Таволга! Одно слово, и я вижу горячие июньские луга, молодой блеск солнца, изгибы речки, и эти кремовые пахучие кисти над зеленой, безмятежно цветущей луговиной.

И здесь, как в лесу, многое множество тайн. Как знать, не этот ли невзрачный желтый цветок обладает

удивительным целебным соком?! Ведь оказалась же никчемная плесень такой полезной человеку.

Сохнет роса. Сохнут и мои промокшие колени. Первые бабочки кружатся над редкими цветами кипрея, ромашки, розового тысячелистника. С лесистых гор дует теплый ветер. Я присматриваюсь к порхающим лоскуточкам глазом опытного коллекционера.

Еще в студенческие годы я не одно лето провел на лугах и в лесу с морилкой и сачком. А все началось с толстой серой книжки, на обложке которой был вытиснен рогатый жук.

«Определитель насекомых». Я купил его случайно в букинистическом магазине. Я всегда покупал определители. Их у меня много: определитель растений, определитель грибов, определители птиц, атмосферных явлений, птичьих гнезд, пресмыкающихся и земноводных. Они читались не с начала, не до конца, всегда с новым интересом. Сотню раз собирался я прочесть какой-нибудь от корки до корки, но обязательно что-то отрывало, книга оставалась забытой, и так до тех пор, пока она снова не напоминала о себе. В определителе насекомых я нашел великое множество нового, интересного, и он стал для меня настольной, а точнее сказать — трамвайной книгой. Я работал тогда учителем физкультуры в школе на конце города. И пока трамвай тащился туда, прилежно изучал видовые признаки жуков и бабочек.

«Златка пятнистая,— читал я.— Темно-бронзовый, мало блестящий сверху, медный или медно-красный снизу; надкрылья с гладкими пятнышками в грубых густых точках. 11—20 мм. Тополь, осина, ива. Вредит. Кроме крайнего севера...

...Рогачик скромный. Один из немногих наших представителей тропического семейства жуков-рогачей.

Тело удлиненное, слабо выпуклое, черное, блестящее, усики и лапки ржаво-красные. Жвалы самцов развиты довольно сильно, 15—20 мм. Лесная зона до севера. Березовые пни. Редок...

...Бронзовка золотая. Дровосек еловый. Скрипун мраморный. Вьюнковый бражник. Черный аполлон...»

Я утопал в этом царстве жуков, кузнечиков, кобылок и стрекоз, прочитывал страницу за страницей. Быть может, и не стоило так много говорить о рогачиках и златках, махаонах и аполлонах, но ведь именно «Опре-

делитель насекомых» дал мне столь много чудесных, по-настоящему счастливых дней в лесу.

Из знакомства с ним оказалось, что дневных, или «настоящих булавоусых», бабочек на Урале совсем немного, 60—70 видов. Как же завидовал я Дарвину, Уоллесу, Бейтсу и всем тем великим путешественникам, которые ездили на Амазонку, ловили бабочек на Борнео, вывозили коллекции из лесов Западной Африки. Мои коллекции были невелики, и чем дальше, тем скуднее пополнялись.

И сейчас я убедился, что бабочки, перелетающие по малиновым башенкам кипрея, по желтым связкам золотой розги и кустикам иван-чая,— обыкновенные рыжие шашечницы, перламутровки, репейницы. Их видал всякий, без них нет летнего луга и леса. Реже пролетали бархатные траурницы с белой каймой, кирпичные павлиноглазки или медлительные лимонницы. При появлении самок ревнивые соперники вступали в отчаянную битву. Они хлопали друг друга крыльями, налетали то сбоку, то сверху, стремясь сбить в траву. Иногда, бешено крутясь друг возле друга, бабочки столбиком уходили в вышину.

«Ах, как они порхают, играют!» — умилился бы иной созерцатель, нимало не подозревая, что красивые насекомые просто-напросто тузят друг друга под бока и под микитки. Часто, ослепленные ревностью, они становятся добычей голубой стрекозы-коромысла.

Вот и сейчас десятки отливающих бирюзой и бронзой стрекоз проносятся над речкой, над кустами, иногда они почти натыкаются на меня, с треском взмывают вверх, но не отлетают от меня далеко. Ведь я невольно помогаю им охотиться. Из травы вырываются мелкие бабочки, мошкара. Вот взлетела белая неловкая пяденица. Коромысло пикирует. Удар! Одно белое крылышко отлетает в траву, а стрекоза уносит в цепких лапах оглушенную добычу. Она съест пяденицу не торопясь, присев где-нибудь на сухую солнечную ветку, съест, посматривая на мир огромными, изумленными, изумрудными глазами.

На луговине водятся и певчие кузнечики. Они отличаются тем, что могут заливчато трещать без перерыва минут по десять. Они поют и по ночам. Кому не знакомы летние деревенские ночи, прохладный сумрак, наполненный этим стрекотаньем! Мне захотелось поймать

зеленого певуна. Но все попытки кончались неудачей. Бдительный кузнечик как сквозь землю проваливался. Стоило, однако, отойти шагов на десять, как он снова азартно запевал.

Я ушел от кордона километров за пять. Теперь луговина становится совсем неширока, то переходит в болотце с лютиками и осокой, то идет сухим берегом, а у самой воды стоят раскидистые сосны с ветками до травы. У подножья они непролазно обросли шиповником, малиной и бузиной. Птичья жизнь бьется в таких островках. То одна, то другая птичка, напуганная моим приближением, выпархивает из островка, чтобы промчаться к другому и нырнуть в его спасительную густоту.

Высокий взъерошенный чертополох малиновыми шапками доцветает на сухом дерне. Красивые бабочки-адмиралы с красными лампасами и лентами по черным мундирам присаживаются на него. А по сырым местам я выпугиваю дупелей. Они взлетают с коротким криком, низко и прямо летят над лугом. Не так вырывался верткий бекас, словно кто-то запускал из травы крылатый диск.

Но ружье оставалось на плече. Мне дороже были солнечные зайчики в сосновых ветках, шорох ветра, кучевые облака и блеск речушки на перекатах. На солнце уже становилось жарко, в тени по-прежнему было свежо.

Луговине, как и всему на свете, пришел конец. Она уперлась в кромку черного заболоченного ольховника. Дальше речка утекала под его своды, будто хотела спрятаться от солнца. Сначала я сунулся в ольховник, но очень скоро захотел назад. Сырой ольховый лес в летнюю пору самый скучный и бедный. Неприятно однообразие темной зелени, чернота стволов, ворохи гнилой листвы, вода, чмокающая под сапогами. Еще противнее мелкая мошкара «мокрец», тучами живущая тут. Мокрец облепил меня со всех сторон. Лицо, руки и шея чувствовали живую липкую паутину. Крошечные мошки лезли в уши, под веки, в нос, не давали дохнуть. Чертыхаясь, кашляя, отирая лицо ладонями, я побежал на луг и даже не посмотрел на рыжего вальдшнепа, который вылетел совсем близко... Что было бы, если б проклятый гнус распространился по всей земле?

На опушке мокреца не стало. Здесь можно было

спокойно протереть глаза и набрать целую горсть жучков-листоедов, ярко-золотых сверху, вишнево-бронзовых с испода. Золотые листоеды всегда встречаются на ольхе. Пожалуй, они единственное украшение тускло-зеленого, никогда не желтеющего ольхового леса.

Возвращаться прежней дорогой не хотелось. Я решил перейти на другую сторону Рябиновки. Сняв сапоги и брюки, переправился благополучно, если не считать, что вода вызвала ощущение крутого кипятка. На другом берегу росла многоствольная широкая черемуха с такими переспелыми, душистыми, слегка вяжущими ягодами, что ешь, ешь, и все хочется. Черно-глянцевых ягод оставалось не густо, зато желтых грубых листьев на земле и на ветках было не счесть. Казалось, кто-то пригоршнями бросал на черемуху светлую, неяркую краску. Между корнями, полузаваленное этой листвой, открылось травяное гнездышко какой-то птички. Может быть, здесь гнездились соловьи. Они любят черемуховые речки. Пустое гнездо и желтые листья наводили на мысли об осени, об отлетных стаях и холодах.

Мне понравилась эта живописная черемуха на сухом дернистом берегу, а ягоды пробудили вдруг жестокий аппетит.

«Не пойду никуда. Разведу здесь костер и сварю какое-нибудь варево. Да не попытать ли счастье в рыбной ловле?»

Сперва я отверг соблазн. Я был никудышным рыбаком. Мне всегда удивительно не везло. В самых добычливых местах при сильном клеве, когда все уносили кто по корзине, кто по ведру мерной хорошей рыбы, я довольствовался тремя — пятью окунишками. Где за день ловилось по три чебака, у меня не клевало совсем.

И все-таки аппетит и желание еще раз испытать судьбу пересилили. Кажется, я упоминал, что лески, грузила, крючки у меня были в достаточном количестве. Надо было срезать на знакомой черемухе длинный и гибкий жировой побег — и простая снасть готова. Теперь дело за приманкой. Червей на лугу разыскать без лопаты мудрено. Зато есть кузнечики, мухи, бабочки, есть хлеб, на который теоретически должна клевать всякая рыба.

Не раздумывая долго, забрасываю леску выше по течению, смотрю, как несет поплавок на перекат. Вот сейчас... Вот сейчас! Вот... Но поплавок уже полощется

в струе на вытянутой леске, а клева нет. Прошло несколько минут, в продолжение которых моя надежда таяла, как крупинка сахару в стакане воды. Наконец я вытащил лесу. Крючок был пуст. Хлебный шарик смыло. Повторил опыт. Забрасывал еще и еще и скоро убедился, что при повторении весь запас моего хлеба будет принесен в жертву водяному и русалкам Рябиновки. Тогда, нацепив на крючок несчастную кобылку, я забросил ее на перекат, воткнул удилище в берег и пошел разводить костер.

Я приволок из лесу засохшую елку, несколько сучьев, куски бересты, а сам все надеялся и прикидывал, какая рыба клюнет на кобылку.

Рыбацкая фортуна не обернулась ко мне и на этот раз. На извлеченной лесе болталась лишь побелевшая дохлая кобылка.

Я снова пообедал кашей, приправленной размышлениями об ухе, да парой кружек чаю немыслимой крепости, какой умеют заваривать одни охотники да рыбаки.

В домашних условиях он так не заваривается. Для этого нужны закопченный котелок, речная вода, костер и еловый дым, и если первое еще найдется в городе, то остальное достать затруднительно.

После обеда ноги никак не хотели идти обратно. Разморенный теплом и сухостью луга, я забрался в березовую тень, лег на спину в немятую траву и постепенно весь ушел в созерцание голубого простора, где тонул, не находя опоры, взгляд. Я и раньше любил лежать так. Земля словно отступала, уходила куда-то вниз, и, потеряв чувство места и времени, я оставался один в глубоком небе вместе с бегущими облаками. Даже листва в вершинах не напоминала о земле. Листья трепетали, веточки гнулись от легкого ветра, они не мешали мне плыть вдаль по течению мысли. Я ощущал осторожную ласку солнца, шорох ветра, запах травы и думал, как же хороша эта простая жизнь без печали и смерти, жизнь облаков и листьев, ветра и воды. Громкий гортанный крик прозвенел вдруг где-то над лесом. Два косяка серых журавлей высоко и плавно тянули на закат, мерно взмахивая крыльями.

Странное чувство рождает журавлиный крик. В нем спрятано сладкое осеннее уныние и глухие невыплаканные слезы. И когда птицы пролетят и скроются за лесом, еще бóльшую нежность испытываешь к своей зем-

ле, хочется гладить блеклые соломинки, ласкать землю, как осиротелого ребенка...

...На подходе к кордону я издалека различил сухопарую фигуру Павла Васильевича и его жены. Лесник и лесничиха что-то суетливо собирали с земли у ворот и подле забора. Павел Васильевич даже опустился на колени и стал ползать на четвереньках, а вернее — на трех конечностях, потому что свободной рукой непрерывно клал что-то в решето. Жена стояла каменным монументом, изредка наклоняясь.

«Эк стараются!» — подумалось мне. Я подошел ближе с намерением узнать, чем же они заняты. Но в этот самый момент Павел Васильевич встал и бойкой хозяйственной трусцой направился в калитку, а лесничиха так враждебно-подозрительно покосилась на меня, что всякая охота к расспросам тотчас испарилась.

«Ну и медведица»,— снова подумал я, мельком взглянув в ее загорелое литое чело, повязанное желтым платком. Редко бывают женщины с такими темно-карими, злыми глазами, а все-таки бывают.

Я прошествовал мимо и, кажется, на спине осязал ее взгляд. Он ощупывал мои сапоги, ружье, фотоаппарат, рубашку.

«Отчего они так? Ведь я не сделал им ничего плохого. Может быть, на постой не попросился и лишил доли законного дохода? Так ведь их не было дома. Или предполагают, что я какой-нибудь ревизор, инспектор? Тоже невероятно. Во-первых, ревизоров (даже предполагаемых) встречают не так, а во-вторых, об инспекции кто-нибудь да сообщил бы. В-третьих, работников лесничества они знают наперечет... В конце концов, мне безразлично расположение какого-то Павла Васильевича».

Пока не вернулся Иван Емельяныч, я ушел за Рябиновку на хвойный увал и бродил по его склонам, обросшим брусничником и толокнянкой.

К вечеру ветер усилился. Морским прибоем шумели сосны. Было что-то тревожное в мерном раскачивании их вершин. Ветер дул с северо-запада. Тонкие стрельчатые облака протянулись оттуда, указывая его направление.

Иван Емельяныч усталой походкой прибрел откуда-то из-за увала после захода солнца. Прохладный августовский вечер быстро синел. Кричали кузнечики. Коровы, побрякивая боталами, сгрудились у запертых ворот

кордона. Вот отворились тяжелые тесины, на миг мелькнуло долгоносое лицо Павла Васильевича, коровы важно скрылись во дворе, и, как в пещере Али-бабы, створы сомкнулись торжественно и плотно.

К бараку подошла однорогая коровенка Ивана Емельяныча. Неловко переставляя клешнястые ноги, облепленные засохшим пометом, мотая выменем, она толкнула мордой дощатую дверь, зашла в подобие хлевушки, собранной на скорую руку из каких-то горелых бревен, жердей, гнилушек и накрытой сверху дерном. «По барину и говядина»,— вдруг вспомнилась старая пословица, когда я сравнил буренку с дородными тагилками лесника.

Однако скудная животина оказалась довольно-таки молочным существом, о чем свидетельствовал подойник, на три четверти полный кремовым парным молоком с нежнейшими жемчужными пузырями. Его вынес из хлевушки Иван Емельяныч.

— Не хошь ли тепленького? — спросил он.

Я отказался.

— Где это вы были целый день?

— Робил,— коротко отозвался старик. На мой вопросительный взгляд он пояснил: — В питомнике робил. Есть тута, версты за четыре, большая вырубка. На той вырубке саженый сосняк. Вот хожу, окашиваю его, пристволья перекапываю, дуст таскаю от майского червя. Он в перву очередь на молоденьки сосенки нападает, корни ест. Белый червяк с красной головой, толстущший, вот этакой,— Иван Емельяныч показал согнутый корявый мизинец.

— Кто же садил сосняк-то?

— А лесхоз... Иди-ко, я тебе что покажу,— поманил он меня.— Ты думаешь, мы в лесу живем и дела нам нет?

Он снес молоко на погреб в огороде и подвел меня к низенькой, вросшей в землю избушке. На проваленной крыше ее росла лебеда, бодяки, чертополох и другая сорная трава. Дверь отворялась с трудом.

— Баня тута,— пояснил старик.

Уже в темном предбаннике я почувствовал иной, не банный запах. Не мылом и сырым полом пахло тут, а сладчайшим хвойным ароматом сосновых шишек. Иван Емельяныч нашарил в потемках огарок свечи, зажег его и, прикрывая пламя ладонью, шагнул вперед.

В мыльной на полке́, на подоконнике, прямо на полу лежали груды сосновых, еловых и лиственничных шишек. Иные были еще каменно закрыты, другие чуть приотворены. Они сохли.

В прыгающем свете свечи, поднятой над головой, Иван Емельяныч показался мне добрым волшебником.

— Видишь, сколько добра? — сказал он, указывая на таз, полный чистого соснового семени.— В шайке ельничные семена. Вот листвяжные...

— Кто же столько набрал? — изумился я. Не верилось, что один человек способен собрать такое количество. Ведь это сотни мешков шишек. Да не каких-нибудь, валяющихся под ногами, а съемных, нераскрывшихся.

— Я наколотил,— просто, хоть и не без гордости сказал старик.— На вырубке лес валили, я шишки ходил обирал. Каждый день по мешку да по два таскал. Лес-то ведь выпластывают — смотреть жалко... Что ж будет, ежели его не сеять? Вот видишь, растет по вырубам осинник, ольха, ну березняк... Худой лесишко, непотребный. Садить надо кедрач, листвянку, ну и сосна не плоха, хорошее дерево, строевое... По-моему, даже так должно — высек лес сколько там га и посади сразу новый да хороший. А то ведь перерубают много. На четверть, поди-ко, от всего лесу...— Он замолк, погасил свечу, повернул к двери.

В глазах тотчас возникла картина рубки леса. Не той рубки, которую мы видим на холстах передвижников: крестьянин в лаптишках, с топором за опояской в молчаливом темном бору. Видно, что он долго тяпал, срубая перестойную лесину, а лес смотрел на него, как на ничтожную мошку, недостойную внимания, спокойно и величаво. Это была и не толстовская картина задумчиво-красивой смерти дерева на росистой заре...

Мне припомнилась современная рубка, точнее — валка леса без топора. Яростный визг моторных пил, пропаханные до глины лесовозные просеки, стук сучкорезов, грохот трелевочных тракторов, похожих на танки. Тяжкое оханье падающих сосен. Мертвая пустошь новых порубей. Все это походило на беспощадное избиение, всегда вызывало у меня долгое гнетущее чувство, похожее на скорбь.

Мне не хотелось идти в душную комнату. Я присел на кучу жердей у прясла. Смотрел на закат. Ветер утих.

Низкие тучи стояли на западе. Края их горели дымным огнем, купались в ярко расплавленном золоте. Выше накал зари слабел, переходил в нежнейшие розовые тона. А над последним голубовато-розовым отблеском открывался такой бездонный океан холодеющей синевы, что трудно было оторвать глаз. Звездочки едва начали различаться в нем, словно издалека летели к земле.

«Как же красива ты, дорогая земля»,— думал я, глядя на эти бесконечно разнообразные, наново величественные, тревожащие сердце закаты.

Ночь быстро надвигалась из-за хвойного увала.

— А чо, опять на метелках спать станешь али в избе? — вопросил Иван Емельяныч, высовывая свою кержацкую голову из низенькой двери.

— Да уж, пожалуй, на метелках. Сена бы вот еще...

— Сена-то вдосталь, бери сколько хошь. Не из тех вон зародов смотри... Те Павла Васильича,— он указал на темные длинные стога.

— Послушай-ка, Иван Емельяныч, чего лесник сегодня возле дома подбирал?

— На коленках пластался? — вопросом ответил старик.

— Да, почти.

— Ну так это они перья собирают. Куриц у их много. А в августе курицы линяют. Вот Ефросинья и гонит мужика: «Айда, собирай! На подушки, на перину». Самой-то трудно, с ж . . . й со своей, кланяться.

И он вдруг захохотал молодо и весело. Потом вылез на порог, сел и, все еще улыбаясь, стал крутить аппетитную папиросу из листового табаку.

— А кто это ночью на чердаке все возится? — снова полюбопытствовал я.

— Прыгает? — усмехнулся он, пуская клуб синего махорочного дыма.— Это кошка моя, охотница. Опять, поди, кого-нинабудь притащила, окаянная. Надысь валешня долгоносого приперла, там бельчонка где-то сгребла, бурундуков носит. Зайца даже одинова задавила. Повадился по осени белячок в огород похаживать. Ну, видно, кочешки капустные грыз, еще чего. Узорила она его и задавила. В земле вся укаталась. Заяц-то больше ее. Вот сюда, к сенцам, приволокла. Погоди-ка... Покличу ее. Муся, Муся, Муся... Кыс-кыс-кыс... Где ты, животина окаянная...

И действительно, из-под крыши отозвалось хриплое

мяуканье, потом высунулась смутно белеющая мордочка, и тощая некрасивая «кошшонка» с грязной белой шерстью спустилась вниз. Она вопросительно посматривала на Ивана Емельяныча дико светящимися в полусумраке глазами.

Над полянами спустилась ночь. Я развел костерок на берегу Рябиновки. Вскипятил чай. Поужинал. Перед сном захотелось походить недалеко от костра по ночному лесу, ощутить его глухую темь. Я пробрался на опушку, потолкался, как лунатик, между спящими кустами и черными елками. Когда я задевал невзначай кусты, они недовольно шелестели, невнятно шушукались разбуженные травы. Росы не было. Звезды кутались в светло-сизые тучи. Они тянулись из-за вершины черного хвойного увала за речкой, как летучие призраки. Ненадолго завеса разрывалась, узкий, добела накаленный месяц проглядывал вдруг. Весь увал седел в его голубом свете. Через мгновение месяц прятался, и тогда еще чернее становились тени в лесу. Все казалось мне, что в далях меж стволами что-то шевелится, встает, оживает, бредет неслышными колдовскими шагами.

Мой костерок у речки мерцал, как красная звездочка. Я боялся потерять его из виду. Погасни он, я остался бы в жутком одиночестве под белесым расплывчатым небом, в могильной темноте леса.

Острой дождевой сыростью тянуло откуда-то. Я поежился, открыл глаза. За серым окном сыпал дождик. Кто-то укрыл меня вторым полушубком, и он был чуть влажен. «Вот так штука! — подумал я.— Неужели ненастье?»

За щеткой дождя виднелся хмурый мокрый лес. Прозрачные светлые капли бежали по черному сырому бревну сруба, срывались вниз: кап, кап, кап...

Я вылез в окно под дождь. Огляделся. Ненастье было широкое, обложное. Ветер порывами тянул с северо-востока, тучи над вершинами увалов выволакивались одна другой скучнее. Дождь кропил мелко и холодно, по-осеннему. Он блестел в траве, изморозью оседал в сосновых иглах, бисером осыпал лицо.

Мысли о доме, о сухой комнате против желания зашевелились в голове.

С кровли барака к земле сносило дымом. Иван

Емельяныч варил какую-то похлебку с грибами. В комнате было тепло, парно, пахло картошкой и зеленым луком. Стекла в окне по-осеннему запотели.

— Садись давай к печке, погрейся. Озяб, поди? — участливо спрашивал старик.— Ночесь вышел я на двор. Дождь. Холод. Поглядел — ты спишь, скорчился весь. Ну, я будить не посмел, а полушубок принес. Да... Вот и летичку конец. Отошло летичко. Теперь опять стужа, да стужа, да дожжичек...

Он бормотал еще чего-то, по-стариковски вслух высказывая мысли.

Я засмотрелся на огонь. Рыжий поток его вырывался из чела, лизал закоптелый свод, стаями искр уносился в трубу. Раньше у нас дома тоже была такая же большая печь с печурками, шестком, чугун с водой, полати. Вот только тараканов не было. А здесь из запечья то и дело высовывались длинные подрагивающие усы. Бойкий прусак или сам задумчивый черный боярин вылезал на беленую стену.

Иван Емельяныч не обращал на теплолюбивых букашек никакого внимания, будто они были домашними животными.

— Почему ты, Иван Емельяныч, их не выведешь? — спросил я.— Взял бы дусту насыпал.

Старик усмехнулся в прокуренную бороду.

— А я их уважаю. Мне с емя веселее,— услышал я ответ.— Никому они не мешают. Живут смирно. И пущай живут. Вот мух не жалую. Вредная тварь: и в тарелку тебе, и везде...

Мне осталось вспомнить одного знакомого. Солидный научный работник, он привозил из деревни летом в свою благоустроенную четырехкомнатную квартиру сверчков. Сверчки приживались плохо. Древний обитатель рубленых русских изб никак не мог свыкнуться с современным комфортом. Зато надо было видеть близорукое лицо доцента, когда среди вечерней тишины вдруг раздавалось из-за пианино: «Трюк-трюк, трюк-трюк».

«Знаете, мне с ними веселее. Спать лучше»,— оживленно говорил он и даже очки снимал, прислушиваясь.

— Садись-ко давай, закусим,— приглашал Иван Емельяныч, вытаскивая из печи клокочущий глиняный горшок.

Это было вкусное душистое варево из картошки,

лука и белых грибов с перцем и лавровым листом. Я ел его с аппетитом человека, третью ночь спавшего на лесном воздухе.

— Что, Иван Емельяныч, сегодня отдохнуть не грех? — спросил я, слушая, как дождь посыпает в стекло.

— Не. Сейчас робить пойду,— ответил он.— И то уж надо бы пораньше, да Павел-то Васильич с утра куда-то угнал. Я и припозднился. Опять в питомник пойду, молодняк окапывать. Оно даже лучше по дождичку-то, земля мягче. Не жарко.

Мне захотелось пойти вместе с ним, поглядеть знаменитый питомник. Я тут же высказал свое желание.

— Айда,— охотно согласился старик.— Надевай мой брезентик, у меня еще один есть, старухин.

Мы вышли под мозглый, кропящий дождь. Все кругом было серо, туманно и скучно. Земля отдавала последнее тепло. Мы шли друг за другом по мокрой скользкой тропе, усеянной свежими желтыми листьями. Гряды сырого березняка и осинника тянулись справа и слева. Сегодня он был тускл, мокр и молчалив. Однообразный шепот дождя не нарушал тишину. Нигде не было видно ни птиц, ни бабочек. Мертвый плюшевый шмель валялся на тропинке. «Озяб, бедняга»,— подумал я.

После получаса ходьбы мы как-то неожиданно вышли на огромную вырубку. Она простиралась километров на восемь.

— Вот питомник,— проговорил Иван Емельяныч.— Половина его самосевом зарастает, а половина-то засажена.

Я только что сообразил, что короткие сосенки растут не по произволу работяги ветра, а посажены в определенном порядке. Земля вокруг молодняка была разрыхлена, междурядья прокошены. Мы прошли километра три, и везде был тот же порядок.

— Все роблю,— говорил старик словно про себя.— Летось рабочих лесничество давало. А нонче говорят: «Нету рабочих, сами управляйтесь». Хожу с весны, а конца-краю не доберусь еще...

Трудно было поверить, что такой огромный кусок земли обработал один человек. Впрочем, я припомнил, что в селе Таватуй не так давно жил одинокий тщедушный старичонка Афоня с обидным прозвищем Червяк. Прозвище было дано не по фамилии. Фамилия этого

Афони была, кажется, Пьянков. А прозвище получилось так...

Когда Афоня появился в селе, мир отвел ему самую худую землю, каменистый склон горы на задах Таватуя. Правда, отвел не скупо, чуть не гектар, зато какие сизые каменные глыбы выпирали из этой земли. Ни одна душа не зарилась на Афонины угодья.

Но в этом ледащем мужичонке жила, по-видимому, совершенно непостижимая душа труженика. Ломом, кайлом, рычагами он разворачивал каменную целину. Добытый плитняк и песчаник складывал по краям своих владений в виде изгороди. Через несколько лет усадьбу Червяка вместе с домишком окружала метровая каменная стена. Через десятилетие она поднялась еще на полметра. А Червяк копал и копал. На зависть безбедно прожил голодные двадцатые годы. Сеял вручную рожь за своими стенами. Молол на каменных жерновах, лопатой подымал десятки соток земли. Жил попрежнему бобылем, говорят, ни одна женщина не уживалась с ним не то из-за непомерной скупости, не то из-за нелюдимости. Умер Червяк в тридцатых годах, а на лесной окраине села, как памятник людскому трудолюбию и упорству, осталась усадьба Афони — настоящая крепость трехметровой высоты, она стоит и поныне. А сейчас, прикинув сделанную работу, я еще более удивился стоящему рядом невзрачному старику. Червяк копал землю и выбирал камень ради себя, себе строил гранитную крепость, а этот трудился с тем же терпением, без громких слов отдавал остаток своих стариковских сил обществу.

Пока я оглядывал вырубку да раздумывал о трудолюбии, Иван Емельяныч раздобыл откуда-то тяпку и потихоньку «протяпывал» землю под сосенками.

Мне показалось совестным оставаться в позитуре наблюдателя, захотелось помочь старику. Однако Иван Емельяныч воспротивился самым решительным образом:

— На-ко вот, чо придумал! Ступай, ступай, гуляй себе. На своем деле наробишься. Я ведь помаленьку. Да тяпки для тебя нету. Ступай!

Тогда я задумал обойти вырубку и потихоньку тронулся краем ее к той половине, которая зарастала сама по себе.

Идти было сыро. Хотя дождь перемежался, листья,

земля, трава и хвоя уже достаточно напитались им и щедро осыпали мою одежду. Довольно скоро я оказался среди мелкой лиственной поросли, вперемежку с темными елочками и сосенками. Широкие пни, на которых медовыми каплями желтела смолка, кучи сучьев и обрубков — все говорило о недавней неравной битве. Клади хвороста не были даже сожжены. Они обрастали осинками и травой с высокими тощими метелками.

«Пррр... прр... прр...» — вдруг со всех сторон начали вырываться тетерева. Я повел стволами за стремительно улетающей черной птицей с белыми полосками и дважды нажал на спуск. Ружье подпрыгнуло, сильно отдало, а косач оборвался в траву.

Я подобрал его не скоро. Красивая птица с вороным отливом на зобу, светло-красными бровями и нежнейшим белым подхвостьем завалилась под широкий и мокрый березовый куст.

«Сделаю чучело»,— думал я и бережно укладывал тетерева в сумку. Здесь же нашел я прихотливо изогнутый березовый сук. Пусть тетерев сидит на этом сучке у меня дома, пусть напоминает счастливые лесные дни.

Тетерева с вырубки слетали часто. Раза два поднимались даже осторожные глухари. Очень скоро я понял, что привлекало лесную птицу на эту зарастающую сечу. Между кустами, осинками и елочками, вокруг пеньков — везде был брусничник. Красные дурманные ягодки майника посматривали из середины уже поблекших двулепестных листьев. Оклеванные кустики черники местами покраснели, должно быть от холодных рос. Мелкие начальные муравейники гнездились возле пеньков хвойно-песчаными бугорками. Муравьев не было видно. Они попрятались от ненастья, плотно закрыли пробочками из трухи все входы и выходы. Редко-редко показывались сторожевые муравьи. Они, точно люди, застигнутые ненастьем, как-то зябко горбились, словно высматривали окрестность, и скоро, безнадежно махнув лапкой, уползали.

Как бывает в предосенние дни, ненастье перемежалось: то сыпал косой холодный дождь, то налетал порывами сырой ветер, и тогда особенно заметны были северные тучи. Они волочили мокрые подолы по макушкам почернелого ропщущего леса. Иногда на несколько минут все стихало: замирал ветер, умолкали листья,

редко в траву обрывались капли, пасмурная тишина заглядывала в самую душу.

В такие мгновения остро чувствовался запах дождя, мокрых листьев, мокрой травы — приятный запах лесного ненастья. В городе оно пахнет грязью и паровозным дымом, резко и скучно.

Я люблю бродить по лесу в пасмурные дни с редким дождем. Его холодная сырость делает бодрее. Свежо и печально становится на сердце, и хочется идти далеко-далеко, на край земли, пусть дождик холодит лицо, пусть небо смотрит серыми глазами. Все равно хорошо. Меньше ежиться и хмуриться! Меньше ленивой крови!

И все-таки уже начинало тянуть домой. Осторожная мысль задворками пробиралась и потихоньку нашептывала: «Хватит, находился. Скоро на работу. Денек отдохни». Я гнал эту удобненькую мысль, а она назойливо напоминала о себе каждый раз, когда дождь попадал за воротник, когда ветер задувал вдруг особенно бодро, а вершины березок гнулись и роптали.

С вырубки я спустился по пологому склону в моховое болото. Что-то бурое вдруг зашумело в кустах, ходко тронулось прочь.

Медведь?

Высокая горбатая лосиха в белых штанах не оглядывалась. Две еще более неуклюжих, сухопарых и желтоногих телочки поспевали за ней.

Через минуту их уже не было видно, только вдали затихали кусты, через другую — все смолкло. Потом в болоте запричитала желна и раскатилась долгим стонущим воплем. По болоту я шел недолго. Здесь начинался такой угрюмый угол леса, что находиться в нем долго не хотелось. Кочки, мох, поваленные березы, широченные многоярусные елищи. Казалось, им без малого лет по триста. Под их широкими навесами зеленый полумрак и не растет ничего, кроме каких-то фантастической величины грибов, похожих на подосиновики с белой шапкой. Даже тенелюбивая еловая молодь не топорщилась под мрачной завесой. Вверху, невидимые, цокали клесты, изредка падала вниз свежая узкая шишка. Нога по колено жутко уходила в моховую перину. Стали попадаться и кедры. Они поднимались так же высоко и девственно свободно. И только на головокружительной высоте виднелись их шишки со спелыми оре-

хами. Снизу они не то не росли, не то были околочены вездесущими шишкарями.

На минуту мне показалось даже, что я не один. Сзади хрупнула ветка, прошелестела хвоя. Я обернулся, но никого не заметил. Так часто «блазнит» в лесу. Или осторожный зверь уносит ноги за добра ума.

Но человеком здесь все-таки пахло. В одном месте попался заломленный кедрик. Так свернуть шею деревцу могла лишь бездушная, но человеческая рука. Вот мох примялся тропкой. А вот... Я наткнулся на явные следы деятельности шишкарей.

Два громадных кедра были безжалостно срублены под корень и обобраны дотла.

Хотелось яростно кричать и ругаться самыми последними словами, когда я смотрел на поверженных красавцев. Сколько десятилетий росли, шумели, плодоносили они — кормили лесное зверье, птицу и человека — и вот легли под топором убийцы, который, полузгивая каленые орешки, беспечно торгует где-нибудь на рынке, слюнит вырученные рубли. Щепа со светлой кедровой смолой была еще свежа и пахуча, шелковая мягкая хвоя не завяла, не пожелтела. Здесь орудовали самое большое неделю назад.

Я топтался близ порубки, бессознательно надеясь найти улики, хоть кострище, где обычно обжигают снятые шишки, но ничего не нашел...

Хотелось мне узнать, что за болото, в которое я забрел, велико ли оно. Лестница нашлась скоро. Большая крепкая ель наклонилась на другую, образовала к ней удобный накат. Я снял ружье, сбросил сумку, осторожно полез вверх, все время жмурясь от колючих ветвей. Когда смотришь снизу на лезущего человека, все кажется простым. Иное дело самому карабкаться по скользким, ломким, упруго-колючим веткам. Едва я добрался до середины, «лестница» стала угрожающе гнуться. «Вот оборвешься, рухнешь с десятиметровой высоты, сломаешь позвоночник...» — шепчет кто-то, и слова его не кажутся малоубедительны. Я прилег отдохнуть, ощупал и осмотрел ствол ели. Он был толстый и лежал достаточно прочно. И я стал взбираться выше, стараясь не смотреть вниз. Выше... еще выше... еще... Вот макушки деревьев подо мной. Выше... еще... Выше... Стоп. Вот и голубоватая влажно-бархатная хвоя вершины, связки светлых, коричневых шишек, птичья высота.

Крепко держусь за колючий ствол. Сердце бьется. Ноги дрожат. Только спустя несколько минут, в продолжение которых убеждаюсь в относительной безопасности и прочности всех точек опоры, начинаю осматриваться. Впереди макушки елей и кедров, светлая зелень берез, и так тянется далеко, пока не сливается в синеватом мглистом просторе.

Значит, это Кедровское болото. Огромная заповедная палестина. Я сижу на его окраине. По другую сторону вид закрывает вершина увала. Из-за нее ползут тучи. И так хорошо здесь, на высоте, среди сырой пахучей хвои, на свежем ветру, под самыми дождевыми тучами. Снова гляжу на бескрайнее болото и размышляю, что там, наверное, очень привольно живут глухари, по сухим островинам немало лесного зайчика-беляка, есть лосиные тропы, россыпи клюквы, водянистая морошка, комариные царства, мхи и лишайники. Может быть, заходит сюда по зимам ни на кого не похожий зверь — росомаха, забредают северные олени. Они ведь жили тут не так давно. Остались в памяти стариков, в названиях: Олений мыс, Оленья стойка.

Меня тянет туда, в нехоженые пустоши. «Вот бы построить где-нибудь на островине избушку, писать, жить, знакомиться со зверьем»,— мелькает идеалистическая мыслишка. Я усмехаюсь ей и начинаю спускаться. Пора от поэзии ближе к земле. Спуск не менее труден, ветки обдирают лицо, руки горят от тысяч уколов. Земля далеко. Иногда нога оступается, и тогда жаркой волной пробегает озноб страха. Чуть-чуть бы — и... Совершенно обессилевший, сваливаюсь в моховые подушки.

Из болота я вышел на склон того увала, который загораживал северо-восток. Здесь рос сосняк вперемежку с елями и березами. Обычно такой лес встречается крайне редко. Сосна и ель не уживаются вместе. Сосна любит почву сухую, песчаную, подзол и камни, ель гнездится где посырее. Но, очевидно, ветер-сеятель заносил сюда много семян из елового болота, и многие елочки все-таки принялись под сенью широких сосен и столетних берез. У выросших елей образовывались острова молодняка. Как цыплята возле наседки, хороводились елушки вокруг широкой матушки-ели. Здесь было суше, чем в кедровнике. Хвоя мягко впитывала дождь, лесная осока и папоротник-щитовник не держали его. Я бесшумно продвигался по мягкой подстилке. Время от вре-

мени нагибался, чтоб взять липучий свеженький масленок или особенно красивый подосиновик. Грибки были один к одному.

Вдруг возле очередной островины я увидел совсем другие грибы — красноватые с прозеленью, будто кто-то бросил в хвою десяток медных самородков-хризолитов. Рыжики! Боровые!

Я срезал их с особенным чувством, похожим на благоговение. Крепкие кругляшки, веснушчато-рябые сверху, рыжевато-красные с испода, они сладко пахли дождем и осенью. Корзины у меня не было. Она осталась в погребушке. А я и без того пожадничал, набрал полные руки маслят. Куда же девать такое добро? Сложить в фуражку — будет мокнуть голова. Не раздумывая долго, я поступил так, как делал это в детские годы. Быстро снял брезент, рубашку и майку. Ежась под дождевым крапом, завязал у майки ворот и рукава. И оделся еще поспешнее. Теперь можно набрать рыжиков, как говорят дети, «дополна».

На четвереньках обыскал я еловую островушку, нашел еще парочку. Даже в таком заповедном лесу рыжики попадались не густо. Дорогие грибы знали себе цену.

Уже за полдень. Но солнце не показывается, дождь не утихает. Сеется, сеется водяная пыль — коробом становится потемнелый от влаги брезент.

Я выхожу на вырубку. Иван Емельяныч согбенно бродит меж сосенок, тюкает, тяпает, слышно, как тяпка бренчит о камень.

Заслышав шаги, он оборачивается:

— Набродился...

— Вроде бы... Думаю, домой...

— Айда. Пойдем. Спина не моя...

Дорогой рассказываю о порубке в кедровнике. Старик хмыкает:

— Недавно ссечены?

— Не позже недели.

— Ну, это он. Ах, стерва...

— Кто он?

— Да Сашка, сын Павла Васильича. В ту субботу приезжал с товарищем каким-то. По мешку орехов наколотили. Когти у них были, чтоб на лесину залезать, простые когти с шипами, не монтерские. Один коготь-то у них обломился напрочь, дак они вон чо...

Ах, стервецы... Кому же больше. То-то он рано убрался,— Иван Емельяныч качал головой.

— Может быть, другой кто-нибудь? — попробовал я усомниться.

— Не... какое... Сашка тут кажную палестину знает. А жаден он, весь в мать. И не робит, слышно, нигде. Куда поступит — месяцу не продержится: то ему от дому далеко, работа не по ндраву, еще чего. Вот и болтается, как дерьмо в пролубе. Летом у отца живет... Ну погоди, приедет в другой раз... Надо бы по указу его, гниду проклятую. Да ведь не пойман — не вор...

— Ну а лесник чего?

— Павел Васильич-то? Он, может, и знать не знает... Сашка ему докладываться не станет. Сам-то он в лес когда-когда выберется. Да и была им нужда об двух лесинах горевать. На дрова свезут.

— Почему же вы молчите?

— А потому, что раньше-то еще хуже было... Лесник, который до Павла Васильича, Васька Родионов, вовсе вор был. Он и лес рубил, и сеном торговал. У него за поллитру да за красную бумажку чего хошь купить можно было. Пьянчуга был несусветная. Сняли его, под суд отдали. Ну, Павел Васильич не вор ведь. Лес он не рубит, не пьет, за порядком сколь может наблюдает. Домашность его заела... Ефросинья. А ведь он бабу свою любит как! Только что на руках не носит. Весу в ней пудов шесть. Живет справно! А кто не хочет лучше жить?

Ну, пойду я в лесничество,— продолжал он, словно про себя,— обскажу все, а сюда и сунут кого-нинабудь вроде Васьки-пьяницы. Это как? Не больно кто на лесниковы харчи обзарился. Ты вот пожил, походил, воздухами нашими подышал, а поди-ко, домой ладишься?

Он взглянул на меня так пытливо, насмешливо, что краска какого-то детского стыда тронула мои щеки.

Ведь действительно, рассеянно слушая его голос, я больше думал о промокших коленях и старался припомнить, во сколько уходит в город последняя электричка.

Погода, видимо, не собиралась улучшиться. Хотя ветер стих, дождь по-прежнему тихо шуршал в листве берез и осин, носки сапог побелели от воды, на козырьке фуражки одна за другой рождались капли. Мне казалось, что деревья в дождевом тумане покорно ждут

еще худшей доли. Иными они были вчера, овеянные теплой лаской ветра, лепечущие что-то безмятежному небу...

После сырости и холода комнатушка Ивана Емельяныча представлялась райским жильем. В ней было сухое тепло. Мы разложили на лежанке огрубелые брезенты.

Только сейчас я по-настоящему понял и оценил все достоинства громадной русской печи. Без нее в лесу не проживешь. Тут прогреешься от простуды, высушишь одежду и сладко выспишься, если есть возможность поладить с тараканами. Наконец, ничто так не располагает к думам, как огонь, красно льющийся из-под свода, и широкая нагретая лежанка.

Мы сели обедать горячей картошкой с молоком, огурцами и зеленым луком, вымытым дождем. Я очистил огромную молодую картофелину, разломил, посыпал солью, готовился, обжигаясь, приняться за еду.

Вдруг дверь без стука быстро отворилась. В комнату зашел человек среднего роста, неприметной наружности, в таком же сером неприметном плащике, мокром насквозь.

— Здрасте,— коротко бросил он, как-то по-особенному цепко оглядывая меня.

Иван Емельяныч недоуменно жевал, борода его шевелилась вверх и вниз.

— Я из лесничества. Документы ваши попрошу,— так же настороженно и, как мне показалось, опасливо проговорил гость и кашлянул.

Дверь отворилась снова, через порог шагнул милиционер с погонами старшины, за окном промелькнула еще одна синяя шинель.

Это было так неожиданно, что в первые минуты я потерялся, не зная что сказать, только хлопал глазами.

Вероятно, потому, приняв недоумение за растерянность пойманного преступника, милиционер без предисловий вмешался баском:

— Ну, чего, чего? Документы... Сказано вам, гражданин.

Я молча полез в карман, подал охотничий билет. Штатский глянул в него одним глазом, словно в ружейное дуло.

— Его вы леснику предъявляли?

— Предъявлял... Но по какому праву...

— Еще какой-нибудь документ у вас есть? — не дослушал милиционер.

Я достал членский билет Союза писателей. В нем же, сложенная вчетверо, лежала путевка, по которой горком партии направлял меня для проверки наглядной агитации на завод транспортного машиностроения.

Гладкий красненький билет ССП и особенно бумажка возымели действие.

— Пишете, значит? — улыбнулся штатский. И тут я заметил, что он еще зелено молод, недавно бриться начал, что глаза его светло-карие с детской искринкой, а волосы на висках из-под мокрой кепки светятся совсем по-мальчишечьи.

Лицо здоровенного старшины было жестче, но и в нем я увидел простую душу, проглядывающую кое-где сквозь маску служебной суровости. Мне подумалось, что дома этот старшина ходит по комнатам в своих окантованных галифе, заправленных в шерстяные носки, в свободное от дежурства время любит поспать и неплохо нянчит ребятишек.

— Садитеся,— приглашал Иван Емельяныч, по-видимому едва-едва начиная понимать, в чем дело.

— Да спасибо. Мы уж пойдем. Извините, конечно,— улыбнулся кареглазый.— Ведь как получилось. Пригнал утром лесник. Говорит. Так и так, неизвестный пришел, третий день живет. Билет, мол, в порядке. А все чего-то ходит, высматривает, пишет, фотографирует тоже. Ружье есть, а не охотится. Подозрительный, мол. Ну, знаете, время какое? Пауэрсы разные. Проверить надо. Мы вас немедленно искать. Пришли сюда — нету. Мы на вырубку, в лес... Нашли. Видел, как вы косача сбили, на ель лазали, рыжики в бору брали. Патрончики-то вот, возьмите! — Он достал две стреляные папковые гильзы, поставил их на стол.— Ну, извините, конечно. Нам пора... До свиданья.

Они разом шагнули к двери.

— А порубку в кедровнике вы видели? — спросил я.

— Какую порубку? — обернулся молодой.

— Там, в болоте, два кедра из-за шишек свалены...

— Да что вы? Нет, не замечали...

И он вышел следом за старшиной.

— Вот дак Павел Васильич — каку штуку отмочил,— сердито пробормотал старик, усаживаясь за

стол.— Да нешто не видать человека по обличью... Это сам он с перепугу, не иначе...

Мне было отчасти смешно, отчасти неприятно, как всякому человеку, незаслуженно заподозренному.

...Молча принялся я за остывшую картошку, запивая ее холодным молоком.

Дождь за окном перемежался, то стихал, то густо осыпал стекло. Кланялись ветру мокрые высокие коноплины в огороде.

— Разнесет ненастье-то. Холод будет,— сказал Иван Емельяныч.— Угли в загнете шают. Это уж к холоду... В бобы не ворожи... Да, отошло наше красное летичко, истаяло.

А после обеда я стал укладывать котомку. Первым долгом установил корзину. Доверху заполнили ее сыроватые холодные грузди и рыжики. Они были уложены плотно, шляпка в шляпку, грибок к грибку. Бережно завернул в газеты тетерева, положил хвостом вверх. Его надо было сохранить целым, до единого перышка. Неожиданно под руки попала банка с ящерицей. Батюшки! На дне ее сидела уже не одна пузатая ящерка, а целое семейство гибких коричневых ящерят, похожих друг на друга как две капли воды.

Но вот сборы закончены. Ружье стоит у порога. Пора в обратный путь.

— Садись, посиди на дорогу,— напутствует Иван Емельяныч.

Послушно сажусь на лавку под окно, последний раз оглядываю закопченный и облупленный известковый потолок, печь и рыжего прусака, резво бегущего по ней в свое запечное царство.

— Пойду.

— С богом!

Иван Емельяныч провожает меня за порог и долго вприщур смотрит вслед. Оборачиваюсь не один раз, перед тем как свернуть с луговины,— все стоит. Как быстро привык я к этому человеку. Деньги за жилье Иван Емельяныч не взял наотрез. Обиделся даже. Я ухожу, и чувства мои как у человека, которого наделили чем-то дорогим, теплым и задушевным, что останется на долгие годы.

Вот скрылась луговина, снова я один в промокшем лесу, под мелким дождичком. Я иду быстро. Сейчас уж не тянет глазеть по сторонам, любоваться каждой

встречной елушкой. Я шагаю по мелким лужам, по сырым желтым листьям, ружье висит на плече. Одна мысль занимает меня: успею ли до потемок выбраться на трассу?

А через семь часов я уже лежал на теплом диване бешено летящей ночной электрички. Пустой полутемный вагон покачивало, гулко гудели колеса. Какая-то девушка в клетчатом платке, телогрейке и лыжных брюках, заправленных в резиновые сапоги, пластом спала на дальней скамье. Изредка, перед разъездами, в дверь просовывалась голова проводницы и, проворчав что-то, исчезала.

На поворотах потряхивало. Плотней прижимало к спинке дивана. Я приподнимался, заглядывал в окно, видел две линии света от фар мчащейся электрички. Я не мог уснуть, вышел в гулкий тамбур, откатил дверь. Холодом, сыростью ударило в лицо. Бежал за порогом черный лес. Поля разворачивались, одетые мраком.

Далеко-далеко, на небосклоне, светилась слабая туманность. Там был город, была моя работа, близкие люди. Все это стало бесконечно дорогим после трех лесных дней, коротких, как миг, долгих в памяти, как сама жизнь.

Поезд мчал сквозь мрак и ночь, а в холодных спящих лесах под темным небом уже кралась на волчьих лапах запоздалая осень.

1961 г.

Балчуг

Я проснулся внезапно, испуганно. Так бывает в незнакомом месте. Сбросил отяжелелый брезент — холодом, запахом мокрой поляны окатило меня. Едва брезжило. Рассвет слезно растекался еще где-то за лесами, а здесь, на поляне, стояла редкая фиолетовая сутемь, и глазам было непривычно, будто я потерял бо́льшую долю зрения.

В лицо сыпался дождик. Он моросил как-то уверенно, безотрадно, липко засевал лицо, и я потянул брезент на плечи. «Вот еще! — сказал я себе.— Этого только и не хватало... Дождь...» И хотя я понимал, что это весенний дождик, что под ним благодатно отходит земля, растворяется последний снег, лезет жадная молодая травка, мне стало скучно и муторно. Я чувствовал, как тело дрогло, боролось с сыростью. Ломило суставы, побаливал зуб — сказалась ночь, проведенная на земле и дожде у потухшего костра. Представилось мне сухое тепло городской квартиры, кухня, где я любил пить чай раным-рано, когда за окном нет огней и улицы пусты. Зачем я здесь? В лесу. Один. Глупость — эта поездка, одно мальчишество, необдуманность, а тут еще погоды нет, и дождь, может, и снег будет. Припомнились снегопады, что заставали меня налегке в лесу, в горах. Вспомнил, как почти замерзающий выбирался однажды к станции, ел сырую картошку, сидя под елью, едва заставлял себя вставать и идти. Многое приходит на ум, когда ты в лесу и далеко от селений на таком вот глухом, мокром рассвете.

— Переменная облачность... Переменная...— бормо-

тал я, все не решаясь выбраться из-под брезента, выглядывал из-под него, будто курица из-под насеста.

Светлело. Стволы берез на краю поляны выступили. Обозначились дальние сосны, и прогалы меж ними стали бледно-сиреневыми. Пролетел последний запоздалый вальдшнеп. Конец ночи. И тотчас запел в елях дрозд-белобровик. Откликнулся другой и третий. И вот торжественное «ю-ю-ю-ю-и...» послышалось со всех сторон, согласно сливаясь с холодной и хмурой ранью.

Прозвенела, рассыпала серебро зарянка. Первый зяблик разбуженно кричал свое «пинь, пфинь» — и начинал петь, да все сбивался — знать, горлышко не прочистил. Заурчал, забормотал где-то токующий тетерев. Приятен был его бодрый голос. Тетерев бормотал по-апрельски задорно, торжествующе. Вдруг смолк. И тогда устоялась недолгая тишина, замолчали дрозды, как от пролетевшего ястреба, лишь стукали, слезили капли — лес плакал, везде слышались по нему легкие тихие шаги.

Я ночевал на поляне — ждал к рассвету глухариного тока. Редкими стали глухари, уходят от человечьих селений, и вот даже здесь — за двадцать километров от ближней станции — не слышно никого. Здесь было давнее богатое токовище. Я знал его давно, берег и думал: оно останется неведомым ни охотникам, ни браконьерам. Как странно все-таки и горько было... Никого. Тот же лес, поляны. И никого... Я собрал рюкзак, обошел место вокруг, все прислушивался — не донесется ли откуда-нибудь пощелкивание токующей птицы или ее хлопающий громкий взлет. Но ничего не услышал, только дождь шуршал, падали капли да пели ранние птички.

Наверное, пора сказать, что я не охотник, а зоолог. Точнее — орнитолог. Моя диссертация и книги по глухарям. Я люблю глухарей. Нет для меня интереснее этой древней загадочной и гордой птицы. Да если и вы хоть раз видели глухарей, вам навсегда запомнятся они, их дикий вид, стремительный, скользящий полет, когда несутся они, первобытно вытянув шеи, высоко над лесом, точно удивительные лесные гуси, запомнится их оперение, соединившее черную седину ельников с охрой сосновых боров. А кто слышал их песню — точенье, щелканье и шепот — сам голос леса, еще не понятый никем? Со станции Илим я добирался сюда полдня, шлепал залитыми водой проселками, скользкими лежневками, необтаявшими тропами. Такая неудача! Не повидать ни

одного глухаря. Ведь я собирался жить здесь дня три, слушать, фотографировать, писать лесные голоса на маленький магнитофон, с трудом добытый на этот случай. «Может, из-за погоды не токуют».— Я надел рюкзак, подвигал плечами, прилаживая ремни поудобнее, стоял в раздумье.

Далеко впереди закричал филин. «У-у, у-у, у-у»,— всполошно повторял он с кукушечьей весенней настойчивостью и совсем не страшно (только в романах о привидениях, в детских сказках ухают и хохочут филины в любое время года). Я подумал: «Вот весна, и филин поет... Дикая песня, да что поделаешь — таков голосок». Все совы не музыкальные существа. Жутко, будто человек, схваченный за горло, стонет весной серая неясыть, брошенным котенком мяукает ушастая сова, лает в сумерках маленький сыч — и так до начала лета, а там замолкнут совиные крики. Жди новой весны. Мало сов теперь, а филина и вовсе не сыщешь, знать, потому с особым удовольствием, понятным, наверное, лишь орнитологу, слушал я глухое «у-у», пока прикидывал, как быть. Искать ли другой ток? Возвращаться ли на станцию не солоно хлебавши... За двадцать-то верст?! А мой «Репортер», кассеты с незаснятой пленкой, зимние планы — в лес! в лес! — бродить, слушать, снимать на току... Мечты, как известно, всегда лучше действительности.

Был, правда, еще один ток далеко даже отсюда, в Бараньих островах. Путь туда представлялся смутно и трудно — я бывал там еще мальчиком, когда ходил на охоту вместе с отцом. Помнилось, обойдешь лесом долгое Щучье озеро, по гнилым зыбким жердям — есть ли они теперь в водополье,— переползешь Исток, реку с черной торфяной водой, и начнется лесистое Зюзево болото, где лежат возвышенные мещеры и релки, по-местному острова и мыса: Бараньи, Глухариные, Малиновые. Два десятка лет назад там были сплошные чащи, дремлющая глушь, ветровалы и гари. Были метельчатые травы, кочки, кукушник, полосы и площади, заросшие высоким, в рост, иван-чаем. Где-то в середине болота лежало неведомое Пронино озеро, на котором даже отец не бывал, а я с восторгом и страхом представлял это озеро, думал часто, кто такой тот Проня, чьим именем оно названо.

Мы пробирались узкими лосиными тропами, часто они пропадали, и некуда было идти — кругом один бу-

реломный лес: то перестоялый и сквозивший с перекрестьями склонившихся деревьев, то темный и жуткий с завалами зеленого колодника.

Помнилось, как опасно тонули ноги во мхах, как в ветреные дни скрипели деревья, как робко билось мое сердце, стеснялось дыхание, когда я торопился за отцом, боясь отстать.

Мы добрались до Малиновых мысов лишь на второй день пути и долго отдыхали, варили еду, переобувались, налаживали ружья. Нетоптаные боры стояли здесь на отлогой возвышенности, кругом в шиповниках, в малине, в глухой живописи еловых венцов. В этих еловых венцах, таких темных, свежих и разных, было нечто донельзя лесное и тоже свежее, дикое, молчаливо приятное и загадочное. Березы на них серо и коричнево сквозили, ольшаник дымчато опускался в низины. И отовсюду из леса неслись голоса чечеток, пиньканье синиц и скрип клестов. Это был отдельный и чистый мир, простой, непонятный, тянущий к себе и отгороженный накрепко своей молчаливой углубленностью, безлюдной грустью. Помню большие холодно-зеленые и светлые осины. Они росли отдельными рощами, там, где было сырее, и не знаю почему, но я хранил в памяти эти безлистые высокие осины с редкими зелеными прямыми сучьями, и даже влажное небо над ними, и тот тайный вопрос — зачем они выросли тут, чего ждут и кому их красота, так несказанно просто созданная здесь, вдали от всех?..

Чтобы не стоять на месте, я пошел дальше, а потом решил, что так и надо.

«Разгуляется»,— поглядывал я на небо. Весной часто так бывает: хмурится, куксится с утра, снежок даже летит, к полудню же глядь — заголубело, и солнце выглянуло, и все начало теплеть, париться, улыбаться.

Этим я утешался, чтоб ноги не повернули назад.

По темному влажному слою листвы везде синели нахохленные медуницы. Ворсистые шейки их серебрились, голубые соцветия смежили венчики. Один брусничник блестел мокро и бодро, да зелено светились пробившиеся сквозь лист острые новые травинки.

«Жизнь,— словно не думал, а, скорее, просто ощущал я. Смотрел и видел. Слышал и понимал.— Новая весна. Новая трава. Свист рябчика. Воркованье лесного вяхиря. Стон. Желание. Надежда и упрек. Голос весны. Это оттуда — из еловой глубины. Из той нерукотворной вечно-

сти елей и берез, света и тишины. Жизнь... Слезы с веток. Шорох дождя и вздохи ветра. Синева насупленной медуницы, как воскресение из небытия, как детский задумчивый глаз. Сколько их было — зим и весен? Ранних весен, когда мокрый свет, мокрый мир и словно бы одно ожидание лучшего, а все-таки и дальше жизнь, через все мертвое и прошлое. Сгнивший лист... Раскрывающийся цветок...»

Я шел без дороги, инстинктом выбирал направление, поглядывал на компас, и только далеко-далеко копилась тревога. Было пасмурно. Не попадалось надежных примет. Глаз искал эти приметы: пень, ветку, поваленное дерево, но они как-то терялись, не удерживаясь памятью надолго, и я обрадовался, когда наконец попала тропа. Она была нехожена с осени. Тетеревиный зимний помет кучками лежал на ней. Я спустился тропой под горушку. Шумел, растекался здесь снеговой ручей, обегал темные бревна — остатки моста. За ручьем тропа канула в ельник. Я едва угадывал ее ногой, едва различал, наверное, потому, что ели завесили небо воздетыми ручищами. Молодые елки стояли ярусной стенкой. Ельник был нерубленый, вековой. В таком лесу дивишься толщине елей, уродливым лапищам корней, обилию зеленого: мхов, веток, кочек, хвои — все было разнообразно по тону, но соединялось одним угрюмым колоритом. Елочки, елки, ели, елищи... Редко пробьется сквозь них береза, и ее белое радостное тело грустно синеет, как могильная кость. Мхи, неподвижность, предвечный покой... Сказывается здесь особенность освещения или свойство зеленого цвета — в таком лесу всегда таится нечто жуткое, ждущее своего часа. Идешь, перешагиваешь через птичьи лапы корней, и совсем уж не сказка изба на курьих ногах, если б встала впереди. Даже мнится: вот свистнет, ухнет нечто, и зеленые эти лешие сорвутся — проснутся, обретут нелепую сказочную прыть; свистнет в другой раз — все встанет, опять навеки задремлет, уйдет в свои нелегкие тайны...

Звуки шагов отдавались в глубине, будто и там шел человек.

Большая птица странно полетела впереди. Как в немом кино, я видел взмахи крыльев и не слышал звука. Не знаю, почему я не удержался. Навскидку, уверенно чувствуя — «попаду», ударил дублетом. Звоном заложило уши. Птица оборвалась под ель. Еще не

разглядев как следует, я с горечью понял, что это филин. Он сел столбиком и заскакал прочь. Показалось — прыгает еловый пенек. Бегом я догнал лесное диво. Оно обернулось круглой головой с оранжевыми, вытаращенными, полыхающими в сумраке глазами. Филин был огромнейший, старый, рыже-пепельный. Никогда не видал я таких чуд. Одно — эта птица, скучно сидящая на загаженной жерди зоопарка, совсем непохожее — тут, в сыром полумраке, в нелегком еловом молчании. Ельник словно склонился над ним, своим порождением, и защищал, ограждал, а филин, сливаясь с еловыми стволами, казался чертовщиной, каким-то оборотнем. Вон как скакал — пень пеньком...

Метровый и ушастый, он не двигался. Свечи-глаза горели не мигая. Я стряхнул странное оцепенение, осторожно пошел вокруг птицы. И магнитно стала поворачиваться за мной дремучая ушастая голова. Шагнул ближе, филин встопорщился, заклацал клювом и смело потянулся ко мне. Еще шаг — он вдруг кувыркнулся на спину, выставив, отводя к пушистому брюху, раскрытые напружиненные когти. Вся моя решимость взять птицу сразу отлетела. Вцепится — не оторвешь. Я слыхал, что филин выходит победителем даже из схватки с беркутом... Я отступил. Ванькой-встанькой вскочил филин. Снова смотрели друг на друга. Лицо его — у сов ведь именно «лицо» — беспрестанно менялось: все от дикой угрозы до дьявольской усмешки перебегало там. Волосатые веки жмурились с презрением.

«Ух ты!» — замахнулся я прикладом. Но опустил. В глазах филина стыла кошачья тоска — иногда так смотрят побитые кошки, мудро и жалко.

«У, леший, надо же было подвернуться! И сам хорош! Чему обрадовался? Хлоп-хлоп...» Уже трижды пожалел — выстрелил необдуманно. Как быть? Живым его не возьмешь, и зачем он мне, что с ним делать? Убить — рука не поднимается, оставить так — ни за что пропадет редкая, по-своему красивая лесная уродина. Ах ты незадача... И надо же было... Надо же...

«Придется застрелить. Хоть на чучело...— наконец решил я, отошел шагов на десять и, спотыкаясь, пятился еще, соображая: — Испорчу зарядом с такого близкого расстояния». Хватит. Стоп. Ружье в плече. Филин каменно сидит под елью, смотрит. Руки опустились. «Рас-

стреливать собрался...» Стоял, думал... Снова поднял ружье.

— Не стреляй! — звонко и резко раздалось за спиной.

Я вздрогнул и обернулся. На тропе близко стоял человек с одноствольным ружьем в опущенной руке. Он был в зеленой телогрейке, брезентовой белесой накидке поверх нее и форменной фуражке лесника. Что-то непонятное было в его фигуре, непонятное и знакомое. «Да он же горбун? Горбатый!» — тотчас понял я, яснее осмыслив и разглядев квадратные, но какие-то немощно широкие плечи незнакомца, из которых выступала почти без шеи большая узкая голова с острым подбородком.

— Стреляли? — спросил он, не двигаясь с места.

Я кивнул.

— Филина?

— Случайно...

— Э-э-х! — морщась, с досадой сказал он.— Разве можно так! Ну вот зачем? Зачем? Я этого филина знаю. Старик... Всегда тут живет...

— Он же вреден! — нелепо оправдывался я и понимал — говорю чушь. «Филина знает? Что за чертовщина!»

— А-а... Что вы оправдываетесь? Редкость это! Редкость!! Пощадить надо было. И почему с ружьем?! Охота запрещена...

— Как же здесь без ружья?

— Ну-ка документы! Охотничий, паспорт! — Он подошел вплотную, и я понял: странный человек не отступится.

Документы он листал внимательно. Потом хмурое лицо его несколько отмякло.

— Куда идете-то? — заикаясь слегка, спросил он.

Я объяснил.

— До Бараньих? Не дойти... Исток играет, разлился. Вся пойма в воде. Кусты с верхушками скрыло. Мост снесло. Водополье нынче. Везде вода. Слышите, ложок-то шумит... Вода,— уже тихо, певуче закончил он. Худое длинное лицо лесника успокоилось, пропали гневные морщинки. Голубовато-светлые страдальческие глаза посмотрели в упор, а потом словно бы сквозь меня. Эти странные, как бы исплаканные глаза придавали дубленному вешним солнцем лицу оттенок породисто-

сти, и сам лесник вдруг показался мне похожим на англосакса, на латыша. Почему-то я представил его не в телогрейке и брезенте, не в этой потертой с отгорелым бархатом околыша фуражке, а в шляпе, светлом костюме, джентльменском галстуке. У меня есть такая привычка мысленно обряжать встречных в подходящий к лицу костюм.

— Вот что я вам предложу,— заговорил он после краткого раздумья.— Пойдемте-ка сейчас ко мне. Недалеко, четыре километра не будет. Я здешний лесник на Щучьем. Погостите у меня. Переночуете... А завтра я вас через озеро перевезу. Там до Бараньих рукой подать. Да и ближе за озером ток есть. Полчаса ходьбы... Покажу... Вместе сходим...

Я поблагодарил, не зная, как быть.

— А-а... Ведь не познакомились. Леонид,— подал он костлявую, но крепкую и даже словно цепкую руку.— Живу здесь, на Балчуге, четвертый год.

— Неужели на выстрел? — подивился я его внезапному появлению.

— Нет,— усмехнулся он и даже порозовел слегка.— Поблизости был... Браконьеров жду — вторую ночь. Тут глухарку убили. Перья нашел. Выстрел слыхал.— Помолчал, поглядел под ноги.— Сегодня не токовали глухари-то. Погода дурит. А дождь они не любят. Вообще, приметил я, глухарь загодя погоду чует, в крепи уходит. А как дело к теплу, токует, хоть снег вались. Браконьеры это, конечно, знают. Другие сутки никого нет! А должны бы... Санька есть тут, мужик из Сорокиной. Санька. И еще есть один с Илима. Со станции... Выслеживаю их с поличным. Вас-то еще с вечера заметил. Ночевал чуть не рядом. Я без огня... Думал — браконьерить собрались... Ну что? Пошли на кордон-то?

— Да вот с ним как быть?

Филин, не шевелясь, сидел под елью.

Лесник что-то прикинул, пригляделся к филину, потом прислонил ружье к ближней ели, стал неловко стягивать намоклую накидку.

— Что вы хотите? — спросил я, все более удивляясь этому человеку.

— Возьму,— коротко ответил он.— Кажется, его боком задело. Несильно... Крыло...

— Берегитесь!

Лесник не ответил, складывал брезент вдвое.

— Ну-ка, отвлеките его, заходите с той стороны! — скомандовал он и стал подкрадываться.

Филин шипел, цокал, надувался и, взмахивая здоровым крылом, угрожающе подавался вперед.

— Оп! — лесник накрыл рассерженного хищника. Из-под накидки раздалось шипение, треск материи, яростная возня.

— Есть! За лапы поймал! Держу... Надо связать... Ну-ка, стащите с меня ремень. Скорее! — говорил лесник, стоя на коленях. Фуражка его торчала набок.

Кое-как мы скрутили ужасные филиновы когти и лапы в пушистых полосатых штанах, хищник умудрился рассадить леснику руку, а меня больно щипнул клювом через брезент.

— Все! Берем... Филя-простофиля... Айда-ка... Пойдем-ка теперь с нами,— бормотал лесник, подымая птицу, закутанную в брезент, как младенца.

Филин демоном выглядывал из ворота накидки, не переставая цокал.

— Пригодится — ворон отстреливать. Ворон по озеру развелось... Такая хитрая тварь... С ружьем за километр узнает. Теперь будет им загадка... Если филина или сову, скажем, на открытом месте посадить днем, на них всякая птица летит, как магнитом тянет. Орут, стрекочут, вьются... А вороны-сороки особенно... Не любят филинов... Одинокие они... Мудрецы лесные...

Он взял сверток с филином под мышку, поднял ружье, мы пошли сначала вперед по тропе, а потом свернули прямиком. Лесник знал какую-то свою тропинку, я шагал следом и глядел в его мерно качающуюся спину. Спина была крепкой и мужественной, если б не горб, несуразно выпиравший ближе к правой лопатке. Портки болтались на тощих, долгих ногах лесника. Сапоги хлопали в подколенки. Шел он споро. Временами оборачивался всем корпусом, как оборачиваются душевнобольные, смотрел словно бы растерянно, точно что-то вспомнил или, наоборот, забыл, снова разухабисто шагал. В его движении улавливалось сперва непонятное, не схожее с обыкновенной походкой. Он шел с частыми мгновенными остановками. «Так, наверное, ходят звери»,— подумал я. Вот приостановился у цветка медуницы, потупившегося у тропы, мгновение вглядывался в сморщенный лик пенька, слушал резкое «ки-ки-ки» пролетного сокола, тронул на березе твердое

бархатное копыто гриба-трутовика. «Ночная бабочка по цветам» — пришло нелепое сравнение.

Лес впереди редел, светлел. Началась кочковатая согра — невеселое, хотя и живописное разнолесье. Березы были тут высоки и прогонисты, ели чахлые, взлохмаченные с посохшими снизу сучьями. Одни черные ольхи чувствовали себя хорошо, росли кучно и дружно вперемежку со светлыми осинами. Тропа петляла в сухой траве, по кочкам, а с кочек прыгали лягушки и кто-то еще.

Талое рыжее болото открылось вскоре. Вдали забелело озеро, соединенное с лесом долгим еловым мысом. Лес был и за озером, спокойные синие волны уходили вдаль, постепенно голубея, а там и совсем сливаясь с мутным темно-белым небом.

Мы были на краю кондовой уральской тайги, которая спускается отлогими хребтами в болотистое мокрое Зауралье и там переходит в мансийский урман — зеленую ровень лесов до каменных осыпей Таймыра.

Долго шли по зыбким оттаявшим кочкам. Радужно посвечивал меж ними вонючий засол. Утки с треском срывались впереди. Белохвостые кулички изящно прядали ввысь, уныло свистели «тлюи, тлюи..»

— Вон Балчуг,— показал мой вожатый на лесистую островину, которую я принимал за мыс.— Раньше это остров был,— продолжал лесник, не оборачиваясь.— Протока была. Теперь затянуло ее травой. Лес вырос. Заболачивается озеро. Место и сейчас зыбкое. Балчуг-то по-башкирски — болото, топь, жидкая глина. Летом не вдруг пройдешь. Одни лоси прямиком ко мне заглядывают. Лось — вездеход. Ему любое болото, кочки, молодой густяк пройти пустое. Вот вздумайте вы побежать в чаще — ведь сразу на сук напоретесь, а лось хоть бы что... Люблю лосей. Красавец зверь, мощный, умный. Еще с мамонтами бок о бок жил, с зубрами. Лосей у меня здесь до десятка ходит... Вот утром, бывает, выйду рано — плывут они через озеро, только головы торчат. Один раз, под осень, медведь переправлялся... Не знаю, какая нужда его заставила,— ловко плывет, как собака...

В мелколесье завиднелась серая с зеленью крыша из колотой драни. Изба показалась, темная, кособокая, срубленная неумело и давно. Ярким был лишь наличник окна, расписанный белым и желтым, он глядел весело,

будто смеялся. К избе приткнулся горелый сарай со сквозившей крышей. Стог прошлогоднего сена и огород из долгих сосновых жердей дополняли лесниково жилье. Гнедая лошаденка бродила за изгородью, позванивала железным балабоном. Его звон отчужденно раздавался в тишине, напоминал колокол.

— А вон... встречают,— сказал лесник.

Пушистая кошка бежала по тропе, прямо держа полосатый хвост, беззвучно мяукала.

— Машка! — усмехнулся лесник, останавливаясь. А она уже терлась и горбила спину, путалась в ногах и заглядывала на хозяина. «Ты пришел! Я рада! Ты умный, сильный, огромный... Давай-ка поедим!» — говорил кошкин взгляд. К филину она отнеслась настороженно и, поднявшись на дыбки, с недоумением принюхалась и так же недоуменно опустилась, поглядела вверх.

— Ишь, горбуха! Сошлись мы с тобой, два горбатых...— Он вдруг посмотрел на меня своими синими глазами, и я уловил в них непонятное... А когда понял, смутился — это был обычный вопрос больного здоровому: «Как-то ты на меня смотришь?»

Я достал сигареты, протянул леснику.

— Не курю. Не люблю,— суховато отказался он и, словно устыдясь своей сухости, оправдался:

— Бросил, как сюда приехал. Воздух здесь. Цветы. Озеро пахнет. А табак все заглушает. Раньше курил... Много. Ну, проходите в хоромы-то! Я ведь один живу...

— Совсем? — вырвалось у меня...

— Нет, видите, кошка есть. Гнедко...

— Кто же вам готовит, стирает?

— А-а...— он улыбнулся болезненно и посмотрел под ноги.

Я обругал себя. Всегда так: ляп сплеча — потом стыдно. Ведь это, наверное, самое больное... Я заторопился, стукнулся в темных сенях головой, нашарил дверь.

Изба открылась просторно и светло. Но главное, что удивило меня еще в сенках,— был запах краски. Пахло здесь не олифой, не малярным запахом эмали — пахло чистым льняным маслом, тюбиками белил, сиеной и кадмием вместе со смоляным душком скипидара. Такой воздух всегда бывает в мастерских живописцев, в комнатах художников. С порога я увидел, что кухня почти не

имеет стен. Она была до блеска вымыта, выскоблена, выбелена в синеву и вся завешана этюдами — большими, малыми, совсем законченными, просохшими и слегка пожухлыми и только что написанными, на которых еще лаково блестела сырая окраска. Впечатление было такое, будто я неожиданно попал на выставку. Любовно, со вкусом были выструганы некрашеные сосновые рамки. Этюды подобраны по величине, размещены в каком-то не сразу угадываемом порядке.

Я оглядел кухню. Грубый мольберт торчал у окна. Два измазанных этюдника, побольше и поменьше, стояли в углу вместе с холщовым зонтом, какой носят с собой художники-пейзажисты. Это было все, кроме печи с чугунком на шестке, маленького самовара и крашенной охрой глянцевой лавки, вытесанной, по-видимому, из целого бревна.

А на этюдах привольно плескало утреннее озеро. Сиреневые березняки смеялись в солнечном вешнем тумане. Розовый, синий, индиговый в тенях таял на косогоре снег. Курились проталины. Синели медуницы. Голые осинки гляделись в снеговую воду. Лесной вечер отражался в лужах, гаснул закат, ночной печалью наливались облака.

Я обернулся. В сенях никого не было. Тогда я притворил дверь и сел на край лавки. Было совестно за свои грязные сапоги. Вытер наспех, наследил. Не ждал такой чистоты. Даже представилось, как лесник неловко моет пол, на коленях скоблит его, трет песком, чертыхается, зло выкручивает тряпку. Во всяком мужчине, моющем полы, есть что-то жалкое, холостое.

Я осторожно стянул сапоги, бросил их в сени и, оставшись теперь в шерстяных носках, подошел к этюдам.

Они были написаны широко и свободно. В уверенном мазке, крепкой кладке цвета, вольных контурах был виден настоящий художник, который не боится краски и тем отличается от кустаря-кописта или умельца из клубной студии. Смелость кисти была поразительная. Краска лежала почти скульптурно.

Но чем-то и странны были этюды. Какая-то общая печать лежала на них на всех, и я беспокойно искал причину. Да что же это?! Зеленая заря над голубым озером. А вот красные полосы врезались меж зеленых летних тонов. Кобальтом зарю?.. Красные ветки? Фиоле-

товый снег. Небо, сотканное из зеленых, сиреневых и белых тонов...

Будто кристаллами сложенное небо. Словно бы нарочно спутаны цвета. Манера, что ли? Красное вместо зеленого. Кадмий вместо хрома... А в общем, холодок по скулам, как от новой хорошей музыки. Зачем же это он в лесниках торчит? Бегство от жизни? В наше-то время?!

Особо приглянулся небольшой этюд. Молодая осина зябла на ветру. Рвался с осины последний лист. Хмурилось снеговое небушко, обещало долгую зиму. Как здорово и как просто. Тучи. Ветер. Осина.

Лесник — теперь я стеснялся назвать его так — отворил дверь.

— Устроил! — довольно сказал он, входя.— В конюшню посадил. Палок набью, чтоб не выскочил, и пускай живет. Ох, злой! Прямо леший еловый. Кидается, шипит!

Снял фуражку со стриженой головы. И я наконец разглядел его как следует. Он был бы, видимо, высок, если бы не горбатость и сутулость. Стриженый, без фуражки, он напоминал теперь подростка-беспризорника, недавно вышедшего из больницы, так худо-неказисто было долгое лицо, болезненно бледное, несмотря на загар.

— Любуюсь,— показал я на стены.— Художник, конечно?

— Так, недоучка...

Рукав рубашки у лесника был распластнут. Кровь темно звездилась на выскобленном полу. Он ушел в соседнюю комнату за ситцевую занавеску.

— Проходите! — послышалось оттуда.

Заматывая руку бинтом, он стоял в светлой и тоже очень чистой комнате, с двумя окнами на озеро и одним в огород. И здесь по стенам висели пейзажи. Впрочем, был среди них и портрет. Набросок красками, как будто по памяти. Девушка. Нечто светловолосое, розовое, бездумное, с мелконьким домашним взглядом.

На прогнутых полках в углу разместились книги. Батарейный приемник стоял на тумбочке у железной койки. Стол занимал простенок. У стола, напротив друг другу, стояли кожаные мягкие кресла. Они-то удивили меня особенно, огромные, нелепые, с перетяжками, с потемнелыми медными пуговицами, вдавленными в

обивку. Такие кресла — редкость теперь даже в скупке старой мебели. Как занесло их сюда, в глухомань, поди-ка, с полтонны каждое...

Понимая мою мысль, лесник улыбнулся.

— Наследственные! Здесь до меня лесник жил, Виктор Семеныч. Говорили, браконьер — нет спасенья! Он тут и уток солил бочками, и рыбу в замор под весну возами отправлял, лесом торговал... Как в вотчине, в общем, жил. Кум королю... Потом посадили его. Имущество описали. Кресла, наверное, тоже. Да как их повезешь? И кому они? В добрую квартиру не поставишь, в избу — смешно. Теперь я и пользуюсь. А кресла-то?! Каждая пуговка с двуглавым орлом! Троны... Садитесь, испробуйте. Сейчас чаем побалуемся.

Мотал бинт, а кровь все проступала сквозь марлю.

— А-а, черт! — с досадой буркнул лесник, скрываясь на кухне.

Я сел в широкое приемистое кресло. Легонько и упруго оно обняло меня со всех сторон. Тело славно отдыхало в его прохладных глубинах. Я откинулся на спинку, сидел не шевелясь. В окна видно было раздолье озера, синеву дальних лесов, светлую полоску льда на свинцовой воде. Все было просто, печально, первобытно-свежо, как всегда бывает вдали от жилья, от больших городов, селений. Щучье всегда нравилось мне: настоящее лесное озеро — не слишком большое, чтобы подавлять своей величиной, неприятно-огромной равниной холодной и глубокой воды, и не слишком маленькое, не закрытое лесом, на котором чувствуешь себя стесненным, как в луже. Оно было не широко, но длинно, как северные проточные озера-туманы. Редко над его пасмурными волнами торопились стаи каких-то уток. Шел весенний жоркий пролет, который не останавливает никакая погода.

«Хорошо здесь! — подумалось с некоторой завистью.— Лес! Воздух! Озеро! Живи себе, пиши этюды, рыбачь вволюшку. То ли не жизнь?! Никакого тебе начальства, ни спросов, ни отчетов... Лесничий? Какой лесничий сюда поедет? Стережешь лес — хорошо, и на боку пролежишь — судить некому. Я вот на три дня вырвался, наглядеться не могу, надышаться... А тут каждый день... Погоди, погоди... Каждый-то день лес приглядится? Равнодушному, которому лес — дрова. Может ли надоесть самое близкое, нужное? Ведь не при-

едается хлеб, вода... Без них не проживешь, а без лесу можно. Посидишь тут месяц — волком завоешь. Один. Без друзей, без жены, без привычных каждое утро улиц, газетных киосков, магазинов, лотков с мороженым. Вот то-то. Позавидовал! Все мы сгоряча завидовать горазды».

Слушал песню самовара и шаги на кухне. В горницу тянуло ладанным дымом горящих шишек. По-домашнему мирно тикали ходики, и я потерял ощущение времени. Но вот самовар гневно загудел, и лесник появился с ним, неловко неся, отстраняя лицо от пара и морщась. Ярко начищенный забубенный самоваришко и на столе не мог успокоиться, фыркал, брызгался, распространял по горнице кисловатый угар недотлелого угля. А лесник хлопотал, брякал тарелками, доставал кружки, сахар, заклеклый хлеб, к которому как нельзя лучше подошла бы пословица «если долго разглядывать — не станешь есть». Появилось варенье темного рубинового цвета.

— Малина,— пояснил Леонид.— Грибов хотите? Только они пересолели. Не умею я... Мало соли кладешь — киснут, много — есть нельзя... Капуста, кажется, лучше...

Явились грибы и капуста, а он все суетился, бегал на кухню, возвращался, наконец сел. Обвел ладонью отсвечивающий на концах ежик волос и поглядел с таким русским радушием, что я чуть не отвернулся со странного стыда — давно меня так никто не встречал.

Должно быть, лесник проголодался, пил чай с увлечением, шумно, хрустел сахаром, вздыхал, крякал, отдувался. Высокий лоб и долгий нос его потно лоснились. Он вытирал испарину рукавом и быстро говорил в промежутках между глотками.

— Токов за озером много... В сорок первом квартале... В сорок втором... В тридцать четвертом... Везде глухарь теперь. До двадцати штук поет, по моим подсчетам. Еще молодых скрипунов десятка полтора... Я за глухарями строго слежу, в марте по насту считал... Самый ближний ток за озером, там,— указал кружкой на восток.— Видите, гора повыше других, вон она, шапкой поднимается. Это Медвежья. Глухая гора. В ельниках, в кедровнике, в гарях. Малинники там. Под горой, в распадке — речка... Тоже Медвежья называется... В Исток течет. По речке-то кое-где покосы старые, поля-

ны, прогалины... Раньше был курень. Уголь жгли. Давно. А лес-то какой! И сейчас сосны, ели есть — во! На коне объезжай. Башня башней... Триста, а может, четыреста лет ей — и не сохнет. Вот глухари-то и любят это место. Придешь на ток: там щелкает, там щелкает. Копалухи: ко-о, ко-о. Косачи тут же на покосах токуют!

Он забыл про чай, и размахивая пустой чашкой, блестя глазами, продолжал:

— Я уж их не считаю. Иногда прямо на кордон прилетают. Вон, на березы-то,— показал на окно в огород.— Осенью, ближе к зиме, как поспеет на березах сережка, снежок выпадет, выйдешь рано в сенки, а косачи уж тут, затемно прилетели. И вдали-то по березнику, как углем, начерчено. Вот сколько!

Налил чаю, отхлебнул, поставил чашку.

— Замечаю я: всякий зверь и птица быстро к человеку привыкают, если он их не бьет, не трогает. Понимают... С ружьем или без ружья — это сразу... Я о том, что в лицо, по одежде узнают. Не делаешь птице вреда — она тебе доверяется. На что уж дикари тетерева — знаете сами, вылетит, как шальной, мелькнул и нету, а жил у меня прошлое лето тетеревенок — ручнее курицы. Наберу ему травы-мокрицы, муравьиных яиц — бегает за мной, из горсти клюет, на руке сидит. Гляжу на него, думаю: «Почему это у нас из домашней птицы одни куры в почете?» Вот бы лесную птицу так приучить. Корму ей сколько, куропаткам, глухарям... Мало этим занимаемся. По старинке все: ружье, ружье. Одно ружье. Я уж сам думал такие опыты начать. Косачишки-то у меня здесь, на Балчуге, токуют. Видно, место их тут вековое. Хорошо урчат, курлыкают... Таскают друг друга, как петухи. Кошка вот их пугает. Такая потвора. Ловить, конечно, не ловит, а все подбирается, следит. Любопытство... Лупить жалко. Запираю уж теперь...

— Все-таки как же тут одному? Неужели не одиноко вам? Лес, болота кругом. Летом комары, наверное, заедают. Да и вообще без человека, без живого слова? — Я решил идти напрямик. Лесник, однако, не ответил, пил чай и, похоже, даже медленнее, чем было нужно. Так же медленно отставил пустую кружку. Что-то обдумывал.

— Мишка! Эй, Мишка, Мишка! — вдруг негромко позвал, свистнул он.

Я подумал, что он зовет собаку или кота, а в кухне

застукали коготки, в дверях появился маленький полосатый зверек бурундук. Он подбежал к леснику, прыгнул на колено, мгновенно вскарабкался на плечо и сел, забавно принюхиваясь, двигая шерстистой раздвоенной губкой, блестя выпуклым черным глазом.

— На! — лесник поднес на ладони кедровый орех, и зверек тотчас принял его тонкими лапками, отправил в рот не жуя.— На еще!

Бурундук прятал орехи с проворством фокусника. Щечки у него надулись, как будто он сдерживал смех.

— Больше не дам! — сказал лесник и снова свистнул. Зверек послушно начал спускаться и убежал, а в дверях показалась та сытая кошка, что встретила нас на тропе. Она толкнулась о кресло лбом, потянулась, выпустив когти, и брякнулась на бок. Поймав ногу хозяина, крепко обняла ее.

— Пошла! — притворно гнал он, а кошка лишь крепче жалась к ноге, мерцала глазами.

— Клеопатра! — сказал он и расхохотался, закашлял.— Так и живем. Кошка — мать того бурундучка. Она его выкормила. Я ее с котятами из деревни принес, а котята издохли. И вот как раз этот бурундучок подвернулся. В обходе я был и нашел его под колодой слепого. Подложил ей, думал, съест... Выкормила. Вместе играют. Она его схватит за шиворот и носит. Не убегает он никуда... Зимой только спит все время в подпечье. А вообще-то Машка бурундуков ловит и ест. Вот вам загадка. Хо! Что это?! Никак, выстрел? — Он обеспокоенно заерзал, вылезая из глубины кресла.— Неужели не слышали?

— Нет...

— Стреляли, стрелял кто-то! Ну, вы тут пейте, а я сбегаю... Близко вроде... У Афонина покоса. Кто бы это?

Он проворно убежал на кухню. Шлепнули с печи сапоги. Через минуту брякнула дверь, за крыльцом прочмокала грязь.

«Покрасоваться, что ли, решил?! — подумал я, проводив в окно мелькнувшую фигуру лесника.— Или блажной какой-то?» Все в этом человеке удивляло и настораживало: его необычный вид, странный проникающий взгляд, от которого хотелось отвести глаза, быстро-нервная речь, когда слова бегут, как мысль, с обрывками и недомолвками, и то, как он замолкал, и чувствовалось: все! не отпереть никаким ключом. Этюды...

Почему все-таки он пишет закат зеленым? А лес коричневым с ясной синевой? Убежал... Из-за стола... Не допил чай... Чудак. Право, чудак... Где он, кого сейчас найдет? В такую погоду искать браконьера все равно что иголку в стогу, и, пожалуй, ее найдешь скорее.

Прихлебывая чай, я раздумывал о новом знакомце, оглядывал его жилье. Вдалеке еще раз бухнул выстрел, теперь уже ясно, отчетливо. Стреляют...

Я вышел из сеней. Снеговое небо провисло над черным лесом. Дымного цвета облака тянулись по верховому ветру, быстро меняя очертания. Пасмурной тоской, севером веяло от них. Я вернулся в избу, оделся и пошел бродить по Балчугу. Дождь не перестал, хотя кропил редко, и на горизонте иногда желто светлело. То одна, то другая низкая туча напарывалась на острые коньки елей, затуманивая их. Начинал слепить снег, летел густо, кружил и переметался перовой метелью. Все вокруг — земля и трава — ненадолго первоснежно белело, и казалось: это не весна, а поздняя осень с таким же скупым пасмурным светом, и вот-вот зима, уже близко, а завтра все заметет, станет бело и глухо. Но стихал снег, и тотчас начинало таять, проступала трава, темнели лужи.

Сразу за огородом было чернолесье, где паслась гнедая лошаденка. Со спины и боков ее шел пар. Она подняла голову, посмотрела сквозь челку, как удивленная женщина, мотнула гривой — черт носит,— снова принялась выщипывать с корешка прошлогоднюю траву, спокойно охлестывая себя хвостом, побрякивая железным балабоном. Я прошел мелколесье, и открылась порядочная пашня, огороженная старым, а кое-где подновленным жердьем. Белоспинный дятел ползал по изгороди и стучал. Он тоже поглядел с подозрительным недоумением — так смотрят в деревне на незнакомых,— даже замер на мгновение, а там пустился споро долбить мокрую жердь, по всей длине которой лежала белейшая полоска снега, оттененная черным. Я подошел к дятлу почти вплотную — он не улетал, все стукал и стукал упорно, слегка переползал, пока не обследовал жердь до конца. Тогда он насупился, оценивающе глянул, склонив набок свою расписную черно-белую с красным пятном голову: «И что ты тут шляешься, бездельник, мешаешь работать. Тоже мне, уставился!»

Дятел нырками полетел к другому столбу, цепко оползал его и снова захлопотал.

По пашне тянулись зеленые бархатистые строчки. Горностаевыми спинками серебрился на них сырой снежок. Я пролез меж скрипнувших жердей. Тысячи молоденьких сеянцев кедра выставили над землей шелковые усики, рядом шли строчки сосновых ершиков и еще какие-то с виду безжизненные сухие стебельки, должно быть, побеги лиственницы.

«Сам, наверное, сеет...» Раздумывая о новом знакомце, я тихо бродил по островине. Торопиться было некуда, а островина оказалась большой, гораздо больше, чем представлялась сначала. Смешанный лес со старыми елями одевал ее всю, лишь кое-где, должно быть на месте вырубок, белел высокий частый березник. Попадала и осина сплошными рощицами, зеленокорая и веселая даже в этот угрюмый день. Зайцы шарахались здесь, мелькали рыжим и белым. По листовым тропкам, подняв хохолки, перебегали рябчики. Наткнулась на меня стельная косуля, побежала неловко, как может бежать лишь обремененная.

Везде находил я следы деятельности лесника: стожок сена, растеребленного лосями, срубленные осины, до костяного блеска обточенные зайцами, кучи мелкой озерной гальки, иногда колоды-дуплянки. Ни один выстрел больше не омрачал живую тишину леса. Лишь шуршал дождь, возились мыши в листовой подстилке да птицы сильнее пели к вечеру. Лесной конек взлетел с однобокой живописной ели, парил вниз над полянкой, и его стонущее, протяжное «вить-вить-вить» тревожило душу колдовским наговором. Меня всегда завораживает песня этой долгохвостой, серой, тонкоклювой птички.

К кордону я вышел в сумерках. На берегу, близ воды, красно горел костер. Кипел в огне черный котелок. Лесник, словно еще более горбатый, угрюмо, как показалось мне, помешивал в нем, стукал по краю ложкой, отирал рукавом слезу. Рядом терпеливо жмурилась на огонь все та же серая кошка.

— Вот, животина, никуда от меня,— толкнул он кошку.— И в лес сопровождает... Гоню уж... Думаю, потеряется... Забежит куда-нибудь. А вообще-то, читал я, один кот к хозяину за двести километров пришел. Ухи ждет. Умница она у меня. Слышишь, ты? О тебе говорят...

Кошка приоткрыла глаза, вытянула передние лапы, изогнула спину и потянулась.

— Все понимает...

— Нашли, кто стрелял?

— Вон, в сенях стоит...

— Кто? — не понял я.

— Ружье отобрал... Парни из Сорокиной... Деревня тут, километров восемь, ближняя ко мне. Эти так... Балуются по молодости. Осенью отдам. А то бы...— Он как-то мрачно, криво усмехнулся и поглядел в сторону.— Пусть пока у меня отдохнет.— Поправил сучья в костре. Хлопал по земле загоревшейся веткой, бросил в костер.

Я спросил про питомник.

— А-а! — откликнулся он охотно.— Видали? Главная моя забота. Все лето и весной тоже в нем копаюсь. Хочу понемножку лес облагораживать. Хоть поблизости. План себе составил, где садить и что... Тут, видите, раньше везде лес рубили. Выборочно рубили — какой получше. На уголь жгли и возили в Старую Утку на завод. По сечам-то и наросло осиннику, берез, липы, а хвойного дерева нет и нет. Осину я люблю, красивая. Нежность в ней лесная живет. Взгляните на кору — тона такие, оттенки... Ну и древесина поделочная. Лодки, долбленки, спички наконец... Только недолговекое дерево. Чуть за полсотни — начинает гнить. Гнилушки, сами знаете, в дрова и то не годятся. Я и начал сводить понемногу осинники. Ель сажу островами, сосну, кедр, где орехами, где саженцами. Дело хлопотное — лес садить. Механизация у меня — пока одна лопата. Бурав еще такой приспособил, вроде большого коловорота. Им быстрее. Повернул раз-два — готова ямка. Сади... А сеянцы я из питомника беру или просто густяки прореживаю.

— Так ведь это капля в море! — возразил я.

— Судите как хотите... Я один уже гектары леса посадил. А если б помощники были?

— Разве лес сам не возобновляется?

— Возобновляется, конечно. Да самосевом он редко хороший идет. Какое, по-вашему, дерево нужнее? В первую очередь сосна. Ну ель, лиственница, кедр. Краснолесье... А растет на вырубках березняк с осиной. В год по метру и больше прирост гонит, все застилает, в иных местах не пролезешь, не продерешься. Вырастет берез-

няк или осинник, скажем, пока сам по себе проредится, взматереет, тогда у него под пологом хвойный лес пойдет — так и в триста лет не дождешься.

Он встал с колен, снял сучком бурливший котелок. Отставил в сторону. Котелок тотчас смирился, перестал клокотать, только курил вкусным паром. Костришко тоже словно остыл, рассыпался углями. В находящих сумерках долгое лицо лесника было нелюдимо-жестким. Может быть, казалось так от заревого света углей, которые то медленно замирали, тускнея под пеплом, то вдруг вспыхивали желтым с голубой обводкой пламенем, и недолго оно рябило над головнями.

Пасмурным шумом шумели озеро и лес. Ночная мгла заволакивала небо с севера. И он, как колдун, чернел на этом мрачном, фиолетово-сером.

— Вырубим... Высечем...— словно сам с собой заговорил он медленно.— Кого? Зачем?.. Ну, а потом? Потом что?

Он прищурился на меня, точно я был виновником лесных бед.

— Дальше что будет? Вы биолог... Объясните, пожалуйста, что будет дальше? Ну через каких-нибудь сто лет... Одни поля? Города? Вырубки? Народ-то ведь прибывает. Его кормить надо. Эшелонами города хлеб едят... Мяса сколько надо, хлеба, масла. Верно. Ну, а кислород-то земле кто даст? Дышать чем? Дымом фабричным? Читал я: одна береза кислорода дает больше, чем гектар хлебов,— подумал тогда: счастье — леса у нас. Не зря они на земле — и беречь их надо бы, ох как беречь! Не понимаем пока этого счастья. Оно, как здоровье, есть — не ценим, ушло — хватились, по врачам забегали. И ведь кого ни спроси — в ряд скажут: любим лес! А что он такое для многих? Грибки-ягодки? Цветочки? Оформление для выпивок? Кусты? Едем к нему, топчем его, рубим, обираем, гадим... Потом плюемся: «Ничего в лесу не стало! Бывало, рыжиков корзинами... Белых... А уток-то сколько бивал, а рябчиков! Теперь взять нечего». Взять все... Взять! Взять! Взять! Вот как мы его любим! — почти закричал он и, должно быть, устыдившись своей горячности, осекся, покривил фуражку, сказал другим голосом:

— Ну-ка, может, уха у нас поостыла? Нет, горяча еще... Невозможно есть... Да...

— Что же вы предлагаете? — спросил я, видя, что лесник, пожалуй, замолчал надолго.

— Да что предлагать... Вдруг это все не решишь, тут думать надо, и не одному — многим. Может быть, комиссии нужны, законы новые. А пока так, просто: срубил дерево — посади два. Нужда-то ведь в них больше будет... Лес снял — новый посей, самый лучший... Тех же, кто рубит, и садить, выращивать бы обязал, чтобы знали, как он помаленьку, по веточке в год, растет. Вот я уверен, если б хоть один человек дерево строевое посадил, ну хоть сосну, и дождался бы, когда она лет до ста вырастет, и ходил бы за ней, и смотрел, он бы топор поднять не осмелился. Лес... Я бы его и под пашни сводить не давал... Самая простая эта уловка: надо, скажем, дровишки, неохота за ними ехать, на далях рубить,— вали, ребята, у самой деревни, потом скажем — пастбище понадобилось... Здесь, в Сорокино, колхоз есть... Лесных угодий у него двести восемьдесят гектар с лишним. И рубят они эти гектары, только треск стоит. Ни с кем не считаются. На лесосеке сучки, хлам,— семенники не оставляют. А-а... Вмешался я было, к председателю явился. Так и так. «Почему в верховьях Истока рубите?» — «Надо, и рубим. Клуб строим».— «Там водоохранная зона!» — «Какая такая зона? Ничего не знаем...» — «Запрещаю вам рубку» — «Наш-то лес?» — «Не только ваш, еще и народный. Рубку запрещаю...» А он только похмыкивает, улыбается и на дверь смотрит... На-кося, мол, друг, да иди отсюда восвояси — запретитель нашелся! Через день проверил — рубят. Хотел пилы отобрать... Что я сделаю против двадцати мужиков, да и, так сказать, смешно это... Я в лесничество... Пока суд да дело, шестнадцать гектаров как корова языком слизнула. И вовсе не клуб никакой, на сторону они лес продали. Правда, штраф заплатили. Так ведь председатель не из своего кармана вынул. А лес разве такие деньги стоит, попробуйте-ка вырастите его...

Я не нашел что ответить. Из своего малого знакомства с лесным делом, из газет я знал, конечно, что лес рубят, план выполняют, что есть еще и «переруб». Это слово тревожило меня, горожанина, однако не сильнее, чем слабенькая боль человека, не ведающего ее причин. Иногда, читая о «перерубах», я задумывался, представлял, как картинно и медленно валятся сосны,— видел такое не раз в кино — представлял, как их стволы-

хлысты волокет упрямый гусеничный трелевочник, вспоминал тяжело громыхающие составы, с верхом груженные желтой доской и мерзлым кругляшом, и всегда думалось: вот где-то рубят, грузят, а может быть, это и есть тот самый «переруб».

Лесник словно ждал какого-то ответа и, не дождавшись, досадливо махнул:

— Сколько, скажите, еще земли безлесной, бесполезной. Ну, пустырей всяких, свалок, залежей. Или мало? Вот и сей, удобряй, ходи за землей, чтоб родила, чтоб каждый пустой метр пользу давал. А лес побереги... В города бы его, на улицы... Да каждому, каждому, чтоб не привыкал топором зря махаться, с пеленок бы вдалбливать: сади, сади, сади. Яблони, липы, елки... Дубы, чтобы память тебе была. Поглядите-ка на туристов. А? Да я их пуще охотников ненавижу! Не боюсь этого слова! Не-на-ви-жу! Ведь только в лес зашли — и как враги какие... Сейчас сечь, рубить, гадить... С хохотом, с издевательством... Надо, не надо — в костер. Рубят. Рябину — так рябину, ель — так ель. Ничего не жаль. Ни красоты, ни дерева. А пожары?! Кто их делает? Прошлую весну, помните, сушь была, дожди запоздали, замучился я. Подойдет воскресенье, суббота — и то в одном квартале горит, то в другом. Как он, лес-то, корежится, стонет! Слушать, глядеть страшно. А ты что? Бегаешь с лопаткой в дыму, в слезах окапываешь... Ведь лесной-то пожар — все равно что деньги в кучу сложить и сжечь. А-а... Или вот еще мода — верхушки у елок обламывать. Эти... Сувениры... Да? Возле Илима весь ельник по дороге без головы стоит. Люди...— Он вздохнул, смотрел на дотлевающий костер.

— На неделе за почтой я ходил... На станцию. Возвращаюсь — навстречу двое... Хорошо одеты, цивилизованные с виду. Он в берете, она в платочке суздальском. Костюмы, ботинки. Женщина роскошная. От таких всегда одинаковыми духами пахнет. И несет она целое беремя подснежников, охапка — вот, в ведро разве только поставишь. Подвяли они уже, головки склонили. Хотел пройти — не смог, остановился. «Зачем же,— говорю,— вам столько? Это ведь подснежник, сон-трава, цветочек исчезающий...» — «А что? Нельзя?! — мужчина так на меня смотрит.— Жаль, что ли?!» — «Жалко,— говорю.— Лес обобрали. Обокрали, проще-то... Других обокрали и себя». Я, когда такое вижу, собой не владею и почище

сказать могу... «Пойдем,— говорит европеец.— Он пьяный, не проспался». И все в том роде, не повышая голоса. А ведь она завтра все это в помойку вывалит. Ну ладно. Давайте-ка за уху. Простыла небось...

Худой долгой рукой он потянул котелок за копченую дужку.

Мы подбросили в костер. Уселись удобнее. Сучья разгорелись, и стало веселее, хотя дым все время стелило по земле и выметывало в лицо. Уха из ершей и окуней была крепкая, жирная, наваристая, с тем несравненным ароматом и вкусом, какой бывает лишь у самой свежей пищи на вольном воздухе. Отирая дымовые слезы, морщась, хлебал я ее с усердием, наслаждением изголодавшегося по горячей еде. А лесник и за едой не мог успокоиться. Хлебнув ложку-другую, откусив черствой краюхи, он отставлял крышку котелка и, жуя, глухо говорил:

— Откуда... скажите... идет это? Человек — все! Он — царь, бог, господин, мыслитель, повелитель... А прочее — низшее, недостойное, рефлексы... Да, рефлексы... Как же! Ведь это только мы, люди, можем страдать! Нам только осмысленно больно. Собаке вот больно, а неосмысленно. Ха... Конечно, читали Арсеньева? Помните, Дерсу все очеловечивал. Вода, лес, камни, скалы, птицы — все у него «люди». Лю-ди! Помните: «Его все равно люди, только рубашка другой. Обмани — понимай, сердись — понимай, кругом — понимай»? А? Ведь в этом какой смысл! А критика даже не поняла. Ведь он говорит, что и дерево, и птица, и муравей заслуживают уважения. Никто не дал нам такого права, чтоб их из жизни... Насовсем, топором, каблуком...

Он поперхнулся, с треском кашлял, бросил ложку и, вытирая глаза, размахивая руками, продолжал:

— Наверное, я переборщил. Сейчас кто-нибудь уцепится: «Вы кто? Слюнтяй? Вегетарианец! Толстовство?» Уху-то хлебайте... Не о том я говорю... Говорю — раз человек богом стал, пускай будет тогда богом добра, справедливости... разума. Вот чего подчас не хватает... Разума... Сдержанности... Человечности...— Потряс кулаками и устыдился, смотрел в землю, поправил повязку, уже загрязнившуюся и серую, заговорил тихо.

— ...И я ведь лес рублю. Делянки отвожу. Надо. Кто спорит, если лес вызрел, зачем ему на корню гнить... А знаете, смотреть все равно не могу. Не могу! Как он

валится! Как дерево падает, вздрогнет все, заноет, застонет и валится тихо. А-ах... Ухожу. Я ведь лес еще с другой стороны ценю. Красота... Вот чего жаль. Какая бывает красота... Ели, осины, березы. Опушки. Болота моховые, чащи осиновые... Вроде бы что тут? И кому другому, конечно, дрова, дрова... А мне-то каждую вершинку жалко. Вот ели, скажем, островиной синеют, там береза наклонилась, облака над ними пасмурные тянутся... Или ночью идешь, и светает, белеет. И эти вершины... Ветер в них... Да не могу передать, как это на меня действует. Живет что-то там, в вершинах и в небе, и в далях. Вечное живет, вечная красота, и все бы смотрел и думал, душой отдыхал. А тут под пилу... И нет красоты. Погибла для всех. В пейзаже, знаете, одну какую-нибудь ветку убери, пень, валежину — и потерял, что-то главное потерял. Пейзаж есть, а красоты нет... Вот садить лес я люблю. Рук не хватает. Деньги на сезонников каждое лето дают, а кто пойдет? Мужчин днем с огнем не найдешь — в колхозе заработки не в пример выше, а женщины иные пошли бы садить — боятся в лесу. Даль, глушь... Обхожусь кое-как. Только и примешь на работу, когда сено дашь по еланям косить или дров из сухарника. Да не очень у нас уважают перестойник рубить. Отведешь делянку, а он только плюнет — давай ему здоровый лес на дрова...

Он вывалил кошке белоглазую разваренную рыбу и, покачиваясь, клюющим шагом пошел к воде мыть котелок. Стемнело. Костер шипел и дымил. Дождь пошел гуще. В сумерках он казался серым, должно быть, от пролетающего снега. Я ни разу не видел такого странного дождя и так изменившиеся за его пеленой дали. Вообще, мы редко видим лес в непогоду. Мало любителей бродить в нем в дождь и снег, ночевать под сырым небом ранней весны и в глухую темень предзимья. Я подумал, что художники грешат тем же, и вот не видим мы чудно-синих небес зимней оттепели, дождевой сутеми и вечерних угасаний. Не видим плакучих зорь, мокрых рассветов, когда неожиданными нездешними красками то горит, то тлеет небо, вода и даль. Вспомнилось, как любовался я чьим-то этюдом, может быть Остроухова. Обложное летнее ненастье в захолустном городишке. Окраина, где мокрые крыши, тишина, улица в скупом свете вечера и нежнейшие блики на кровлях и лужах от пробивающейся сквозь тучи зари.

Над озером, в мрачном куполе неба и по горизонту что-то вспыхивало, дрожало красноватым светом, гасло и снова занималось — не то дальняя беззвучная гроза, странная так рано весной, не то всполохи северного сияния, вестники сильной магнитной бури. Я поглядел на ручной светящийся компас, стрелка прыгала, рыскала во все стороны.

— К худу такое! — лесник повел по мутнеющему горизонту.— Ветер будет... Непогода. Сколько раз замечаю: начнет в облаках поблескивать — не жди добра. Ранняя нынче весна... Затяжная... Холод будет и снег. По зайцам видно. Зайцы долго не линяют... Как все мало знаешь, мало видишь! Только-только я лес начинаю понимать. Учусь. Он вперед все знает. Не верите? Сам не верил... Вот к примеру: много ягод на рябине — это к ранней крутой зиме, мало грибов под осень — тоже... Нынче вон как сок из берез бежит... Дождливое лето будет,— усмехнулся.— Не верите? Вижу. А так. Вот Гнедко у меня к ненастью всегда храпит. Как начнет головой трясти, закидывает ее кверху — обязательно дождь...

Помолчал, щупая мокрую, белеющую от снега траву, вытер руку о брезент.

— По радугам можно погоду угадать. Крутая радуга к ясной погоде, чем зеленее, положе — дольше дождь, а синяя радуга — вовсе к ненастью. Я и сегодняшнюю погоду угадал. Все сошлось. Кто, думаете, сказал? А жаворонок. Не слышно его с самой зари, и журавли молчат, и лягушки. Помните, как они с кочек сыпались, ну, когда мы сюда-то шли...

Мы вернулись в избу.

— Ложитесь раньше,— предложил Леонид.— Вставать до свету. Вот, на мою койку. Ни-ни-ни! Еще что выдумали! Я устроюсь! — замахал он на мое намерение лечь на полу.

И пока я стоял в нерешительности и прикидывал, как быть, он сдвинул кресла, поставил меж ними две табуретки, принес откуда-то сенник, получилось нечто, похожее на постель.

— Еще лучше вас устроюсь,— сказал лесник.

Стыдясь своего положения гостя, который стеснил радушного хозяина, я разделся и лег. Лесник задул лампу и тоже улегся на своих креслах. В комнате запахло копотью и стало так темно, что я инстинктивно

ощупывал свое лицо, зажмуривался, открывал глаза и снова жмурился. Казалось, что я ослеп. Наконец глаза немного привыкли, и я различил перекрестья оконных рам. За ними была мутная жутковатая пустота и глушь, точно окна глядели куда-то за край земли. Я подумал, что в городе никогда не бывает такой тьмы и мглы. Даже небо, отражая огни, светит там, а здесь первобытная темь, и к ней не скоро, наверное, привыкнешь. Спать не хотелось, я лежал с открытыми глазами, слушал шуршание дождя, плеск волн, вздохи ветра над кровлей. Лесник тоже как будто еще не спал, ворочался, похмыкивал.

«Забрался сюда, к чертям на кулички... Ищет чего-то... Бьется. Этюды пишет». Он спутал все мои крепкие представления о лесниках, с которыми приходилось встречаться. Как часто это были обыкновенные люди, хозяйственные мужички, иногда пьяницы и плуты с табачными блудливыми глазами, с вечным запахом спиртного, лесники, ничего не смыслившие в лесном деле. Набирались они из людей случайных, должность свою исполняли по принципу: абы где работать да достаток иметь. Достаток же в лесу всегда сыщется...

— Разве у вас не должно быть помощника? Бывает, кажется, на кордонах пожарный сторож? — не утерпел я, прислушиваясь к покашливанию и хмыканью лесника.

— Есть! — глухо раздалось в ответ.— В Сорокино живет... Толку...— от божьей коровки больше. Пойдет будто на вышку дежурить, а сам по ягоды. День его нет и два, и по неделе не бывает. Хромой. Плотничает... Раньше с прежним лесником у них рука руку мыла. Со мной не ужился. К тому еще изба у него сгорела. Не его изба, лесничества... Уехал в деревню. А огороды я у них под питомник... Национализировал,— должно быть, усмехнулся в темноте лесник и замолчал.

Проснулся я в такой же тьме, даже в окна не белело.

— Вставайте... Всех глухарей проспим. Погода только плоха. Не пойдете, может? — говорил Леонид, вылезая из своих кресел.

Я на ощупь тянул сапоги, отчаянно зевал. Казалось, будто не спал я вовсе или только что заснул.

Меж тем лесник зажег лампу, царапал стеклом о горелку, наконец вставил, прикрутил фитиль. Стекло запотело, медленно отходило. Желтый огонек моргал, вздрагивал, будто и ему было зябко.

Собрались мы скоро, вышли в сени и оттуда в пахучую ветреную тьму. Ветер ударил в лицо. Ветер шумел в недальнем лесу. Ухала в берег волна. Стучала на сарае полуоторванная тесина...

— Раскачалась непогодушка...— пробормотал лесник, выходя вслед за мной, прихлопывая брякнувшую железом дверь. Кругом была ямная темь. Я долго не мог ориентироваться, ступал ощупью и, как ребенок, держался за жесткий брезент лесника. Наконец я различил песок берега и мрачную равнину воды. Тучи стелились над ней, светлые на черном с быстро меняющимися краями. Озеро показалось беспредельным и зловещим, особенно вдали, в непроглядной черноте. Волны равномерно расхлестывались по песку, откатывались, оставляя пену. Иногда достигали двух плоскодонок. Мы сдвинули ту, что была побольше, спустили носом в озеро. Лесник велел садиться, подал весла. Через минуту, оттолкнув лодку, он сам очутился на корме с шестом в руках. Волна застучала в поднятый нос. Лодка закачалась. Я выровнял ее натужными гребками, и она упруго пошла на волну в ветер и мглу. Дул студеный хваткий полуночник. Светлячками мигали в тучах звезды, но дождя не было, и я подумывал, что погода разгуляется. Дальний берег Щучьего смутно угадывался. Он был плотнее ночного неба. Когда я освоился с лодкой и почуял, если можно так сказать, ее характер, она пошла ровнее, хотя качало сильно, с вёсел летели брызги, уключины скрипели, иногда о борта постукивали льдинки, и я все никак не мог отделаться от ощущения, что стоим на месте и даже словно бы плывем по валам назад. Лесник на корме почти не двигался, правил молча. То, что я принял впотьмах за шест, оказалось рулевым веслом.

Мы плыли долго, может быть целый час, а лесник все помалкивал, лишь показывал, куда поворачивать. Может быть, он обдумывал что-то или выговорился вчера, но его молчание как-то угнетало, и все время хотелось спросить, что с ним. Я никак не мог примериться к этому человеку: то откровенному до горячности, то замкнутому и как будто надутому.

— Почему озеро Щучьим называется? Щуки, что ли, много? — спросил наконец я, чтобы не молчать.

— По рыбе...— нехотя отозвался он.

— Здесь ведь в лесах есть еще озера?

— Есть... Малое Щучье... Половинное. Пронино еще...

— Говорят, будто в Истоке бывают крупные щуки?

— Врут. Такое дело... Рыбак да охотник...

— ...

— Сейчас мель будет. Левее, левее, круче забирайте!

Лодка все-таки заговорила по дну. С хрустом зашелестел песок, мы встали. Берег был близко.

— Подвести к глухарям или сами? — неожиданно спросил лесник.— Дело-то, видите, какое: надо мне тех браконьеров задержать... Ну, которых я вчера ждал. Обязательно ведь они явятся... Так, если сами пойдете — берегом держите. Шагов через двести попадется тропа. Вот вам фонарь. Тропу найдете, идите ею, пока не начнется подъем на Медвежью. Речку услышите — она теперь сильно шумит. И сторожитесь уж, слушайте. Глухари тут везде токуют. Обратно приеду за вами к полудню. В случае чего, стреляйте три раза... Ну как?

Показалось в темноте, что смотрит он испытующе, насмешливо и даже улыбается.

Лесниково предложение не привело меня в восторг, но самолюбие требовало ответить утвердительно. Я надел ружье на шею, сунул фонарь в карман и полез через борт в черную воду. Зачерпнул в сапоги, испугался, выругался, шумно пошел к берегу. Лодка тотчас отплыла — лесник, видимо, торопился,— очень скоро она потерялась, лишь всплески весел, затихая, слышались долго.

Первым делом на берегу я осмотрел ружье. Оно открылось с привычным хрустом и щелканьем, ловко приняло патроны, молодецки захлопнулось, тая угрозу. Зачем-то я даже погладил стволы. Потом вылил воду из сапог, надел их и поглядел на фосфором мерцавший компас. Он показывал почти в нужную сторону. Я включил фонарь и осторожно пошел через камни и полузатопленный плавник проседающим под ногой песком.

Чувствовал себя я нехорошо, тревожно. К тому же промочил ноги. «Один, один, один»,— отстукивало сердце, и становилось даже немножко душно. «Как теперь вернусь? Вдруг он не приедет?» — лезли детские мысли и почему-то не казались глупыми в темноте и шорохе ветра. В ноги бухало волнами, иногда окатывало брызгами, где-то позади был разлившийся в бесконечных

поймах Исток, слева выжидающе и враждебно чернел лес.

«Останься, не ходи никуда... Кто спросит тебя? Лесник? Но ты всегда можешь оправдаться. Погода плохая, не ходи дальше. Смотри, какая темень, а в лесу будет еще чернее. Не ходи, не ходи»,— словно нашептывал мне кто-то, все хотелось обернуться, прислушаться. И я даже оборачивался. Всматривался. А потом усилием побеждал страх и шел дальше.

Тропа повела в непроглядную сырость ельника. Фонарик едва горел, должно быть, кончалась батарея, жалкий кружок желтого света дрожал под ногами, высвечивал протаявшую траву, мох и кочки. Я спотыкался, хлюпал по воде, проваливался едва не по колена, шуршал по сыпучему снегу. Там, где лежал снег, было немного светлее, синеватый отсвет давал различить подножия деревьев. Высокий безмолвный лес накрывал меня, и порой представлялось — иду бесконечным сырым подземельем, так глухо, мрачно и темно все кругом. Временами я останавливался, гасил фонарь и слушал... Раз послышалось: шел кто-то редкими тяжелыми шагами, шел и останавливался. Так часто бывает в лесу, когда нервы напряжены и слух обострен: то слышится непонятный гул, то какой-то гром, словно взлет невиданной птицы,— и никогда эти тревожащие шумы не ясны, неведомы вполне, как некий звуковой мираж.

Когда тропа стала суше и ощутился подъем, донесло рокот и разговор речки. Она шумела по-весеннему буйно, точно где-то там, в черноте и тумане, обрывался стометровый водопад. Впереди посветлело. Не то поляна, не то прогалина.

Щелкнуло четким костяным звуком. Тишина. Снова щелчок... Еще и еще. Щелканье походило на громкое «тэк», «тэк», «тк», изданное кончиком языка, словно кто-то восхитился, придя в изумление. Я уже понял. Он! Близко впереди, и, наверное, слышит меня. Замер, боясь ступить дальше, а звук стал раздаваться чаще и равномернее, будто медленно двигался по лесу некто костяной и косточки его постукивали: «тэке... тэке... тэке...» Смолкло. Тишина заложила уши. Будто и речка внизу утихла. Так было непонятное время. «Уэк, уойк!» — по-английски крикнула ночная птица. «Тэ-тэк... те-тэк тк... тк... тррр»,— послышалось, убыстряясь, и вдруг впереди кто-то побежал с хворостиной вдоль забора,

и этот треск перешел в жадный и жаркий железный шепот. Баба-яга шептала-причитала там, творила свою нечистую молитву. Забыв, постукивала себя по костяной ноге и снова шептала горячо, убежденно. Слушал, дивился, озноб стекал по спине. Дик внезапный этот лесной шепот. Вот сшумело, переместилось по лесу. Будто ветер пронесся вершинами. А я все не мог усмотреть глухаря, хоть и ясно различал теперь на бледно зеленеющем небе треугольные вершины елей. Высокий слом обозначался впереди, ель с обитой молниями верхушкой... Вот завозилось, заворочалось на сломе, черная длинная рука поднялась и пошарила по небу, будто щупала, крестила звезды.

«Он!» — с восхищением смотрел я, различая теперь и задранный хвост птицы и весь ее профиль, как-то напоминающий древнюю лиру. И снова холодом окатило спину. «Тк... тк... тк... ткррр... чишуша-шивашу, шувашик... тк... тк... тк... тктррр чишуваш, шухаваши, шухаваши»,— колдовал глухарь.

Посветлело. Желтое, кумачовое огниво длинными лентами проступало меж облаками. И вершины, самые макушки леса тотчас зарделись отсветом. И посинели тучи. Лес словно улыбнулся солнцу, как улыбается спящий, когда заревой свет тихонько и ласково трогает его. Опускалась в низины ночная мгла, оборачивалась туманом, оседала изморозью на камнях и ветках и совсем исчезала под теплым лучом, чтобы снова родиться с первой звездочкой под скрип козодоя и песню зарянки. Сколько раз видел я лесные утра, и они были новы, никогда не повторялись, раскрытые в цвете, тишине и восторженности словно бы кем-то добрым, чье имя я не знал, но всегда чувствовал.

Лопнул сучок. Хруст и шелест повторились дважды. Глухарь смолк. Я видел его хорошо. Вислокрылая птица с развернутым хвостом монументом стояла на сломе. Вот глухарь переступил, тревожно поводя шеей. Перо его вдруг пригладилось, хвост сложился.

Бац! — огненным снопом полыхнуло справа, меж деревьями. И тотчас, еще не понимая, что случилось, я увидел, как глухарь валится с ели, медленно кувыркаясь, задевая ветки. Веско стукнуло в снег под елью, захлопали, заперебивались крылья и смолкли...

Качались воздетые еловые руки. Поспешно шуршали по снегу шаги. С ружьем наизготовку я побежал ту-

да с одной единственной мыслью, от которой стало жарко: «Ах ты сволочь!»

Я продрался сквозь ветки, вылетел на прогалину к подножию ели и в упор столкнулся с темным курносым человеком в телогрейке и резиновых сапогах с подвернутыми голенищами. Мешковатая кепка незнакомца была надвинута на самые уши. Черные внимательные очки двустволки смотрели мне прямо в грудь. Сперва незнакомец опешил, но через мгновение глазки под каменным уступом лба блеснули насмешкой, он потянулся к лежащему в снегу глухарю и, оскалясь блеском стальных зубов, бросил:

— Опозда-ал!

— Документы!! — заорал я, сам не зная зачем.

— Чи-во-о? — уже совсем другим голосом протянул незнакомец и разом выпрямился.— Документы тебе? Энти, что ли? — тряхнул двустволкой.— Раз покажу — боле не захочешь. Документы...

Медвежьи глазки совсем спрятались под лоб.

— Кто такой, чтоб права качать? Сам-то ты кто? А?

— Я — инспектор... Вот... Пожалуйста... А ты браконьер! Сволочь ты... Понял? — говорил я, торопливо шаря за пазухой.

— Но-но-но-о! Не шибко! Чо разорался? Мы ведь давно пужаные... Иди-ко, дядя, не ори. Сам-то чо здесь? Сухару караулишь? Вон тамо ишо глухарь поет... Енспектор! Пока, значит.

Потянул глухаря за пепельное крыло, перехватил за жесткие лапы, встряхнул и, усмешливо, волчье глянув, пошел прочь валкой походкой. Мертвый глухарь волочился головой по снегу, оставляя темные кровяные следки.

— Не стреляй смотри, а то ишо убьешь...— раздалось из-за елок, кепка скрылась в подлеске, затихая, хрустел, осыпался снег.

Я топтался на проталине с ощущением человека, которому неожиданно и густо плюнули в лицо.

Было совсем светло. Ветреное утро занялось. Лес шумел весенним безлистым шумом. Всюду заливчато пели зяблики. Свиристели зарянки. Слышались тетерева. «Кры-кры-кры,— тревожно кричала черная желна.— Кры-кры-кры. Киии-а-ай»,— застонала она.

«Человека заметила»,— подумал я.

Бум!— грянуло, раскатилось там. И слышно — снова

повалилось, захлопало. Стихло все. Лишь желна кричала уже вдалеке: «кры-кры-кры... кры-кры-кры...»

Опустились руки. Бежать туда? Позвать на помощь? Сесть в снег, зажать голову? Безнаказанно и спокойно творилось совсем рядом зло, и я не мог его прекратить, не имел ни смелости, ни силы. Что мог сделать я, даже вооруженный, облеченный правами инспектора, против другого вооруженного человека, а может быть, даже двух-трех? Не мог же я в самом деле стрелять! Заставить подчиниться и повести за собой? Но ведь это только в кино браконьера опрокидывают приемами самбо, затыкают рот и ведут к леснику на веревочке. Оштрафовать? Ха-ха... Составить протокол? С собой были даже коричневые печатные бланки. Протокол! По закону он будет действительным, если браконьер пойман с поличным да еще в присутствии двух свидетелей. Ель, что ли, эту обломленную в свидетели взять? Ну, предположим, есть и свидетели... Что ему, браконьеру, за кара? В самом худшем случае штраф, какая-нибудь десятка, а то предупреждение, даже ружье навсегда отнимать нельзя. И конечно, он все это знает, иначе с чего бы так осмелеть. А глухари вымирают...

Присел на зеленую оттаявшую колодину. Внутри она иструхла, мягко прогибалась и крошилась, звездчатый мох опушил ее всю, из трухи росли прутья и елочки.

Работа лесника не показалась мне теперь ни идиллически привольной, ни заманчиво легкой, как тогда, когда пил чай, сидел в кресле и глядел на озеро. Вот и охраняй тут попробуй... Впрочем, можно ведь ничего не замечать. Сторожишь-то неучтенную ценность. Да у лесника главная задача — лес. А дичь должен хранить егерь. Есть ли он здесь? Глухарем больше, глухарем меньше... Эка беда! Кто их считал? Так же и лес, и зверь, и рыба, и вообще все, что в газетах именуют — «зеленое богатство», «запасы дичи», «мягкое золото». Золото, золото... Настоящее золото хранят в банковских подвалах, в сейфах, за семью замками под надежной охраной, а это золото доступно всем, бери что хочешь, если ты нагл, потерял совесть и стыд. Лесник? Иной лесник знает лишь свой огород, картошку, огурчики. Весь он занят одним: вовремя наставить сена корове, выкормить телка, привезти дровишек добрым людям — благо лошадь казенная, чего ей зря харчиться. Где дровца — там и спасибо, поллитровочка, еще кое-что. А с браконь-

ерами — дело простое. Увидел? Ну ступай себе с богом. Лес велик. Глухарем больше, глухарем меньше. Не стало глухарей, и хлопот не стало... И сколько ведь помощников у такого лесника, помощников, на которых легко можно сослаться,— тут тебе и пожар, и вредитель-короед, и замор, и холодная весна, и «лиса либо рысь», которая «яйса выедает»,— как мудро объяснил мне полное отсутствие дичи в своем участке один такой страж леса. Мужичок этот отличался редкой прямотой... «Ха, я ежели вижу, который с оружием,— и не подхожу. Бивали меня не одинова. А жись терять пока неохота. Дешево будет, за шестьдесят-то пять целковых. Жись отдавать».— И глядел усмешливо в косых житейских морщинах глазами.

Вот и я теперь такой же горе-лесник. Чем же лучше? Все-таки надо было как-нибудь помешать ему! Хоть бы второй глухарь уцелел. А что теперь делать? Бежать разыскивать негодяя по следам? Стрелять три раза, как велел лесник? Ничего хорошего я не придумал и, посидев с полчаса, закинул ружье за спину, побрел к озеру уже знакомой тропой, где отпечатались на мокром снегу и земле рубчатые следы моих сапог.

После короткого утреннего проблеска снова все хмурилось. Ветер не утихал, снег летел. Озеро покрылось белыми строчками бегущих к берегу бурунов, я хотел выстрелить, но увидел вдалеке лодку и удержался. Лодка ныряла на валах, но шла быстро, как байдарка. Человек крест-накрест взмахивал двухперым веслом. Лесник (это был он) еще с лодки что-то кричал, за ветром и плеском волн я не мог разобрать. Он выпрыгнул в воду, поволок узкую плоскодонку к берегу и предстал передо мной мокрый, возбужденный, с каким-то неузнаваемо перекошенным лицом. И все оно — брови, глаза, губы — спрашивало.

— Санька! Это Санька! — быстро заговорил он, едва я рассказал, как было.— Он на лодке... Скорее... Скорее давайте... Вдоль берега... Может, еще... Или хоть лодку заберем. Вы плывите — я пешком. Плывите! — махнул он и в три прыжка скрылся в зарослях нарядно белеющей вербы.

Я поплыл, неумело выгребая двухперым веслом. Новая легкая лодка не слушалась, рыскала, захватывала воду. Двигался я, видимо, крайне медленно, злясь на себя, на эту норовистую посудину и на ветер со снегом,

все время сносивший на прибрежную мель. Примерно через час завиднелась на песчаной косе сутулая фигура лесника. По одному тому, как он стоял, безразлично глядя в озеро, было ясно — никого не нашел.

— Нету! Наверно, он лодку в Истоке спрятал. А мы сюда...— с горечью сказал лесник, шумно побрел по воде и плюнул.— Ну, неудача! Как черт ему доносит! Я туда — он сюда... Ведь думал сегодня пойти с вами... Посомневался... Вдруг на близь подастся... А-ах... ты, будь... ты!

Он сел на весельную скамью, взял у меня весло, подождал, пока я устроюсь на корме, и лодка пошла с легким упругим шелестом, рассекая волну наискось,— она знала своего хозяина.

— Удрал, ловок,— бормотал лесник. Напряженно работая веслом, он сидел ко мне спиной. И мне опять было совестно — вот он, горбатый, везет меня здорового. В то же время было неудобно отстранить его — дать почувствовать наше неравенство, да слишком свеж был и мой опыт самостоятельного плавания вдоль берега. Ну, как не справлюсь, опрокину лодку?

Ветер меж тем задувал сильнее, валы шли вровень с низкими бортами, и все казалось, следующий зальет нас без всякого усилия. Лесник греб быстро.

— В пряталки играем...— послышалось мне.

— Не боитесь? — угрюмо обронил я.— Такой пальнет, не оробеет.

— А-а,— донеслось из-за спины.— По мне уж стреляли.

— Как так?

— Не стоит рассказывать...

— Все-таки...

— Обыкновенно...

Он не оборачивался, лишь весло замедлило равномерный размашистый ход.

— Расскажите, если не трудно...

— Чего трудного... Осенью прошлой... Сижу с красками... Утро темное... бусенькое... Тучки похаживают. Каплет. По Истоку лист плывет... Пахнет листом везде... И осина на берегу. Красная, пунцовая... Девка на морозе... Пишу осину, забыл про все... Вдруг: бац! По-над шапкой-то: фить! Только кора с осины полетела. Не понял я. Встал. Слышу: хрустит далеко... Убежал кто-то. Не по себе мне стало... Хоть сам беги... Одумался, подо-

шел к осине... В том месте...— где кора отлетела — острое торчит. Пошатал, вытащил. Пуля. Навылет прошла... Не охотничья пуля, а с оболочкой... Из трехлинейки... Кто кроме мог? Или напугать хотели. А скорее, не попал... Винтовка? Есть у них... С колчаковщины... Опилки, обрезы всякие... Сперва хотел пулю в лесничество... Раздумал. Запишут. Ну, акт... В милицию таскаться... То да се... Кто чего расследует?

Помолчал. Натужно работал веслом.

— Жизнь-то вся так идет... С рождения смерть нас пятнает... За спиной ходит. И все метит, куда убойнее... в сердце, в голову метит. А? Вот и крутишься... Жизнь-то, чем не под пулями? Остыл я вроде.

Он говорил так, будто жил долго-долго, и я подумал: сколько же ему лет? Не то сорок, не то двадцать пять. Морщины, вдруг возникающие глубоко и резко, засечины по углам рта... Такие следы жизнь печатает на лицах сорокалетних. Белые черточки шрамов тоже не от розовой молодости. Шрам у левой брови приподнимал ее, кладя на худое долгое лицо выражение усталой рассеянности. С другой стороны, явная молодость проглядывала в ловком движении рук, в ясности взгляда и в голосе, не утратившем юношеские интонации. Лесник все больше нравился мне. С ним становилось легко, уверенно, безопасно, как с кем-то старшим, подобным учителю или брату-большаку.

— Сколько вам лет? — напрямик спросил я сгорбленную спину.

— Двадцать восемь...— был ответ.

— Так мало?

— Мало? Много...— отозвался он, сильнее нажал на весло.

Теперь нас мотало так, что я почувствовал дурноту. Озеро взбесилось. Пена летела через борта и нос. Заплескивало. Темная, словно бы дымная вдали, равнина Щучьего вскипала беляками, колыхалась вверх и вниз.

— Много лет! — всерьез повторил лесник. Он повернулся на скамье, лицо у него было мокрое, разгоревшееся, шрам над бровью побелел, глаза блестели, фуражка съехала на затылок. Он стал грести наизворот, так же ловко и равномерно вращая весло.

— И так, кажется,— вечность живу. Может, вообще буду жить без конца...

Улыбнулся, вытер лицо рукавом, слегка подгребая, помогал править лодку поперек валов.

— Ведь я не помню своего начала. А кто помнит? Ни вы, ни я, никто. Не буду помнить и конца. Так? Есть мое «я» — живу... Говорите — «мало». Двадцать восемь. А что я сделал? Галлию не завоевал, теорию относительности до меня открыли... Так... Пушкин погиб в тридцать восемь. Лермонтов — в двадцать семь. Левитан — в тридцать девять... В сорок три — Гоголь... Понимаете? Я узнал совсем недавно: Гоголь — в сорок три! Я его старым считал. Но ведь они уже были в те годы Пушкиными, Левитанами, Гоголями. Высоко хватил, конечно... Для примера, так... Ну-ка, кто я такой, по-вашему, в свои двадцать восемь? Несчастный мазила? Неудачник? Инвалид на стариковской должности... Молчите? Так повелось — лесник, значит, борода, годы. И я вроде отшельника... Или, думаете, романтика? Робинзон Крузо со Щучьего? Двадцать восемь... А я еще сидел... Занятно? А? Да, да... За хулиганство...

Он положил весло поперек бортов. Лодку закачало. Начало поворачивать. Вода хлестнула через наветренный борт, залила настил. Я молчал, удивленный таким завершением, и смотрел, как грязная вода на дне лодки таскает клочки сена и сухие травинки. Пришло в голову, что сейчас самое время закурить. Пока я раскуривал мокрую сигарету, лодку уже повернуло и несло по ветру, встряхивая с гребня на гребень, ноги были уже в воде, и она прибывала с каждой волной.

Меж нами произошел, по-видимому, мысленный разговор, который оба хорошо понимали.

«Не спрашиваешь?» — блестели глаза лесника.

«Что спрашивать? Ну, сидел... Не верю, чтоб ты за что-то очень подлое...»

«Не веришь?»

Весло плеснуло.

«Нет. Ты добрый парень, а попал как-нибудь по случаю...»

«Ну, спасибо тебе... Хорошо, что ты не спросил».

— Греби! — сказал я.— Или давай весло.

Он повернулся на скамье, сильно и быстро поправил лодку и погнал ее упористыми, красивыми взмахами — откуда бралась сила в длинных некрепких с виду руках.

Наконец лодка зашла за мыс, волна сделалась тише. Мы причалили возле кордона. Почти тотчас лесник куда-

то исчез, наказав поставить самовар. Я чувствовал сильную усталость и едва передвигал ноги. Умаяла другая полубессонная ночь и весь непривычный городскому, изнеженному удобствами жителю режим этих дней в лесу, на вешнем воздухе, от которого пьянеешь не хуже, чем от вина.

Лесник не возвращался долго, и потому я нехотя поел один, выпил чаю и прилег на узкую лесникову койку поверх стеганого красного одеяла. От одеяла пахло какой-то травой.

Я не разделся и не думал спать, потому что не люблю дневной сон с детских лет, всегда он кажется мне противоестественным, болезненным и возникает угрызение совести: день на дворе, а спишь, во что ночь спать будешь? И все-таки незаметно как я заснул.

Пробудился в мягкой фиолетовой тьме. С трудом сообразил, где я. И, приглядевшись, привстав, увидел, что лесник тоже спит на своей импровизированной постели из кресел. За стеной и окнами шумом шумел расходившийся ветер. Иногда он усиливался, переходил в ноющий свистящий звук. Брякало стекло, плохо вставленное в раму. И весь дом словно вздрагивал, сотрясался и поскрипывал, как корабль снастями. «Бууш... Бууш... Бууш...» — била в берег волна, и вдруг я понял неясный смысл слова «бушует». Что творилось сейчас в кромешной вьющейся тьме над волнами поднятого ветром озера... Как черны, без меры дики были обступившие озеро ельники, как страшны, наверное, светло-аспидные облака, что спустились к самым волнам,— и все смешалось: вихри снега, дождя и мрака. Я представил себя одного там, на лодке меж валов, увидел, как они зубасто, бело и злобно заглядывают,— и это светлое, мертвенное так жутко,— а лодка скачет, точно бешеный конь, проваливается в пучину и несется по ветру куда-то, медленно поворачиваясь, во мглу и дождь. Я вздрогнул.

— Погода-то! Что делается! — тихо сказал вдруг лесник.— Слышу: не спите?

— Не сплю. Думаю, как здесь живется...

— А-а... Не сразу и я привык. Привычка... Неизученное свойство человека. Ох, великое свойство! Иногда думаешь: много мы изучаем природу, общество... Химия, физика... Кибернетика всякая. А себя? Много ли знаем о себе? Кто мы? Зачем живем, рождаемся, умираем? Лист на дереве и тот имеет свое назначение... А человек

не лист. И что такое привычка? Свойство нервной системы — скажете вы. Или качество? Одни привыкают — другие нет. Как сперва мне дико, страшно здесь было... Вспоминать не хочется. Горожанин я. В городе родился. И вдруг в лесу... С утра встану — ничего, радостно даже, а начнет к вечеру солнце клониться — такая тоска сердце давит, не приведи господи. К людям хочется. Суетишься, бегаешь туда-сюда, чтоб отвлечься немного. Не проходит. Жутко. Лес молчит. Вода молчит. Небо немое... равнодушное. И ты тут, червяк, ненужность какая-то. Ведь мы, художники, люди вообще привыкли очеловечивать, а глубже глянешь — что этому лесу до меня? Есть я, нет меня... Стоит он и веточкой не пошевелит. И ночью всякое. Шлепает по болотинам-то, в озере ухает, полощется. То обойдет избу кто-то. Туп... Туп... Туп... Кто? Совы стонут, и другие голоса. Черт знает, откуда они, кто там кричит? Непогода разыграется, вот как теперь. И будто ты один на земле остался. Ноет, свистит за окошками. Темнота кругом... Лежу в поту, как отходящий. А-а... Соскочу. Свет зажгу. Книгу схвачу, читаю — самого трясет, зубы стукают. В кордон будто ломится кто, заглядывает в окна. Чуть с ума не сходил. Сколько раз клятву давал: до утра, только до утра. Дождусь и сбегу, пропади он пропадом, Балчуг этот... Сбегу... И уходил даже. На свету соберусь, дверь подпер и пошел. Отойду маленько, одумаюсь — и обратно. А раз до Илима убежал. Вернулся...

Лесник завозился. Сел. Черный силуэт заслонил окно.

— Знаете, не испытай я много — не выжил бы здесь. Иногда и беда добром обернется. Метался, метался так-то, а иногда раздумаюсь: что тебе надо, гад?! Рвешься отсюда... Ведь тут, если по-другому смотреть, только что не рай: воздух, вода, чистота, лес... Стал к лесу ближе прислоняться. Слушаю его, гляжу. Где какая птичка живет, зверек бегает... И страх этот дурацкий вроде бы отходить начал. Сперва бывало: дерево застонет — я за ружье. Косуля рявкнет — сердце так и оборвется. Ястреб закричит... А чего, спрашивается, боюсь? Нервы. Совсем веру в себя потерял... Случай помог... Да, может, не интересно это все? Спать хотите?

— Рассказывайте! — попросил я. Он помолчал.

— Как-то в августе, в самом начале... Около ильина дня — это у меня от бабушки, я все посты, праздники знаю... Да и вообще как-то... Народное. Наше все... Русь.

Русское. Забываем мы... а я люблю. Троица. Березки. Спасовы дни. А? Так вот, собралась тогда к ночи такая гроза — никогда не видывал и не увижу, наверное. Ураган! Тучи чернющие, аспидовые. Ветер поднялся ужасный. Лес, как с ума сошел, гудит, ломается. Сучья летят. Озеро ревет. Как молоко кипит. Молнии полощут! Снопами сыплется, сияет бесперемеж. Сижу у стены, зажмурился, прижался, как кролик какой, а самого просто иголками колет. Вдруг запело, заскрежетало что-то диким голосом, окошки распахнулись! Выскочил без памяти. Кирпичи сыплются! Гляжу — полкрыши с кордона поехало. Встало на дыбы. У-у! Что творится! Ад! Ливень,ветер, темнота. И все мелькает синим-синим. Грома не слышу даже, оглох. Повернулось у меня в душе что-то, помутилось... Сорвал я рубаху, сапоги, все... Выбежал на берег: бух в озеро. И поплыл, куда, чего — не знаю. Захлестывает меня. Накрывает. Вал за валом. А я плыву, кричу, воду глотаю. Не знаю, сколько так было,— вдруг чувствую: не тону. Ничего... Приспособился к валам. Телом овладел. Обвык. Набежит вал — я под него, и опять вперед. И чувствую — сильнее я этого, сильнее ветра, воды, грома. А что мне было терять? Жизнь-то мою? И вот, может, подумаете, хвастает: переплыл ведь я озеро. Почувствовал — ноги за дно задевать вроде стали. Попробовал — верно. Встал. На берег вылез. Голый сижу. Трясет меня. А дождь прошел, молнии тише. Только вал сильно хлещет. Раскачалось. Думаю, что мне тут теперь делать? Не идти же голому берегом в обход... Отдохнул я малость, укрепился — и обратно. Насилу, насилу назад-то выбрался. По молниям плыл. Темнота... Осветит — вижу, в какой стороне Балчуг. Там больше полыхало. Выплыл. Лег на песок. Лежу. Стошнило меня, нахлебался все-таки, и смеюсь, и плачу. Дурак дураком. А потом встал, одежду мокрую собрал... И вот с того раза совсем я от страха вылечился. Совсем... Ночь за полночь стал везде ходить. Спать в лесу стал, краски привез, за этюды взялся. И даже лес-то по-другому видеть начал. Бывало, в училище выезжали на практику писать на пленэр, на природе то есть, бродим с этюдниками, выбираем красивые местечки, чуть не деремся... Ах, это моя береза! Ах, сколько цвета... Ах, ах... Невдомек было, что в пейзаже главное. Красоту не глазами — сердцем понять надо, чувством, интуицией какой-то, что ли,— тогда и глаз увидит. Я ничего

в лесу не выбираю. Пишу, как есть, как дышу. Все тут хорошо: всякое дерево, куст, вода... Сумей понять, когда оно лучше откроется: летом или по осени, в пасмурный день или, скажем, на зорьке. Ведь и человек достигает наивысшей красоты, и цветок. Вот тут, по-моему, для искусства главное: сумей понять, увидеть, может быть, рассчитать даже. Это тонко. Это вам не пятна цветные искать. Можно, конечно, и пятном. Сейчас в живописи мода: лупи цветом сплеча, чтоб он орал, голосил, в глаза лез... Мажь краску пастозно, тюбиком пиши, пальцем, ладонью, под фреску катай! Петров-Водкин! Икона — картина. Водкин Рублеву подражал, а мы и Рублеву, и Водкину. И получается оно: броско, ярко, останавливает. Души только нет. Чувства. Цвет все заслонил... И думаю — отойдут от этого... Скоро... Не лежкий фрукт — мода. В картине главное — душа... И цвет, и рисунок — все должно открывать душу...

Поворочался, покашлял раздумчиво, огладил в темноте свою стриженую голову. Почудилось, что лесник даже улыбается чему-то грустно и мудро, про себя.

— Сверчок-то молчит. Чует непогоду — такая волшебная букашка, скажу вам. Хорошо с ним. Уютно. Эка, что делается! Как бы опять крыша не поехала... Ветер-то!

Ветер сотрясал стены, давил в окна, пробирался в щели, и в комнате слышно было его дыхание.

— Как на корабле,— сказал лесник.— Сейчас бы выйти — звезды смотреть. Они так и прыгают. Несутся. Чудно... А хотите, расскажу, как сюда попал? Правда, история долгая. Рассказать? Только дайте-ка закурить... Закурю я...

Долго мял поскрипывающую сигарету, будто не решался начать или обдумывал. Чиркнул спичку — сломал. Снова раздраженно чиркнул по коробку, в темноте поблескивал фосфорный след. Прикурил. Огонек желто и трепетно осветил нос, забинтованное запястье, глаза. Спичка гасла, изгибалась, обожгла ему пальцы.

— ...Голова кружится. Опьянел... Давно не курил... Я вам с самого детства? Ничего? Так вот, родился я в Тагиле, на Гальянке — слобода за прудом. Тогда окраина была. Из ранних дней помню мало. Небо, поляна, двор, отец. Матери не знаю — говорили, умерла, когда мне было три года. Голубятня стояла у нас на дворе. Отец у меня железнодорожник был, машинист на манев-

ровом паровозе. И голубей любил.. Ну а где он — я тоже. Все, бывало, на голубятне торчу. Она хорошая была, бревенчатая, под тесовой крышей, внизу амбар. Вот я и лазаю день до вечера по крыше, по коньку. С небом сроднился. На крыше мох подушечками растет, зеленый, губчатый, голуби стонут, солнышко в туче играет, ветерок. Всю улицу тебе сверху видно. Тополя, дворы... И небо-то кругом — к северу синее, к югу светлее... Один раз заигрался я так, задумался, что ли, оступился и упал. Не просто упал на землю, а на березовые кругляши — напилены были у голубятни дрова, да не расколоты...

Падал — сейчас помню: опрокинулось небо, повернулись тополя... Ударился вроде бы небольно. Тяну, тяну в себя воздух, выдохнуть не могу. Темно... Очнулся. Голова болит. Руками пошевелить не могу. Отнялись. Одни ноги действуют, двигаются кое-как, через боль. Позвоночник повредил... Лежал долго, больше года, в гипсе, в корсете и так. Отлежался все-таки. Руки ожили. Сперва только пальцы. Выписали. И начало у меня это расти. Гнет и гнет. Сначала никак привыкнуть не мог, будто камень носил над лопаткой. Потом освоился. Самое трудное было к прозвищу привыкать. Раньше я просто Ленька был, Леонидко — стал Ленька-горбатый. Крепче фамилии приросло. Дрался... Ревел... А-а...

За одной бедой — другая. Отец в крушение попал. Остался я с одной бабкой. А она после отца и год не прожила, взяли в детдом. Было там хорошо, кормили, учили... Воспитатели хорошие были. И вот один учитель — по черчению он был, художник из неудачников, так сейчас понимаю,— заметил, что я рисовать люблю. Стал приглядываться, работу давать. Потом стал отдельно учить, поправлять. Раньше-то я стенгазеты оформлял, графики разные, альбомы. Дело простое — нарисовал башню с звездой, ленты, орден Победы, в Новый год — ель со снегом, Деда Мороза, хорошо вроде получалось, нравилось, ну а он меня по-настоящему в живопись носом ткнул. В лес водил, этюды писали, краски дарил...

...Бывало, подведет к окошку. Смотрит, смотрит. Сопит — сопел как-то он всегда. Тронет за плечо: «Ленька, закат какой?!» И верно, я уж понял. Тишина. Небо в гривах. Золотом отсвечивает... А под гривами-то розовым кажется. Розовым таким, широким, северным, что

ли... Колокольни на этом розовом... Блестят сказочно. И стрижи вьются, мелькают. Тишина... тишина... Гляжу во все глаза. Хочется на бумагу эту тишину. Ух как хочется! А ведь просто закат. Сколько их? Все разные... Или идем где-нибудь лесом, деревней. Остановится: «Ленька, баня-то?!» А банька стоит кособокая, в крапиве утонула, с крыши доски моховые торчат. Цветы малиновые. Глушь, глушь... одичание... Диву даешься! Иной раз не вижу, не могу понять — сердится, фыркает, ворчит: «Глаза зачем?» Такой был золото-человек, Иван Степаныч. Пил только очень. Спирт, сырец всякий, лак какой-то перегонял. Как свекла красный иногда ходит, молчит, сопит. К пьяному не лезь! Тогда я его осуждал, сердился, боялся. Теперь понимать начал, с чего он себя доводил. Видеть-то он видел, а вот изобразить — школы ли, таланта ли не хватало... Бог весть. Да и кому бы его пейзажи... С пьянки и умер. Выпил что-то такое... ослеп... А-а...

...Из детдома я в училище... Поступил-то легко. Учусь. С такой охотой взялся. Кончу, мир удивлю! Там все так думают... Каждый себе талант, хоть три четверти потом в заводских художниках рекламы малюют. Наверное, не было меня прилежнее: надо натюрморт в задание написать — я три делал, композициями, набросками все блокноты исчеркал, на хлебе с водой жил — деньги на краски... В пример меня ставили. Только через некоторое время стали преподаватели как-то странно посматривать, да и ребята — тоже. Соберутся у моего этюда, хмыкают. Не возьму в толк, что им надо... Потом старичок один, Павел Никитич,— перспективу у нас преподавал — говорит: «Ты, парень, не дальтоник ли?» — «Чего?!» — «Не дальтоник ли, говорю? Чтой-то ты вместо зеленого красным луг пишешь... Ишь, импрессионист какой?!» — Тогда «импрессионист» вроде ругательства было.— «И тут цвета запутал».— Тычет мне в картон. А я ничего не вижу — все правильно вроде. На ребят гляжу. Они кивают. Он прав... Как?! Тогда он сует мне в нос тюбики, на одном «Тиоиндиго розовый», на другом «Кобальт зеленый светлый». Мазнул две полосы: «Чуешь разницу?» А я разницу вижу не в цвете, а просто в оттенке, в тоне. Цвет-то вроде бы одинаковый...

На комиссию послали. И точно: дальтонизм — путаю в оттенках красный с зеленым, зеленый с серым, с розовым. Для живописца — гибель... У живописца цветоощу-

щение как у волка слух должно быть, как вкус у дегустатора. Были, правда, случаи, некоторые французы работали, несмотря на дальтонизм,— учеников с правильным цветоощущением держали. А я? Можно бы, конечно, графиком стать — не люблю графику... Живопись люблю, краски... Будто второй раз я упал тогда. Два дня на койке лежал. Ни есть, ни спать не мог. Товарищи ободряют, жалеют, советуют. Да что они? Писать за меня будут? Чужую беду — руками разведу...

Он потушил сигарету в пальцах, бросил к печи, глубоко вздохнул. Думал. Поскрипывал дом под напором ветра, шумело озеро. Словно бы немного посветлело, потому что теперь я видел согбенный силуэт лесника, его опущенную голову и широкие плечи. Снова раздался его голос, звучал печальнее, раздумчивее.

— И ко всему к этому... Девочка у нас в улице жила. Играли, на качелях качались. Потом как-то раздружились, пока в детдоме был. И вот, встречаю ее в Первое мая, после демонстрации — глаза протираю: красавица! Откуда что, была-то замухрышка, Буратино какое-то, а тут и ноги, и косы, и все будто не ее. Узнал с трудом... Как говорится — и ум, и образование. Встретились — обрадовались. И еще встречаться стали. Месяц, наверное, прошел. Самый мой счастливый месяц! Все к солнцу повернулось. Такая радость. Проснусь — глаза открыть боюсь. А ну, как сон это? Что тогда... А только обрадовался — погасло. Заметил, что моя Оля суше как-то стала. Ходить со мной ходит, как раньше, а чаще помалкивает или хмурится. Провожать себя к дому запретила. Раз едем с ней вечером в трамвае из кино, стою я, задумался, тяготит меня какой-то страх, предчувствие, что ли. Гляжу в стекло, рожу свою темную вижу — и вижу случайно, смотрит Оля на мою спину, а сама... Как бы сказать... Не испуганная, нет... А вот будто узнала, что ей к зубному врачу идти. Не стал ее встречать. Видел, конечно. Пройду мимо, будто не заметил, и она так же. Тут меня совсем довело. Стал на все злой. Ужас... Понять надо. Дни идут. Занятия не клеятся. Писать не могу. Все чудится — не тот цвет беру. Будто параличом разбило. Возьму кисть — рука трясется. На занятия, куда ни шло, хожу по инерции. А в свободные дни, в воскресенья, такая тоска — горлу тесно. Бредешь в город. Толпы по бульварам... Все вроде веселые, счастливые. И ты тут же, как пария, как шут гороховый. И смот-

рят, смотрят, смотрят! Кто с жалостью, кто с любопытством. Иные, правда, словно не замечают, боятся взглядом даже обидеть. Эти лучшие. А мне уже все равно — и жалость эта, и любопытство,— понимаю, не виноваты люди, что смотрят на меня. Приду в общежитие, брякнусь на койку. Зареветь бы — слез нет. Поможет ли? Кабы помогло... Боялся: с ума сходить начну...

...Уж извиняйте. Первый раз так... Разоткровенничался со своей житухой... И вот стал я, понимаете, пить. Первый раз выпил, хорошо вроде, спокойно, весело. Там и еще, еще. Были бы деньги... Понемногу до шпаны докатился. Разные блатные мальчики. Вечера у гастрономов. И я чего-то с ними. Думал, тут меня поймут. Болтаю, подлаживаюсь под них, пью. А-а... Девочки были... Жалели... Сейчас от той жалости гадостно. Напьюсь, буянить начну. Изобью кого-нибудь. Меня изобьют. Так жил... А в заключение попал совсем странно. Пошел я в баню, в субботу. Иду это, вывернулся за угол, вижу, лошадь из ворот выезжает. В это время вылетает из-за поворота «Волга». Лошадь-то в оглоблях, попятиться не смогла. Машина дальше — а кобылка головой трясет, вся морда разбита, зубы вылетели. Трясет она, бедная, головой, смотрит слезами. Кровь с морды шнурами льет. А мужичонко-то, возчик, схватил кнут да по лошади-то. Хьяк! Хьяк! По глазам, по бокам...

Что-то сделалось со мной — свету вроде не вижу. Бывает у меня такое. Бросил бельишко. И так я того возчика избил — чуть не до смерти. Толпа отобрала. В милицию меня. Потом суд за хулиганство. Тем более и раньше приводы были. Два года... Отбывал в исправительной колонии на севере. Срок не весь отбыл. Амнистия вышла. В училище не пошел. Приехал в город. А на работу не берут. Чтоб на работу приняли, штамп надо о прописке, трудовую книжку, у меня же одна справка. Чтоб прописали — квартиру надо. К кому ни толкнешься: «Откуда?» Что я скажу, стриженый-бритый? «Не сдаем». И дверь скорее на запор. Хорошо — весна была. Кончились у меня все деньги. Дальше что? Пошел в управление милиции. Так и так, говорю. Или снова меня в колонию, или работу давайте. Начальник один, майор, долго меня оглядывал, велел зайти через день. Захожу. Спрашивает:

— Хочешь лесником на кордон?

— Хочу.— Я тогда не то что на кордон, в Антаркти-

ду бы поехал. Хотелось одному побыть, в себе разобраться. К тому же думал, писать здесь буду, один, без указчиков. Благодарен я этому майору и сейчас.

Написал он записку, позвонил, и пошел я устраиваться. Перед отъездом Олю встретил. С мужем. Дородная стала. Еще красивее. Узнала, покраснела. Отошли в сторонку. Молчим. «Ты, говорят, в тюрьме был?» — «Был,— отвечаю,— за хулиганку».— «Как же ты до такой жизни докатился?» — «Докатился, — говорю, — докатился...» Вижу, у нее вроде слезы. А муж стоит, притоптывает, кисло смотрит... Вот я и здесь...

Лесник снова лег, но не спал, кашлял, поворачивался с боку на бок, так что стонали пружины кресел. Его неожиданная исповедь не удивила меня. Может быть, я заранее угадывал ее. Не в первый раз попадались люди вроде бы совсем обычные, пресные, однако перенесшие черт знает что: и концлагерь, и плен, и многолетние издевательства. А лесник и с виду был не таков. Сказал бы что-то еще... Объяснил свое сегодняшнее. Куда идет? К чему стремится? Или навсегда решился жить так: писать осинки и закаты, отводить делянки, отбирать ружья у деревенских парней, постепенно терять свое подлинное, обращаясь в конце концов в заурядного Ивана Иваныча, любителя бутылки и баньки с березовым веником по субботам. Перекипит, осядет с годами задор, усталость отяготит и без того согнутую спину — и вот еще один неудачник, вздыхающий на завалинке: «Жизнь-то мимо пробежала... Не видел жизни...» Или он испытывает себя, калит одиночеством, должно быть, и так немалую волю?

Было совестно тревожить его, хотя и слышалось — лесник не спал. Кто его знает? Может, кается уже, что раскрылся перед незнакомцем. Часто-часто за непрошеным откровением приходит и злость на себя, и стыд. А все-таки... Невыносимо, наверное, жить одному на этой дикой островине среди болот... «Вот где нужен человек человеку,— думал я, глядя в сумрачные окна.— Знать бы, что он есть — этот человек, где-то тут, поблизости, спит, дышит, может проснуться, встать, поговорить, вместе испытать страх и тревогу, вместе успокоиться. Как много-много, когда близко есть человек! И скорее не мне — другому, может быть некой женщине, была лесникова исповедь, накопленная годами вынужденного молчания и тоски.

Прошло не менее получаса, пока лесник заговорил:

— Понимаете, люблю я все живое, все-все на земле! Даже вот филина люблю, каждое его перо, глаза, когти... Чудо ведь, чудо лесное! Дремучесть какая! И жизнь у меня счастливая. С тех пор, как со страхом расстался... Живу и жду... Каждый день жду. С зорьки дотемна. Что-то день принесет? Чем обрадует, опечалит... По весне жду дождика... Застучит в окно — будто гость пришел. Бегу глядеть, мокнуть. Выскочишь — на крыльцо — тучи какие теплые, раздольные, цвет какой! Горы в тумане, в дожде. Ветерком дышит. Пасмурно, темно. Всякая букашка оттаяла. Кулик свищет. Косачи урчат, лягушки лают. Весна... А летом? Гляньте-ка, что у меня тут летом! Выводки пищат, каждая птичка у своего гнезда возится. Глухарка в островине поселилась. Мимо гнезда пройду — не слетает. Потом видел: ходит в острову, кокает, взъерошенная такая рыжуха — громадина, красавица черноглазая. А глухарята за ней по траве пересыпаются, желтенькие, пестрые... Лилиями все озеро зарастет, утром они открываются... Волшебство! Вода — арбуз разрезанный. Свежесть какая! Солнце не встало. Восток полыхает и алым, и синим. Золотым горит. Рыба ходит. Круги везде. Мошкара толчется, жучки играют. Сидишь в лодке-то во всей этой благодати, бьешь комаров и молишься, даром, что неверующий. Господи, думаешь, хорошо-то как! Ельник на том берегу — чистый ультрамарин. Березы здесь — голубые. Стекла избы огнем оранжевым играют. И трепещется душа. Обнял бы землю, целовал, ласкал. До чего хорошая, родная, славная. Как на тебе жить хорошо...

Приподнялся. Сел. Продолжал с какой-то радостно-тоскливой нотой:

— А осень-то забыл? Осенью лес!.. Одни осины — сердце ломит!! Где же такую красоту захватить, чем остановить? Сюда повернешься — хорошо, сюда — еще краше, лучше. Сколько всего на земле, подумаешь, великого, красивого: и леса, и деревни, и девчонки, и океаны... Подумаешь, зачем родился на короткую жизнь? Жизнь-то у нас слишком малая. Глупо... Да и ту губим бессовестно — прокуриваем, пропиваем, убиваем себя... Не в том дело, конечно, чтоб дольше прожить, а в том, что завязаны глаза на красоту: глядеть глядим — видеть не видим. Как слепые, ходим мимо красоты. А хоть и видишь... Вот сижу однажды за этюдом, осенью. Ветреный день.

Шумит все, шумит... Солнце сквозь тучки плачется. Небо в синь... Тихая такая синь, грустная. Жаворонки вверху отлетные «юр... юр...». И береза по ветру шумит, переливается, будто золотыми слезами... Летит с нее золото, летит. А я не могу ее краской взять. Не могу, и все тут! Там мазок, тут мазок — там хвачу, тут хвачу... Откинусь. Нет. Не получилось! Не поет этюд, как надо бы петь, чтоб все в нем было: грусть эта небесная, холодок... ветер...

А первый-то снег! Да удайся он мне! Напиши-ка я хоть огородишко, как есть: прясло в снегу, татарник, щеглишек на нем... Плачу. Плачу другой раз! Просто сижу, реву. Почему не далось в полную силу цветом владеть? Поч-чему?! А? Я бы... Помните, Клод у Золя писал женщину — не мог остановиться. И понимаю, женщина — природа, та же земля.

Ну, давайте-ка спать, наговорил я тут, наболтал,— вдруг конфузливо сказал Леонид, быстро лег и умолк.

А я еще долго не засыпал. Сон не шел. Мешал непривычный шум озера и та мгла, которая стояла в горнице, никак не похожая на городскую, плотная и враждебная мгла, которой самое точное название — мрак. Будто навечно одела ночь землю, и этот мрак никогда не рассеется, не придет рассвет. Я раздумался о земле. Вдруг представилась она перенаселенной, задыхающейся от угарного газа, с отравленными реками, зараженным океаном и вырубленными лесами. Я увидел ее сплошь распаханной до последней ямы, окультуренной так, что само слово «природа» непонятно живущим. Стало страшно и душно, будто все это уже случилось... А где же на той земле вдовый запах осенней полыни, опушки с вольно разбежавшимися осинками, покосы, родниковые речки, чмоканье соловья в черемухах; и добрые старые дубы — вековая память и печаль,— от одного взгляда на которые дрожит и трепещет русское сердце; где степь с тягучими звонами жаворонков, их россыпями и переливами в солнечном небесном зное, бесконечно величавая равнинушка, глина оврагов, свист сусликов, шорох трав и ленивый полет орлов; где спокойные реки под ночным закатным заревом, когда оно отражается в них вместе с тучами, звездами, пароходными огоньками, бакенами, ночными туманами, всем своим матовым, синим, лиловым и розовым переливом, всей тайной и глубиной... Однажды я видел такую реку. Ночной поезд шел

бесконечным мостом через Волгу, и под ним в туманах, былинной седине и мгле лежала вечная река. В ней было столько ровного спокойствия, бесконечной наполненности, простора и тишины, что я подумал — она как Русь, весь русский характер в ней, и не будь ее на Руси — у нас не было бы Пушкина, не родился бы Толстой, не было бы, наверное, ничего великого, чем мы горды до гроба,— разве не связаны с ней неразрывно те имена, что всегда живут в нас...

Долго грезились мне еще какие-то леса, облака, березняки, дожди, порывы ветра в полях, какие-то корабли, волны, острова, берега...

Проснулись под утро. Вышли поспешно. На крыльце, в огороде и на берегу — везде лежал снег, и оттого было светлее, чем в прошлую ночь, пахло снегом, остуженной ночной землей. Этот запах был мягкий, растерянный, чудилось в нем близкое вольное тепло. Ветер то упадал, то задувал отчаянно, и тогда впереди в лесу что-то крякало, охало, стонало. Озеро бушевало с протяжным шумом. Я оглядывался на этот шум. И все старался как будто его понять.

— Стихнет к утру,— долетел голос лесника, шагавшего с фонарем впереди.— Ветер с перерывами пошел... Сверчок заскрипел... Слыхали сверчка? Тепло будет.

Он зашагал еще увереннее и так скоро, что я едва поспевал по ночному болоту, спотыкался, проваливался меж кочек, и тогда под сапогами вздыхало и чавкало, и оставались сзади черные ямы-следы. Припорошенное снегом болото до самого леса было мрачно-светлым, зато небо теперь нависало темной пучиной, и лес стоял впереди, как угольный. Редко в прогалах обозначалась звезда, обозначалась и скрывалась боязливо. Ветер сильно подпирал спину, и все глуше, тише становился шум озера, пока совсем не смолк.

— Хорошо... Такая погода. Не пойдет Санька через озеро... Побоится. Сюда кинется... Говорили мне на станции — грозился всех глухарей выбить. Назло... Мне, значит... Прошлый год, весной, я у него ружье отобрал — косулю стельную он убил... по насту загнал. Штраф заплатил. Только зря... Вернули ему ружье в лесничестве. Доверие, мол, к человеку нужно. Вот оно доверие... Доверяй такому. Сами видели, чем оборачивается. Дове-

рие... Вот, скажем, волку можно...— и он еще что-то говорил, там, впереди, но ветер уносил слова, и было непонятно.

Мы вошли в шумную лесную мглу. Лесник нырял где-то впереди, искал тропу. Он нашел ее быстро, и мы двинулись по ее извилистому узкому лотку, слегка присыпанному ночным снежком. В лесу снегу было меньше, стояла неясная морочь, на далях слитая в неразличимую тьму. Но чем больше вглядывался я в нее, тем она была цветнее, проступал то сизый, то сиреневатый, то фиолетово-синий цвет. Тропа пошла березовым лесом, призрачно-белым, и стало светлее, но все еще ничего невозможно было разглядеть из-за хлестких веток, которые неожиданно и больно стегали по лицу.

Я шел, выставив вперед ладони, зажмуривая и открывая глаза, и вдруг наткнулся на спину лесника, смутился. Он стоял, потушив фонарь, и слушал. В стороне явственно топало, шелестело...

— Лоси! — Он опять включил фонарь и обернулся.

— Браконьеры?

— Не-ет...— лесник еще послушал.— Лоси... Сжили мы их. Их тропа... Я их знаю давно. Пара. Возле Балчуга, как привязанные. Бык старый, лет десяти будет. Корова молодая... Трехлетка, не больше. Узкие копыта. Прошлый год яловая была. Опять ходят вместе. Берегу их... Сено на зиму подкашиваю в болотинах. Рогач-то на меня бросался осенью. В сентябре... Самый гон. Идет бык по просеке, ревет страшно. Я не поберегся, вышел — думал: побежит... А он фыркнул, нагнул рога — как двинет ко мне... Еле я увернулся. Стрелять пришлось — тогда отстал. Зверина... Шерсть на загривке дыбом, глаза горят, топочет ножищами, рогами трясет, пугает.— В голосе лесника слышалось довольное уважение.

Еще через полчаса, когда небо уже начало томиться, мы вышли на длинную прогалину — не то елань, не то покос, кругом в черном молчаливом ельнике. За ельником белело. Близко булькала речка. И мы заслушались ее холодным наговором, переливом. «Буль-бли, буль-бли, буль-були-бли»,— доносилось со спокойными ровными перемежками.

— Ту-ут! — шепотом протянул лесник. Фонарь он давно погасил и теперь осматривался, слушал — даже фуражку снял зачем-то, бесшумно переступал по сырому снежку.— Рано. Пока гости не подошли, затаимся.

Он надел фуражку. Мы сошли с тропы в еловое колючее мелколесье. Елочки потревоженно роптали, хлестали упругими ветками.

— Посидим, колодина вот...

Смели снег, присели на толстый сырой ствол. Невдалеке, в кромке поляны, что-то завозилось, раздалось скрипучее бормотание.

— Глухарь! — дохнул в ухо лесник.— Первое время, не поверите, я даже боялся их, черт знает?.. Древен... Звуки эти. Чудо. В лесу так... Сильно лес на душу действует...

Понизил голос:

— Весной особенно... Сидишь где-нибудь на сече... Вечер. Солнышко садится. Птички поют. Вершинки сквозят... Жуки-букашки разные на закат подымаются. Кто они? Думаешь: «Разная у них своя судьба, живут, пару себе ищут, летят куда-то...» Так-то одиноко станет. Думаешь: «Что я тут сижу... В город бы... Жениться. Жить, как все... Дети...» А вспомню взгляды любопытные, сожалеющие... Здесь-то на меня так никто не глядит. Здоровым себя чувствую, обыкновенным, что ли. А? Правда... Вот, говорят — слепые сон любят. Видят во сне. Так и я. Одумаюсь — душа отойдет. Ничего... А как вы думаете, может, я дальтонизм свой осилю? Смотрели работы... Как там? Цвета правильные?

Что я мог сказать? И он тотчас понял.

— Стойте! Не надо. Сам знаю... А-а... Если б осилить... Если бы... Замечаю, когда вглядываюсь резко и еще если в сумерках,— вроде правильно вижу все тона. Табличку для сверки написал. Ухитряюсь. Глаза колет. Осенью, бывает, до того допишусь, слеза идет... Я в город вернусь, когда силу почувствую. Такую силу, чтоб написать картину. Весна, скажем... Или снег... И чтоб всякий перед картиной этой, как перед весной,— шапку вниз — стоял, самый равнодушный... Чтоб задумался, оглянулся: «Как живу? Что вижу?» А? Понимаете? Ведь я знаю, что вы обо мне подумали. Знаю — не обижайтесь. Иногда, как провидец какой, чувствую...

«Эх ты...— с досадой подумал я,— может, и правда ничего от тебя не скроешь...»

— Вы подумали,— продолжал лесник,— дурит парень, в пустынника играет... Может, подумали — помочь надо, выбраться отсюда, то... се... И живопись мою вы невысоко поставили, хоть и понравилось, видел... Ну, не

отрицайте, зачем... Невысоко... Вы подумали — все-таки пейзажи, цветочки, листочки!.. Да нет же... Я вас не хочу обижать, может, правда, не так... А я сейчас замысел свой расскажу. Ишь, мол, как! Хватил! Замысел!

Я наконец понял его, но сказал, что у замыслов, открытых другому, не бывает удачи.

Лесник помотал головой.

— Пустое! Что там — не бывает! Я в приметы не верю. От себя все. Вот мой замысел, слушайте... Двенадцать картин. Двенадцать! Это на всю жизнь. До конца.

— Почему?

— Больше не надо. Эти бы успеть. Одна тема...

— А почему все-таки?

— Год. Понимаете? Год. Человеческая жизнь в картинах. Жизнь вообще... Это приблизительно. Год. Картины-символы. Может быть, аллегория, экспрессия... И начал бы с марта... Потому что весна должна открывать год. Март. Рождение. Вот как я его вижу. Полотно огромное, чтоб било светом! Солнце не пишут, только дети рисуют, а я напишу! Белый раскаленный круг. Белый! Краски бессильны... Краски все в белом. И только где-нибудь блик, чтобы слепило, сияло. Лучи кадмием, пронзительнее, до звона, и снег... Какой снег! Голубой, сиреневый, синий, фиолетовый. Такой, как только в марте, утром, на крышах... Март... Так задумано. Это в одной манере. А вот — апрель. Здесь жанр — пейзаж. Сырые поля. Дорога. Снег и вода. Подростки. Мальчик и девочка. Идут, опустив головы. Дальше?

Я кивнул.

— Май! Натюрморт. Черемуха и подснежники. Я эти подснежники уже писал — кисти ломались. И черемуху... А надо — чтоб пело, чтоб увидел и понял: весна, любовь, ожидание чего-то затаенного, может быть, и печаль. Я бы май пасмурным написал, с холодом... И все-таки май... Июнь теперь! Девушка. Обнаженная, загорелая, цветущая... Чтоб было в ней: зной, молодость, свет! Чтоб на одни зубы взглянул — засмеялся! Смеется она, смеется, закинула руки. Жизнь молодая — как я ее вижу! Вижу,— понизил он голос, почти до глухого шепота.— А июль — это портрет. Мужское лицо. Человек склонился над столом. И работает, работает. Главное — мысль и труд... Поняли? Август. Женщина. Может быть, даже отягощенная. Женщина на ржаном поле. Фон го-

рячий до золотого. Охрой. Как на древних иконах умели... Охрой. Рожь и женщина...

Он увлекся и, уже держа меня за рукав, весь ушедший в воспоминания и картины, говорил:

— Наверное, еще не все... Конечно, не все... Только первое... Надо думать, искать. Сентябрь никак не дается. Или натюрморт? Корзина с грибами, посох. Все на посохе построить? А? Ух трудно. А здорово бы, на одном посохе, на палке всю жизнь показать, всего человека. Октябрь — пока одна заря — красная, красная. Переливы красного, вишневого, багряного. Еще не нашел совсем, а чувствую, основное — заря... Ноябрь — это натюрморт. Большой. С окном. Там снег. Снег, как воспоминание. Или не так? Может быть, стол, чашка, пенсионная книжка. С деньгами. Нет. Сомневаюсь... Грубо... Тоньше все надо, тоньше...— Он умолк.

— Что же дальше-то?

— Надо ли дальше?

— Какой вы? Раз начали — досказывайте.

— Хотел, а сейчас что-то испугался. Вдруг — все не так? Да и словами не скажешь. Надо увидеть, представить... Ноябрь... Снег идет... Нет, надо так, как сначала.

— А декабрь?

— Декабрь... Это старик. Задумавшийся старик... Мудрый, мудрый. Лицо вижу. Может быть, он свою молодость вспоминает. Может быть, вспомнил жену... Январь — это грустно. Жанр. Большая картина. Зима. Вьюга. Лежит лошадь и занесенный снегом боец. Убит. А рука поднята — в ней шашка. Так застыла. Поднята шашка. Ну, и февраль. Это напоследок. На старость. На коленях писать буду. Очень просто, а понадобится вся сила. Мальчик. Задумчивый мальчик. Глаза. Стоит и смотрит. Вот картины... Я начал уже... Вам не показал. Никому не покажу... Пока не по... Пока не почу... Что? Что это? Слышите? Идет! — Он привстал, медленно распрямился. Тишина рассвета была обложная, если б не речка... Вот и я услышал шелест.

— Идет!

И тут же глухарь, сидевший где-то близко, в елях, щелкнул первый раз «тэк...». Светлело. Голубое, зеленое, оранжевое стало раскрываться в тучах над ельником, будто расширялась там во все небо невиданная радуга. Пробежал вершинами, сник и упал в глубине последний ночной ветер. Ночным голосом простонала за

ним надломленная лесина. А глухарь уже скрежетал своим жарким задыхающимся шепотом. Вот издал странный кашляющий звук, покрыл его костяным щелканьем, и снова тот же трясущийся шепот.

Дважды прошумело слева.

— Скачет! — пробормотал лесник, весь собираясь в ком.

— Нате! — вдруг сунул мне в руки свою «ижевку», полез из елок.

Глухарь токовал. Шорох приближался. Я встал на колоду, всматривался в синеву меж стволами, пытался уловить движение и наконец заметил. Темное двигалось наискосок в направлении глухариной песни. Двигалось и пряталось, замирало. И совсем бесшумно, короткими перебежками мелькал лесник. Все походило на какую-то хищную игру. Вот темное встало за дерево. Вот мелькнуло под песню. Раз-два-три — перескочил и лесник. Снова темное двинулось. Теперь я не видел ни незнакомца, ни лесника — оба скрылись в подлеске у опушки. Держа в обеих руках по ружью, не знал, что делать.

— Стой! — грянул голос лесника, неожиданно звонкий и грозный.

Мгновение было тихо, потом хлопанье большой улетающей птицы, и еще одной, и голоса, спорившие быстро и хрипло.

— Уйди, сука...

— Сдавай ружье!

— Не подходи... Не подходи!

— Сда-ва-ай!

— Уйди с добра...

— ...

— Убью! Ты...

— ...

За деревьями что-то происходило. Я слышал возню, удары, брань и хрип борющихся людей. И вдруг жутко, оглушительно лопнуло там, хлестнуло по веткам. Не помня себя, запинаясь, я закричал и побежал туда, выскочил на прогалину и увидел лесника с поднятым ружьем, а рядом пригнутого, оскаленного по-волчьи, взъерошенного и страшного, с руками до земли.

Увидев меня, человек растерялся, выпрямился, тяжело дышал, искал глазами сбитую шапку. Это был он, вчерашний лобастый незнакомец, я узнал его сразу, даже в рассветных зыбких сумерках.

— Не имеешь права... Я не стрелял ищо... В суд подам...— бормотал он, подбирая кепку, отходя.

Лесник молчал, дышал загнанно, вертел ружье.

— Отдай, слышь? Боле не приду...

— Иди себе...

— Не отдашь?

— В озеро брошу!

— Не имеешь прав. В живот пнул! К следователю заявлю...

— ...

— Отдай ружье. Хуже тебе будет!

— Проваливай,— лесник открыл ружье, достал и бросил в снег патроны.

— Не отдашь?!

— Иди себе...

— Ну погоди, погоди, с-сука горбатая... Я т-тебя... М-мы тебе...— лобастый дернул кепку за козырек, натягивая ее глубоко на уши, быстро пошел прочь.

— Эй! Стой! — белея лицом, загремел лесник.— Видишь? — он поднял ружье ложей вверх.— Вот! Вот! Вот!

С этими словами он изо всей силы хватил «тулкой» о ближнюю березу. Раз, два, три... Хряснула шейка, отлетело цевье, стволы жалобно трынкнули и разъехались.

— ...Вот так и живем,— сказал он, когда я подписал канцелярский бланк протокола.— Спасибо, вы подгодились... Одному бы... Он свои права знает. А теперь пусть поохотится, пускай... В суд подаст? Не посмеет! А-а... Хрен с ним, пусть подает. Может, вы подтвердите, что не с добра он ружье отдал?

Первый раз я увидел, как лесник смеется. Некрасиво он смеялся, как-то непривычно и точно через силу.

Связал искалеченное ружье погонным ремнем, принял от меня свою одностволку, потоптался, оглядывая поляну. Я прислушался. Вдали, у речки, токовал глухарь.

Мы вышли на тропу, а лесник все улыбался, дергал головой и вообще был донельзя оживлен.

— Провожу до трассы,— говорил он, шагая рядом, отводя ветки свободной рукой. Глядел по сторонам...— Заказник бы здесь, какой ни на есть... Лет на двадцать бы, а? А то заповедник... Ведь лес-то! Липы какие есть!

Не поверите. Лет до четыреста! Пчелы гнездятся. Где уж теперь дикая пчела? С древней Руси ее зорили, а тут есть. А ели! Вот она какая выросла. Матушка-боярыня. Хвоя-то, глядите, как кудрявится. Эх, лес... Лес... Каждый выстрел меня колет. Такой уж я. Не могу выстрела слышать, и все... Осенью, в сезон, ходят, палят. Не запретишь. Палят — я считаю. Раз отвесил! «Это убил!» — думаю. Так-то горько... Кто ему там попался? Косач, заяц, может, а то просто птичка-слепышок... дятел. Дятлов в первую очередь бьют. Не боязлив, доверчив. А слышу — два раза лупит — это промах чаще... В белый свет выпалил. Весь измучаюсь от этих выстрелов. Есть, спать не могу. На Илиме дежурю, проверяю. Жалко...

На широкой высоковольтной трассе остановились. Плечистые опоры ушагивали по увалам далеко за бледно-голубые хребты. Потрескивало, гудело на линии, в провислых проводах угадывалась неведомая сила. Сама трасса уже начала зарастать березовым прутнячком, осинками и кустами вербы, выбросившими на сухом месте поздние сережки. Яркий сосняк топорщился везде, напористо лез между черных пней и серых валунов, кое-где выступавших из земли. Везде таял ночной снежок и мягко пахло им и водой, сочившейся с камней, мягко проглядывало солнышко, еще не теплое, но уже сулившее близкую радость. Свистел, поскрипывал на вербе снегирь. Уныло ворковал в глуби лесной голубь-вяхирь. Кружил над трассой медленный канюк, высматривал добычу, и голос его звучал чисто и дико — «ки-аай, ки-ааааай!» Все было так, как всегда бывает в перемежные дни весны, когда тепло борется с холодом, дождь с солнцем и когда веришь, вот-вот пересилит, проглянет, одолеет, и земля надолго станет теплой, сухой и счастливой.

— Ну, прощайте,— говорил лесник, пожимая руку сухой холодной ладонью.— Многословен был... Намолчался. Может, летом соберетесь, приедете... Рыбачить будем. Щук на дорожку. Комаров здесь, правда, много. Зато грибов, ягод... А то пишите, на Илим пишите, леснику. За почтой в неделю два раза бываю...

С тех пор получил я от лесника два письма. В первом он просил выслать объяснение в лесничество из-за отобранного ружья.

«А то меня за самоуправство под суд грозятся. Санька повернул дело так, будто мы на него вдвоем напали, чуть ли не ограбили. Ружье-то его я в лесничество снес, как вещественность представил. А мне лесничий говорит: «Почему сломано? Не имел права ломать. Платить, мол, будешь».— «Он сопротивлялся!» — «А глухаря-то он убил?» Что я скажу: «Нет, не убил!» — «Ну так что ж ты,— говорит,— маленький, что ли? Нападение. Подсудное дело. Улаживай как знаешь». В лесничестве меня не любят. Много хлопот со мной. Без хлопот-то ведь жить легче. В общем, все это обойдется как-нибудь. Не в том обида. Опять он сухой из воды выходит».

Писал, что у кордона появился выводок волков и надо ждать снегу, чтоб выловить их капканом. Про свою жизнь сообщал скупо: «Работаю. Этюды девать некуда. Тренируюсь на цветоощущение. Приехали бы поглядели...» В другом письме попросил выслать коробку белил. В конверт была вложена трехрублевая бумажка. После писем не стало, хоть я ответил на каждое. Лесник молчал. Странный человек. Не то обиделся на что, не то просто забыл. Сам я годами не писал письма, вспоминал о них перед большими праздниками. Да и со сколькими людьми в жизни сходишься, кажется, ближе не может быть, за одним столом пьешь-ешь, живешь подолгу, а расстался — и забыл, и тебя забыли. Так думал я, когда вспоминался Балчуг и те дни в гостях у лесника.

Я собрался на Балчуг лишь через год, в конце сентября. Светало, когда я сошел с проходящего поезда на Илиме. Часа через три муторной ходьбы по разбитой и грязной лесовозной дороге я вышел на трассу в том самом месте, где мы расстались. Присел отдохнуть на окатанный временем и дождями валун.

Когда я сижу на таких огромных камнях, мне почему-то вспоминается земля доисторическая, я думаю о ней, представляю, какие тогда были дожди, ветры, грозы, какие звери бродили в лесах. Какие ползли ледники. Может быть, лохматый рыжий мамонт заходил на эту горушку, стоял, касаясь камня хоботом, обдувая его утробным теплом, может, лежал на валуне пещерный лев, желтыми умными глазами следивший за стадом зубров, или сидел мой дальний прапредок, отдыхал и трогал на палец кремневое лезвие надежного копья. Многое вызывает широкий обомшелый валун. Во впадинах его поверхности скопилась серая земля, перегнивший мох и

лишайник — тут уже поселились травинки, растет брусничник и даже ягодки есть, бурые и твердые. Идет жизнь. И березки на трассе подросли, поднялись, сквозят ярко-свежим желтым листом, и повыше стали ершики сосен. Шелково вспыхивает в них осенний тенетник, блестит и на камнях, и в траве. Холодом, заморозком тянет из низины. Осинки теряют твердый пунцовый лист...

Тишь и безветрие держались уже неделю. Земля томилась перед снегом. В пустом лесу слышны были одни синицы. Они трещали и цвенькали, возились в кустах.

Высоко над лесом, то растягиваясь почти в линию, то сдвигаясь в строгий печальный угол, в лад и мерно качая крыльями, пролетели гуси, и я следил, как они удаляются, теряясь в сырой холстине неба.

Вспомнились этюды лесника. Все-таки весь год и сейчас я вспоминал его, поджидал письмо, потом уже не ждал, но раздумывал, как снова выберусь сюда. Вспоминался Балчуг, березы у огорода, сырой песок берега, лодки, озеро и леса за ним. Я представил лесника, как он бродит сейчас где-то в уреме по Истоку, как открываются ему виды один другого лучше, какие там лохматые живописные ели средь желто-горящего березняка, его сиренево-белых стволов и горячих красок вянущего чернолесья. А сама река в широкой низине меж синих дальних хребтов... Даже виделось, как лесник сидит с этюдником, осторожно берет с палитры тон, кладет, откидывается, смотрит с обычным своим печальным рассеянным вниманием и слушает тонкое фиканье отлетной пеночки, шныряющей в черемухах у воды. А может быть, просто сидит на берегу, на перевернутой лодке, сгорбился, надвинул козырек фуражки, глядит в озеро, на пересыпающиеся над волнами стайки птиц... Захотелось скорей добраться до Балчуга.

На дороге в коричневой грязи, на поверхности луж и на молодых елках — везде цветисто и щедро желтели, голубели, краснели светлые и темные, свежие и жухлые листья. По всему лесу сильно пахло. Пахло листьями, сухой полянкой, землей, отдавшей лету свою предвечную силу, туманом, севшим в траву, последними грибами, последними муравьями. Этот запах особенно настаивался в низинах, где к нему примешивался острый аромат сникшей травы, подкошенной в отаву осоки и холодной воды, невидимо пробирающейся меж кочей. Изредка

в лесу прокатывался выстрел. На мгновение замирало все, вздрагивало, прислушивалось. К полудню стало посвечивать, ненадолго расползлись облака, робкое тепло тронуло захолоделые опушки. Сиротой-ребенком улыбалось белое солнце — в тон ему был трепет листочков, писк синиц и что-то голубое, слегка фиолетовое, растворенное в далях, в кустах, меж стволов берез и в макушках сосен.

Снова бумкнул выстрел — эхо откатилось и просторно повторило его: раз-два-три...

Перед вечером я вышел на пойму к Щучьему. Незнакомо нарядный в березняках и осинах завиднелся Балчуг. Вон и серая крыша кордона. Высокая жердь с антенной крестом торчала над ней. «Телевизор купил!» — удивился я на этот крест. Из желто-забеленной трубы прямо и мирно подымалась голубая струйка. «Дома!» — обрадовался я и заспешил по обкошенному зыбуну.

Едва ступил на островину — послышалось садкое теканье топора. Кто-то хозяйственно, споровисто тесал им. Так текать может топор только в привычных руках. Навстречу выбежал рыжеватый пес с желтыми подпалинами, желтыми точками над глазами и вислыми ушами. Он залился злобным гончаковым брехом, опасливо встал. А вслед за собакой на тропу выскочили мурзатая девочка лет пяти и такого же возраста мальчик, может быть, чуть постарше, в огромной не по росту кепке. Никак не ожидая встретить тут детей, я молчал. Молчали и они. Разглядывали незнакомца. Потом кепка обернулась, сопливым голосом позвала:

— Дедо-о! Тут хто-то-о...

Кусты зашуршали. На тропу вышел прихрамывающий мужичок в фуражке лесника, загорелый и давно не бритый. Лицо его, маленькое, треугольное, с круглыми большими глазами лемура и крохотным поджатым ртом, выражало озадаченное недоумение. Мужичок держал плотничий топор, морозно блестевший по отточенному лезвию.

— Здорово... Кого надо? — приветствовал он.

— Лесника бы...

— А я и есть лесник... По какому делу-то?

— Да нет. Не к вам...— пробормотал я, уже как-то тревожась и недоумевая.— Я к леснику, который тут жил... К Леониду...

— Во-она! — протянул мужичок.— К горбатому! Дак его нету... Год уж как схоронили. Приказал долго жить...

— Как?! — кашлем вырвалось у меня.

— А этак... Проходите, однако... Пшел ты! — махнул он топором на собаку, глухо ворчавшую с обычным собачьим недоверием.

Он захромал к кордону. А я побрел следом, все еще не понимая, отказываясь поверить, что лесника уже нет. Слова, так просто оброненные мужичком, не укладывались в сознании, и даже глупая мысль: «Что-нибудь тут не так...» — слегка успокаивала меня.

В огороде копали картошку две женщины: пожилая и молодая, похожая на нее,— по-видимому, мать и дочь. Желто и розово лежала на сохнущей земле меж кучек ботвы крупная россыпь клубней. Стоял до половины заполненный картофелем мешок. Лошадь по-прежнему паслась за изгородью. Женщины одинаково распрямились, с одинаковым любопытствующим недружелюбием поглядели круглыми деревенскими глазами.

Лесник провел меня мимо избы на берег озера. Тут, на подмытом валами обрыве, среди свежей щепы и коры, стоял располовиненный, еще не скатанный на мох сруб. Кучи белесого торфяного сфагнума сохли возле.

— Баню лажу,— мужичок кинул топор в янтарное, тихо звукнувшее бревно.— Садитеся,— пригласил, смел щепу и сор с толстой неошкуренной колоды.— Вот тута можно... Папиросочка-то есть у вас? — прищуриваясь, неловко-осторожно выловил сигарету прокуренными желтыми пальцами, неловко запалил, двигая нижней губой, уселся рядом.

— Как получилось-то? — продолжал он, затягиваясь, отдуваясь и отирая рукавом слезящийся глаз.— Ф-фа-а. Давно не курил легкого табаку. Сладкой... А так... Горбатый-то парень шибко настырный был. Вы ему не родня случаем? Не сродственник? Нет? Ну дак вот... Ведь он взнику никому не давал. Оружие отымал, сети, лодки у рыбаков. И все один. Сам. Бесстрашный был на удивление даже. Стерег лес — ничо не скажешь. У него, брат, ни порубки, ни охоты в запрет, ни боже мой! Найдет, все одно найдет. Вот как будто чует... Прямо как из-под земли явится. Документики? Ага! Стоп... Сказывали люди: отымет ружье — шварк об лесину. Потом хоть бери, хоть не бери... Да-а... А тут в Сорокиной у нас браконьеры лихие. Охотой промышляют с таких вот

годов. Самой-то основной Санька Бударин да Масленниковы братья. Ну и другие. Я сам-то из Сорокиной. Знаю всех... Ну вот... Да... Отобрал лесник у Санка ружье — новехонькую «тулку». Сто двадцать рубликов плачено. И не отдал. Сказывали, разбил. А потом у другого дружка, у Мишки Масленникова этак же... Скараулил, вопчем. Ну, вот... Да...

Задумчиво отряхнув пепел гребнистым ногтем, отерев глаз, продолжал:

— Оне озлобились, ясно. Ребята отчаянные. Сиделые все не по разу и пьянисы, прямо сказать,— лакаголики... Только вот что антиресно, Ленька-то сам, сказывали, сидел, за что, уж не могу объяснить. А точно сидел. Ну вот, да... Под зиму по первому крепкому снежку Санко с Мишкой завалили лося с лосихой. На Екатерину, никак, было... Только озеро встало. Оно у нас поздно встает. Ключи теплые со дна идут, лес тоже от ветру закрывает. Ну, сохатый сам знаешь какой — не козел, не глухарь — в мешке не унесешь. Санко-то с Мишкой и стали мясо тихонько возить на Илим, на станции продавать за коровье. Оне в этом деле ловкачи-ребята. Мишка Масленников как-то рысь убил, дак тоже мясо-то продал за телятину студентам каким-то из партии. На станции жили, руду искали. Гербованные какие-то, что ли. Ржал потом, сказывал мне, шибко мясо-то им поглянулось, прибегали, мол, нет ли еще... Ну вот... Да... Завалили... значит, оне лосей-то. А лесник в обходе сразу и нашел по следу. Мясо-то нашел. Ему бы в деревню, али куды в лесничество за свидетелям, а он и не заявил даже никому, отчаянна головушка. Остался ждать. Приходят оне за мясом, а он и тут. Стой! Санька видит — деться некуда. Вина большая... Штрафу одного за двух-то лосей больше тыщи рублей. Хлесть из винтовки почти в упор, в лесника-то. Обрез, вишь, у Санка был. Отец, видно, с гражданской припас. Отец-то у него старик, колчаковец был, в Сорокиной у нас первый кулак. Сорок десятин сеял. Машины имел. Да и вообче винтовок много у наших таскалось. Белые в отступе ящиками бросали. Ну, вот... Да... Мишка Масленников, что с Санком был, перепугался... бежать. А Санко видит: лесник живой, да еще в его раза два али три... Всю обойму вопчем... И чтоб ты подумал, мил человек, успел ведь он, лесник-от, поднял свое ружьишко. Санко бежать! А тот в его хлесть — и наповал... В самую ма-

ковку ему жаканом угадал. Во как! Ружьишко негодящее было, не охотник был, а угадал... Случаем, не иначе. Мишка Масленников бежит, потом одумался, воротился взад пятки, дак сказывал, лесник-то еще привстал, к ему пополз, хрипит, кровь изо рта, а кулаком грозится. Во, какой сурьезный был. Мишка-то на деревню прибежал — лица нету. Повинился. Народ туды. Видят, Санька убитый валяется. А подале лесник лежит, прижался, сказывали, к земле, будто слушает ее.

Мужичок бросил окурок, плюнул, затоптал и, подняв реденькие брови, рассудительно продолжил:

— Тут, на кордоне-то, никто с полгода не жил. Кто сюда зимой поедет. Волков слушать... Не больно счас народ на такие места зарится. Все давай работу полегче, чтоб тяжеле карандашика ничо не подымать. Ну вот... Да... У лесника, видишь, родни-то никого не оказалось. Правда, имущества тоже одне картинки. Может, тебе надо какую, дак бери за ради бога. В сарае вон складены. Да... Художник парень был. Все кого-то пишет, пишет... Жалко его, конечно. Такие люди в редкость. Как куманист какой жил и погиб так. И хозяйства у его ничо не было. Кошка только. Кошка-то долго тут жила. Ждала его, что ли... На дорожку все выбегала, мяучила. А как мы переселились, ушла куды-то, с тех пор не видал. Филин еще был. Я его пристрелил. Хичник... Да и нечисть. Старики говорили, раньше филинов одне колдуны держали. Не к добру это — филинов держать. Может, вот он ему и наворожил. Да-а... Нук чо, может, еще закурим? Вот спасибочка — надоела махорка. Я ее сам сажу, шибко крепкая. Глотку дерет, как наждак, а на станцию недосуг съездить. Да еще приедешь — лавка на замке. Часто так бывает...

Помолчал, курил, следил, как дымок тает в холодеющем вечернем воздухе. Я тоже молчал, онемелый и опечаленный, как нельзя более. Где ты, человек? Куда ушел? Почему нет и уже не будет вовеки, а ведь давно ли сидели тут на этом берегу, у костра... Не хотелось ни говорить, ни спрашивать...

— Мне, конечно, за этим Ленькой не поспеть,— заговорил мужичок.— Он молодой, проворный был, даром что горбатый...

«Далось ему!» — с раздражением подумал я.

— Один он был,— продолжал меж тем мужичок,— а у меня, видишь, семья, внуки. Сам, можно сказать,

енвалид. В трудармии мне ногу лесиной раздавило. Лес мы в войну резали. И сыграла мне лесина прямо комлем. В обход верхом больше езжу. Ну и жалованье не велико. На питанье... Туда-сюда... Глядишь — денег нету. Прирабливать приходится. Я, видишь, плотник, дак когда избу кому срублю, баню, амбар... Тогда баба заместо меня лесом наблюдает, али дочь... Ничего, пока не пакостят шибко-то. Санко тут главный был, теперь его нету, дак легше. Правда, птицы пока не прибавилось. А раньше бывало чо-о! Косачей этих, глухарей, уток... куликов, пигалок разных... Яйца утиные, бывало, в пойме корзинами собирали. Поди возьми картины-то,— закончил он, подымаясь с бревна.

Прошли в гнилой, обгорелый сарайчик. Худая крыша насквозь просвечивала. Тут, в полумраке, среди сенных вил, граблей с выломанными зубьями, старой сбруи и банок с дегтем были прислонены и разбросаны покоробленные дождем и снегом этюды. Я брал один, другой, третий — все были безнадежно испорчены: картон вздулся, размок, краски отслоились, местами осыпались до грунта. Взял самый маленький картон, наиболее уцелевший,— осина, тихо шумящая на ветру.

— Бери, бери,— охотно предлагал мужичок.— Мне они все равно без надобности. В избе повесить — клопешки разведутся. Да и сам видишь — лес тут все написан. А лес, мил человек, я и так каждый день вижу, по ему хожу — комара кормлю. Кабы тут город бы, патреты — другое дело. Тоже вот, думаю, пороблю до пензии да и в город, под старость мягкого хлеба поисть. У меня в городе две дочери живут и сын.

Мне захотелось пройти в деревню на могилу Леонида, но то ли не было у лесника времени, то ли по другой какой причине идти со мной он отказался, ссылаясь на ревматизм и хромоту. Зато долго подробно объяснял, как пройти, где взять на левую руку, где на правую, где покажется осинничек, где пихтарничек. Тут же он выразил и сомнение: не найти тебе, парень, пожалуй...

Я заночевал на кордоне и наутро ушел прямиком по болоту. Пересек кочкарник, дошел до опушки, оглянулся. Уже далеко остался Балчуг. Предвечно синели за ним увалы. Светлело Щучье. Дул ветер, и лист летел с берез. Небо ветрилось, яснело. Высокие дороги пролегли там к солнцу, на восход.

1967 г.

Воротник

Хромая

Он почувствовал себя свободным и первый раз дохнул, раскрыл рот. Исчезло нечто скручивающее, сдавливающее его полубессознательное существо, исчезло вместе с короткой болью. Теплые прикосновения сильного и шершавого, но ласково-осторожного легонько переворачивали его. Тогда он снова раскрыл рот в судорожной зевоте, и первый пискливый звук слился с другими такими же слабыми ноющими звуками, которых он или не слышал, или не понимал. Полежав немного, он задвигался, заскулил, стремясь как можно ближе к тому большому, мягкому и теплому, от которого его кто-то отталкивал. И он тоже толкал, лез, полз на это тепло и в конце концов добрался, утонул в нем, тыкаясь влажным носишком. Дрожь сотрясла его маленькое тело, когда он стиснул беззубым ртом тягучую мякоть соска, и это сладостное, тягучее стало наполнять его существо, дало покой. Он сосал теплое молоко, перебирая лапками, жался в теплую шерсть.

Он был новорожденный лисенок и лежал в узкой, глубокой и вонючей норе на подстилке из скатанной зимней шерсти, тетеревиных перьев и сухой травы. Мать лисица была уже стара, хромала на переднюю лапу. Может быть, это родился ее последний выводок — пять рыжевато-белесых одинаковых щенков, таких мокрых, дрожащих и слепых — противных на чей-нибудь равнодушный взгляд, но таких милых, хорошеньких на взгляд лисий. Она облизала, вычистила, высушила трясущихся

от холода лисят, привычно подтолкнула их мордой к разбухшим ноющим соскам и задремала, блаженно облегченная, усталая, сотворившая жизнь; дремала, чувствуя, как уходит из нее боль, заменяясь отрадной сладостью от маленьких существ, которые копошились на ее пушистом брюхе. Она прикрыла их хвостом и лежала в темноте с полуоткрытыми светящимися глазами. И в их зеленом золотом мерцании было счастье, знакомое ей ощущением весеннего томления и удовлетворенности, счастье самки, которая дала миру детенышей, продолжателей жизни. Сколько раз рожала она так и всегда переживала это, свойственное всему живому, это, которое, должно быть, чувствует и всякий другой зверь, и птица, сидящая на гнезде, и каждая береза, когда у нее открываются новые почки, даже трава, зеленеющая под первым теплом, а может, и сама земля.

Лиса дремала, но все время бодрствовало, косило ее большое ухо, вслушиваясь в идущую наверху жизнь. Временами лисица поднимала голову, водила мордой вверх и вверх, тянула идущий в нору сладкий весенний воздух. Притупленному старостью слуху все же ясны были дальние тревожные звуки; частые удары, протяжный гул и треск. Хромая слышала, как падают деревья. Снова наизбочь она укладывала голову, прикрывала глаза, словно бы думала, дремала, а белый кончик хвоста все подрагивал, выдавая тревогу.

Уже много дней прошло с тех пор, как появились двуногие на лесистой мшаре. Сперва их было мало и они ничего не делали как будто, только бродили на лыжах и ставили полосатые колья, а теперь Хромая видела их повсюду, везде натыкалась на их пахнущие дымом следы, их страшные голоса гулко отдавались по всей мшаре, а едкие запахи бензина, табака и махорки до чихоты свербили лисий нос. Спиленные, подрубленные, с гулом валились березы, лиственницы и сосны. День и ночь горели пожарищем трескучие злые костры. Тучи искр, горький, пополам с пеплом дым разносило над едва проснувшимся апрельским болотом. Хромая недоумевала, как все живое вокруг: что надо было крикливым двуногим в прежде такой спокойной мшаре, где были по зимам только заячьи тропы да глубокие лосиные побреди. Раньше лишь отчаянные деревенские бабы ватажками пробирались сюда брать весеннюю сладкую клюкву. А с водополья, когда все

заливалось снеговой водой, с первых напоенных ею листиков на осинах до летних жаров, выгонявших из болотной почвы несметную рать крепких побегов и трав, с первых инеев и до последних мартовских морозов не заходили люди на лесистую мшару. Не ступала человечья нога и на пологую островину, где таилась под камнем-плитой давняя лисья нора... А теперь люди были совсем близко. Через болото рубили широкую трассу. Строители торопились пересечь мшару до полной майской ростепели.

Старуха Хромая отлично знала людей. В голодное зимнее время, выходя мышковать далеко в поля, она приближалась к сложно пахнущим коровяком, дымом, овчиной и курятником деревням, шмыгала по остожьям и огородам. В выморочные звездные ночи она ловила полевок подле хлебных амбаров, караулила зайцев у перелазов в яблоневые сады. По ранней весне, пока еды в лесу было мало, а вечно голодный выводок вытягивал из нее все соки, она подбиралась к бездомно бродящим за околицей курам и кое-когда хватала глупую птицу. В иное время Хромая предпочитала не рисковать. О, она очень боялась двуногих! В их ловушку совсем недавно попал ее матерый огненный лисовин, с которым вывела она уже три выводка. Она видела, как он бился, рычал, грыз железо, ломая зубы, весь мокрый и словно бы взбесившийся, и как лег потом рядом с капканом уже обессиленный, безразличный, а с морды капала кровь, прожигала снег до земли. Разве не такие же зубья искалечили ее левую лапу давным-давно, когда была она еще худенькой молодой лисичкой... Хромая знала, как быстро догоняют двуногие коротким громом и треском. Она была хитра и осторожна. За свой долгий лисий век Хромая попадала и в капканы, и в заячьи петли, и под выстрелы, но всякий раз уходила, вывертывалась, наделенная великой живучестью самки. Она до рождения щенков забросила бы старую нору, ушла бы из обжитых мест, лишь тяжелый, обвисший в снег живот привычно гнал ее сюда.

Снова и снова прислушивалась лисица к далекому теканью топоров, к натужному вою пил. «О-о-о-о-ох, рр-р-р, бууух-а-аха»,— охало, падая, промерзлое дерево. Осыпалась в норе встревоженная земля. Вздрагивал лисий хвост. Хромая знала теперь, что уйдет, и уйдет скоро. Покормив лисят, она осторожно поднялась

к отверстию норы, принюхалась, высунулась, выскользнула и встала на пригорке, навострив большие уши с черными кончиками, опустив трубу хвоста. Быстро-быстро втянув воздух, лиса фыркнула, издала обиженный хриплый звук.

Было утро. Конец апреля, когда земля млеет под теплым ветром, благодатно подставляет солнцу нахолодавший и мокрый загорбок. По всему болоту, в кустах и в лесу лежал серый зернистый снег. Лишь в лунках у стволов он протаял до брусничника, да кочки повыше зеленели багульником. Уже пахло им по-теплому, болотно и дурманно. Пахло голубичником, хвоей пригретых на солнышке веток, проталинами, близким водопольем. Снег таял. Дышал легонько оседающий раскованный наст. Шептались капельки, сливаясь в невидные неспорые ручейки. И над всей болотной низиной аукались, свистели пробужденные солнцем и теплом голоса. Урчали тетерева, курлыкали в ближнем березовом урочище, с треском сшибались в петушьей драке, хохотом вскрикивали тихони-куропатки. Рявкали в осинниках осмелевшие косули. Дятлы дружно тюкали, возились по сухостойнику, хвастали один перед другим.

— Кра-а-а-а,— стонала под клювом еловая сушина.

— Дро-о-о-о-н,— гудела в ответ пустотелая горелина, на которой прицепилась такая же черная угрюмая желна.

Не мог перещеголять старших маленький расписной дятлик, кричал обиженно: «пий-пи-пи-пи», облюбовывал под дупло гнилуху-осину.

И если б не тот тревожащий гул, что возникал все ближе и ближе, все было бы здесь, как и прежде, в бесконечной смене зим и весен, в бесконечном счастливом, невидном движении земли. Никто не знал, сколько лет торчала черная горелина над елями и осинами, сколько молний воткнулось летними грозами в ее зубастый излом, сколько вывелось птичек, сколько листьев сгнило в пустом колодце сердцевины и от скольких морозов родилась ее звонкость, чтобы с первым теплом чертовым звоном гудеть над мшарой... Казалось бы, никому не нужная, уродливая и опаленная, торчала она, не поддаваясь времени, и вся горушка вместе с ней имела тот загадочно-живописный вид, какого враз не станет, едва она рухнет. И все будет обыкновенно: березы, ели, кочки...

Хромая беспокойно ослушала всю островину, обежала быстрым взглядом, покосилась на дятла. Она глядела совсем так, как смотрит хозяин на готовое к сносу жилье, когда окна уже выбиты, ворота настежь, а на дворе вот-вот появятся любопытные, и ничего не скажешь, если станут они отдирать доски, тащить в свои дворы что можно взять. Будь лисица способной говорить — она рассказала бы, как славно и долго шла ее жизнь на этой тихой болотной релке. Каждую весну выводила она тут пять-шесть шустреньких лисят. Через короткое время вылезали они из норы, возились, катались на просыхающей, прорастающей травами дерновине горушки, на теплом сером плитняке над норой. Здесь любила она лежать, свесив хвост, переваривая сытный летний обед из мышей-полевок, лягушат, кузнечиков и неопытных полулётных птичек, которых легко ловила по опушкам. Здесь спала она чутким лисьим сном, подставляя солнышку мерно вздымающийся пушистый бок. Лисята баловались, дергали ее за хвост, но она лишь слегка приоткрывала узкий косой глаз, легонько урчала. Пусть балуются, скачут, становятся на дыбки и припадают к земле, пусть учатся быть ловкими, увертливыми — без этого не проживешь. Иногда и сама она устраивала лисятам забаву, приносила живую помятую тетерку, злого полевого хомяка. И весь выводок учился догонять, схватывать удирающую в чаще добычу, находить ее по невидному пахучему следу. Строго следила тогда Хромая со своего камня, но редко приходилось ей вмешиваться — понятливы были ее черноухие.

А когда деревья желтели и холодный ветер по ночам тревожно шуршал ими, разбегался подросший выводок. Уходил ненадолго темно-рыжий большой лисовин. И она затаенно ждала его, не отходила далеко от норы, жила задумчивой жизнью самки и много спала, набиралась сил к зиме. Он возвращался всегда на красной октябрьской заре, когда лес так сладко пахнет листом и первым морозом, весь сквозит, светится, голубеет березами, далеко видно в нем, далеко слышно всякий звук.

Хромая притворно не подпускала лисовина. Он жил поблизости, не подходя к норе и отгоняя всех забредавших сюда самцов. Он был большой и сильный. Так было, пока не выпадал первый теплый снежок. Хромая

умывалась, поддевала снегу на морду, фыркала, взвизгивала, каталась в нем, чистым искристым блеском загоралась ее новая шуба, пыжился мягкий зимний хвост. А лисовин приносил ей задушенного зайчонка или молодого петушка куропатки, еще не успевшего надеть белоснежный наряд. Она с легоньким ворчаньем принимала дары. И наконец совсем сближалась с ним, терлась о его широкую морду, ласково покусывала и пускала в нору, где подолгу отлеживались они в бураны, греясь друг около друга и выискивая друг у друга блох. Она чувствовала, как растет, наполняется, круглеет ее живот, и с новой радостью, с притворной злостью то рычала, то кусала своего неизменного спутника. Так было...

Близко затрещало дерево. Закричал уныло напуганный дятел, нырками полетел прочь. И Хромая, вильнув с валуна сквозь кусты и осинки, замелькала в чаще беляком хвоста. Она уходила по мокрому насту за десяток верст на одну ей известную релку, где все пока было тихо и где лишь вчера выбрала она место для новой безопасной норы. Она обегала всю сухую часть релки и остановилась на единственной прогалине, выгоревшей у края сплошного леса. А лес стоял здесь — синий, нетронутый болотный урман. Бурелом и валежник скрестились в скрипучих объятиях. Что-то стонало, ныло и пело в нем, когда дул ветер, и было так темно, что даже днем перелетали совы. Такой лес любит медведь, живут в нем рыси и филины. А Хромой не нравился этот лес. Он заставлял прислушиваться и озираться. Она любила светлые и веселые опушки, любила перелески в полях и нетопкие болотца, где всегда найдешь зазевавшуюся вкусную лягушку. Ах, если бы не эти двуногие!

Лисица копала стылую землю, пока не заныли все когти. Лишь к ночи вернулась она к скулящим лисятам. Всю ночь Хромая облизывала, грела, сушила, кормила изголодавшихся щенков, слегка подремывала, слушала весенний крик филина. «У-у, у-у, у-у»,— громко кричал он где-то поблизости. Но вот смолк филин, обозначилась над черным лесом первая заря-досветка, и лиса ушла копать. По пути на глухую релку она поймала несколько лесных мышей, резвившихся по обтаявшим гривам,

и снова копала, копала, копала до полудня. В кровь ободрались когти на хромой лапе, десны и нос покрылись ссадинами, и все-таки она пробилась наконец сквозь мерзлоту и камешник до мягко-податливой глины. Рыть стало легче, но сил не хватило. Хромая вылезла наверх отдохнуть, отряхнулась, легла на пригреве в прутьевой поросли сухого малинника, вытянула натруженные лапы, положила на них измазанную глиной и кровью морду и так лежала, редко моргая слезящимися глазами. Лисицу донимали усталость и голод. Она лежала как мертвая, лишь шевелились впалые бока в клочьях зимней линючей шерсти. Круглоглазая черно-белая сорока уселась на высокой лиственнице. Пригляделась, задрала хвост, крэкнула. Отозвалась ей другая вещунья. Подлетела своим странным тянущимся полетом, и обе застрекотали, оживленно взвизгивая и каркая, обсуждали: жива ли старуха Хромая или пришел ей конец. Они знали эту облезлую лисицу: не одну их товарку словила она, прикинувшись вот так совсем пропащей.

И Хромая слышала сорочий разговор. Она знала всех жителей болота — от мелких голосистых птичек до пятнистого старого кота (совсем недавно ушел он куда-то из этих мест). Рыси лиса боялась почти так же, как человека, всегда уступала коту дорогу, едва чуяла его запах. А больше не было врагов у Хромой. Волки давным-давно перевелись на мшаре. Лоси лисицу не трогали. Медведь-шатун никогда не встречался ей. Даже мелких хищных зверей на мшаре было немного, год от году убавлялось их число. Но и дичи, и еды от того не становилось больше. Будь лисица по-человечьи разумной, давно заметила бы она, как быстро скудеет лесная жизнь даже в таком нетронутом углу. Сокращались выводки серых рябчиков по еловым чащобам, меньше уток возвращалось веснами на старое гнездовье, там, где овесень токовали сотни тетеревов, остались десятки, где были десятки, вылетало по два, по три. Нет, не Хромая была виновата в оскудении. Испокон веков лисы населяли землю. Это они не давали вырастать лесным разиням и хилым неженкам, благодаря им лесной народ передавал и плодил здоровую кровь. Они были нужны этому миру.

Не знала лисица, что все связано в великом круговороте природы. По странному закону — чем меньше

становится хищников, тем меньше рождается детенышей у тех, кто обречен хищниками на еду, а чем меньше этих обреченных, тем меньше щенков в норе у волчицы, котят в рысьем логове, маленьких куничек в подколодном гнезде, совят в совином дуплище. Не знала Хромая: человек повинен в оскудении лесов, и ему лишь дано и возродить этот мир, и продлить на века его будущую жизнь...

Тепло-тепло грело солнце. Теплела, наливаясь синевой, небесная глубь. Белое летнее облако паром вставало над болотом. Отходила обиженная морозами земля, ласковее, отраднее становилось на ней. Все больше запахов, заменяющих травам и цветам голоса, вставало над ней. Паучки, мошки, жужелицы выползали из-под мертвых листьев. Прерывисто шуршала ожившая ящерица. Рогатый жук ковылял куда-то. Иногда этот жук раскрывал крылья и гудел, приплясывал. Кипели мураши на высоком муравейнике. Щипал нос кислый муравьиный запах. Змея стягивала в кустах старую кожу. Нежилась, отдыхала земля в предвосхищении будущих дел, и вместе с нею отдыхала лисица.

А в темноте вонючей норы скулили и жались на скудной подстилке пять рыжеватых комочков. Слепо тыкаясь друг в друга, они наползали, сваливались, лезли снова. Одно ощущение заполняло их всех — голод, тягучий мучительный голод, заставляющий двигаться, искать, звать. Сплошной писк стоял в норе. Голод томил и Рыжего, который был покрупнее, порыжее прочих, весь в отца. Он хотел есть, добраться до того большого ласкового тепла и захлебываться, заполняться им, чувствуя, как оно переливается в него, дает покой и тихое забытье. И наконец оно зашуршало, пришло — большое, сытное, пушистое тепло.

На четвертые сутки топоры гремели совсем близко. Дымом уже несло в нору. Бухались, содрогали землю деревья. Голоса людей были так явственны, что лисица весь день просидела в норе, вздрагивая от голода, страха и ненависти. А едва стемнело, стихли удары и удалились голоса, она взяла в зубы первого слабо скулящего щенка и быстрой тенью вышмыгнула из норы. За ночь она перенесла в новую нору четверых, и, когда возвращалась за пятым,— уже светало. В красный, го-

лубой и зеленый цвет рядилось свежее радостное небо. Розовым, голубым светился снег, и тонкий ледок мочажин, и стволы берез. Елочки умывались в заре, расправляли озябшие за ночь пальчики. Все ждало солнца, томилось в рассветном полусне. Одни тетерева уже начали токовать, урчали и бормотали. В иное время Хромая полюбовалась бы рассветом, послушала бы апрельскую звонкую тишь, натянутую, как ночной ледок, пробралась бы по кочкам в березняк на кромку болота следить краснобровых чернышей и рыжих чистюль-тетерок, но сейчас она торопилась. Уже на подходе к норе остановил ее запах едкого пряного дыма. В иное время тотчас повернула бы она, скрылась незаметно, теперь же оставался в норе ее последний щенок, и она не могла уйти, словно привязанная. Тихо-тихо скользила она меж берез и елочек, инстинктом выбирая подветренную сторону. Вот и черная горелина, склон родимой горушки... Лиса вовремя услышала опасность, но не успела разглядеть: что-то большое повернулось ей навстречу в гуще елей и грянуло, ослепило...

Никогда еще Рыжий не ждал так долго родное тепло. Не было его. Он охрип от писка, измучился, продрог и в конце концов начал двигаться по норе, пополз куда-то вверх, слабо перебирая лапками. Что-то шумело там, наверху, сыпалась к нему земля, и он, принимая этот шум за возвращение матери, все полз и полз из последних силенок. Сначала Рыжий почувствовал холод, потом прикосновение чего-то теплого, хотя совсем не того мягкого и ласкового. Это тепло было враждебно ему. Он дрожал и трясся.

— Ну куда его? — говорил пожилой и презрительно морщил корявое лицо. Глаза человека были равнодушны.— Тюкнуть об камень — и вся недолга... Хичник. Его изничтожить не грех...

Молодой, держа на вымазанной глиной ладони трясущийся и тычущий слепой головенкой комочек, сомневался. Свежее румяное лицо было озадачено.

— Снесу Маруське, пускай возится. Выживет — дак ладно. Жалко чо-то бить.

— Жалко... жалко...— передразнил корявый.— А самку-то убил, не жалко? Вон и шкура — никуда. Чисто вся облезла, как пропастина.

— Дак я кабы видел... Ты же насказал-то...

— Кабы... Кабы... Ну и этого туда же. Вырастишь — он тебя и цапнет. Слыхал пословицу-то: сколь волка ни корми — все в лес глядит. А лиса — тот же волк. На моей памяти так же вот лис-то выкапывали, выкармливали. И ничо толку... Пока махонькие, дак баские, занятные, это, а выросли — давай куриц, уток драть. Лиса она и есть лиса!

— Да жалко...

— Заладил одно. Ну, неси... Пошли, однако, робить ведь скоро,— заключил корявый. Он закурил, подобрал лопату.— Пошли... Эту-то возьмешь? — указал он на мертво-оскаленную Хромую, валявшуюся у раскопанной норы.

— На кой она мне... Пошли давай,— сказал молодой и сунул щенка за пазуху под телогрейку. По правде говоря, муторно было у него на душе. Ну зачем убил ни с того ни с сего эту матку, такую жалкую, старую. «И все Иван,— со злости покосился он на корявого спутника, вразвалку шагавшего сквозь кусты с лопатой на плече.— Наплел, наболтал: «Лиса! Нора! Лисенята... Воротник!» Еще копали столько времени. Он пошевелил лопатками, к которым льнула потная, холодная теперь рубаха. «Ну ладно, хоть Маруську обрадую. Она любит всякую тварь, пускай кормит, возится. Потом в случае чего в город, в зверинец, свезем».

И уже успокоенный, он полез в карман ватника за сигаретой, закурил, затянулся, поправил ружье на плече, потрогал прикорнувшего за пазухой щенка: «Спит, то-то вот...»

Хорошо пригревало. Розовый вешний пар поднимался от земли, стоял в кустах. Первые оттаявшие бабочки гонялись по-над просекой. Они садились на спиленные стволы сосен, где на свежих, еще не зажелтелых торцах горькими слезами выкипела смолка.

Большой мир

Мир открылся ему внезапно узкой, нестерпимо яркой щелочкой. Лисенок привык уже быть так, полуслепым, когда сквозь розовую пленку век смутно маячило что-то. Он различал свет и темноту, понимал, что за этим розовым кроется нечто большое. Ему не хватало

лишь того близкого пахучего тепла, с которым прошли первые дни его жизни. Он сильно зябнул, хотя теперь появилось другое тепло — оно приходило часто и тоже вместе с прекрасным ощущением сытости, лившимся в рот из чего-то противного. Скоро-скоро сирота-лисенок привык и к неродному теплу, и к жесткому резиновому соску, привык, не захлебываясь, сосать пресное коровье молоко.

— Глядит! Он смотрит! — кричала семилетняя Маня, ползая на коленях перед щенком, распластанным на скользком крашеном полу.— Рыжий! Рыжик!! Рыжка! Ой ты мой маленький, хорошенький! Лиска! Лисанька... Лисочка...— Она возилась около лисенка, тормошила, прижимала к груди, вся светилась той безмерной ясной радостью, какой радуются дети всему живому, ползающему, прыгающему. Завернув лисенка в подол, она баюкала его тонким голоском, совсем не обращая внимания на отца, который хлебал за столом суп из алюминиевой миски, по-петушиному клонил голову набок и что-то ворчал, жуя.

Как все взрослые, давно отрешенные жизнью от детства люди, отец Маруси забыл, что и сам когда-то был малым, и ворчал на сына, чер-те зачем притащившего в избу этого беспомощного лисенка. «Возись теперь...— думал он, прихлебывая суп. Покосился на растрепанную овсяную головенку дочери.— Маруська поиграет день-другой, бросит. Молока ему подай, да нагрей, да налей. Гадить зачнет по всей избе. А там вырастет — кур станет драть. Разве что — на воротник? Или в город, в зверинец, продать... Да что же за его дадут? Однако, может, шкура добра будет — нонче городские девки все в рыжих шапках ходят. Где это столько лис берут...»

Он похлебал суп, сдвинул миску и, распустив поясок, валко пошел в горницу отдохнуть.

А тем временем, тоже переваливаясь с лапки на лапку, волоча тощий хвостишко, Рыжий обследовал кухонные углы. Огромный, немыслимо великий мир открывался ему. В мире этом было столько непонятного, жесткого, мягкого, холодного, пахнущего всеми оттенками — от едкой горечи до вкусных благоуханий. Мир солнечных теплых пятен и прохладных углов. Здесь было еще нечто огромное, белое, с черным квадратным челом, с торчащими из него глянцевидными палками.

Все надо было осмотреть, обнюхать, лизнуть. Лисенок был очень доволен. Особенно привлекало его темное подпечье, похожее на нору. Инстинктом зверя воспринимал он такое сходство и попробовал залезть туда. Край кирпича, где лежали ухваты, был высок, и Рыжий раз за разом валился на спину. Наверное, он забрался бы в чело, как вдруг из подпечья выскочило блестящее коричневое существо и кинулось ему под лапы. При виде таракана лисенок так струсил, что с визгом растянулся на скользкой половице, но уже через мгновение что-то подсказало ему ловить убегающее, и он догнал усатую букашку, придавил, выпустил, схватил снова и неумело съел с хрустеньем и чавканьем. Таракан понравился. С тех пор Рыжий проводил у печи и в подпечье целые дни, становясь все подвижнее, бойчее, игривее. Занимали его и мухи, иногда садившиеся на пол, особенно там, где бывало пролито молоко. Долгое время проворные существа были неуловимы, и как же он развеселился, когда в первый раз настиг муху, которая задумчиво перетирала лапки, чистила крылья на краю его плошки с молоком.

Самым большим и страшным врагом Рыжего стал огромный серый зверь со светящимися глазами. Зверь часто появлялся возле плошки, и всякий раз, едва завидев его, лисенок бросался в подпечье. Говорил здесь все тот же древний спасительный страх, заставляющий лис удирать от волков и сторониться рысей, хотя, конечно, в кухне появлялась обыкновенная старая кошка. Она тоже ненавидела лисенка, ненавидела его запах, похожий на собачий, и всякий раз, когда Рыжий кидался наутек, шипела ему вслед, плевалась и прыскала. Зеленые кошкины глаза метали огонь, дико мерцали, спина дыбилась, а тощий хвост превращался в пышный, енотовый.

Однако поистине великий мир открылся Рыжему после того, как он научился перелезать порог и спускаться в темные сени. Раз выбрался он туда, ведомый незнакомыми приятными веяниями. Сквозь щели сеней полосами слоился веселый солнечный луч, в нем вспыхивали искорки, плясали пылинки. Вдруг черная стена со скрипом распахнулась, хлынувший свет бросил Рыжего к порогу. Он забился в угол, зажмурился и дрожал. Но вслед за тем раздался голосок Маруси, теплые руки подняли его под брюхо, и он оказался в льющемся

сверху нестерпимом свете, который не давал раскрыть глаз, но грел ласково-ласково, как то́ большое, давнее, родное тепло. Понемногу Рыжий раскрыл глаза. Узкие его зрачки превратились в еле видные черточки. Он увидел зеленую траву с кучками желтых и белых цветов, поленницу, темный сарай, голубое небо, он почуял вольготную ласку ветерка на шерсти, парной запах коровьего навоза от сарая, свежий дух нагретой солнцем земли. И вдруг огромная радость бытия победила страх, Рыжий заскулил, завозился, спрыгнул с Марусиных коленок, побежал, принюхиваясь, по траве, а потом повалился на спину вверх белым брюшком, завертелся, запрыгал, кувыркнулся через голову, как настоящий лисенок — ловкий зверь, который обрел наконец свой истинный мир.

Хорошая жизнь

Шли дни... Рыжий рос быстро и уже бойко бегал по избе, в сенках и по крыльцу. Через месяц не узнать было беспомощного трусишку — он вырос в длинного хорошенького темно-желтого лисенка с лукавой ушастой мордой, белой грудью и черными чулочками на всех лапах. Он привязался к Марусе так, как может привязаться только животное: без хитрости, без фальшивой преданности, всей своей звериной душой. Теперь Рыжий жил в старой собачьей конуре у сарая. Он любил лишь лежать на ее крыше, по-собачьи вытянув передние лапы, положа на них голову. В самую конуру он не забирался никогда, зато вырыл под нею глубокий разветвленный ход и часто прятался там. Больше всего он боялся собак. Может быть, из-за этой боязни лисенок не любил выходить на улицу, по крайней мере днем. Беспривязные деревенские собачонки за квартал чуяли его и, хрипя от злости, кидались в погоню. Рыжий нырял в подворотню, забивался в нору и выходил лишь на голос Маруси. Зато с Марусей готов был идти куда угодно, даже и по улице. Мелко, преданно трусил он за ней или сбоку, опасливо поджав на всякий случай свой тощий долгий хвост, заложив одно ухо, изредка поглядывал на девочку. Он доверялся ей, как тому большому, пушистому и теплому, что было в его прошлой начальной жизни. Подчас, наверное, он отождествлял девочку с тем большим теплом, особенно когда она брала его на колени, гладила ры-

жую шерсть, трепала за ушами. Тогда он затихал, скулил пискливо по-щенячьи и тыкался холодным мокрым носом в ее руки и платье. Иногда Маруся дурачилась, тянула его за хвост, стискивала узкую морду, поднимала за лапы. Было больно, неприятно, но он терпел, фыркал, возился, обиженно косил белком глаза. Он знал, что затем маленькие, пахнущие молоком и супом руки станут снова гладить и ласкать его, и он смирялся.

Любил Рыжий, когда Маруся клала его на плечи. Он лежал вокруг тонкой Марусиной шеи, как живой горжет. Да и другие ребятишки баловали его. Вся деревня знала о лисенке у Коржавиных, и он привык к добрым маленьким рукам, к маленьким крикливым существам, которые с утра до ночи окружали его, гладили, тискали, ласкали, совали ему в рот котлеты, куриные кости, куски сахара. Он ужасно любил сахар, грыз его, расставив уши, закатывая глаза от восторга, совсем по-собачьи повиливая длинным хвостом. Эти маленькие двуногие защищали его от собак, с ними он чувствовал себя в безопасности и, доверяя детям, переносил доверие на взрослых, которые, в общем-то, не трогали его.

В погожие жаркие дни с редкой истомой облаков в полинялом небе галдящая орава ребятишек с утра располагалась на угоре, у речки. Рыжий всегда был с ними, прыгал, катался, носился за кузнечиками или, набегавшись, накружась по сухому, вытолоченному ребячьими пятками угору, лежал разомлелый на июльском солнцепеке. Когда солнце вставало высоко и жар начинал донимать, лисенок прятался в тень под нависший берег, следил, как горит и серебрится вода на быстрине, как золотые осы ползают по грязи, исслеженной коровьими копытами и ребячьими пятками, как на том берегу над зеленым озимым полем и голубым лесом дрожит и струится теплое марево. Он задремывал, но как раз в это время случалось такое, что Рыжий очень не любил: Маруся забиралась в речку. Едва она, подняв плечики, заходила в воду выше колен, он начинал скакать по берегу, беспокойно совался взад и вперед, даже взлаивал по-лисьи хрипло и дико. Потом он плюхался в воду, вертко плыл и лез хохочущей девочке на плечи.

— Да Лиска! Брысь! Пошел!!! Убирайся!! — верещала она, отбиваясь и отталкивая лисенка, но он был

упрям, испуган, и в конце концов девочка выносила его из речки. Рыжий виновато отряхивался, обдавал визжавшую компанию радугой брызг. Вид у Рыжего был унылый, жалкий, смущенный.

Так было днем. А едва вечерело, едва заря начинала тихо тлеть за полями и сумерки понемногу затягивали деревню, Рыжий чувствовал неясное беспокойство. Что-то будило его, тревожило, заставляло волноваться. Он выбирался из норы, прыгал на конуру и затихал, прислушиваясь к вечерним шорохам: прядали его чуткие уши, морда быстро устремлялась на незнакомый звук, глаза начинали светиться.

Молкли вечерние голоса. Гасли огоньки в избах. Зато в синей, фиолетовой по бокам пропасти неба, над темными избами, над полями рассыпалось бесконечное пожарище небесных углей, рассыпалось и накалялось. Последний жук гудел в вышине и пропадал. И вот на сумрачных травяных улицах деревни — лишь свиристение кузнечиков да редкий брех собак. Ночь заливала запахами холодеющий воздух, дворы и прогоны. Ясно, приятно чувствовал Рыжий, как пахнет уличная мурава, и дальняя опушка березового леса, и молоко тумана по-над речкой. До боли резкими становились запахи коровьего стойла, курятника, человеческого жилья из сеней. Острый слух лисенка ловил шуршание и писк перебегавших мышей, возню воробьев, спящих под застрехой. Тихие голоса цыплят будоражили его. О, как вкусно пахли маленькие крикливые желто-белые птички! Как вкусно!! Не раз, дрожа от желания, облизываясь, полуползком подбирался он к загону с пискливо клюкающими цыплятами, но всегда окрик Маруси или кого-нибудь из взрослых заставлял его убегать в нору. Рыжий понимал, что птичек нельзя трогать, понял это с первого окрика, но... они же такие вкусные...

Ночью лис весь перерождался. Тихо-тихо спрыгивал он с конуры, неслышно обегал двор, призрачно кружился по нему, обнюхивал все углы. Запахи, запахи, запахи обступали его со всех сторон, будоражили и пьянили, и, не в силах совладать с ними, на брюхе протискивался он в узкий кошачий лаз, тенью летел вдоль улицы. Теперь, в темноте, он не боялся даже собак. Их лай раздавался из подворотен. Собаки редко кидались в погоню. Ночью они боязливы. Если же погоня случалась, Рыжий тотчас нырял под плетни, шмыгал огородами,

змеей проходил сквозь изгороди — никакая собака не могла угнаться за ним.

Очень скоро он оказывался далеко на полях и всю ночь до рассвета бродил и бегал в полевых межах. В невысокой шелковой ржи он ловил мышей. Бархатные вкусные существа были стремительно юрки, проворны, пугливы. Ночь от ночи Рыжий все реже промахивался, быстрее настигал, схватывал их мгновенным броском, давил и глотал, обкусывая лишь хвост. По ночной росе он ловил скользких, приятно холодных лягушек, сонных больших кузнечиков, жуков, трещавших на зубах, он жевал какие-то лисьи травы, пресные, с едва уловимой молочной сладинкой. А иногда находил он нечто очень вкусное, слабо пахнущее пером и курятником,— круглые известковые скорлупки, и он давил их с наслаждением. Насытившись, Рыжий выбегал на бугры под самое звездное небо. Долго стоял, зачарованный прекрасными звуками и шорохами ночи. Слушал, как скрипит в низине непонятная птица дергач, как отзывается ей из-за речки другая, как свистят в затоне бессонные кулички, шепчутся травы, дышит рожь. Безбрежные поля были перед ним, редкие огоньки потонувших вдали деревень и черная зубчатая тень леса, где стоном стонали ночные птицы. Ему было весело и вольно. И наверное, от этого волнующего бесконечной свободой простора задирал он к звездам узкую хищную морду, взлаивал, тявкал, взвизгивал точно так, как визжали и тявкали его дальние предки на те же самые звезды, тысячи лет назад светившие над землей. Потом он катался в росистых травах, ерзал спиной и боками, вычищал их до мокрого блеска, терся мордой и лапами о цветы, скакал и кувыркался. Рыжий не знал, куда девать свою радость. Он ждал кого-то такого же, с кем можно было бы носиться взапуски по межам и кустам, грызться до хрипоты в притворном озлоблении, нападать и прятаться, играть в пятнашки. Все занимало лисенка, будило его детское любопытство: летучая мышь, что трепетно-нелепо носилась над кустами, ночной голос цапли-чепуры, гудение бражника над цветком и падающие звезды — они прочерчивали в небе кривой затухающий хвостатый след.

Лишь когда на востоке начинало белеть и бессонная птица-погоныш возвещала с реки, что пора на покой, лисенок бежал домой, на деревню. Гортанно и дружно

трубили пробуженные журавли на дальней мшаре, и пели в деревне первые петухи. Кончалась ночь. Заря все ясней освежала восток. А навстречу ей межами скромно трусил к деревне лисенок. Добравшись, нырял он в знакомую подворотню и сладко засыпал на своей конуре, свесив хвост. Это была чудная жизнь.

В чужих людях

— Ну, Маняша, надо твоего лисенка в город свезти,— сказал как-то под вечер отец.— Расти он растет и жрет немного, а все ж таки он — лиса. Скоро людей учнет за руки хватать, куриц душить. И то уж тетка Агриппина выговаривала, слышь, кура потерялась... Ты, мол, лис расплодил, ты и плати. А мне, дочка, платить не из чего, да и не за что. Дак вот я и говорю — давай сдадим его куды ни на есть, от греха...

— Тятька, чо ты? Тятька, оставь! — кинулась в слезы Маруся.— Не отдам Лиску, понял, не отдам...— Наквасив дрожащие губенки, она стояла у сенок, держалась за косяк, исподлобья глядела, как отец одевается на дежурство (Иван Семеныч в колхозе был конюхом).

— Но, но-о,— прикрикнул он.— Ишь, глупая! Как сказано, так и будет. Побаловалась — хватит, не маленькая. Ужо до воскресенья пускай живет, а там на базар — и вся недолга...

Отец не любил повторять, возражений от домашних не терпел. Сердито глянув на дочь, он надел, застегнул брезентовую накидку — погода стояла сырая, прохладная,— вышел в сени. Громко плямкнула калитка.

А Маня, заливаясь слезами, побежала во двор. Моросил дождик, сырой ветер прохватывал двор насквозь, обсевал дождем сарай, угрюмо было вечернее небо, без просвета, без прогалинки застеленное тучами. Лисенка нигде не было видно. Но едва заслышался Марусин голос, Рыжий вылез из норы, потягивался и улыбался, ворочая ушастой головой, стараясь понять, что сталось с девочкой, почему дождик так бежит по ее щекам и капельки падают ему на морду. Он ласково прижал уши, тронул присевшую девочку лапой, лизнул в нос, в щеку и узнал, что дождик соленый...

А утром в воскресенье Рыжего посадили в корзинку, завязали ее платком, и зареванная Маруся вместе с отцом пошли на станцию. До города было два часа езды.

В зверинце, как и ожидал Марусин отец, лисенка не купили.

— Своих девать некуда. Эвон у нас чернобурки, сиводушки, огневки — всякие есть,— пояснил дворник, подметавший перед воротами.— Начальства тоже нету в воскресенье. Неси-ко, друг, на базар, близко тут, сперва прямо квартал, а потом на леву руку... Может, продашь.

Базар оглушил и перепугал Рыжего. Еще в поезде, смятенный непривычным движением и гулом, напуганный стуком колес и теснотой корзины, он протискивал морду между тряпицей и боком корзины, жался к спасительным рукам девочки, к своему единственному надежному оплоту, лизал их и, словно понимая, что их скоро разлучат, тихонько скулил. А теперь Рыжий совсем потерял голову от страха. Число обступивших его больших двуногих все возрастало. Они теснились, давили взглядами, громко хохотали, и, чтоб не видеть их, он ткнулся Марусе под мышку. Так было не страшно. Теплый молочный запах платья успокаивал его. Если бы он понимал людскую речь, он услышал бы:

— Лиса! Лисенок!

— Ой, верно, рыжий...

— Где? Где?

— Почем продаешь?

— Да как ее взять, ведь искусает...

— Не-е, она ручная. Вишь, девка все гладит.

— Гляди, на шею к ней полез...

— Какой хорошенький. Ухи черные и лапы тоже.

— А ты погладь!

— Сам погладь...

Рука большого человека протянулась близко. Рыжий вздрогнул, пригнулся, но промолчал. Маруся была с ним.

Его купил невысокий толстяк, малиновый улыбающийся человек с резиновыми губами.

А впрочем, что понимал Рыжий, когда его взяли из Марусиных рук, сунули хвостом в мешок и куда-то понесли?

Он ничего не понял, слепо совался в темном мешке. Слышал он только странно изменившийся Манин голосок: «Лиска! Лисанька... Миленький...»

Жизнь у толстого хозяина была совсем короткой. В большой, скучно пахнущей квартире со множеством

светлой блестящей мебели лисенка встретил визг детей и гневный голос хозяйки. Выпрыгнув из мешка, Рыжий тотчас забился под модерновый шкаф на тонких ножках и ни за что не хотел вылезать.

— Ну-ка ты, Васька, Мишка! Вылезай! Тебе говорят,— кричали, картавили и сюсюкали такие же толстые розовые детки. Они становились на четвереньки, выставляя обтянутые штанишками попки, боязливо взвизгивали, заглядывали под шкаф.

— Там волк! — сказала самая маленькая толстушка, задумчиво стоявшая в стороне, и положила в рот пальчик.

Рыжий не шевелился. Угрюмо мерцая глазами, сильнее жался к стене — все ждал, вот раздастся Марусин голосок, зовущий его, и он выскочит, и кинется ей в ноги, и будет скакать и ластиться. Ждал...

Большая волосатая рука протянулась к нему, ухватила за переднюю лапу, грубо повлекла к себе. И тотчас же он сделал так, как сделал бы любой зверек, сопротивляясь незнакомому. Он вонзил свои острые зубы в эту мясную руку и отпрянул.

Раздалось басовое оханье.

— Укусил?! Ой, что же это? А? — беспомощно говорил хозяин, глядя, как на проколотой зубенками руке рядком выступили темные капли.

— А он не бешеный??

— Бож-же мой! Зачем ты купил эту тварь?! Она же загадит все. И, конечно, она заразная... Нет, я не могу. Это ужас, ужас! Она перекусает детей!

— Ну-у, дорогая! Я же не знал. Он казался такой ручной. Лежал у девочки на коленях, на шее. Она гладила его... И я купил просто так. Очень дешево... Три рубля. Ведь все-таки лиса. Ты представляешь, если б с ней пойти гулять. Представляешь, идешь ты и рядом — ручная лиса на цепочке. Не какой-нибудь бульдог, боксер, а лиса. Все останавливаются... Смотрят... Ну, может быть, пока поселить ее на балконе?

— Нет, нет, нет, нет! Сию же минуту, сейчас же убирай эту дрянь. Отдай, выпусти, отвези на дачу Семеновым. Чтоб ее близко не было! Близко! А тебе нужно посоветоваться с врачом.

— А может быть, верно? Отвезти Семеновым? — гудел бас.— У них Наташка так любит всякое зверье... Дорогая, ты умница. Ну, успокойся. Принеси мне йод...

И вот Рыжий на новом дворе. Новые люди толпятся вокруг. Среди них девочка. Она побольше Маруси, не похожа на нее.

Он сконфуженно, жалко стоял в кругу обступивших его больших людей, не знал, куда деться. Вдруг он почуял знакомый молочный запах и поднял морду, принюхался, потянулся к рукам девочки. Она быстро отступила на шаг, а когда он подошел ближе и попытался обнюхать платье, взвизгнула и отскочила. Тогда он уверился, что это не Маруся, и равнодушно прилег в кругу галдящих, по-чужому пахнущих людей.

Его загнали в большую клетку, затянутую мелкой квадратной сетью. Очевидно, здесь раньше держали птиц, потому что валялись перышки и белым известковым пометом была испачкана вся земля. Девочка Не-Маруся принесла ему молока и мяса. Боязливо открыла дверку, сунула миску и ушла. Однако он не тронулся к еде. Он тосковал по настоящей Марусе и, улегшись в угол, пролежал так до сумерек. А когда стемнело, он вылакал молоко, съел мясо и начал бегать по клетке из угла в угол, пытаясь найти выход. Он тыкался носом в холодную жесткую сетку, скреб ее когтями, пробовал зубом. Сеть была неподатливо-жесткой. Рыжий даже попытался влезть по ней под крышу клетки, да оборвался и упал. Тогда он решил уйти в нору. Выбрав чутьем место, где земля была посырее, Рыжий согнулся почти пополам, как сгибались, копая, все его предки — лисы, заработал передними и задними лапами так, что комья земли застучали в противоположную стенку. Он помогал лапам мордой, расширял подкоп, очень скоро подрыл нижнюю балку и очутился на свободе. Рыжий побежал прочь от этой дачи, ведь он спешил к Марусе.

Но где ее деревня, где живет девочка с головой, как спелый овес, Рыжий не знал. Дома и дворы тянулись бесконечно, открывались все новые повороты, новые кварталы, проезды, площади, скверы. Он блуждал по каким-то улицам, выбегал на дорогу, где неслись гудящие, блистающие огненными глазами, страшные существа. Он задыхался от их газовой едкой вони, бросался в подворотни и бежал, не зная куда. Всю ночь проблуждал лисенок в незнакомых подворьях и к утру снова оказался на улицах. Чем выше поднималось солнце, тем больше становилось на улицах людей. Непрерывно мчались блестящие стремительные машины. Они бе-

жали так скоро, что Рыжий едва уворачивался от них, проскакивал меж колесами. Они визжали, выли над его головой. Двуногие кричали, свистели вслед. Иногда бухался камень, с треском разлетался перед мордой ком земли.

В стране железных клеток

Целая толпа людей с громкими криками загнала Рыжего в глухой тупик к забору, темное и мягкое хлопнулось ему на голову, и, хотя он рычал, бился, кусал это темное, всей силой гибкого упругого тела противился жестким тискам, державшим его,— он был закручен, завернут, и его с гомоном понесли, а потом повезли на трамвайной площадке. Теперь он только урчал, выставив голову, с недоумением смотрел, как плывет и качается улица, иногда вертел головой, пытаясь освободиться, и тотчас что-то сдавливало его так, что он затихал и едва дышал. Его доставили в зоопарк, но уже не к дворнику, а в светлую, заставленную растениями комнату, где стояли за стеклами неподвижные звери и отовсюду шел тяжелый запах стойла, неслись громкие непонятные голоса.

Пожилая женщина без боязни потрогала Рыжего за нос теплой рукой, погладила по морде, почесала за ушами. Он доверчиво потянулся к ней, всматриваясь в лицо, но от рук женщины пахло незнакомыми зверями, и это не понравилось Рыжему — он чихнул и заскулил.

Снова он оказался в клетке. Земли здесь не было, пол в клетке был деревянный, крашеный, в углу стояли деревянная конура и миска с водой. Рыжий не стал даже пить, залез в конуру и сидел тихо. Он знал, как уходить из клеток, ждал только темноты. В сумерках он уже обегал ее всю, нюхал, скреб, царапал пол, и везде пол был твердый, нигде не было податливой спасительной земли. Чем тщетнее были его усилия, тем больше Рыжий метался, пытаясь найти выход. Он прыгал на сетку, рвал и тряс ее, кровь текла по его разбитым деснам, на морде выступила пена. Он казался взбесившимся, и проходивший по аллеям сторож не раз шугал его метлой.

Страшная была эта ночь. Тяжкие незнакомые запахи доносились к Рыжему со всех сторон. Страшные

звуки пугали до дрожи. То поднимался в темноте плаксиво-удушливый вой, то раздавался вдруг громовой рык и кашель, такой ужасный, что казалось, дрожит земля. Низкий стонущий рев был ему ответом. Рыжий чуял: огромные невероятные звери живут здесь. То и дело бросался он в конуру, опасаясь: вот-вот они появятся, кинутся, разорвут и затопчут.

Напротив его клетки в цементном бассейне неподвижно мокло длинное бревно. От бревна пахло рыбой и гнилым мясом, и Рыжий недоверчиво взглядывал туда, смутно чуялась ему какая-то опасность. Ночью бревно зашевелилось, полезло из воды, и лис увидел его глаза. Они светились холодно-ярким зеленым светом. Вот бревно хрюкнуло, разверзло пасть: мычащий допотопный звук вплелся в страшный хор незнакомых голосов, воя, визга, рева, хихиканья и неутешных причитаний.

— Ка-а-а, ка-аа... Ррроууыых хрр. Ррроооуумбрррр. И-хи-хи-хи-хи,— неслось из тьмы. Ночью парк жил своей дикой жизнью. Во тьме и тишине просыпались подавленные неволей инстинкты, и все животные: львы, антилопы, леопарды, змеи, бегемоты и слоны — начинали играть в обычную прежнюю жизнь, какую вели они на воле, когда надо было куда-то двигаться, красться, выслеживать добычу, прыгать и реветь, бить хвостом по бокам, звать или убегать, принюхиваться, искать самку...

Одному ли Рыжему было не по себе этой ночью? Он метался по клетке до зари. А когда посветлело, стих рев и стон зверей и птиц, Рыжий забился в жесткую конуру, в изнеможении заснул коротким тревожным сном, все время вздрагивая, ворча, прядая ушами и отталкивая кого-то...

Утром началось новое бедствие. Со всех сторон в зоопарк шли люди, люди и люди. Над распахнутыми воротами надоедливо гремела музыка. Двуногие толпились перед клеткой, стояли, упираясь и пугая взглядами, и Рыжий с недоумением смотрел им в лица. Он искал сходства с Марусей или того особого ласкового выражения, которое он знал и к которому привык раньше...

С тех пор прошло много ночей и дней. Жизнь Рыжего словно повернулась теперь всей своей изнанкой и, будь он способным мыслить по-человечьи, показалась бы невыносимой. Жизнь подавляла и угнетала,

потому что постоянное тяжелое чувство страха и беспокойства не оставляло его ни на минуту, не давало отдохнуть и почувствовать себя на свободе и в безопасности. Раньше Рыжий жил, как большинство зверей, птиц и насекомых, не осмысливая жизни, не в состоянии понять ее назначения, но все-таки словно бы чувствуя тайный смысл своего бытия. Этот смысл был для Рыжего в солнечном свете и ночной прохладе, в блаженстве запахов, еды, тепла и ласки, в наслаждении своей ловкостью, молодостью, проворством — всем тем, от чего всегда хотелось носиться сломя голову, кувыркаться, бегать со смеющимися глазами, высунув язык. Его жизнь была проста в счастливом ожидании лучшего, в бессознательном стремлении к лучшему, как, наверное, проста жизнь и всего сущего на земле.

Теперь Рыжий не понимал, почему его заперли, не понимал, отчего двуногие так долго стоят и толпятся перед клеткой и куда исчезают они к вечеру. Они были разные, эти люди: огромные, и маленькие, и совсем крошечные. От них пахло чем-то общим и в то же время по-разному, то цветами, то дымом, то молоком и едой. Подходили к клетке девочки, похожие на Марусю,— и тогда Рыжий настораживался, вглядывался, вилял хвостом и вертел головой. Он подходил поближе к сетке. Ждал — вдруг позовут... Но девочки, постояв, уходили, и он все больше уверялся, что Маруси здесь нет.

Давным-давно Рыжий усвоил, что теперь его зовут «лиса». Это слово повторяли все люди, когда останавливались у его клетки. Впрочем, рядом жили еще две лисицы. Они ничуть не обрадовались Рыжему и даже пытались укусить, едва он сунул морду сквозь решетку.

А по другую сторону клетки жил волк. Вид и запах его заставлял Рыжего поджимать хвост. Волк был огромный, очень старый, с облезлой на боках шерстью и седой лобастой головой. Он жил в зоопарке давно, привык ко всему и ни на кого не обращал внимания. Целый день волк лежал в теневом углу и оживлялся лишь к полудню, во время разноски еды. Ел он неторопливо, наевшись, вылизывал миску и снова укладывался поудобнее в своем углу, дремал, изредка позевывая, открывая пасть с желтыми костями клыков, зажмуриваясь и встряхивая мордой. Рыжего он словно бы не

замечал, редко-редко его косой, застланный дремотой и ленью взгляд касался лисенка, и этот взгляд говорил: «Эх, если бы...»

Живое, чешуйчатое бревно перед клеткой вообще не шевелилось днем. Только в самый солнцепек оно медленно — так медленно, что и заметить было трудно,— приподнимало над водой бассейна свою пасть с пилами неровных зубов по краям, и Рыжий со страхом и злостью глядел на эту словно бы всегда хитро улыбающуюся морду коварного чудовища. Шерсть на загривке Рыжего вставала дыбом.

Работников зоопарка он тоже не полюбил. Неповоротливые старухи в синих халатах молча забирали у него посуду, молча скоблили пол железной кочергой, больно стукали его по лапам, если не успевал увернуться, молча совали миску в обед, наливали воду и уходили. У них словно не было языка. Зато другие люди были очень крикливы, все время что-то говорили, смеялись, трогали решетку, стучали по ней, бросали в клетку сладкие кусочки в бумажках, а иногда и одни бумажки. Люди очень смеялись, когда он подбирал такую пустую конфету и разочарованно выплевывал.

Особенно поразил Рыжего один широкий человек со сложным остро-терпким запахом перебродившего сока и того же противного дыма. Он подошел к клетке вплотную, дергал за решетку, а потом стал лаять на Рыжего:

— Ав... Ав...

Когда лис испуганно отбежал к стене, страшный человек стал плевать в него. Тогда Рыжий ускочил в конуру и напряженно следил, едва выставив морду, глухое ворчание вырывалось у него, кажется, первый раз Рыжий рассердился и готов был броситься, кусать, хватать. А пахучий человек тем временем уже стучал к крокодилу и кричал ему:

— Нну, вылезай! Вылезай, ты, посуда! Эх ты, посудина!

Он кричал и стучал до тех пор, пока не появились люди с блестящими пуговицами и не увели шумевшего, взяв его под руки.

Рыжий не знал, приходило ли стремление бежать отсюда. Скорее всего, оно было постоянно и постоянно заставляло его искать выход. По-прежнему ночи напролет он метался, кружил, нюхал, скреб, карабкался

по сетке, пытаясь обнаружить лазейку. Однажды на рассвете Рыжий устало сидел на своей деревянной конуре и прислушивался к утреннему гомону воробьев на тополях за оградой. Воробьев в зоопарке было пропасть. Они шмыгали по клеткам, не стесняясь залетать в кормушки даже к львам и орлам. Цари зверей и птиц не трогали их, зато лисы караулили все время. Иногда какой-нибудь чересчур смелый серый вояка попадался им в зубы.

Рыжий тоже знал воробьев, подняв морду вверх, он поводил ушами, принюхивался и вдруг заметил в темном верхнем углу клетки неширокую щель. Ясно-розово светило там утреннее небо, и видно было даже край тополя, что рос за оградой. Рыжий стал смотреть еще пристальнее, словно бы в самом деле думал (а он, конечно, думал), как бы добраться до этой щели. Вот он спрыгнул на пол, пробежал в угол, поднялся на дыбки, сначала принюхался, а потом подпрыгнул и стал карабкаться по отвесной сетке. Несколько раз лапы оскользались, Рыжий падал, но врожденное лисье упрямство и любопытство вновь и вновь толкали его, и наконец он поднялся до потолка клетки, сунул в щель свой подвижный чуткий нос. Пахло ветром, тополевой смолкой, всем тем, из чего складывается запах раннего летнего утра, когда улицы политы, листва и трава в росе, а на крышах домов лежат темные влажные косые полосы. Рыжий услышал и голос птички, всегда поющей на рассвете. Такая красненькая птичка пела по утрам в Марусиной деревне, Рыжий знал ее голосок, и сейчас ему нестерпимо захотелось выбраться отсюда, из огороженной, провонявшей нечистотами и мочой тесноты. Он сильнее сунул морду в щель, слегка раздвинул ее, доски все больнее стискивали ему морду, и, озлобляясь, он стал грызть, кусать их, каждый раз отламывая по щепке прелого дерева. С остервенением лис продолжал свою работу до тех пор, пока не образовалось достаточно широкое отверстие. Он попытался просунуть голову, завяз, заскулил, вырвался, потом повторил попытку — голова протиснулась, а там, где проходит лисья голова, всегда пролезет и лисье тело, такое тоненькое и гибкое, какое было у Рыжего.

На крыше он даже не обрадовался сперва — так устал, так болели десны, зубы и когти. Он прилег тут же, отдохнул, а потом спрыгнул вниз, побежал по дорож-

ке между клетками. И тотчас вслед ему раздалось рычание. Кто-то огромный кинулся на него, ударил о клетку так, что она зазвенела, кто-то бил в прутья тяжелыми лапами, кто-то выл, кто-то топотал. Большой пятнистый зверь колесом заходил в железном загоне, увидев Рыжего.

Заложа уши, без памяти бросился он назад, увидел в стороне решетчатые ворота. Проскочить под ними было делом одной секунды.

Новая Маруся

В ранние часы Рыжий благополучно пересек город. Случайно он выбежал по дороге в загородный поселок и затрусил вдоль заборов, все время приглядываясь и принюхиваясь. Здесь уже пахло деревней, деревенской улицей, но дома были с крепкими заборами, а по дороге одна за другой неслись блестящие страшные существа. Ужасное черное чудовище с нестерпимым грохотом, шипеньем, лязгом и свистом нескончаемо двигалось за домами, и Рыжий совершенно потерял голову, закрутился, засновал взад и вперед. И тут целая стая собак вдруг вывалилась из проулка. Сначала псы опешили, остановились — остановился и Рыжий. Но вот большой черный пес сказал «гау», и вся стая бросилась, зашлась разноголосым лаем.

Он припустил мимо плотных заборов, но скоро сдал, не зная, куда свернуть, усталые ноги отказывались нести его с большой скоростью, и разноголосый лай стал быстро надвигаться. Псы настигали. Сейчас окружат, вцепятся, свалят — и конец... А заборы все тянутся, тянутся, их не перескочишь, не обежишь...

Узкая лазейка под воротами одной дачи мелькнула впереди, тотчас он ввинтился в нее, проскочил, оставил за воротами рычащую и тявкающую свору. Только лисенок, обладающий кошачьей гибкостью, мог пробиться в такой лаз.

На широком зеленом дворе под тополями и яблонями было тихо. У крыльца дачи играла девочка, очень похожая на Марусю, только темноволосая. Рыжий поджал лапу, остановился.

— О-о, лиса! — удивилась девочка, выпустила из рук совок.— Лиска! Лиска! — позвала она совсем так, как

Маруся, и он подбежал к ней и встал в двух шагах. Лицо у девочки было круглое, с черными бровями и черными глазами, волосы завязаны лентами. Нет, это была не Маруся, но тогда почему же она зовет его, как Маруся?

— Мама! Мама! Лисенок! Ой, какой рыжий, хорошенький! Настоящий! — закричала девочка.

Из дверей дачи на крыльцо вышла неторопливая, дородная женщина с высокой желтой прической.

— Правда ведь — лиса! — густым голосом сказала она.— Наверное, из зоопарка сбежала. Вот чудо! Ну-ка, дай ей что-нибудь. Сейчас принесу.— И женщина ушла.

— Лиска, Лиска,— манила девочка, смело подходя к Рыжему.— Ты из зоопарка? Ты убежала? Ах ты, моя умница! Ты оставайся, будешь жить у нас... Мама, скорей же! А то она уйдет. Слышишь? Мама!!

А Рыжий и не думал бежать. Он привык, что маленькие никогда не делали ему зла, и смирно стоял перед девочкой, еще не знал, броситься ли ей в ноги, как Марусе, начать ли скакать и тереться мордой о траву или подождать.

Толстая женщина вынесла к крыльцу плошку с молоком, рыбу и кусок колбасы. Она поставила плошку в траву, и Рыжий тотчас подошел. Жажда томила его. Он принялся за молоко. Жадно лакал, всхлипывал и вздрагивал от еще не оставивших его воспоминаний. Его звериные, не приспособленные к восприятию грохота чуткие уши болели, нежное чутье, способное различить тончайшие оттенки запахов, было отравлено бензиновой гарью, а нервы, от рождения настроенные на великую лесную тишину, были напряжены до предела. Нехорошо ему было, как жителю глухой деревни, втолкнутому в суматоху огромного города. Когда Рыжий напился молока, он вытянул хвост и затрусил к крылечку, влез в прохладную темень и затих.

— Он будет у нас жить! — хлопала в ладоши обрадованная девочка.

Мать не перечила. «Пусть поживет,— думала она,— зверь вроде бы ручной, здоровый. А там видно будет, если не убежит, можно свезти в лес и выпустить».

Снова пошла хорошая жизнь. Каждое утро Рыжий встречал девочку визгливым тявканьем, вылезал из-под крыльца, радостно потягивался перед ней, юлил и прыгал, а когда девочка гладила его, лизал ей руки.

Он нашел свою новую Марусю и полюбил ее. Толстая женщина исправно кормила и поила его, а иногда трогала мягкими руками. И от ее рук вкусно пахло молоком и едой.

Рыжий жил на свободе, но ни разу теперь, даже ночью, не попытался выглянуть за ворота, где по пыльному тракту неслись и гремели вонючие существа. Он боялся их до мелкой дрожи. Такой зверь, весь блестящий, стоял у ворот дачи. По утрам большой человек — Марусин отец — уезжал на нем. Рыжий прятался под крыльцо, когда зверь начинал фырчать и рычать за воротами.

Подходила осень. Лисенок странно чувствовал ее приход: зудела вся спина и брюхо, линяла неспорая летняя шерсть, крепкий зимний волос пробивался на боках, хвосте и лопатках. Холоднее, темнее становились вечера. По ночам в уплотнившейся черноте неба гуще высыпа́ли звезды, ярко сияли, точно приблизились к земле. Студеная светлая роса до полудня не сохла на траве.

Рыжий долго не спал по ночам, следил, как летят на запад птичьи стаи, слушал ночные голоса уток, дроздов, куличков, караулил мышей, забегавших на дачный двор.

Однажды он схватил толстую серую крысу, которая выбралась порезвиться из подполья через стенной продух. Крыса долго пищала и верещала, неумело схваченная поперек, пыталась укусить и свирепо цокала зубами. В конце концов он задавил ее, но есть не стал, так гадко пахло это существо с долгим голым хвостом. Лис подтащил ее на крыльцо и бросил тут как свидетельство победы.

На даче уже готовились к отъезду. Заколачивали рамы. Сушили вещи. Укладывали тюки.

— Как же Лиску? — спрашивала грустная девочка.— Возьмем с собой?

— Придется выпустить,— вздыхал отец.

Отец девочки был художником. Часто, выходя из мастерской и вытирая тряпкой испачканные руки, он садился отдохнуть на крыльце и с улыбкой смотрел, как Рыжий носится по двору, западает в траве, прыгает, встает на дыбки, снова хищно ползет и вскакивает, точно подброшенный пружиной. Художник полюбил ласкового лисенка, хоть тот не слишком доверял

ему и редко подходил. От рук художника всегда шел сильный пугающий запах скипидара и красок. Иногда художник появлялся с альбомом, делал наброски с бегающей лисицы, смотрел, как дочь кормит Рыжего. И все время мысль о близкой осени, о том, что придется расставаться с таким умным, ручным зверем, не оставляла художника. Жаль расставаться, но что же делать, не везти же его в городскую квартиру на восьмой этаж?

— Ей надо в лес. Она в лесу родилась и не будет жить в квартире. Да и запах разведет ужасный... Нет, дочка, мы ей лучше сделаем, если выпустим,— доказывала мать.

Однажды утром вся семья уселась в маленький «Запорожец».

— Лиска, Лиска,— позвала девочка и, когда он послушно подошел, за лапы втащила его в машину. Рыжий не сопротивлялся, хотя пахло здесь едко и скучно. Заворчал мотор, машина тронулась, он сунулся девочке под руки и так сидел, пока «Запорожец» не перестал гудеть и качаться. Щелкнула дверца. Рыжий выпрыгнул на землю и оторопел. Кругом был лес. Высоко-высоко шелестели листья, слегка покачивались ветви, солнечные дорожки перемежались тенями, сизой изморозью была покрыта трава. Рыжий освоился и побежал по колее, прислушиваясь, принюхиваясь, как делал это всегда, попадая в незнакомое место. Лес очень нравился ему, будил какие-то неясные инстинкты и так хорошо пах, освежая чутье.

Росой, осокой, листом, понемногу летевшим с берез, сладко-горьким суховатым духом брусничника, тетеревиным следом благоухали осенние травы, и Рыжий не отрывал от них узкую хищную морду. Большой человек, его жена и дочка смотрели, как юрко мелькал оранжевый мех между стволами. Рыжий был в своей стихии. Он крутился по обочине поляны — стремительный, ловкий, настороженный и бесшумный, как рыба, отпущенная в воду из тесного ведерка, идет в ней легко и свободно.

— Да-а, чего говорить! Лиса! — медленно сказал большой человек.— Ну и пусть живет на здоровье,— заключил он.— Поехали! — Подождав, пока погрузится супруга, а дочка займет место рядом, он завел мотор.

Сначала Рыжий ничего не понял. Он оглянулся на фырчанье мотора, отбежал подальше и встал. Странное существо на четырех колесах стало двигаться, развернулось и покатило обратно по лесной дороге. Вот оно уже скрылось за поворотом, гул мотора затих. «А Маруся?! А толстая женщина? А большой человек!» — должно быть, подумалось Рыжему. Он торопливо обежал поляну и понял, что существо на колесах увезло их. Он замер на мгновение, как бы пытался сообразить, что делать дальше, а через секунду метнулся в погоню. Вот он почти догнал серого огромного жука, увозившего Марусю. Он не мог приблизиться вплотную, потому что бензиновая гарь забивала ему дыхание. Он бежал следом и видел даже тонкую Марусину руку в окне машины. Кажется, лис услышал и голос девочки, увидел, как большой человек обернулся, и тотчас серый жук зарычал, увеличил скорость, стал удаляться. Напуганный, Рыжий остановился. Но едва машина исчезла вдали, он снова бросился догонять. Он мчался теперь со всей скоростью, какую может развить молодая лисица, спасаясь от гончей собаки, его рыжее тело так и стелилось над дорогой в бешеном намете. И вот вдали дороги показалась серая точка, медленно приближалась она. Наверное, так прошло с полчаса. За все время этой сумасшедшей гонки Рыжий не терял из виду то приближающийся, то отдаляющийся автомобиль, но вот кончилась лесная дорога, «Запорожец» выскочил на асфальтовое шоссе и помчался с такой немыслимой скоростью, что никаких сил не хватило бы его догнать.

Бородатый

В то утро редкие прохожие, велосипедисты и водители машин видели, как бежала обочиной тракта взмокшая, жалкая, растерянная лисица. Она упрямо бежала к городу, вздрагивая и оглядываясь на каждый несущийся грузовик.

И опять раздался пугающий вопль: «Лиса! Лиса-а! Держи ее! Лови!» Камни свистнули, ударили в лапы. Топало позади. Рыжий метнулся вправо и влево, выскочил из-под колес грузовика, пересек тракт и оказался

в тихом проулке. Он побежал, заглядывая подряд во все дворы, и наконец забежал в тесный глухой дворик с плотными воротами и темным навесом внутри.

Человек, у которого волосы росли на шее (такого Рыжий еще никогда не видел), стоял у ворот.

— На-ко вот! Батюшки!! Лиса ведь?! Лиса...— сказал человек оторопело.

Он крадучись, тихонько обошел лисенка на полусогнутых коротких ногах и захлопнул калитку. Осмотрел двор и Рыжего так и сяк, убедился, что лисенок не сбежит, и нырнул в сени. Бородатый вернулся скоро с куриной лапкой, которая благоухала так, что у лисенка потекли слюни. Он доверчиво потянулся к куриной ножке. Тогда человек положил ее на землю. Рыжий наклонил голову, примеривался, как бы поаккуратнее взять кость, и тут жесткие пальцы схватили его, придавили к земле; он захрипел, забился, задыхающийся и перепуганный, пытаясь освободиться от этих беспощадных тисков. Они сжимались все крепче, и вот померкло в глазах у Рыжего, он слабел и затих. А когда пришел в чувство, что-то туго опоясывало его горло. Он кинулся в сторону, но это крепкое отбросило его назад, перехватило дыхание. Он прыгал еще и еще, а цепь, которую держал Бородатый, кидала его обратно. Бородатый поволок свою добычу к навесу, и даже жалкое сопротивление торможением на все четыре лапы не спасло Рыжего.

— О-от тута тебе место. Сиди-и, друг, откармливайся, вишь, тощий какой, а вылиняешь и — на воротник... на шапку. Ишь, рыжий какой... Первый сорт.

И Бородатый долго еще ходил около, оглядывал лисенка с довольным прищуром, чесал бороду, прикидывал, какой будет воротник.

Был Бородатый хозяйственным мужиком, работал дворником и кухонным при кафе, и дом, и двор, и заплот, и поленницы — все у него было прочно, обстоятельно, запасливо.

Теперь звенящая стальная цепь не пускала далеко. Она пугала своим звоном и скрежетом, и целые дни Рыжий лежал в теневом углу навеса, боясь потревожить ее. Он набирался силы к ночи, а ночью бился, тявкая, ходил колесом, пытался порвать ужасную цепь. Он бился до тех пор, пока не падал полузадушенный и слепой или пока не выходил Бородатый. Жгучая ре-

менная плеть со свистом обрушивалась на бока и спину лисенка. Он рычал, бросался, хватал эту бóльную плеть, виснул на ней. Тогда тупой удар в живот под ребра вздымал его на воздух, и он с визгом катился в угол. Он пытался уйти от проклятой цепи в нору, в землю, так счастливо спасавшую его раньше, но цепь не пускала и тут, не давала продвинуться, тянула назад.

По утрам Бородатый пугал лисенка метлой, заметал нарытую за ночь землю.

— Ну-ко ты, воротник. Вот чо нарыл, стерва,— ворчал он, и Рыжий, кажется, понимал теперь, что его зовут Воротник. Всякий раз при этом часто упоминавшемся слове он поводил ушами и смотрел на Бородатого.

Одним хорош был бородатый человек — он заваливал лисенка кормом. Куриные кости, сладкое, котлеты, колбаса, корочки сыра и, боже, чего не было еще в крашеном зеленом ведерке с хозяйственно пригнанной крышечкой, которое разверзалось перед Рыжим каждый день, когда хозяин возвращался с работы.

Рыжий никогда не ел теперь, покуда хозяин топтался возле. Тяжелый, щупающий взгляд Бородатого давил и сверлил его. Он необыкновенно чутко воспринимал то недоброе, что было в этом взгляде,— так чувствуют взгляд все лесные животные и даже некоторые люди. Может быть, Бородатый и не был злым, судя по людским отношениям. Просто с рождения, с детства не оказалось у него одного необходимого человеку свойства — любви и доброты ко всему живому. Это качество не дал ему отец, не родила и школа, три класса которой с грехом пополам закончил он за пять лет. И вот деловито рубил он головы курам на темной и заскорузлой от пролитой крови колодке. Спокойно бросал в таз трепыхающиеся тела, втыкал топор в плаху, сморкался, садился закуривать. Так же спокойно, с добродушной ухмылкой в бороду: «Эка ты, эка, постой, постой» — резал верещавших, бьющихся кроликов, вешал в сарае дворнягу, отслужившую свой собачий век, годную теперь на шубенки. Никогда ни одна мысль о совершенном не омрачала голову Бородатого. Прочно, порядком было там все уставлено на своих местах: кура, она для того, чтобы «ись», собачья шкура — «разоставок в хозяйстве». И так всю жизнь. Если он приходил в лес — сек на

изгородь лучшее дерево, молодые березки ломал на веники, подвернувшуюся, к несчастью, лягушку давил сапогом — «мразь», «нечисть». Шел себе дальше обыкновенный, простой, нужный человечеству, как там ни верти, не забывающий и про себя.

Вот и сейчас похаживал вокруг лисицы Бородатый, прикидывал, какова будет шкура, если снять ее, скажем, в ноябре, и сколько дадут по нынешнему времени за воротник. Любил Бородатый эту работу скорняка, мездровщика, любил свежевать овец, кроликов, коз, а тут ведь не кто-нибудь — лиса, воротник. Довольно покрякивая, он забирал пустое ведерко и уходил, как-то механически передвигая полусогнутые короткие ноги в ватных штанах, в крепких сапогах.

Днями Рыжий лежал в уголке, вспоминал. В острой лисьей памяти отражалась речка, запах молока, Марусины руки, крик ребятишек. Вспоминал он счастливые ночные блужданья в полях вокруг деревни, чистый вкус ночной росы, холодившей его вездесущий нос. Вспоминал и тихо скулил. Иногда он смотрел на полуотворенную калитку ворот, ждал — вдруг откроется она и зайдет Маруся.

Но шли дни, и не было Маруси, только Бородатый да его молчаливая старуха, которая никогда не подходила к лисенку, растворяли и затворяли жестко брякающую дверь.

Однажды, когда Рыжий, по обыкновению, дремал, в притвор с улицы заглянула собака. Это была крупная серая полуовчарка-полудворняга из породы бездомных, вечно шатающихся по окраинам, помойкам и свалкам. Рыжий мгновенно сел, перепуганный появлением ужасного врага. А враг раздумывал лишь мгновение — вздыбив загривок, он остервенело кинулся на лисенка. Звякнула цепь. Два зверя схватились с визгом, хрипом и тявканьем. Рыжий отбил первый натиск: с невероятной лисьей стремительностью он кусал пса за морду, за лапы, но проклятая цепь лишала его возможности юрко маневрировать, чем и сильна всякая лисица. Собака наступала. Они сцепились в тесном клубке, пес повалил лисенка в угол, крупные зубы впились в лисью глотку, но помешал ремень ошейника, и они рванули, пластнули его так, что ремень лопнул. И тотчас, почуяв мгновенное освобождение, Рыжий метнулся меж ногами собаки. Точно огненная стрела вылетела из калитки, и

разве может собака сравниться с лисой, когда несут ее легкие лесные ноги... Вихрем мелькнув по проулку, Рыжий выскочил в огороды и канул в картофельную ботву.

Воротник

Лис долго бежал полями, через перелески и кусты, пока не достиг опушки высокого надежного леса. На опушке Рыжий остановился, оглянулся, встал на дыбки. Никого не было видно в поле. Он перевел дух — бока ходили ходуном — и почувствовал необходимость облегчиться. Он сделал это, как все собаки, подняв правую заднюю ногу на сосну, обнюхал, фыркнул, кувыркнулся на спину, стал кататься в траве, по листьям, стирал зудящий волос вместе с запахом жилья и пищи бородатого человека. Долго он возился по листьям, взвизгивал, чихал, становился на ноги и валился снова, пока шерсть не стала блестеть. Тогда Рыжий встряхнулся, насторожил уши. Чуткий слух его уловил едва заметное шуршанье. Кто-то бежал, двигался, замирал и шелестел под листьями. Рыжий подскочил, прянул вперед — зубы жамкнули нечто маленькое, похожее на мышь. Но тут же лисенок с отвращением выплюнул, замотал головой. Это нечто оказалось вонючей мускусной землеройкой. Он рассмотрел несъедобную зверюшку, запомнил ее запах, поскреб лапами и побежал дальше. Рыжий был голоден и трусил вдоль опушки, прислушивался, принюхивался, как заправский охотник. Опушка вывела его на лесную неторную дорогу. Он подобрал на ней дохлого синего навозного жука, сжевал на ходу и бежал по дороге до тех пор, пока она не пересекла недавнюю вырубку. Большие пиленые пни, широкие и низкие, скрывались в серой и желтой траве, выше травы уже поднялись повсюду разукрашенные осенью березки, полураздетый трепещущий осинник и молодые густоиглые сосенки. Инстинктом хищника Рыжий понимал, что в такой крепкой поросли должны прятаться вкусные существа. Он засновал в траве стремительным лисьим поиском, как челнок, прочесывал порубь. Тонкие струйки запахов ударили ему в нос. Он не ошибся: кто-то рыжеватый, серый вдруг заскакал в траве, пустился наутек, запетлял меж кустами, оставляя за собой примятый след.

Скоро Рыжий догнал ушастого зверя. Заяц в ужасе переметнулся через голову, повалился набок, и его длинные, крепкие задние лапы пребольно хватили Рыжего по морде. Он тявкнул, зарычал, отскочил, и тотчас запетлял, пуще прежнего помчался перепуганный матерый русак.

Еще дважды Рыжий догонял зайца, и всякий раз тот валился на спину, обрушивая на лисенка каскад веских ударов.

Рыжий сделал ошибку — он погнал зайца к лесу, и тот, нырнув в чащу мелкого ельника, мгновенно исчез. Лис прекратил преследование, огорченно стоял, высунув язык, часто дышал. Наконец он зевнул с притворным безразличием и затрусил дальше. Не приученный матерью к охоте, выросший средь людей, он ловко ловил лишь полевок, их и пришлось ему искать на скудный ужин.

Вечерело. Лес погружался в темноту. Звезды проглянули над вершинами. Ночной туман заслоился над опушками, потек в поля, забелил низины. Лес пугал Рыжего высотой деревьев, шумом опадающей листвы, бесконечными шорохами и звуками, которых лис не знал. И он выбежал в поле, покрутился у хлебных скирд, поймал юркую полевую мышку и тут же решил переночевать, забился в теплую сушь соломы. Уснул он быстро и всю ночь вздрагивал, рычал, беспокоился. Знать, снились ему тяжелые сны: Бородатый, собаки, удирающий русак...

Бежало время, все заполненное суетой и поисками пищи. Голод гонял Рыжего по лесу, по обочинам полей, межами и вырубками. Лис обследовал стога, старые пни, кучи хвороста и бурелома. Пища давалась нелегко, и он учился теперь на горьком голодном опыте. Взматерелые осенние птицы улетали, едва он начинал подкрадываться. Да и не умел Рыжий подползти так, как делают это лисята, обученные маткой, исподволь привыкшие ловить сперва полузадавленных ею зверьков, потом неопытных слетков, линяющих июльских птиц, а там уж и матерых тетеревов, зайцев, полевых хомяков. Зайцев Рыжий встречал много, да, напуганный их отпором, не умел взять. Лишь раз удалось ему настичь и задавить какого-то слабого больного листопадника.

Одни мыши-полевки и хомяки составляли Рыжему корм, ел он также сонных жуков, всякую мертвечину, травинки озимей, корешки. Но и такой еды становилось все меньше. Совсем попрятались лягушки, не стало змеисто-бойких ящерок, которых стерег он у пеньков, пропали жуки и кузнечики.

Рыжий замечал, как все менялось в лесу. Лес сквозил и редел, шуршал листом. Северный ветер-полуночник донага обдувал сперва осины, потом березняк. Медленные, студеные, вишневые багровели зори. Ночью небо мерцало холодными предвечными огнями. Слышались с него тонкие птичьи голоса. Последние стаи торопились в теплые края. В такие ночи Рыжего донимал холод, запоздало росла его зимняя шуба. Он жался в полях к стогам, ночевал в несвезенных хлебных кладях. Он мог бы, конечно, вырыть глубокую зимнюю нору, пока земля еще не застыла, но у лис гнездовые норы роют лишь самки, а Рыжий был самцом и презирал женское ремесло.

Чем ближе к зиме, тем сильнее задремывала земля. Куталась по утрам в туманы, горестно седела от инеев. Совсем холодно стало в пустом облетелом лесу. Правда, теперь Рыжий весь оделся густым оранжевым на боках и темным по хребту мехом, стал взрослым, пышным и толстым, но по складу характера, по всем привычкам был он все тем же милым лисенком, каким его знали детские руки. Он тосковал по этим рукам, по лакомым кусочкам, которые приносили они. Помнил Рыжий своих Марусь, и то мягкое доброе тепло, и молочный запах... Скитаясь ночами в полях, Рыжий подходил к околицам деревень, забегал даже на улицы, но собаки гнали его...

Однажды ночью выпал снег. Рыжий лежал, свернувшись клубочком, возле стога и услышал, почувствовал, как легкие холодные снежинки садятся ему на морду, осыпают шерсть. Он слизывал их, прядал ушами, тряс мордой, а потом поглубже улегся под стог, забился в сено. Снегопад был густой и сильный, снег шел всю ночь. К утру все побелело, налилось светом и голубизной: поля, и опушки, и крыши деревни, и самое небо, которое вблизь обвисло над землей, соединялось с ней как раз за лесом, там, где летало и кружилось беспокойное воронье.

Рыжий вылез из-под стога. Он сощурился от белого

вьюжного света, чихнул, поддел на морду холодный снежок, отряхнулся, постоял задумчиво, шевеля одним ухом, то закладывая его, то распрямляя, он поглядел на деревню, смутно видную сквозь печальную сеть снежинок, и вдруг затрусил туда, не оглядываясь, как бежал в давние летние дни. Четкий следок печатался за ним одинарной строчкой. Видимо, Рыжий решил, что сейчас самое время найти Марусю. Он забежал в третий от околицы двор (ведь лисы умеют считать почти до десятка). И опять на дворе стояла девочка. Нет, не Маруся, но, может быть, и она. Ведь Маруси-то были разные. Она поглядела на Рыжего, стоящего с самым добродушным видом, и молча метнулась в сени. Забежал туда и он. Резкий запах жилья, тепла, овчины напомнил ему прошлое, он ждал — вот растворится дверь и добрые руки сунут ему косточку с махрами мяса или кусочек хлеба, намазанный сметаной... За дверью в избе слышался шум, стук, голоса. Он встал перед нею, как собака, ждал, так и сяк поворачивая ушастую голову, повиливал нетерпеливо хвостом. Дверь открылась тихонько. Женщина показалась в ней, над ним. Рыжий не успел разглядеть, что было в руках, так ждал... Хлесткий удар поленом в голову повалил его на порог, а потом били еще и еще, пока его длинное тело не вздрогнуло в последний раз.

Через неделю в местной газете многие прочитали такую заметку:

Воротник

К жительнице села Полевское Л. Звонаревой средь бела дня забралась в сени лиса. Должно быть, кумушке захотелось курятины. Женщина не растерялась и убила хищницу поленом. Славный воротник получила Л. Звонарева к наступающей зиме.

1966 г.

Размышление на пороге

Опыт автобиографии

Всегда с большой неохотой писал я бумагу под названием автобиография. И в самом деле, казалось, зачем она, кому так уж горько нужно, где я жил, когда родился и чем занимались мои родители в прошлом. Припоминалась мне в таких случаях известная с детства, может быть по книгам Д. Шульца, мудрость индейцев, никогда не признававших столь важной для нас бумаги — свидетельство о рождении. Индейцы считали, раз человек есть, значит, он родился. Для людей своего поколения, то есть рожденных в начале тридцатых годов, я проходил путь зауряднейший: детский сад (очень немного), школа, пионерия, институт, комсомол, работа. Судьба не дала мне возможности совершить подвиги, сделать выдающееся открытие, занять высокий служебный пост и даже воинское звание оставила мне почетнейшее и наименьшее — солдат, рядовой пехоты. Правда, она не удержалась и здесь сгладить весомое значение звания, добавив к слову рядовой еще определение необученный, лихо вписанное в мой красный солдатский билет холодной девицей в зарешеченном окошечке райвоенкомата. Разумелось, видимо, под этим, что если я и встану в строй, повернусь, конечно, через правое плечо, а винтовку возьму не иначе как на себя дулом. Бог с ними, со степенями, званиями, чинами, думаю я иногда (а что мне остается?), хоть самолюбие мое иногда вроде бы несколько страдает при виде сверстника, а подчас и однокашника в лампасах, шевронах, иного уж со званием академика, другого в высоких партийных и государственных сферах.

Итак, в каких-то смыслах мне жестоко не везло, жизнь то обрушивала на меня тягчайшие беды, то катила холодно и мимо, мчалась, блестя лаком и никелем, победно трубя, а ты как шел, так и шел со своей котомкой, щурился от пыли, от солнечных бликов, сторонился опасного торжествующего лихача, и вот уж он далеко-далеко, а тебе все тот же обочинный проселок да тяжелеющий груз, что велит то ли отдохнуть, то ли остановиться...

И профессия моя первоначальная никого не удивляет ныне, в эпоху всеобщей грамотности и среднего образования,— учитель. В обывательском плане это как раз свидетельство того, что как мужчина я не смог найти солидной жизненной профессии, той, что дает уверенность — по крайней мере, для обретшего ее — в несокрушимости жизненных позиций и даже словно бы своей непреходящей вечности, несмотря на любой самый почтенный возраст. Итак, что писать? О чем? Какая биография выстраивается к полустолетнему юбилею? Удивительно даже это произнести, не только ощутить. Пятьдесят! Как нереально оцениваешь свой возраст с годами. Странные метаморфозы происходят, может быть, не только со мной: чем больше лет, тем незаметнее они кажутся, а душа остается молодой, и лишь редкое какое-нибудь бестактное напоминание обдаст нежданным холодом.

Вот, рискуя отвлечься от автобиографии, расскажу случай. Было это уже давно. Будучи в отпуске, я играл на пляже в волейбол, играл не так, как играют по правилам, то есть на площадке и через сетку, а просто в кругу, куда пришли и встали незваные, всяк в меру своих способностей принимая и отпасовывая взлетающий мяч. Все было прекрасно: синее-синее небо, совсем южное солнце, красивые, уже весьма загорелые девушки в кругу и сам я такой же загорелый, как бы налитый здоровой силой, вполне как будто еще молодой,— что там тридцать восемь — сорок? Волейбол в прошлом был для меня любимой игрой, даже спортивной карьерой, едва не приведшей в профессионалы, к званию мастера, а уж по первому-то разряду я играл, пожалуй, и на пляже. Главная красота волейбола — удар, когда мяч словно сливается в один гул со звуком и, превращаясь в пушечное ядро, разит всякого, кто пытается его принять. Не стесненный площадкой, вдох-

новленный наличием в кругу двух-трех довольно опытных ребят — приемщиков мяча, не худо пасующих и бьющих, а также упомянутых девушек, я дал себе волю и разыгрался так, что, когда выходил на очередной мяч, кто-то из этих ребят-студентов в предвкушении моего удара и вполне самозабвенно заорал: «Батя! Вмажь!!!»

И все. Уже словно не было ясного синего неба. Не было горячего солнца... Не было желтого песка. Не было красивых девушек. А вернее, все это осталось, а не было моей молодости, исчезнувшей враз с этим непроизвольным кукушечьим криком.

Я «вмазал» и ушел из круга. По-моему, никто меня не понял — и слава богу. Хотя игроки — и в их числе красивые девушки — с недоумением как будто смотрели вслед.

Итак, повторяю: ЧТО ПИСАТЬ? О ЧЕМ? Какая автобиография выстраивается, если почти во всех графах анкет приходится указывать: не был, не участвовал, не избирался, не имею, не владею? Все ведь яснее ясного. И тем не менее, раз уж обязывает возраст, писать придется, и на авансцену пойдет, очевидно, исповедь личностная и, может быть, творческая, которую вряд ли доподлинно знает хоть кто-нибудь, кроме меня самого. Но писания такого рода трудны, пожалуй, более, чем что-то. Мера скромности, если она есть, удержит руку там, где надо сказать похвалу, и та же мера с обратным знаком может удержать от самокритики. Где предельная объективность, которой жаждал бы всегда и всюду, как высшего суда? И призвав в свидетели свою совесть, взгляд на жизнь, рискуя быть ненужно откровенным, я обращаюсь к главному своему судье — читателю, который не простит мне ни попытки преувеличения, ни того «уничижения паче гордости», какое любят именовать простотой и скромностью.

Пятьдесят лет (может быть, я и ошибаюсь) такая же ужасная дата, как тот возглас на пляже, четко обозначивший мою возрастную отделенность от всех играющих. Трудно пятидесятилетним, и, наверное, особенно женщинам, по крайней мере одна из моих знакомых и даже начальниц, раньше меня вступившая в эту пору, сказала со вздохом: «Ах, вы не знаете, как я вчера плакала...» И я поверил ей безоговорочно, хотя женщи-

на эта относится отнюдь не к слезливым созданиям.

Пифагор не зря мистически боготворил цифры. Они тяготеют над нами как рок, и потому не ближе ли к вечности и счастью животные, не знающие своего возраста и всего связанного с этим знанием и подсчетом. Известно и то, что самые счастливые из людей также не считают свои годы и не раздумывают над течением времени.

Пятьдесят, вероятно, хуже шестидесяти хотя бы потому, что моложавых шестидесятилетних все считают мужчинами, и это придает им особую крепость и гордость: «Шесть десятков, а еще и седого волоса ни в голове, ни в бороде»... Семьдесят — счастливый юбилей, хотя бы потому, что до него удалось дожить, а дальше уж появляется, наверное, интерес вроде спортивного, впрочем, не знаю, не стану и судить.

На пороге пятидесятилетия творческим людям всегда стоит подвести предварительные итоги. Хочешь не хочешь, а приходится тревожить великие и святые имена, которым не удалось достичь и этой даты, однако, торопясь жить и творить, они успели и то, что недоступно самым почтенным долгожителям. На грани пятидесятилетия имена великих вспоминаются особенно часто. Сорок семь книг вышло у меня в разных издательствах. Но что книги? Количество их никогда не бывает соответствующим количеству читателей, перемноженному на тиражи. Ведь книги могут и попросту пылиться на полках, а читатель будет равнодушно проходить мимо твоей фамилии. Всего одну книгу надо написать, всего одну. ОДНУ. ЕДИНСТВЕННУЮ. А кто справился с этой целью, кто превратил страстное желание в вещественную форму с названием «Записки охотника», «Три мушкетера» или «Сто лет одиночества»? Из тысяч и тысяч пишущих судьба отобрала немногих, над кем не властно время, критическая молвь и даже ход истории. Ах, если бы, если...— думается на пороге. Если бы заранее знать свой путь и свои способности... Если бы образованием и воспитанием твоим руководили некие без меры просвещенные педагоги и столь же высокообразованные родители. Если б в твоем распоряжении с детства была «великолепная библиотека отца, куда мальчик пробирался тайком и, забравшись с ногами в глубокое кожаное кресло, погружался в чтение» и т. д., если б «родители мальчика,

заметив его тягу к искусству»... Иногда думается: да уж не из этих ли если, не из тех ли, как будто знающих всю высшую суть жизни, липовых аллей воздвигались гигантские фигуры литературных пророков, властителей дум, на кого и сейчас, столетия спустя, приходится смотреть, запрокидывая голову, к чьему имени уже не прилипает ни хула, ни лишняя хвала. И все если бы, если бы, если бы...

Думаю, что каждый литератор, кого ни спроси, на рубеже своего юбилея ответит, разумеется, что главной своей книги он еще не создал, что вся работа впереди под лозунгом: новых творческих успехов! С годами приходит на ум спасительная теория, что дарования зреют медленно, а ныне, «в условиях НТР», «потоков информации», «усложнения жизни» и проч., мол, истинная зрелость наступает много позже, чем было. Хороша теория, она вроде валерьянки, вроде настойки пустырника, последнее, пожалуй, точнее. А жизнь, наверное, не замедлилась, потоки информации были и в пещерный период, они соответствовали лишь способностям восприятия прадревнего художника, и сетовать стоит только на собственную неразвитость, на лень, на нежелание пытаться объять необъятное, ибо писателю, как никому, нужны такие попытки. Писательство я всегда мысленно сравниваю с алхимией и вовсе не смеюсь, когда кто-то пытается найти философский камень, эликсир молодости и вечный двигатель. Скажу больше, истинные произведения, размышления о которых высказаны выше, как будто приближены в своей сути к этим иррациональным символам.

Закончив всю эту увертюру рассуждений, обращусь к прямому ходу исповеди, чтобы ответить на вопросы, наиболее часто задаваемые как письменно, так и устно на встречах, конференциях, выступлениях и чтениях. Экономя время слушателей, я старался отвечать на вопросы кратко; здесь же, в письменной исповеди, могу ответить обширнее, хотя сама форма исповеди предполагает лишь один ответ: грешен.

КАКИЕ ВОПРОСЫ? Если отбросить довольно частые: сколько платят писателям, сколько получил денег за такую-то книгу и т. п., остаются следующие. Когда (где) вы родились? Почему (как) стали писателем? Что вы делали до того, как стать писателем? Где (откуда)

берете материал для своих книг? Любите ли путешествовать? Ваши увлечения (в смысле «хобби»). Отношение к критике? Над чем работаете сейчас?

Отвечая на эти вопросы, пусть не в такой последовательности, я попутно, быть может, отвечу и тому внутреннему, всегда вопрошающему голосу: как жил? Так ли? Где искал радость и счастье? Чем можешь оправдать уже в значительной степени прожитую жизнь, ее лучшую и самую творческую часть?

Давным-давно, лет двадцать назад, мне попала измусоленная перепечатка на полупрозрачной бумаге, которую до недавнего еще времени именовали папиросной. На бумаге сей были напечатаны краткие шутливые гороскопы, соответствующие каждому рождению под тем или иным знаком Зодиака и влиянием какой-нибудь планеты. Поскольку родился я в декабре и, следовательно, под созвездием Кентавра (Стрельца), то, если верить гороскопу, оказывалось, что нахожусь «под покровительством Юпитера». «Стрелец примитивного типа не любит цивилизации. Он обладает большой жизненной силой, очень активен, нравится женщинам и обладает даром увлекать за собой людей... Другой тип — тип человека, целящегося в неведомое. Это тип ученого, политика, мыслителя. Это тоже борец, хотя ему полем сражения служит лаборатория, кабинет, кафедра, трибуна. Но и он сохранил в своем сердце страсть к путешествиям и бродяжничеству, риску и авантюре. Это археолог, этнограф, исследователь. Несмотря на веселый добродушный характер, иногда томится тоской по непостижимому. Земля кажется ему мала, и он не всегда знает, чего хочет».

Я хохотал над гороскопом, хотя последняя фраза его поразила точностью в приложении к моей личности, характеру и темпераменту. Были среди приведенных строк и еще кой-какие, вроде бы тоже подходящие, главным образом, с отрицательной стороны, но чем-то эта характеристика мне все-таки понравилась, и я не раз перечитывал ее, без всякого, конечно, суеверия, посмеиваясь над неведомым астрологом и поражаясь его прозорливости.

Помнится, что с тех пор, как я осознал себя живущим, наверное, лет с трех-четырех, я совсем не представлял, в каком замечательном месте родился. Сверд-

ловск тогда уже не очень походил на уездный Екатеринбург, но слобода Мельковка, чудом уцелевшая за два-три квартала от центральных улиц города, рожденного деяниями Петра и бурно растущего на закваске индустриализации и первой пятилетки, являла собой осколок ушедшей старины, вполне переносила в минувшее столетие своей полудеревенской тишиной, огородами, светлой Мельковкой, бегущей тихо и поросшей по берегам осокой и лопушками, перекличкой петухов, стуком телег по худо мощенным ближним улицам. Населенная ювелирами, гранильщиками, камнерезами и даже как будто старателями — золото мыли тогда и на городском пруду, и в верховьях речки Мельковки — она должным образом подтверждала свою именно уральскую суть. С другой стороны, ее обитателями были обычные во всех слободах и посадах по Руси сапожники, плотники, стекольщики, печники, извозчики (тогда они еще были, как были шорники, точильщики, дроворубы и трубочисты). О последних не могу не вспомнить с какой-то тайной грустью. Они казались какими-то не простыми людьми, а словно бы соединенными с некой чердачной и таинственной жизнью. От их мазаных лиц, такой же одежды, ловкого перебегания по крышам, странных печных снарядов в виде черных гирь, веревок и мочальных щеток веяло прикосновением к чертовщине, к непознаваемым тайнам. К тому же ведь крыша, трубы и печи — совсем иной, неведомый мир, и это хорошо понимали как будто лишь такие люди, как Андерсен, Астрид Линдгрен, Сельма Лагерлёф (прошу у читателя извинения за внезапное отступление, но ведь я размышляю и вспоминаю одновременно).

А еще жило в слободке непонятное количество людей совсем неопределенных занятий, и все они были интересны для моего детского ума, как-то входили в мою жизнь, соприкасались с ней и отражались в моем миропонимании, иногда надолго, на всю мою дальнейшую жизнь, а иногда словно всплывали откуда-то при сопутствующем воспоминании. Сколько обитало здесь безвестных ныне старух, поломоек, прачек, нищих, калек, инвалидов, тележечников, пьянчуг и воров разных мастей и степеней, в последнем случае я довольно близко соприкасался с их странным миром, ибо в полуподвальном этаже нашего дома, у квартирантов, доставшихся

бабушке как бы в наследство от прежнего домовладельца, долгое время было подобие «малины». Хорошо помню, как в осенне-зимнее время, более по вечерам, сюда на огонек сходилось все окрестное жулье — от солидных паханов с жестко-ласковым взглядом, весьма независимого облика воров «в законе», до одетых в ремки и клифты ребят — карманников и щипачей. Естественно, что на меня, малыша, не обращали большого внимания, изредка даже оделяли краденым печеньем, что в общем-то не вызывало у меня отвращения к способам добычи этого продукта.

Моя бабушка Ирина Карповна купила дом в Мельковке опять же у ремесленника, но более высокого ранга — это был портной. В отличие от добрых портных, которых я знал по сказкам братьев Гримм, этот отличался чудовищной скаредностью, достаточно сказать, что перед отъездом из уже проданного дома он срубил на дрова все столетние тополя, а наведываясь изредка к бабушке, все что-то выпрашивал, причитал и жаловался. Седой, подслеповатый, злобный, он так и остался в моей памяти вместе с железными вывесками, долгое время валявшимися на дворе, с намалеванными на них синей и коричневой красками сюртуками, картузами и жилетами и с крупной надписью: «Портной Горинъ».

Жили в слободке и люди более привилегированные, например, по соседству с нами — инженер и владелец огромного трехэтажного дома с флигелем во дворе Подкорытов; врач Пятницкий, словно бы воплотивший в себе обличье всех врачей — толстый, лысый, в золотых очках, занимавший отдельный дом с частной приемной; наконец, и опять же в соседях, оказался преуспевающий коммерческий директор (не помню точно кто), но поскольку с отпрыском директора мы были почти одного возраста и часто играли вместе, я допускался (не далее прихожей) внутрь дома и уходил всегда пораженный роскошью его, наличием двух домработниц (одна была коровницей, другая кухаркой и горничной). Коммерческий директор предпочитал пить парное молоко.

Что там директор! Если б тогда я мог здраво оценивать исторические места слободы, я подивился бы, сколь много их здесь было, ведь всего за два квартала от нас стоял дом Мамина-Сибиряка, еще ближе — дом

Решетникова, на соседней улице бывал и живал Бажов, а в доме на Вознесенской горе, наискосок от хорошо видных мне всегда палат Расторгуевых-Харитоновых, стоял исчезнувший ныне дом, где закончил свои дни печально известный последний русский царь. В доме этом я бывал и в детстве, и позднее. Некоторое время там был музей, но из всех экспонатов почему-то запомнил я одну рыжую фотографию: бородатый, похожий на старого извозчика и на моего деда царь в солдатской фуражке пилил дрова с каким-то неведомым человеком.

И что там — царь! Если в соседнем доме упомянутого инженера, как оказалось по установленной на нем позднее мраморной доске, жил и скрывался сам Свердлов. Кажется, история нарочно сосредоточила в Мельковке такое обилие памятников. И все они исчезли и пошли на слом, лишь дом Сибиряка, запрятанный чуть не в чрево какого-то завода, взывает о милосердии.

Наша немногочисленная семья занимала верхнюю часть дома. Он был и остался для меня самым родным, ведь я прожил в нем почти с рождения (был доставлен в него годовалым) тридцать три года. Сказочная эта цифра говорит о счастье, и, наверное, так оно и было, по крайней мере, как помнится, хотя жизнь текла всякая, со своими трудностями, горестями, неблагоустройством сверх всякой меры, иногда и за водой приходилось идти за три квартала, а мечты о водопроводе, «паровом» отоплении и прочих благах казались несбыточными. Однако эти же самые неудобства имели и свою положительную сторону для всех, кто жил так. С детства мы привыкли уважать и беречь воду, знали цену дровам, умели ладно истопить печь, с весны до зимы возились в огородах, где первым делом была уборка мусора, затем копка гряды, высаживание рассады, полив, окучивание, выпалывание неистребимых сорняков — бабушкина работа, которую я терпеть не мог,— позднее же, в августе и ближе к осени, начинался сбор земных плодов, изобилие их уже к середине лета давало и ощутимую радость, и видимую пользу. Горох, морковь, репа, огурцы, бобы, малина и смородина уже не считались чем-то особенным, были свои и как будто даровые, а там поспевала молодая картошка, наливались помидоры, радовала глаз плотными шапками цвет-

ная капуста. Труд земледельца поначалу и в детстве довольно тягостный. Копай, сади, таскай воду, когда хочется играть, бегать, быть свободным, заниматься своими важнейшими делами. Нет, он не был любимым трудом, любовь эта появляется с возрастом, но, приобщаясь к нему, я учился уважительно относиться к земле, а позднее, поселившись в долгожданном благоустройстве, тотчас ощутил вокруг себя непонятную пустоту, похожую на смятение, какую-то словно бы оторванность от родимой почвы, весна уж не была для меня весной, лето — летом, осень — осенью. Я словно бы тосковал по самому запаху огорода, по лопате, граблям, вилам, всей этой несложной технике, которой жаждали мои привыкшие к делу мускулы, и даже ноющая боль в спине, в натруженных, как бывало, ногах и пальцах вспоминалась как сладкая боль. Я тосковал, может быть, по тому чувству хорошего, спокойного удовлетворения, какое бывает у хозяина земли, крепко потрудившегося и видящего ее благодатной, засеянной, рождающей; не знаю, дойдет ли описанное чувство до читателя, особенно насквозь городского, чурающегося граблей и лопаты, как антихриста, гордящегося потихоньку своей непринадлежностью к крестьянскому сословию и даже, допустим, с осуждением готового отнестись к людям, имеющим скот, вот, к примеру, свиней или корову. Самое удивительное, что такой читатель — надеюсь, что их немного, да и не будут они, пожалуй, читать эти строки — очень любит свежее молоко, сметану обожает густую и некислую, ветчину лучшего разбора, нежирную и вкусную, а говядину в виде филе. Дальше не продолжаю. Все это не входит в тематическую направленность моей исповеди.

Так вот, не хватало мне чувства настоящего земледельца, довольного тем, что вместе с солнцем, дождем и теплом сотворил он этот несложный, однако радостный мир, где все растет, готовится цвести, давать плоды и радоваться жизни. Далее я еще скажу, как вышел из создавшегося затруднения.

А пока, по детским воспоминаниям, вечной проблемой были дрова — их надлежало приобретать где-то на складе, на дровяной базе, «выписать», «оплатить», найти на чем вывезти, потому что транспорта на Руси испокон веков не хватало, и это именно обстоятельство повергало в панику обоих моих родителей, особенно

отца, отличавшегося какой-то удивительной инертностью, непробойностью, неумением все такое оформить, достать, выбить, урвать из-под чьего-то носа. Отчасти и я унаследовал это свойство. Хорошо помню, что доставание и вывозка дров были несколькими актами долгой и мучительной трагедии, со многими размышлениями, диалогами, монологами и словно бы жертвенностью и героизмом. В конце концов дрова привозились и всегда сваливались не во двор, а на улице, потому что заехать во двор надо шофера просить, кроме того, грузовик может как-нибудь задеть за столб, и вообще лучше, если б он скорее уехал, оставив у ворот обещанный груз, а главное, избавив от той ужасной зависимости, которая и пугала отца, и, возможно, не только его. Далее трагедия уже переходила в героическую драму со многими счастливыми обстоятельствами. Дрова перетаскивали. Отец отличался незаурядной силой, теперь все зависело уже от него самого, и тотчас, даже облитое потом, лицо его становилось привычно спокойным и радостным. Дрова вдумчиво размещались на дворе, потом они пилились, раскалывались, укладывались в поленницы, и все это с похваливанием их качества, своего умения распилить, расколоть, сложить; всегда оказывалось, что дров даже больше выписанного, что заготовлены они вот как вовремя, за лето высохнут звон звоном, гореть будут жарко,— радости не было конца. Это сейчас я, может быть, иронически, с позиций благоустроенного жителя, описываю все эти деяния, но тогда я безмолвно разделял и думы, и тревоги, и радости отца, я был единственным сыном, как следствие — единственным и помощником. Случалось, зимой, принеся в дом охапку твердого сухого березника, отец мастерски растапливал голландку, по-охотничьи вкусно закуривал, садился со мной на низкую скамеечку у чела, глядел, как огонь, припахивая берестяным дымком, начинает трепетать, гудеть и пощелкивать. Говорил: «А дрова-то! Золото... Смотри, как горят! Вовремя заготовлены...» Ничего не скажешь. Голубое папиросное марево тянуло в чело, и я видел, отец очень доволен, почти счастлив. Он умел во всем найти простую, долгую, постоянную радость, зато я как будто не унаследовал этого здорового качества — очень нужно и очень ценно оно в повседневной жизни. Отец мой, Григорий Григорьевич, по профессии бухгалтер, был

действительно человеком завидного физического и духовного здоровья. Скромная жизнь и такая же негромкая профессия, которую, кстати, сам он никогда не считал ни неудачной, ни малозначительной, в сочетании с характером сделали его жизнелюбом, никогда не верившим в возможность исхода. Он всегда был убежден, что худое перемелется, перейдет, обернется в лучшую сторону; часто-часто он вселял эту эфемерную веру в лучшее в своего всегда склонного к лишней мрачности и тревоге сына. В отношении жизненных оценок мы настолько были разные люди, что с трудом верилось в наше кровное родство. По-своему отец был мудр, не гнался за лишним, не желал невозможного, избегал неосуществимых дел, чурался новизны скорее из-за этой неприязни к лишним хлопотам и какой-нибудь новой зависимости, неизбежно возникающей от всякого нового дела, увлечения или желания. В тридцатые годы его премировали за безупречный труд раз за разом двумя фотоаппаратами (ценность немалая, учитывая тридцатые годы!). Он никогда не попытался даже учиться фотографировать. «Фотокор» и «Агфа» благополучно провисели на стене над его кроватью до самой войны и были, конечно, проданы в числе нужных и малонужных вещей. Заявляя не раз о желании научиться ездить на велосипеде, он и не помыслил бы о столь значительной покупке, а когда этим транспортом обзавелся я, отец ни разу не изъявил желания сесть на него. Носил он всегда приблизительно одинаковую одежду, читал главным образом исторические романы и охотничьи журналы, хвалил гречневую кашу (а я ее терпеть не могу), любил газету «Уральский рабочий», курил только «Беломор», никогда в рот не брал сигарет, а из вин по большим праздникам уважал кагор, выпивая от силы две-три рюмки. Честен он был беспредельно, к своим вещам относился любовно, а перед ружьями даже благоговел, и мог по многу раз рассказывать какие-нибудь подходящие к случаю эпизоды из своей жизни — все их я знал из слова в слово, но никогда не прерывал отца,— и пусть в сотый раз! — слушая повествование о какой-то охоте на току или за утками.

Где бы он ни работал, а работал всегда десятилетиями на одном месте, его неизменно ценили, хвалили и поощряли. Дипломы и грамоты он бережно хранил вместе с медалями за войну. Хотя отец обладал вдум-

чивостью, неторопливостью и хорошей бухгалтерской подготовкой, времени на работе ему никогда не хватало, и он постоянно носил свои скучные бумаги домой, сидел за ними вечерами, ночами, по выходным. А периоды годовых отчетов и каких-то там балансов превращались в нашей семье во время бурных тревог и переживаний. Из-за постоянных недосыпаний отец выработал привычку спать немного, но зато так крепко, что разбудить его бывало затруднительно. Он обладал способностью спать где угодно, засыпал мгновенно и таким образом как-то компенсировал многочасовое бодрствование.

Охотник он был замечательный, удачливый, добычливый, выносливый в ходьбе и непредвиденных лишениях. Однако непредвиденное с ним случалось редко. На каждую охоту он собирался загодя, заблаговременно, недели за две составлялся подробный список, что взять, и открыживался по мере сборов цветным карандашом. С особой любовью, и опять-таки часто ночами, снаряжались патроны,— разумеется, при моем самом горячем участии — мне доверялось отвешивать дробь, подавать пыжи и капсюли. А попутно велись подробные рассказы о многих охотничьих случаях, всегда неизменно удачных, чудесных, когда отец выходил победителем в самых трудных обстоятельствах. Как я любил такие вечера и даже ночи!

Сбор же на охоту напоминал ритуальное действо. Обычно отец прибегал с работы минут за тридцать до отхода поезда. Весь в поту метался по комнатам, хотя все было заранее уложено, однако он никак не мог уйти, не перепроверив, не ощупав на десять раз карманов: тут ли билет, часы, компас, манки на рябчиков — пищики и т. д. и т. п. Все-таки с моей и бабушкиной помощью он успевал собраться и уходил, сгибаясь под огромным рюкзаком, в тяжелых болотных сапогах и с ружьем, а иногда и с двумя (брал винтовку-малокалиберку).

В рюкзаке, который он называл «сумкой» и «сумой», находилось решительно все на случай многодневного странствия. Я думаю даже, окажись отец на необитаемом острове, он безбедно прожил бы и год и два. Не удержусь от перечисления того, что обычно укладывалось в рюкзак: носки шерстяные и запасные портянки, полотенце, хлеб из расчета примерно на неделю (охо-

тился отец от силы день-полтора), соль в берестяной солонке, масло, чай, сахар, консервы (горох с говядиной), запасная рубашка, иголка с нитками, топор, нож, бумага и карандаш, карта, добавочные патроны (основные были в патронташе), спички, спички отдельно во влагонепроницаемой коробочке, бинт, йод, вазелин, аспирин — основное лекарство в тридцатые годы, фонарь, две свечи, две-три пачки махорки, папиросы, фляга с водой, котелок, ложка с вилкой, леска, крючки, грузила, дорожка с блеснами для ловли щук, кусок брезента на случай дождя, серебряные часы с крышкой, крупа и приправы, не забывался ни лук, ни перец, ни лавровый лист, картошка, сухари, как редкое дополнение — четушка водки. Ее отец часто приносил домой непочатой.

Я уже сказал, что охотник он был отличный, стрелял замечательно — может быть, это даже генетика, потому что дед мой, служа фельдфебелем в Туркестане, дважды награждался за стрельбу именными серебряными часами, отец имел снайперский значок «Ворошиловский стрелок» и сам я, похвастаю, в студенческие годы иногда прирабатывал странным образом, выбивая полусотни и тридцатки в осоавиахимовских тирах. Отец и дома постоянно тренировался навскидку, что заменяло ему утреннюю гимнастику. Он снимал со стены свое тяжелое красивое ружье «зауэр, восьмая модель» и, вскидывая его десятки раз, целился по мишени с нарисованной не без старания летящей уткой. Отец имел кой-какие способности к рисованию, но не удалялся от двух-трех охотничьих сюжетов, самыми любимыми были, конечно же, токующий глухарь и еще косуля (козел). Позднее летящую утку заменил шарик, раскачивающийся на нитке. Собираясь, видимо, сделать из меня заправского и потомственного охотника, отец учил меня разбираться в следах и лесных приметах, определять и предсказывать погоду, в последнем случае я далеко его превзошел и, признавая это, он уже советовался со мной. В охотничьем и рыболовном мире для него не было тайн: ружья, снаряжение, все виды охот, собаки — все это зналось подробно и основательно. Животный мир он знал хуже, особенно то, что не относилось к промыслу и дичи, но здесь была уже моя сфера деятельности, потому что ко всему живому, сколько я помню себя, чувствовал странное и захватывающее влечение, будь то самый обыкновенный огородный жук или диковинное

тропическое творение. Едва обучившись читать, я уже не оставлял в покое две-три книжки о животных, «Лесную газету» Бианки, а далее без постороннего нажима перешел на книги Брема и капитальные работы Пузанова, Бобринского, Цузмера, Северцова и других знаменитых биологов, читал Дарвина, Бейтса, Уоллеса и не уверен до сих пор, что не погубил в себе биолога широкого профиля, гораздо более способного, быть может, в своем деле, чем в этих литературных опытах.

На охоту отец не брал меня лет до шести. Мне оставалось провожать его с тем детским сладким нетерпением, переполненным фантазиями, предположениями, выбеганием смотреть за ворота, не показалась ли вдали знакомая фигура отца в зелено-серой «защитной» одежде, в полувоенной фуражке, в тяжелых болотных сапогах и увешанного дичью, не вмещавшейся иногда в рюкзак. Впрочем, носить на виду глухарей, зайцев, вязанки тетеревов и уток, привороченные к поясу, считалось тогда чем-то вроде охотничьего престижа. Что за охотник, если идет «попом». Неудачник со ссохшимся рюкзаком вызывал даже насмешки прохожих. Право доставать и раскладывать на полу и скамейках убитую дичь, пахнущую пером, лесом и порохом, было безоговорочно мое. Вёснами отец приносил многоцветных щеголей-селезней разных утиных пород: чирки, кряквы, широконоски, свиязи, крохали проходили через мои руки, подвергаясь подробнейшему осмотру и даже обнюхиванию — все это было куда интереснее книг, жаль только, птицы эти не были живыми. Бывали весной в его брезентовой заскорузлой суме рыжие долгоклювые вальдшнепы, синие краснобровые тетерева, иногда и громадина глухарь с жесткими лесными лапами и крепким рогового цвета клювом. Осенью — опять утки, но уже других пород: черняти, нырки, гоголи, а также рыжевато-пестрые тетерки, копалухи, рябчики — дичь боровая, по снегу — зайцы и куропатки. Изредка он добывал и косуль. За более крупным зверем отец не охотился. С семи лет он стал брать меня на охоту, сперва без ружья и недалеко. Но позднее безжалостно не обращал внимания на мое нытье, и, пройдя с ним за день десятки километров, я приходил домой, еле волоча ноги, ступни у меня болели еще несколько дней, а отец посмеивался и спрашивал, пойду ли я снова на охоту. Охота манила меня скорее не рябчиками и утками, а

самим лесом, его удивительной красоты местами, речками, логами, разнообразием насекомых, трав и птиц, к которым я чувствовал особое пристрастие. Охотничья сторона дела меня увлекала меньше, и отец, словно с огорчением, понимал это. К тому же у меня не было своего ружья, стрелял я изредка из отцовского «зауэра», и отец решил, что ружье надо приобрести. Но где было взять это ружье в сорок третьем, военном году? Вернее, где было взять денег — ружья в комиссионных магазинах появлялись, но стоили немыслимо дорого. Однажды отец, придя со службы, сказал, что присмотрел мне ружье, конечно, одноствольное, старое, но если бы достать где-то рублей шестьсот, можно бы его купить. Никаких ценных вещей у нас уже не осталось, все было продано или обменяно матерью на хлеб, и отец остановился на единственном действительно ценном и ходком — академическом издании сочинений Пушкина, кремового цвета толстых книгах с мелованной бумагой и иллюстрациями едва ли не Серова. Продать Пушкина, чтобы купить ружье, казалось святотатством. Сделке решительно воспротивилась мать, я колебался, ведь любил, читал и знал Пушкина во многом наизусть, например «Руслана и Людмилу», сказки... Но как же быть без ружья? В конце концов нашли компромиссное решение, как только появятся первые свободные деньги, собрание восстановить. Так Александр Сергеевич Пушкин подарил мне ружье. Оно было старенькое, порядочно уже «расстрелянное» и подержанное, какой-то его владелец окрасил приклад ружья розовой эмалью под цвет «духового» мыла, у него не было даже погонного ремня, и, знать, по этому неказистому виду ружье было все-таки сходным по цене. Эта же разношенность ружья, однако, говорила, что в дело оно годится, и, большой спец в этой области, папа мой определил: ружье высверлено отлично, ржавые раковинки в стволе незначительны, бой должен быть хороший, а главное — старая эта «ижевка» копирует американские ружья моделей Ремингтон и Ивер-Джонсон. Чего же тут можно возразить? Попутно было рассказано, что у одного нашего родственника когда-то имелась настоящая одностволка Ивер-Джонсон — ружье не имело цены, било исключительно...

После покупки этот ижевский Джонсон подвергся модернизации и реставрации. Эмалированную ложу

отчистили шкуркой, покрыли ореховой морилкой и лаком, под разболтанное цевье я сделал прокладку, все винты были подтянуты, ствол промыт, промаслен и вычищен на славу, так что вполне радостно засветился своими кольцами, а когда к ружью пристегнули новый ремень, оно засияло невиданной прежде красотой охотничьего оружия, и, сличив его облик с немедленно найденными вышеуказанными американскими моделями, я чуть не ахнул — да ведь и правда копия этого самого Ремингтона.

Пробовать ружье поехали за город, причем с особой тщательностью, считая дробинки, зарядили патроны. Тут уж отец был безоговорочным авторитетом. И когда и он, и я выпалили по самодельным мишеням с летящей уткой и каким-то подобием тетерева — радости не было конца. Ружье действительно оказалось хоть куда, давало хорошую осыпь, кучность и резкость, и если я мазал, бывало, из этого ружья, то чаще всего потому, что в последний момент перед выстрелом всегда зажмуривался.

Ружье послужило мне и нам немалую службу. Особенно страдали от него рябчики. Но и обладая этим средством превращения в завзятого «промышленника», то есть промысловика или хотя бы любителя-профессионала, каким был отец, я не сделался таковым. Охота, как уже было сказано, привлекала меня лесом и красотой, но отравляла душу всеми этими убитыми, простреленными, бьющимися и трепещущими существами, которых я любил куда больше живыми, а не в виде мягких и холодеющих перовых тушек, уложенных в рюкзак. Ружье не приблизило меня к охоте, а как ни странно, отдалило от нее, ведь даже раньше, стреляя из отцовского ружья, я словно снимал с себя часть вины, теперь же вся вина за содеянное ложилась полностью на мои отроческие плечи, и мне всякий раз было не по себе от каждой удачной охоты. Зато в это же самое время я увлекся ловлей певчих птиц, и эта, в сущности, тоже охота, но более изощренная и не связанная с убийством, не отнимая у меня леса, полей, болот и лугов, все дальше и больше уводила меня от ружья. Отец с сожалением посматривал на меня. Ученик и продолжатель оказался не истинным. Однако он и не препятствовал моим увлечениям, а я все больше «втравлялся» в чудесную охоту за живыми птичьими голосами, в об-

щение с прекрасными милыми мне существами с названиями: реполов, дубонос, зарянка, полевой жаворонок, певчий дрозд, соловей... К огорчению отца, я совсем забросил ружейную охоту.

В последний раз я был на ней с отцом, когда ему пошел семидесятый год. Слово «старик» и тогда как-то не слишком подходило к нему, еще бодрому и не теряющему мужской выправки. Отец всегда старался не сдаваться старости, не жаловаться на недуги, стал он еще добрее, разговорчивее и как-то менее подвержен своей боязни всего нового. Например, обзавелся телевизором, который включал с великой осторожностью и не любил регулировать. В лес отец теперь выбирался очень редко, и мой поход с ним напоминал далекие детские времена, потому что шел я без ружья, а отец со своим старым потертым «зауэром». День был осенний, но жаркий, как в августе — с бабочками, духотой и тягостным по осени солнцем. Охота не задалась с утра. Отцу не везло. Ничего из дичи не подвертывалось на выстрел, и отец устало шуршал листьями, держал ружье на сгибе левой руки и помалкивал. «Да, последняя, может быть, это охота»,— почему-то думалось мне. И отец, словно бы разгадав мои мысли, вздохнул. Шли мы местами, знакомыми с детства, но места эти теперь повылиняли, лес изредился, потерял прежнюю чистоту, даже старые листвени, уцелевшие с тех пор, листвени, с которых, бывало, не раз с громом и хлопаньем снимался глухарь, стояли какие-то словно не те, уже не томили душу своей величавой высокой непостижимостью. И так же не было и не ощущалось скрытой, утайной жизни в еловых логах, в осинниках и по белым березнякам, которые мы проходили,— везде виделось то срубленное, брошенное дерево, то щепа и пни. Так в некогда густом запущенном и первобытно забытом парке, бывает, наведут благоустройство, вырубят подрост, уберут сухостой, и вот уже не тянет в этот парк, уж не влечет почему-то, и сам он как бы тяготится своей новой обобранной сутью.

Я видел, что отец устал, и взял у него ружье просто поднести. Тут же, как нарочно, слева от дороги шумно полетел рябчик, стал лепиться на осинку. Стрелять в левую сторону всегда удобнее, и я не удержался от выстрела. Нечто подобное повторялось до вечера еще три раза. После четвертого убитого рябчика я отдал

ружье и с тех пор уж ни разу не брал его в руки. Моя охотничья карьера как будто завершилась. Но и отец с тех пор больше не бывал в лесу. Правда, планы и восторженные предвкушения, рассказы, воспоминания продолжались. Ружья по-прежнему благоговейно чистились и смазывались, порох и дробь покупались, и даже путевки на охоту отец приносил бесплатные, как активный член общества охотников, а в последние годы еще и лектор-общественник — как это случилось, понять не могу,— однако теперь отец жил только прошлым, и с горькой жалостью видел я, как он стареет, несмотря на почти героические усилия не поддаваться возрасту и на свой неуемный оптимизм. Жить он собирался не менее девяти десятков, а умер внезапно и благородно, не потревожив никого и ничем.

Полной противоположностью уравновешенному отцу была моя мать Елена Александровна, женщина статная, плотная, голубоглазая,— отец был в молодости, как это говорится, «жгучим брюнетом». Иным был ее характер и темперамент, иными поступки и жизненные оценки. Добрая, непрактичная, бесконечно щедрая, но вспыльчивая, она могла разгневаться по сущим пустякам, была очень обидчива, хотя не помнила зла и старалась держаться в пределах людской справедливости. Ко мне она была добра и строговата одновременно, иногда поколачивала, не помню уж заслуженно или нет,— отец никогда не трогал и пальцем,— и считалась в доме главным растратчиком и фигурой увлекающейся. Отец редко хоть что-нибудь покупал, и то лишь после долгих совещаний, раздумий и прикидок, даже новые головки притачать к хромовым голенищам было для него большой проблемой, не говоря уж о том, чтобы решиться на какие-то затраты; мать делала это мгновенно, вызывая упреки в неразумном расходовании семейных средств, особенно любила она разного рода материи, цветные нитки «мулине» для вышивок, хорошие салфетки, скатерти, полотенца. Она по-женски любила сладкое и редкий раз приходила с работы без кулечка-другого каких-нибудь конфет среднего разбора, хотя, по правде сказать, любила только хорошие. Пока я был мал, мать не могла работать, но деятельная ее натура тотчас заставила ее заняться животноводством и развести коз, к чему была настоятельная необходимость — я был, как тогда говорили, «искусственником», то есть рос без

материнского молока, и меня вскормила большая белая коза. Эту свою кормилицу я хорошо помню и сейчас. Звали ее простецки — Манька, а ее сатирически умные и как бы «по-сельски» распутные глаза отражали соответствующий нрав этого животного — самостоятельный, непреклонный, насмешливый и увлекающий за собой все остальное наше стадо из четырех других козочек, но уже серых, иной стати, с полосатыми мордами и небольшими рогами. Как кормилица Манька признавала только меня и только на меня не целилась иногда своими крепкими рогами повелительницы. Ко мне она была снисходительна и позволяла себя трепать и тянуть за рога. К остальным, и даже к матери, она относилась свысока, только что терпела и снисходила, всякий раз гордо задирая голову и окидывая взглядом римской матроны, какой-нибудь там Агриппины.

В то время коз, овец и коров держали почти все жители слободы, по утрам и вечерам она вполне напоминала деревню, когда разномастное стадо, с трудом вмещаясь в узенькие улицы, двигалось с ревом, мыком и блеянием, растекалось по дворам, а запахи молока и навоза всегда витали над огородами и пустырями. Пасли всех этих исчезнувших животных с весны до осени сразу за улицей Шевченко и Восточной, перегоняя за железную дорогу, туда, где возник еще в двадцатые годы Пионерский поселок, ныне также почти уже исчезнувший, застроенный бетонной, кирпичной и асфальтовой твердью навсегда утвердившегося города. Поскольку найти постоянного пастуха было, видимо, трудно и в то время, когда шахты, заводы и стройки всасывали всякое хоть сколько-нибудь трудоспособное население, скот пасли по очереди и жребию все владельцы, так что моя тяжеловесная мама иногда бралась за неподходящие и несвойственные ей обязанности пастушки и, бывало, прихватывала меня с собой. Помню я это очень смутно, младенческое сознание хранит лишь виды каких-то березовых перелесков и пустошей, тепло солнца, зеленую траву и голос матери. Еще я помню, что ужасно уставал и спал на ходу, когда мы возвращались вослед за идущим табуном — на Урале обычно не говорят «стадо».

Затем, когда в козах минула необходимость и приходится предположить, что их постигла тяжелая участь всех таких животных, которых мы вроде бы холим и

любим, мать занялась птицеводством. Замечу, что часть коз и Маньку мать все-таки продала: душа у нее была очень тонкая и ранимая, а я хоть этим могу как-то защититься от ужасного обвинения в том, что оказался в числе едоков собственной кормилицы. Мать выписала откуда-то замечательных кур «родайленд», коричнево-гнедых, огромных, почти в три раза больше простой беспородной несушки, а петух был просто некое раззолоченное диво и пел на весь околоток воинственным гладиаторским басом. У него был здравый, ничего не боящийся взгляд дерзкого мужчины, этот петух не бегал прятаться от коршунов, тогда постоянно плававших с плаксивым криком над всей слободкой. От цыплятников оборонялись даже ружьями. Петух, однако, гонял и их, а также при случае вихрем налетал на женщин, когда по утрам они занимались тем странным делом, которое называлось щупаньем кур. Петух, как султан, не переносил никакого вмешательства в жизнь своего гарема. Конечно, исходя из материнского характера, число кур вскоре возросло до тридцати или даже сорока: в дополнение к «родайлендам», несущим удивительные крупные яйца в желтоватой скорлупе в мелкую крапинку — таких я никогда больше не видел,— появились серые и тоже породистые куры «плимутрок», тоже расписанные по светло-серому фону ровной и четкой шашечкой. Двор напоминал птицеферму. Мать занималась и выведением цыплят, а я был помощником в хлопотах с этими юркими чудесными новорожденными. Отец ворчал. Бабушка вроде бы тоже, петух нападал на нее все чаще. И разговор сводился к одному: кур надо продать, слишком много идет корму. Тем более что мать теперь работала управделами в какой-то конторе, а моя любовь к курам была, скорее всего, корыстной: яйца во всех видах составляли главную и ненадоедающую мне часть моей пищи; утром — всмятку, днем как-нибудь, вплоть до сырых, вымаканных ржаным куском, вечером можно было попытаться упросить мать взбить «гоголь-моголь» — последнее не часто, лишь при ее хорошем настроении, а также потому, что на изысканное блюдо слишком расходовался дорогой сахарный песок.

Породистых кур оптом купил какой-то чересчур бойкий, противного вида мужчина-хозяйчик. Мать мужественно скрывала досаду, я куксился, отец и бабушка были довольны. Правда, в меньшем количестве кур

все-таки держали, но это были уже совсем не те важные красавицы, не тот петух-гусар с его шпорами, властным взглядом и повадками неукротимого обладателя. Как странно, что иное и мужское и женское начало вполне определенно выражается отнюдь не в людях, а в самых разных ликах живой и бесконечно разнообразной материи.

Главным увлечением матери, однако, были не козы и куры, а цветы. Она любила их всякие: комнатные растения, аспарагусы, бегонии, пальмы, садовые многолетние и даже те, которые ежегодно надо сеять, высаживать и выращивать, вроде настурций, львиного зева, алиссума, каких-то там бархатцев и пахучего белозвездного табака. Она выписывала разноцветные георгины, покупала на базаре какие-то клубни и луковицы и, будь у нее деньги и воля, мать, наверное, создала бы в огороде настоящий дендрарий. Но деньги были на строгом счету, огород считался необходимостью, цветы баловством, а потому ее властного характера хватало лишь на то, чтобы отстоять подковообразную грядку в одном из огородов напротив окон, именуемом за эти цветы садиком, да отец как-то в порыве воскресного вдохновения принялся и соорудил при моем участии стол и скамейки вокруг из серых с прожелтью старых заборных досок. За столом, в садике, предполагалось пить чай, было высказано очень много похвал своей работе, будущим удовольствием от нее грезился на этом щелявом занозистом столе ведерный медный самовар с чайником на макушке, развеселые лица гостей, похваливающих чай под ароматы алиссума и настурций, но в общем такое чаепитие было всего раз или два, в остальное время стол благодарно служил мне для игры, а иногда я прятался под ним во время недолгого летнего дождика.

Мать мечтала о настоящих цветах, тюльпанах, розах, но до войны о такой роскоши и думать не приходилось. Мичуринское движение еще не коснулось нашего города. Даже такая ягода, как виктория, казалась заморским дивом; малина, по словам моего отца, могла расти только в Шарташе, и у нас ее даже не пытались садить; яблоки и вовсе были плодами далекой земли, и все удивлялись огромной яблоне-китайке в саду у соседа-инженера, китайка родила несметное количество яблок, похожих на крупную недозрелую черешню. По-

пытки матери развести в огороде сад не встретили поддержки. Зачем? Вымерзнет. Одни хлопоты... Занимать землю. Но может быть, мать все-таки и пересилила бы устоявшийся консерватизм. Она умела переходить в наступление и показать характер нам всем, но тут вполне ожиданно и нежданно грянула война, и стало не до садов и георгинов. Культом войны сделалась картошка — второй хлеб, которому поклонялись все, кто умел и не слишком умел жить.

Но как-то уже вскоре после войны мать выписала из Ростова черенки роз на устрашающую сумму 700 (семьдесят) рублей. Такие траты даже я не одобрил, тем более мать послала деньги незнакомому человеку, без всяких гарантий. Отец хмуро молчал, а мать несколько виновато посмеивалась и отшучивалась на все обвинения в неразумности. Замечу только, что розы у нее цвели и алым, и белым, и кремовым цветом и пережили ее, а постепенно привились уже на другом месте, садовом участке отца, где до последних и его лет цвела и красовалась, наверное, напоминающая ему о многом, розовато-светлая и задумчивая «глория-дэй».

Мать любила книги, журналы, выписывала их в меру сил и средств, так же, как отец, но интересы родителей и в этом деле были разные: мать предпочитала журналы литературные, журналы «Моды» и «Цветоводство», отец налегал на книги по истории, на приключения и, конечно же, журнал с ужасным названием «Охота и охотничье хозяйство».

Иногда теперь я задумываюсь, что объединило этих людей, столь разных и духовно и физически, разных в привычках, поступках, высказываниях, отношениях к людям. Ведь даже в пустяках они были разные. Вот, например, написать письмо или открытку для матери было необычайной тягостью, и делала она это в случаях крайней необходимости. Отец же перед каждым праздником загодя писал и рассылал без преувеличения сотни посланий и поздравлений самым едва знакомым людям, не говоря о родственниках. И я прихожу к выводу, что объединяла их эта самая р а з н о с т ь, потому что отец и мать в основном согласно и дружно прожили свою жизнь, а ссоры были редки и скорее возникали из-за странного темперамента матери, чем из-за житейских невзгод. Погрешил бы против истины, если б не сказал, что были у них и сход-

ные большие качества, такие, как доброта, заботливость, честность, мужество, но перечисление их вряд ли стоит декларировать, это как-то само собой разумелось и никем из них не подчеркивалось.

Было у матери еще одно удивительное качество: некоторых людей, вроде бы вполне положительных и даже родственников, она не любила и не принимала совсем. Не говорю уж про льстецов и подхалимов. Убедить ее изменить отношение было бесполезно, невозможно. Мне всегда казалось, что мать в каких-то случаях несправедлива, что она ошибается. Лишь много позднее, научившись на горьких ошибках несколько разбираться в людях, понимать их внутреннюю сторону, я проанализировал суть отношения матери к тем, кого она безоговорочно отрицала, и поразился вещей прозорливости ее оценок.

В остальном это была женщина как женщина, любила приодеться, вкусно поесть, умела шить, любила праздники, журналы мод и выкроек, но радоваться, в отличие от отца, могла только чему-то действительно широкому и большому.

Последние годы матери были тяжелым испытанием всех ее сил и воли. Не менее пяти лет она болела, мыкалась по больницам, замертво увозили ее на «скорой помощи». Она стала равнодушной, уже ничему и ни во что не верила, потому что ничто ей не помогало. Мать не смогла поправиться и умерла осенью 1965 года.

И до сих пор я не могу себе простить, как мало я сделал для матери, как был иногда по-юношески груб, непонятлив, эгоистичен. Да что поделаешь, мы всегда хотим исправиться, когда бывает уж безнадежно поздно.

Если у родителей моих и были какие-то отрицательные черты и стороны, то таких черт и сторон не было у бабушки Ирины Карповны. Я даже не могу представить другого человека, столь наделенного добродетелями и положительными сторонами. Ну-ка, перечислим все такие качества: доброта, справедливость, мужество, трудолюбие, сострадание, щедрость, широта души... Что еще? Все было у этого человека, пожилой женщины с руками, искалеченными ревматизмом, разбитыми постоянной и неуемной работой. Бабушка помужски через голову пластала березовые чурбаки, на одном плече, как молодка, носила воду, без устали

стряпала, возилась в огородах, косила сено на заливном лугу у пруда вместе с отцом, она же лечила, советовала, помогала, как могла, всякому, кто нуждался в помощи, и чего только не умела эта бесконечно добрая, добрая, добрая душа. Даже к людям, сотворившим ей вольное или невольное зло, она была щедра душой. «Прощать людей надо, батюшко... Человек он и потом поймет...» — «Да, прощать! Ты вот у Пикина деньги за квартиру спросила, а он на тебя с топором...» — «Ну дак что? Не убил ведь. Оне бедные... Я подожду».— «Если б убил?» — «Грех бы взял на душу тяжелый...»

Махавший топором действительно приносил деньги, кряхтел, извинялся.

Нетерпима она была только к жуликам, постоянно заклинала меня:

— Што это ты, батюшко, все к жулью льнёшь? Отойди от их. Жулье тебя воровать научит. А кто крадет — в ад пойдет. В аду будет. Не бывает им счастья.

— Как же ты говоришь: всех любить надо?

— Всех, батюшко. Христос так велел. Он и разбойника не проклинал. Ты, батюшко, помни, кажного человека приветь, кажного береги, он тебе пригодится, поможет. И ты людям помогай, да сам-то, главное, ничего от них не жди, помогай — и только. Вор же сам свое за грехи от бога получит и от судьбы. Бог все видит, кажному свое воздаст. От него, батюшко, не скроешься.

Сомнение эти заповеди вызывали полное. Как это так? Мне, допустим, вчера камнем в голову залепили, и ждать, когда обидчикам само воздастся? Нет, за камень я платил камнем. И я еще вернусь к этому выводу.

Набожна она была как-то в меру. Молилась немного. Посты и праздники справляла неназойливо. Меня она нё заставляла ни молиться ни креститься. «Как знаешь, батюшко... А помни, кроме бога да Николы-святителя, нет у тебя больше заступников». На бога она смотрела как на высшую справедливость, как на последнюю помощь, и в этом, наверное, была укрепляющая сила ее религиозности. Иногда я думаю о воспитании религиозных чувств и верований и прихожу к выводу, что самым прямым методом отвращения от религии явля-

лось ее обязательное, насильственное насаждение, и надо ли доказывать, что, насильственно вбитая в голову, любая мифология отторгается здоровым сознанием тем быстрее, чем наглее вбивается, чем лживее проповедуется. Вера бабушки была понятна мне и вряд ли являлась религией, скорее, это была присущая всем вера в добро и справедливость, лишь оформленная в церковные заповеди.

Бабушка никогда не жаловалась. Разве только на суставы к непогоде. Ее прошлая жизнь была для меня одновременно и открыта и закрыта. Я знал, что родилась она в поселке Старая Утка, где и сейчас живут ее родичи по нескольким линиям, в многодетной семье кричного мастера Карпа Емельяновича Колотова. На десятом году ее отдали в город, в няньки. «В люди меня отдали. В людях жила, батюшко». Жизнь эта, однако, по разным литературным источникам изображаемая как сплошное бедствие, издевательство и чуть ли не насилие, вспоминалась ей отнюдь не как черное прошлое. Нянькой, стряпкой, кухаркой, горничной она была все «у хороших людей, батюшко». Люди эти были действительно известные в Екатеринбурге. Купцы Селивановы, заводчик Ятес, председатель земской управы помещик Клепинин. «У всех было, батюшко, хорошее житье. У Селивановых самое богатое, у Ятеса пожестче, но сам-то он был шибко обходительный, звал меня только на «вы», Эрар называл. Вот, говорит, надо что-то погладить. Приказывает: «Эрар, поставьте утюг близко печки». Забавный был такой. А уж Клепинин был и вовсе человек. Слова грубого от него никогда никто из прислуги не слыхивал, а прислуги-то было у него семь человек. Я когда уж потом, взамужем жила,— дом мы строили и в деньгах зануждались,— надумала, пойду к барину, к Клепинину-то, и попрошу, может, не откажет. Дак он, батюшко, не только денег мне дал без разговору, а и расписки не взял, процентов никаких. «Возьмите, Ира, пожалуйста. Я вас знаю». А деньги немалые по тому времени были. Вот какой человек-то...» Воспитанный на рассказах и книгах о кровопийцах буржуях и помещиках, я затруднялся — верить ли бабушке? С одной стороны, я не сомневался, бабушка не могла обманывать, с другой — не очень-то верил я этому Клепинину, п о м е щ и к у,— строгий старик с клочкастыми бровями сурово глядел на меня со ста-

ринной твердой фотографии, хранившейся в бабушкиной шкатулке из плетеной желтой соломы.

Бабушка и была моим главным воспитателем, просветителем, утешителем в печалях, судьей моих ошибок и ценителем достижений. Только от нее я узнал истинную народную речь, многие пословицы, притчи, побывальщины; она знала сказки и старинные песни, которые теперь уж нигде невозможно услышать и вряд ли найдешь в фольклорных сборниках. Жаль, что песни эти и сказки я не записывал, такое желание почему-то не приходило мне в голову. Да мало ли что такого зналось и виделось в детстве, о чем потом вспоминаешь лишь к случаю, а то и вовсе не удается вспомнить.

Почему-то ранние детские дни помнятся мне всегда на перевале от зимы к весне. От каких-то суровых снегопадов, когда снег стеной опускался с невидного неба, а расходившаяся к ночи вьюга наметала к утру непролазные сувои. Снега ли были тогда обильнее, сам ли я меньше, но снег запоминался в детстве как бесконечное знамение зимы, конца которой нетерпеливо, до отчаяния даже, ждалось. Соседнее воспоминание всегда связано с теплом, с ручьями, звонкой синичьей капелью, наводнением на Мельковке, обтаявшими бурьянами, бабочками-крапивницами и синими блестящими мухами на обласканной солнцем стене дома. Помнится, эти мухи не казались противными. А далее радость расширялась, как бы наливалась широким и бесконечным теплым светом; травка по буграм, скворцы, листочки на тополях, первый голос малиновки и вообще вся суть обновления жизни, новых как будто запахов, чувств, ощущение своего приливного повзросления, нового понимания окружающего мира и своего места в нем.

Нищая и грешная жизнь слободы почему-то и теперь, спустя полвека, представляется исполненной бесконечной радости и счастья. Если представить, что счастье действительно радуга, то ближе всего именно в детстве я стоял к этому многоцветному наваждению. Наверное, счастье — понятие внутреннее, ощущаемое как состояние души, и чем проще, инфантильнее даже такая душа, тем сильнее ее приближение к понятию счастья, а с другой стороны, чем ранимее, сложнее и поэтичнее душа, чем больше поправок внесли в нее возраст, образование и главным образом жизнь, тем

с большей остротой счастье понимается с его горькой, мгновенной, мимолетно исчезающей сущностью.

Вернусь к детским дням и спрошу: что стоил тогда белый расписной щегленок в желтой базарной клетке, самодельный самокат на краденных где-то подшипниках или книжка «Приключения Буратино», бумажный змей с перекрестьем фанерных дранок и мочальным хвостом, змей, так высоко ходивший в поднебесье по осеннему ровному ветру, что касался как будто осенних туч, и рука моя, держа катушку, как бы ощущала прикосновение к недоступно бегущему небу! Где теперь уж такие долгие дожди, ливни, фиолетово-синие грозы и те радуги, что как чья-то улыбка стояли прямо за огородом, за речкой, над харитоновским садом, и к этим радугам, стремясь их найти, уносились с мокрой земли без меры счастливые, такие же, как я, мокрые жучки, подняв красные лаковые черепички-надкрылья?

Познание мира и всякое познание идет, вероятно, расширяющимися кругами. Так было для всех, так было и для меня: двор, улица, слобода, город, Урал, Россия и, наконец, ощущение под гул самолетных турбин, что Земля при всей своей округлой необъятности не так уж велика и глобус ее, медленно идущий подо мной, вполне достоин ласкового соучастия. Побывав и близко и далеко, я так и не решил покуда, что больше дает для души: созерцание ли просторов и дальних стран или вот эта улица, вся в листовой птичьей травке и в ромашке, с неизбежными провинциальными одуванчиками и каким-нибудь втоптанным в землю стеклышком, вся суть которого неизвестно к чему, но, может быть, и к тому, чтобы, отразив солнечный блик, дать тебе грустнее почувствовать суть сего невозвратно бегущего лета под шум тополей неизвестно куда...

Детские годы вроде бы внесоциальное время. Но скорее это распространенное заблуждение взрослых о детях: «еще малы», «чего они понимают», «рано им» и т. д. Дети же буквально впитывают любую текущую жизнь, живут не столько умом, сколько чувствами, но как ярко, как устойчиво это восприятие! Сколько помню себя, я жадно жил сведениями из взрослого мира. Ловил и копил их, внимал им, по-своему осмысливая,

без тех, вероятно, правильных оценок, которые всегда как будто делают взрослые. Жизнь в тридцатые годы еще не приобрела ровного течения устоявшейся повседневности. Созидание носило характер порыва и торжественного гимна, все строилось, возводилось, поднималось, и, хотя сегодня мы в принципе примерно заняты тем же, тогда слова УРАЛМАШСТРОЙ, МАГНИТКА, КОМСОМОЛЬСК, ДНЕПРОГЭС звучали как бухание барабана в сияющей медью и флагами колонне. Хорошо помню, как году в тридцать шестом по заявке моей матери, женщины по-своему передовой и тянувшейся к прогрессу в отличие от консервативного отца, на крыше нашего дома появились некие парни веселого вида, с мотками проводов на плечах, установили подобие ухвата с роликами, сделали проводку внутрь, и мать принесла из магазина большой черный репродуктор в виде тарелки. «Коминтерн». Репродуктор включили, и полилась музыка, вначале несказанно обрадовавшая всех, а теперь, спустя многие годы, повергающая меня в уныние, трепет (не далее как вчера сбежал со своей дачи, доведенный вроде бы до приступа гипертонии грохотом динамиков в соседнем пионерском лагере). Тогда же радио, поначалу воспринятое как некое бесконечное счастье,— надо же, хочешь, занимайся чем угодно, хочешь — лежи на кровати, а тебе почти бесплатно и читают, и поют, и играют (помнится, и эра телевидения поражала публику тем же: лежи себе и кино смотри!) — вещало о всех наших успехах, о дрейфе папанинцев, полетах Чкалова и Громова, слетах колхозников и ударников, рекордах стахановцев, оно же вещало о процессах над «врагами народа», над вредителями, над шпионами, которых в те времена обнаружилось вдруг невиданно-несказанно изобильно. Гайдаровская «Судьба барабанщика»! Шпион «дядя»! Старик Яков! Враги оказывались в самых неожиданных местах, например, рядом с нами в соседнем большом доме, где жил какой-то инженер, весьма добрый с виду, сильный, трудолюбивый как будто человек, который утрами, часто подтягиваясь на руках, лазал и спускался по высокой лестнице под самую крышу дома. Инженер вдруг исчез, а молва сообщила: был «вредителем», что-то не так строил, ломал, портил машины. Известие обескураживало сначала, но тут же рождало желание самому найти, выследить шпиона и

вредителя. В журнале «Чиж», который мне вместе с «Мурзилкой» выписывала мать, я читал рассказ «Дядя Коля — мухолов», и опять о том, как ребята распознали шпиона и диверсанта в безобидном человеке, занимавшемся вполне безобидным делом — сбором жуков для коллекции. А на экранах шла картина «Джульбарс» про пограничника Карацупу... Вести о боях в Испании и Абиссинии, победе у озера Хасан и на реке Халхин-Гол сменила уже вполне суровая и холодная правда о боях за линию Маннергейма, война растекалась по всей Европе, точно неисходная туча висела на Дальнем Востоке, катилась с запада к нашим границам. «Три танкиста», «Все выше...», «Бейте с неба, самолеты» — были главными песнями, которые лились из черного репродуктора «Коминтерн».

Примерно в это самое время моей передовой маме пришла мысль приобщить меня к музыке. Наверное, это почти всеобщая мания, овладевающая родителями, непременно желающими видеть свое чадо в некой золотой дымке, за лаковым белозубым инструментом, а то даже и раскланивающимся сюртучно и фрачно, клоня голову перед бурно скандирующим залом. Мать не избежала искушения сделать меня музыкантом или просто умеющим играть на фортепьяно.

Случай представился великолепный. Бабушка, уставшая ждать квартплату «от нижних», решила сдать одну верхнюю комнату более платежеспособным людям. Так поселились рядом с нами двое студентов консерватории, муж и жена, люди уже порядочно самостоятельные: он играл где-то в ресторане на тромбоне, она была артисткой не то в хоре, не то в филармонии. Музыкальные люди, разумеется, не могли жить без «инструмента», и он появился в нашем доме, разумеется, взятый напрокат. Когда черное, неведомо дорогое и восторженно встреченное мною чудище вползло в комнату соседей, мне и в голову не приходило, что оно станет орудием долгой и тяжелой пытки. Милые постояльцы — а они действительно были очень милые, добрые, общительные люди с типичной актерской обходительностью и широкими жестами малосостоятельного меценатства — немедленно сдружились с моими родителями, обучили их игре в преферанс, и, должно быть, за этой игрой решилась моя музыкальная будущность. Артисты не только предоставили в мое распоряжение музыкаль-

ный ящик, но помогли матери найти для меня учительницу музыки. Ею оказалась одна из подруг студентки-артистки, также учившаяся в верхних классах вечерней консерватории. И обучение началось. О насильственное приобщение к искусству! О ужасная нотная грамота! О грамота, что повергала меня в уныние и тупую тревогу! Я никак не хотел запоминать эти значки полной ноты, половинки, четверти. Я не проникся уважением ни к скрипичному, ни к басовому ключам. Ноты наводили на меня недоумение подобно китайской грамоте, а деревянные стоны, клацанья верхней октавы и рокочущие буханья басов, взятых вразнобой, воспринимались совсем не как музыка — ее я, в сущности, всегда любил, кроме этой самой камерной, симфонической, напоминающей мне почему-то комнату без дверей и окон и шинкованную без соли капусту,— воспринимались как тяжелые, надоедные голоса. Они вязли в моей голове, тупо били по ней, они вещали о полной моей немузыкальности, музыкальной неспособности, нежелании и лени. И — самое тяжелое — я потерял, утратил ощущение свободы. Меня словно приковали к тяжелому старомодному предмету с пропыленной резьбой на угрюмом обшарпанном челе и с двумя нелепыми, ненынешнего века подсвечниками из темной витой бронзы. В одном из этих подсвечников, уже задетых голубизной времени, костно темнело основание сломленной изгорелой, а некогда толстой восковой свечи. Сейчас вот это старое измученное фортепьяно, быть может, дало б мне повод для рассказа, для его истории, чтобы постепенно, как это умел только датчанин Ганс Христиан, описать, как из вековых елей Шварцвальда, из открыточной Швабии, из волшебной Тюрингии, осторожно привезенных на немецкую лесопилку и распиленных с аккуратностью и точностью, просушенных по всем канонам старого мастерства, где-то в ручных мануфактурах всемирно известной фирмы «Шредер» его собрали, озвучили, отлакировали, снабдили клавиатурой настоящего черного эбенового дерева и слоновой кости из клыков безвестных гигантов, застреленных удачливыми охотниками Хантерами и Шомбургами в немецкой Западной Африке, снабдили и этими подсвечниками, по-своему чудом бронзового литья, а затем инструмент, с грубой простотой несущий славное имя владельца, вырезанное на крышке

и на гравированной бронзе, пошел к людям и в люди. Я написал бы, возможно, как кочевал он из богатых барских покоев и залов в купеческие хоромы, как опускался ниже — в мещанские ситцевые комнатки, поднимался в мансарды нищих музыкантов и снова переходил к кому-то еще более убогому, несостоятельному... Его наследовали, продавали, дарили, включали в приданое, он исторгал и сложнейшие сонаты Грига, и лунноторжественную музыку Бетховена, и пошлые прыгающие шансонетки «О-ой, ду майн лыбэр Аугустын, Аугустын, Аугустын... трын-да-да-да, трын-да-да-да, трын-да-да...» На нем играли холеные ручки с перстнями и жемчужными коготками, изощренно худые руки профессиональных таперов, в него тыкали вонючим, впрожелть махорочным пальцем, и даже блямкали пухлыми голыми задочками. Он все терпел: истязанья в четыре руки, и собачьи вальсы, и «Стрелочка», и романсы Варламова. Его любили или были к нему равнодушны, но никто не ненавидел его, как этот остриженный «нагладко» сутулящийся мальчик с яркими тогда глазами из голубых крапинок и упрямым сопротивлением неподдающегося уговорам, замкнутого в себе лица.

Я хорошо помню это свое лицо.

Осваивая н о т н у ю г р а м о т у скорее просто по развитой зрительной памяти, я равнодушно долбил гаммы, унылые этюды и пьесы Гречанинова. А начал обучение — с чего бы вы думали? Никогда не угадаете. Учительница велела мне в качестве домашнего задания подобрать мелодию Интернационала. Интернационал! Гимн, который я и сейчас не могу слушать без восторженно подступающих слез, как же он звучал, выстукиваемый одним пальцем по желтым зубам клавишей!

Удивительно ли, что я не помню, как звали мою наставницу, что-то такое вроде Анастасии Дмитриевны, Евстолии Евлампиевны, но зато великолепно представляю ее круглое, востроносое личико, с темными вдавленными и тоже круглыми глазками, словно без белков, похожими на пуговицы, помню ее куриные руки и фетровую облегающую темно-зеленую шляпку, подобие Меркурьевой и с фетровыми же меркурьевскими крылышками с обеих сторон головы. В этой шляпке она напоминала некое немигающее существо, только что вернувшееся из потустороннего мира. Она никогда не мигала, и было тяжело выносить ее взгляд, особен-

но когда она учила меня ставить и держать руки или слушала мои деревянные гаммы.

И так же, вылетев в соседнюю комнату после урока, она, не мигая, жаловалась матери на мою лень, неспособность и музыкальную глухоту, а мать строго, раздумчиво смотрела на меня после таких жалоб, как скульптор смотрит на неудачное творение.

Изложив жалобы, учительница уходила, чувство облегчения от ее удаляющейся спины и крылышек на шляпе знакомо мне и сейчас.

В дополнение к музыке было придумано и еще одно тяжелое испытание. Я стал принудительно посещать оперный театр. Обычно по выходным и чуть ли не еженедельно я шел, ведомый матерью, как редкость — бабушкой, на «Хованщину», «Князя Игоря» или «Русалку». Отлично знаю, что первой была «Руслан и Людмила», и я шел ее слушать, точнее говоря, с м о т р е т ь с великим восторгом, прыгая и торопя тяжеловесную маму. «Руслана» я знал наизусть, и мир поэмы, полный волшебства, чудесных и сказочных видений как нельзя больше был созвучен моему постоянно склонному к фантазиям и выдумкам не слишком детскому сознанию. Я ждал воплощенных воочию чудес! Я предвкушал их с восторгом фантазера и фанатика. Но боже, какое разочарование испытал я уже в первом акте оперы, желал видеть действие, держа в уме и строфы, и строки поэмы, а вместо этого слышал лишь надоедное визгливое пение, видел какие-то нескончаемые перемещения по площади сцены, качание фанерных стен, и даже бородатая кукла Черномора, взвившаяся при грохоте тамбуринов и гаснущих сполохах света, поразила меня своей ненатуральностью и лжеправдоподобием. Кстати о куклах. Они бывают живые и мертвые. Нет для меня живее, допустим, того же Буратино, лисы Алисы, кота Базилио или Карабаса, будь я в Италии, где-нибудь в Неаполе, только и ждал бы встречи с ними, но тотчас они превращались в ходячие безжизненные символы, едва становились объектом актерского и режиссерского «энтузиазма»... По-видимому, экранизации создаются для каких-то иных людей, с другими схемами чувств и мыслей, ведь есть же, говорят, любители бумажных цветов.

А возвратясь к опере, хотел бы сослаться на слова Ю. Нагибина, также подвергнутого испытанию театром,

правда, несколько позднее, в отрочестве, и сказавшего, что «хуже оперы только балет». Да, балет для меня, десятилетнего, был, конечно, тоже испытанием. Хотя в балете можно все-таки смотреть, и я бы, пожалуй, поменял местами утверждения в формуле Нагибина. Если оперы с их увертюрами, ариями, каватинами, речитативами, фиоритурами и театральщиной на грани изощренной вычурности жеста оставили ощущение тяжелой безысходности, то балет лишь на всю жизнь привил мне нелюбовь к худым и голенастым женщинам. В целом же театр оставил только одно общее ощущение безвозвратно утраченного времени, а ощущение времени, наверное, всегда было для меня наиболее острым и болезненно тревожным осязанием бегущей жизни.

Считал ли я часы до вечера в радостном предожидании прихода с работы матери или отца, ждал ли обещанную игрушку или конца мучительно продлинновенных уроков — школу я никогда не любил,— был ли совсем-совсем свободен (о, иллюзии!) и даже счастлив,— время преследовало меня и в эти недолгие мгновения, а ощущения счастья и удачи, и по сути своей такие недлинные, гасились его тенью, укорачивались постоянным напоминанием исходности и безысходности. Не один Гете, как видите, страдал от бега времени.

Мать и отец улавливали, должно быть, еще до школы мои гуманитарные наклонности. Оттого их озадачивала моя нелюбовь к музыке и театру, к, казалось бы, неоспоримым сферам духовного жизненного возвышения. А я тем временем мечтал об аккордеоне, на худой конец — баяне, самоуком пиликал на русской гармонике, удивительном инструменте, издающем на одном ладу два разных звука при разном движении мехов. Играть на такой гармонике было в сто раз труднее, чем на фортепьяно. Позднее к этим умениям добавилось бренькание на гитаре, любовь к барабанам и маршам вроде «Славянки», люблю я русские проголосные и хмельные песни, люблю песни украинские, тирольские йодли, бразильские самбы — как тут изощренно не усмехнуться музыкальному примитивизму моей натуры. Да что делать, если собрался писать правду, правду, и только правду?

Перечисляя свои успехи, могу сказать, что я быстро

и словно бы не по складам научился читать, главным образом, с попугайным наслаждением повторяя свои немногочисленные первые книжки. «Маленькие дети, ни за что на свете, не ходите в Африку, в Африку гулять». Проза осваивалась с помощью уже упомянутого «Золотого ключика», которого в собственности у меня не было, а приходилось униженно выклянчивать на время у соседа, благополучного мальчика из благоустроенной и элитарной семьи коммерческого директора. «Я — пожалуйста, вот только разрешит ли мама?..» АХ, МАМА! Мама мальчика из элитарной семьи. Она всегда смотрела на меня (и всех нас) как на нечто вызывающее кой-какие раздумья, но не заслуживающее, конечно, серьезного размышления, ни тем более хоть какого-то приближения, помилуй бог, уравнивания с СОБОЙ.

Зато семья эта, имени и племени ее я не стану называть, дала мне раннее, четкое и точное представление о расовой, национальной, всякой прочей гнусности, о всех этих апартеидах, дискриминациях, исключительностях, поражениях в правах. Я благодарен ей, что ясно ощутил, как тысячелетия назад римский патриций смотрел на римского же плебея, как эллинский рабовладелец на раба, феодал на не слишком послушного колона, а родовитый аристократ на мелкопоместного однодворца. О разные сутры, касты, разряды! Разумеется, в приведенном рассуждении есть немалая ирония, есть большая гипербола, но есть и маленькая суть, которую без труда уловит читатель, ему ведь приходилось хоть разок быть-бывать патрицием, а может, что гораздо чаще, и плебеем?

Книжку полагалось просить очень достойно, только войдя в дом, только сняв на крыльце обувь, не проходя ни в коем случае в комнаты, а лишь в прихожей, улучив, когда мама будет в хорошем расположении духа,— лучше после обеда, часа в четыре,— и самым благопристойным культурным голосом. А добавлять ли, что книга вручалась с наставлением ее обернуть, возвратить чистой и к указанному сроку? При этом властные глаза внимательно оценивали, хорошо ли вымыты мои руки, а сандалии или ботинки, оставленные на добела выскобленном домработницами крыльце, укоряли меня в чем-то своими полуприсжатыми, полуоткрытыми ротиками.

Далее, перечисляя свои занятия, не могу не упомянуть бесконечное и невероятное собирательство всего, что только можно представить и осмыслить. Здесь я следовал сверстникам и старшим или придумывал какие-то новые формы. Все шло в дело, все вызывало неведомый уже ныне поток энтузиазма. Бабочки, жуки, стрекозы, кузнечики, листья, травы и цветы, картинки с животными (если нельзя вырезать из книги, то хотя бы можно срисовать, перевести через копирку), а далее конфетные обертки, камни (в меньшей степени), разумеется, марки, и чего-чего только не придумаешь, движимый желанием понять, охватить и осмыслить окружающий мир.

Этот мир не давал мне жить спокойно. То тревожили меня облака, чудесно синие или парусно-белые, то пленяли душу цветные закаты, доводя своим тихим светом до рыдальческого умиротворения, когда вполне ясно кажется — ничего на Земле нет страшного, все добры, все наполнены счастьем, и вечно живет везде ощущение правды и справедливости, и ничто не нарушимо. Позднее, углубляясь в жизнь, все реже испытывал я это состояние, должно быть, оно недоступно рассудку, открыто лишь интуиции, лишь счастливой глупости, детству, высшей мудрости и животному миру. Хотя вывод сей утвердительно опасен, а доказательств у меня нет никаких, я уверен: все живое и, конечно, здоровое преисполнено этим состоянием, уйдя от него, уже невозможно воротиться к нему, как не в состоянии мы вернуть детство и молодость, а восхождение к вершинам мудрости лишь приближает иллюзию. Да кто достиг этих вершин?

Природа и свобода — вот, пожалуй, два символа, которым я поклонялся, как язычник, как существо, не представляющее себя вне этих сфер. ПРИРОДА. Она так органично входила в мою душу, что я как будто всегда мог ощутить в себе любые ее проявления, словно я мог быть травой, ну, хоть вот этим склоненным пыреем в ясной росе, хоть голубым и простеньким цветочком журавельника, хоть ветром, или облаком, или стрижом, скользящим в распахнутом створе неба. Я чувствовал себя истинно родственным и нашей старой кошке, в шерсть которой, в теплое ее естество

я любил зарываться носом, я мог по-родственному обниматься с четырьмя нашими собаками, и, столь же родственно принимая меня, они лизали мои щеки и губы. ПРИРОДА — слово это слишком книжное. ЖИЗНЬ — не синоним ему, но ощущение природы всегда сильнейшим образом соединялось у меня с ощущением жизни, радости бытия и свободы.

Первый гром всегда неожиданно и обвалом перекатывался, рождался в отемненном майском небе, и моя суеверная бабушка, радостно крестясь, валилась на пол и тоже перекатывалась, кряхтя, с боку на бок, призывая меня последовать языческому примеру: «Покатайся, батюшко, покатайся, Илья-пророк жизни дает».

А постоянное, сколько помню себя, восторженное созерцание неба, быть может, и присоединяло меня всегда, приобщало к понятию с в о б о д а так органично, что я не терпел и с трудом переношу до сих пор хотя бы незначительное стеснение этого состояния. Страшнее всего я пережил лишение свободы однажды, сидя в клетке остановившегося лифта, в старом доме по проезду Сапунова, что возле ГУМа, в Москве. Я и еще один писатель стояли в тяжелом скованном оцепенении после того, как испробовали все способы вырваться, открыть дверь и даже — это уж я — вырвать толстую вваренную в створы и стены решетку. Мимо нас по лестницам шли с в о б о д н ы е л ю д и, иные похохатывали, посмеивались над нами, а рядом хлопала, разводила руками вахтерша, причитая: «Ой, чаго ж я з вами буду делать? Ой, чаго ж?»

Не ручаюсь, но если бы нам все-таки не удалось открыть дверь, я, вероятно, потерял бы сознание от одной лишь невозможности вырваться и принадлежать самому себе. Кстати, с т е х п о р я и з б е г а ю е з д и т ь в л и ф т а х...

Екатеринбургская старина еще жила на улицах слободки, но доживала последние дни. Девятнадцатый век будто зацепился здесь на исходе и прогостил еще три с половиной десятилетия. На иных воротах в нашей улице красовались огромные жестяные бирки дореволюционного страхового общества «Фениксъ», так уже и не возродившегося, как известно, из пепла, вопреки названию. Деньги с двуглавым орлом еще попадались меж денег нового образца. Утром и вечером

проходило по улицам описанное выше стадо. По дворам не в редкость были телеги. Ездил водовоз с бочкой на шатких дрожках, а ближе к ночи катились по Основинской улице другие «возы», с менее благозвучной приставкой к этому слову, но с ужасным и надолго остающимся после их проезда запахом. Утром над слободкой переливались высоко в небе белыми крылышками десятки голубиных стай. Голубятни стояли едва ли не в каждом дворе, и «гонять голубей» было отнюдь не мальчишеской забавой, а серьезным и даже престижным взрослым делом. По Основинской, мощенной гранитной пешкой, еще катили некогда лакированные пролетки и даже экипажи — ландо, в которых, за неимением машин, мчались на службу районные и хозяйственные вожди, летом в парусиновых рубашках с вышивкой по подолу и вороту, перепоясанные часто кавказским наборным пояском, и в фуражках-«сталинках». В холодное время рубашку заменяло входившее в моду кожаное пальто, сапоги же тогда были только мужским атрибутом и предпочитались шевровые, в гармошку. Исчезли уже в сороковые годы длиннейшие ломовые обозы, вереницами тянувшиеся по слободке с также исчезнувших конных дворов, вымерли лошади, благополучно съедены разросшимся городом, а как следствие, расточилась, исчезла распространеннейшая профессия ломовой — странное существо, изъяснявшееся крупным разнообразным матом. Сократился в числе и бойкий городской воробей, тот, что тысячными стаями обсевал коньки, заборы и крыши, слетал с дорог с шумом, подобным вешнему грому, с дорог, где кормился он благодатным овсяным навозом, и благоденствовал и грелся в нем, и вообще как будто дружил с лошадью, благороднейшим животным, исчезновение которого я до сих пор не могу спокойно пережить; говорит здесь, по-видимому, генетика, ибо оба моих деда, по свидетельству родителей, были оголтелыми потрясающими лошадниками, за хорошую лошадь готовы были отдать все, имели даже кровных лошадей, такой была часто упоминаемая в рассказах отца вороная кобыла Лезгинка. Для меня же слова «лошадь» и «счастье» были, пожалуй, тогда равнозначными.

А что до воробья, то он, как известно, перешел теперь на положение городского нищего, по улицам, скверам и возле булочных отвоевывая себе право на

остатнее существование у без меры расплодившихся голубей и ворон.

Да, старина всегда сладко вспоминается, через десятилетия тревожит душу даже то, что казалось когда-то суровым и грозным. Где теперь шлемы-буденовки с красной матерчатой звездой, разве что на головешке инкубаторного как бы, садикового малыша, а ведь тогда они были непременным головным убором всякого красноармейца или командира, не исключая и усатых, чапаевского вида, полковников с четырьмя «шпалами» в петлицах и с деревянным лакированным маузером на правом боку. Усы у высших военных в тридцатые годы были как будто столь же обязательны, как бритая голова в годы сороковые. А может быть, помнятся еще кому-то милиционеры в белых касках с двумя козырьками, такая каска называлась «здрасте — прощайте». И уж, конечно, все помнят круглое мороженое, которое и изготовлялось тут же на улице; сладкий продукт ловко нагребался из банки во льду ложкой в жестяную формочку и, прихваченный двумя круглыми вафельками, вручался жаждущему, который в свою очередь отправлялся восвояси, полизывая то мороженку, то свои пальцы, сообразно со степенью аккуратности, умеренности или жадности.

Исчезли почти одновременно с этими мороженками и восьмигранные пивнушки «американки» с ритмично вызвякивающими качательными аппаратами и красномордыми сноровистыми бабами, цедившими пиво сразу в кружевной хоровод пены под вывеской: «После отстоя требуйте долива». Я не знаю, требовали ли этого самого долива, ибо щедро омоченная, так скажем, пьющей братией «американка» на углу нашего переулка и Основинской улицы была, по понятиям моей бабушки, чем-то вроде последнего круга Дантовых сфер, и я не рисковал приближаться даже до отворенных дверей, лишь со стороны наблюдая странную, хотя и не фантастическую жизнь этого кипучего заведения. Люди в нем напоминали мне сумасшедших, добровольно предающихся своему помешательству.

Магазины, лавчонки, даже молочные так же были тогда забиты красной кетовой икрой и крабами «Снатка», как теперь подсолнечным маслом и фасолью в томате. Черную же икру, по-моему, вообще никто не покупал: слишком аристократичен казался многим сей

продукт, равно как осетрина, семга, коньяки, шампанское, плиточный шоколад и твердые копченые колбасы, которые, подернутые солью на манер инея, штабелями лежали в витринах гастрономов, казалось, в нескончаемом заточении. Даже сыр, вареная колбаса и пирожное в нашей как будто совсем не бедной семье считались ненужным баловством, покупались изредка, к празднику. Из вин бывал (редко) уже упомянутый кагор, на закуску покупалась и впрямь отличная сельдь «Залом», которую мать умела как-то чудесно готовить с луком и растительным маслом, должно быть, оливковым, но отец почему-то восторженно именовал его прованским!

Бог с ними, с продуктами, их все равно трудно напастись при непрерывно растущем народонаселении Земли. Жизнь и в самом деле была преисполнена и света, и радостного ожидания. Ведь пятилетки шагали уверенно, заводы строились, электричество продвигалось в глубинку, магазины ломились от продуктов, колхозы набирали силу, армия была непобедимой, флот могучим, песни самыми лучшими, радио еще не надоело, война шла где-то за рубежами, и никому она не казалась ни страшной, ни сколько-нибудь опасной, ни сколько-нибудь продолжительной...

Война застала меня (меня ли только!) глупым и восторженным десятилетним мальчиком. Нет, я не видел ни горящих городов, ни рушащихся зданий, ни тех, кто отчаянно встречал сминающую стальную фашистскую махину и погиб с честью, отстаивая свою землю. Тогда еще был глубокий, недостижимый для техники и врага тыл, и в этом тылу война встречалась отнюдь не с боязнью и без всякой растерянности. Почти все ждали: вот-вот раздадутся победные слова в торжественном чтении Левитана, а взрослые вполне серьезно прикидывали, через сколько дней должен быть взят Берлин. И лишь через несколько недель наступило отрезвляющее прозрение, когда в город наш стали поступать эшелоны с ранеными, школы начали освобождать под госпитали, а мой отец, совсем недавно снявший шлем и шинель с двумя «кубарями», точно после краткого отпуска опять надел форму и дни и ночи проводил на развертке эвакогоспиталя, где все

сотрудники были ему знакомы по недавно минувшей финской войне. А дальше, когда в город хлынули эвакуированные и стали прибывать эшелоны со станками, оборудованием и машинами, когда появились клетчатые сиреневые, желтые и оранжевые бумажки с надписью: 400 гр., 600 гр.— даже и мне стало ясно, что это надолго, и жизнь предстоит без меры суровая.

Но я не знал, что такое суровая жизнь. Вероятно, если сопоставить ее с жизнью тех, кто оказался под врагом, в оккупации, кто изведал и расстрелы, и бомбежки, и неисходное горе утрат, мое познание войны было не слишком бедственным. Но как бы там ни было, я на целое пятилетие познал, что такое полуголодная жизнь, коптилки, вареная редька, ощущение дурной беспомощности, бесконечная картошка в смысле раскапывания целины, посадки, уборки, жажда хлеба — досыта бы! — и невероятная щедрость моей матери, сопоставимая с самопожертвованием, когда мать продала на рынке за эти годы все, что можно было продать, и стала донором — все из-за хлеба, из-за хлеба, а может быть, и не только из-за хлеба.

Война совпала с моим отрочеством, с «переломным» периодом, и я счастлив лишь тем, что она не сломала меня, как многих, пустив по дороге воровства, бродяжничества и иного такого, на чем горела, выедалась, опустошалась войной лучшая человеческая суть. Все же и сейчас можно признать, что под влиянием ее тяготения я наделал множество глупых убогих поступков, мечтал не о том, о чем бы надо мечтать, жил среди бесконечных мелких забот, ожиданий и отрицаний, эгоистичных, быть может, надежд и нелепых попыток утвердить себя в глазах одноклассников ложью, кулаком, какой-то псевдохулиганской сутью. Я учился в нелепой мужской школе, где до восьмого класса ученикам полагалось ходить каторжно стриженными — по инерции стригся еще и на первом курсе института, испытал горчайшее подобие неразделенной любви, бурьяном рос, погруженный только в свою душу и в свои книги, рос с постоянным гнусным ощущением собственной незначительности, подлой нищеты в сравнении с теми, кто учился со мной рядом, имел солидных родителей, не голодал, не прикидывался обеспеченным, имел в перспективе такое же спокойное и солидное будущее.

У меня не было братьев и сестер. Вечно предоставленный сам себе, вечно в неком сладко-горьком, одержимом соблазнами одиночестве, в постоянной сосущей душу потребности в общении с себе подобными, именно подобными, а не в общении как таковом. Неподобные люди за минуту надоедали мне, отрицались с первого сказанного слова, а похожие как-то не находились,— все, наверное, из-за моей необщительности, показной грубости и немалой необъяснимой дикости. Сегодня уже точно могу сказать, что принадлежу к людям с кошачьей неприручаемой натурой, и это может подтвердить даже моя жена, с которой я прожил уже более тридцати лет.

На мою отроческую долю оставались мечты, кухня — за недосугом родителей я не один год исполнял обязанности примитивного повара,— птицы и лес. Школу, как я сказал уже, ненавидел всей душой, учился не знаю даже как, но переходил, переползал, а точнее, просто переводили. Будущих профессий, вообще реального будущего для меня как будто не существовало, просто жил в своем запустении, просто мечтал о какой-то славе, просто не считал себя заурядным, да и кто считает-то? Жизнь впереди не имела ни горизонтов, ни границ, и, полагая, что впереди все как-нибудь само собой устроится, я надеялся лишь на свою интуицию, на то вещее подсознание, которое, как убеждался не раз, находит наиболее правильное решение, если только не воздвигать вопреки ему логических конструкций разума или вообще к нему (подсознанию) не прислушиваться. Если угодно модные термины — я всегда был интуитивистом и прагматиком, хотя не знал ни Бергсона, ни Тейяра, ни Пирса, ни Дьюи, ни тем более столпов современного экзистенциализма Ясперса и Хайдеггера. К выводам этим я пришел уже впоследствии, анализируя свою душу и свое прошлое с позиций набранных философских знаний и горьких сожалений, что в свое время не сделался философом и не искал путей к таким значительным вершинам, откуда было бы видно все, и символы мира и законы его раскрывались бы с точностью математических формул. А в общем-то, раз уж коснулся математики, я всю жизнь решал бесчисленные уравнения со многими неизвестными, где иксом был я сам, а игреками, зетами и т. п. все те, с кем меня сводила и сталкивала судьба.

Я никогда не помышлял быть и стать писателем. Но первый свой опыт в этом направлении осуществил очень рано, лет в семь или восемь. Помнится, под влиянием не столько прочитанного, сколько прослушанного (читал мне отец) романа «Дети капитана Гранта» я осенился желанием написать рассказ об охоте на львов. Я достал чистую тетрадь, засел за творчество немедленно, а к вечеру, без меры счастливый, уже закончил свой труд. Охота была удачной. Львы нападали. Путешественники защищались. А потом сидели у костра, где жарилось, конечно «на углях», мясо попутно убитой антилопы. Завершала рассказ чудесная фраза о том, что «солнце садилось и отблески его отражались, звуча, на востоке». Фраза просто очаровала меня. Солнце садилось, оно отражалось, плавилось, именно звучало на этом розовом и сине-зеленом востоке. Я любил мысленно окрашивать каждое слово-понятие в какой-нибудь подходящий цвет, находить ему соответствующую структуру, фактуру и форму. В данном случае слово ВОСТОК представлялось мне как нечто металлическое, полированное и одновременно цветное, возможно, также и парчовое, на котором вполне могут играть, переливаться и — звучать сполохи и светы закатного солнца. Горит же оно, в конце концов, и весьма даже плавится в окнах домов, противоположных закату?

Мать же, которой я с восторгом принес и прочитал свое сочинение, полный предвкушений похвал, лишь очень сдержанно отозвалась о моем труде: «А в конце ты какую-то ересь написал, мальчик. Как это можно отражаться, звуча? И на чем?»

Что я ей мог объяснить? Я не объясню этого никому и сейчас. А словом «ересь» мать часто награждала и оценивала мои поступки, мои выдумки, иногда в самом деле, наверное, схожие с этим понятием.

Несколько обескураженный и обиженный, я прекратил на время литературные эксперименты. Однако острое желание хоть как-то отразить окружающий меня мир, поделиться с кем-то радостью открытия сосало душу, не давало мне жить спокойно. Если это та самая двигательная сила, что родит миру художников (здесь я говорю о себе лишь косвенно), то, наверное, она произрастает прежде всего от одиночества, от безудержного вожделения найти наконец кого-то, кто понял бы,

и оценил, и разделил, и порадовался сообща, и, может быть, восхитился, погладил по плечу... Не претендую на абсолютную верность сего в сущности силлогизма. Одиночество и творчество, но одиночество и творчество не столько для себя, сколько для себе подобных, для всех, кто пожелает понять и совместно идти к истине. Одиночество. Мансарды. Чердаки. Скиты. Пещеры. «Башни из слоновой кости». Все это всегда было как бы осуждаемо. Ему противопоставлялось «идти в народ», «жить в гуще...», «страстями времени...» Но... Пимен-летописец, но мой, быть может, прапращур и тоже летописец Никон, но отшельничество Хемингуэя, всюду искавшего покоя и приюта и находившего этот приют лишь в собственной спальне за жалким туалетным столиком, где карандашом, каракулями на серой бумаге писал он для людей. Но Тур Хейердал, купивший в Италии одинокую гору, чтобы не общаться ни с кем, но не принимавший никого Флобер, но писавший ночами Бальзак, но все те, что укрывались в Скалистых горах, на уединенных виллах, в сторожках лесников, в безвестных номерах гостиниц,— так ли они грешны и не из этого ли «греха» родилось все великое, чем славен ЧЕЛОВЕК?

Не пытаясь и не желая никак присоединять свое имя к кому бы то ни было, я лишь отмечу, что тяга к творчеству всегда совмещалась во мне со стремлением к затворничеству и к жажде таких уголков, где в первую очередь не болботало бы великое и ужасающее изобретение века — радио. А теперь, и копая гряды под картошку, иные словно не могут без него обойтись. Лес — и транзистор. Пляж и «Спидола». Огород и песни Зыкиной, электричка и «Все могут короли...». Жилой район — слушающий забавы какого-нибудь запущенного недоумка.

Может быть, предвидя интуитивно тяжелую долю, я и не стремился к высокому званию писатель, кстати, действующему на иных людей подобно красной тряпице на бодливую корову.

Движимый желанием самовыражения, я поступил в вечернее художественное училище, которое, однако, вскоре оставил, к радости моих родителей, меньше всего желавших видеть своего сына живописцем. В их понятии слово «художник» сочеталось обязательно с пьянством, неприкаянностью, изломанной судьбой,

нищенскими заработками и вообще всем беспутным, непрочным и несостоятельным.

Первая причина, побудившая меня к уходу — преподавание перспективы. Наука ужасная, вполне сходная с ненавистной геометрией. Вторая — нежелание тушевать бесконечные гипсы, орнаменты, античные головы и торсы, из которых с любовью исполнял я лишь соблазнительный торс Венеры. Натурщиц в нашем училище заменяли старики-пропойцы, один из них даже с нашей улицы, что в немалой степени способствовало моему исходу из живописи. Писать маслом синерожего алкаша, вместо чьей-то розовой цветущей плоти, выписывать краплаком и кадмием малиновые и фиолетовые рефлексы на потерявшем человеческую суть лице было, по-моему, надругательством над живописью и искусством — носителем прекрасного. Я уж не говорю об обнаженной натуре, где тот же самый пропойца представал перед нами во всей мерзости своего пропитого, издержанного, отмеченного, казалось, всеми пороками жизни тела.

Ну, да бог с ним, с алкашом, его облик, вероятно, и сейчас еще хранится где-то в недрах архивных работ студентов. Хуже было мое постоянное и неугомонное стремление нарушать законы и каноны живописного ремесла и рисовального искусства, которые вбивались в наши головы художниками-педагогами. Я все время разрушал перспективу, смешивал не подлежащие смешению краски, дополнительные тона брал совсем не те, какие предписывались, у меня было неуемное желание гипертрофировать формы, и очень скоро я заметил неодобрительные отзывы как будто всех меня учивших. «Импрессионист», «абстракционист». Это были прозвища. Оценки живописи и рисунка: мазня, «яичница с луком», абракадабра, мазерелевщина. Именно в этот момент выяснилось, что я дальтоник, пусть и в незначительной степени: яркие тона я не путаю, но оттенки заставляют меня задумываться, по крайней мере теперь, когда я берусь за кисть просто для себя и проверяю цветоощущение по наклейке на красочном тюбике. Говоря высокопарно, я подал в отставку. Никто в училище не плакал. Уходил безнадежный, слабый, неуправляемый ученик, к тому же упрямый, непочтительный и недисциплинированный. Если бы руководство училища написало мне характеристику на

всю мою дальнейшую жизнь, документ этот был бы полон отрицательных данных.

А потом нужда и все та же упрямая тяга к свободе и самостоятельности заставили меня покинуть дневную школу и опять вернуться в школу рабочей молодежи № 7. Говорю «опять», потому что в тяжелом сорок четвертом я бросил учиться, как мог, помогал матери, а кроме того, вообще «беспризорничал», ловил птиц, копался в огороде и травил душу каким-то несносным юношеским отчуждением от всех, даже от родителей. «Всегда свободный, всегда один». Одиночество же рано или поздно кончается или съедает своего хозяина. Я остановился уже на опасной грани, но нашел силы «вернуться в мир», и вот, вернувшись, обнаружил, что мои одноклассники ушли вперед на целый год, а кроме того, та девочка, которая была истинной причиной моего одиночества, отдалилась теперь даже на два класса. Какая-то странная сила, заставлявшая меня в жизни не раз принимать отчаянные и, быть может, не всегда разумные решения, двинула меня в школу рабочей молодежи, где с помощью лжи и обещаний представить якобы утерянные документы я стал учеником незаконного ранга. Утром я отправлялся в мужскую железнодорожную школу № 2 в качестве семиклассника, вечером с достоинством шествовал в восьмой класс школы рабочей молодежи (сожалею, что не подал заявления в девятый! Чего там!). Оба класса, как нетрудно догадаться, я закончил, и даже блестяще — особенно восьмой, — ведь здесь я старался изо всех сил и легко обгонял в успехах солидных пожилых мужчин и двадцатипятилетних девушек. Мой опыт подтверждает, вероятно, новаторскую и антипедагогическую мысль, что систематическое образование с переползанием из одного класса в другой (а тогда еще во всех классах, начиная с четвертого, были переводные экзамены) вовсе не обязательно и учебу можно в равной степени растянуть и на двадцать лет, и уплотнить до интенсивного пяти-, семилетия. Все зависит от желания учиться или не учиться да от кой-каких способностей. Будучи же позднее педагогом, я пришел к выводу, что второгодничество не избавляет ни от каких пороков и не добавляет добродетелей.

Как бы там ни было, я опять, к изумлению моих бывших одноклассников, полноправно пришел к ним

в девятый класс и, закончив его, с переэкзаменовкой по алгебре, стал десятиклассником. Но свободная стихия вечерней школы, где не надо было ни прятаться под лестницами с папиросой, ни оправдываться, если пропустил занятия, ни чрезмерно учить и потеть над скукой учебников, школа, где упомянутые девушки и женщины чересчур щедро осыпали меня знаками внимания, а главное, ощущение взрослости, солидности и самостоятельности сделали свое дело, и, проучившись в десятом всего одну четверть, я опять стал учеником ШРМ, радостно принявшей меня как толкового и надежного ученика. Эта одноэтажная школа на тихой Тургеневской улице — теперь на ее месте громоздится новое здание университета — позволяла мне больше принадлежать самому себе, минимально обременяя, и дала возможность заниматься кой-какой исследовательской, творческой работой. Я продолжал рисовать животных, увлекся сбором насекомых, растений — вообще лесом, природой и чтением, чтением, чтением. Когда нужда слишком донимала, я шел на товарную станцию и становился разнорабочим. Хлеб этот был нелегким, сопровождался общением с какими-то неприятными мне людьми, и мне приходилось, говоря языком биологии, прибегать к мимикрии, подделываясь под маску бывалого работяги, калымщика и чуть ли не человека с темным прошлым. Все-таки прирожденные деляги и пьяницы присматривались ко мне с недоверием, но меня всегда выручала моя тюремная стрижка, богоданная физическая сила, видимо, незаурядная, потому что я легко таскал многопудовые мешки, ящики, тюки с мылом, под которыми и почтенные дяденьки матюгались и кряхтели. Включать меня в бригаду было просто выгодно, а расчет поровну устраивал «благодетелей».

Героические подвиги на трудовом фронте не проходили бесследно, иногда тяжело болело сердце, намечалось что-то вроде грыжи, в животе подчас резало и жгло, но слава этакого «силача-самородка» заставила меня еще ходить в секцию штангистов при «Локомотиве». Там доживал в комнатушке над спортзалом в печальном полузабытьи широкий, эллипсом, бритоголовый человек с глазами старого мудрого моржа. Это был Лебедев! «Дядя Ваня». Известный некогда всей России, Европе и даже миру силач, борец, антрепренер,

фигура чуть ли не такая же мифическая, как Иван Поддубный, создатель журнала «Геркулес», обладатель и призов и наград, а теперь вот тренер штангистов при «Локомотиве». Дядя Ваня присматривался ко мне внимательно, одобрял мою конституцию, но, по-видимому, зоркий и проницательный его глаз заранее знал, что ничего слишком путного из меня не выйдет, и он не ошибся. При «Локомотиве» тогда тренировались незауряднейшие штангисты. Чего стоил, например, один маленький, до плеча мне, свирепого вида и тоже бритоголовый, весь из крутых мускулов Николай Самсонов — впоследствии чемпион мира, сверхмощный штангист-полутяжеловес Бляхер или диковинной силы мужик-железнодорожник с лицом глухонемого, кажется, его фамилия была Кочегаров. Тягаться с этими мне, семнадцатилетнему, было не по плечу, но уважительное отношение ко мне было, особенно со стороны ребят-одноклассников, когда я спокойно жал на их глазах двухпудовку и посягал на огромную трехпудовую гирю, которую и на плечо-то никто из них взять не мог.

Карьера спортсмена, как и предполагал мой тренер, не состоялась. Наверное, к счастью. В момент моих наивысших успехов, очень средних по сравнению с упомянутыми штангистами, я закончил школу, получил голубую бумагу с нелепым, так мне и сейчас кажется, дореволюционным названием — аттестат зрелости. Помню, что название тогда было новинкой, и мои очень взрослые одноклассники с хохотом дополняли его разнообразными эпитетами.

Все пути были открыты передо мной. И ни один не влек, как могло влечь что-то давно выношенное, желанное, заветное и алкаемое. Учиться дальше я хотел бы лишь так, как привык, читая книги, размышляя, увлекаясь выписками изречений мудрецов, поисками в книгах чего-то созвучного моей душе, чего-то потаенного и незыблемо верного. Ближе всех наук была мне, пожалуй, биология, по крайней мере, я чувствовал здесь себя в своей стихии, а любовь к животным не надо было и демонстрировать, но я любил животных не разрезанных, не разъятых на части, я любил не трахеи, хорды, жабры или другие таинства строения, а лишь *самих этих зверей, птиц, насекомых и растения*, да еще, как на грех, в основном не отечественные виды, а всякую экзотику из тропиков. Та-

кая любовь к началу пятидесятых годов рассматривалась с сомнением, словно граничила с космополитизмом. Я мнил себя в странном качестве старинного натуралиста, владевшего всеми познаниями не только общей биологии, но также и многих смежных наук: географии, ботаники, геологии, астрономии, этнографии, палеонтологии — мало ли еще чего, что годилось для осмысления природы, мира и его законов, но таких натуралистов никто теперь не готовил, никому и нигде они словно не требовались. Биофак пединститута выпускал учителей, которым всю жизнь дано было толковать о строении хламидомонады, эвглены зеленой и печеночного сосальщика, а университет рождал специалистов, обреченных трудиться на семеноводческих станциях, заниматься хоть и очень важными, но такими скучными зернобобовыми, хлопчатником и подсолнечником. Скучное сельскохозяйственное лицо академика Лысенко глядело из всех учебников, и такой же заземленный на своих яблонях и гибридах груши «бере-зимнее» выглядывал Мичурин, потихоньку вытеснивший из учебников любимого моего Дарвина, Уоллеса, а Грегора Менделя, Моргана и Вейсмана — говорить не приходится, их проклинали. Генетиков, «вейсманизм», «морганизм» предавали анафеме всюду и везде, и я никак не мог понять почему, ведь познакомился с опытами Менделя по очень талантливой, живо написанной книге (не помню автора) еще до войны в сороковом году, и опыты его с зеленым и желтым горохом напоминали мне, что весь мир построен по четким логическим тайнам, познавая которые, столь же возвышенно познаешь свое как будто непостижимое бытие. Итак, передо мной были следующие дороги: политехнический, горный, юридический, сельскохозяйственный, медицинский, педагогический, университет, учитывая, что кроме биофака там был еще и факультет филологический.

Политехнический и горный отметались сразу — там надо было сдавать математику, а я ее не любил, не знал, ненавидел. Сельскохозяйственный. При всей моей любви к земле и большом опыте огородника я был все-таки горожанином, не хотел превращаться в агронома, в зоотехника (ужасное название, такое же, как прораб), а все мои мичуринские опыты свелись к неудачной попытке привить побег лебеды в стебель под-

солнечника. Медицинский? Ни в коем случае, причину даже не хочу называть. Юридический? Никогда у меня не было охоты ни судить, ни оправдывать людей. Сам я не имел склонности ни к организованной, ни к одиночной преступности и выскажу вот крамольную мысль: будь все люди устроены приблизительно так же, можно было бы спокойно закрыть все отделы милиции, упразднить суды, тюрьмы и колонии, а вместе с ними и юридический институт. Это свойство не считаю исключительностью своей натуры — таких людей очень много, и все указанные выше учреждения и заведения созданы не для них (предположительно).

Оставалось всего два вуза: университет и педагогический — «пед», как сокращенно именовали его многие мои сверстники, да еще соединяя выводом-припевом об отсутствии мыслительных способностей: «Стыда нет — иди в мед, ума нет — иди в пед». Все они, как сговорившись, шли в политехнический.

Университет же, возвышаясь над другими вузами, манил меня прекрасным научным именем и одновременно отпугивал — прочность моих шереэмовских знаний была невелика. Я решился пойти в университет лишь после долгих и мучительных сомнений. Как бы там ни было, серое, казенное здание этого храма науки на углу улиц Куйбышева и Белинского не произвело на меня благостного впечатления. Больше всего оно походило на банно-прачечный комбинат. В таком же банно-прачечном коридоре полуподвального этажа с идущими по стенам унылыми трубами я прочитал объявление, что приемная комиссия находится на втором этаже, поднялся туда и остановился перед дверями собраться с духом, оттеснить недоверие к своему облику загорелого, одетого в дрянной синий костюм полуподростка-полувзрослого, стриженного как после колонии или отсидки — так я все пытался закрепить волосы, уже и тогда начавшие подозрительно редеть на моей не слишком буйной голове. Что тут поделаешь? Опять, видимо, генетика — все мои родственники по материнской линии были импозантно плешивы, а по отцовской — отличались несокрушимыми шевелюрами. Я стоял, изучал список необходимых документов, все они у меня были, видимо, требовалось лишь передохнуть перед тем, как пойти за Рубикон. На меня с усмешками посматривали какие-то весьма умного вида девушки

в очках, что бродили тут, очевидно, подзубривая несданное. Ходили тут и какие-то прилизанные, озабоченные парни, от которых я отличался как, наверное, отличаются дикие животные от таких же домашних, давно прирученных. Я ловил усмешки и неодобрения, осуждение своей стрижки, загара, провинциальной этой робости — все, может быть, вполне заслуженное, да что поделаешь, элитарность как-то не приставала ко мне и в более поздние времена.

Я уже совсем собрался с духом, как вдруг дверь комиссии отворилась, из нее прямо на меня, опустошенно глядя в какую-то ему лишь ведомую даль, вышел человек весь в клетчатом, вроде Арлекина, в клетчатом костюме и в клетчатой же островерхой тюбетейке астролога и, не останавливаясь, глядя все в ту же даль, зашагал не мимо, а сквозь меня и дальше по коридору походкой фанатика, погруженного в свои направленные думы. Арлекин поразил меня хуже всякого отговора. Я подумал, что здесь, среди этих свихнувшихся, как видно, на учености людей, буду как рыба без воды, как птица без воздуха, и если я не выбежал, то стремительно прогрохотал по лестнице и, бухнув дверью, выскочил из бетонных недр университета в цветущий акациями голубой и желтый июль. Тополиный пух вольно летел куда-то мимо. Опять вечное стремление быть самим собой, принадлежать только себе охватило меня с невыносимой сладостью, и весь остаток дня я прошатался, бродил по городу, наслаждаясь чувством освобожденности, питаясь где купленным пирожком с капустой, где мороженкой, а напоследок и на сосчитанные на ладони пятаки хватил для завершения стакан розового плодово-ягодного с каким-то бутербродом в зелено-голубой ветхой пивнушке у моста через Исеть, среди похмельных, опухших, налитых водкой и преданных этому же плодово-ягодному, к которым я хорошо подходил, вписывался в обстановку своей стрижкой и подстроенным к случаю, опасным для желающих лезть в мою душу взглядом. Чудом мимикрии я владел чем дальше, тем больше. Сыграть простую роль демобилизованного солдата, бывалого домушника, приблатненного ловкача ничего мне не стоило и даже занимало вхождением в образ.

Хорошо помню, как на призывной комиссии, проходя врачебный контроль с группой воров, только что

освобожденных по амнистии, я столь удачно вжился в роль, что тут же получил уважительную кличку БОЛЬШОЙ и все знаки соответствующего почтения от ребят «в законе», а изъяснялся с ними главным образом мимикой, междометиями, предложениями назывными, безличными и нераспространенными.

Игра «в кого-то» всегда увлекала меня. Я любил подражать голосам своих близких, копировал одноклассников и знакомых, а в лесу — перекличку зверей, насекомых и птиц, и в то же время никогда не тянуло в театр, не грезилась судьба и слава актера. О театре я частично уже высказался. Он разрушил одно качество моей натуры и души, свойство, вероятно, неполезное для современного человека. Объясню точнее. Довольствоваться бóльшим, лучшим и всегда подлинным — вредное качество, стоящее в противоречии как будто с философскими, этическими, аскетическими и всякими другими испокон века проповедуемыми нормами высокого совершенства. Но что я сделаю, если не люблю маргарин, среди женщин предпочитаю красивых, и не за счет моды и косметики, считаю, что золотые часы лучше позолоченных, если собираю какой-нибудь род кактусов, то мне нужны в с е в и д ы, а начав в детстве еще увлекаться филателией, не сомневался, что соберу марки всего мира, иначе не стоило браться. Когда я держал птиц, то клетки мне нужны были только дубовые или буковые высочайшего класса, певцы в них самые-самые, аквариум для рыб, снабженный всеми усовершенствованиями и размеров, вполне пригодных для содержания русалок. Так, и только так.

Экое самохвальство! — подумает кто-то. Пусть думает, но не хочу я лгать на исповеди, не хочу напяливать чаще всего личину «великой простоты и скромности». Да, люблю отличное, совершенное, дорогое, подлинное, если угодно, и вкусное. Да, люблю икру, швейцарский сыр, осетрину, крабов, филе из вырезки, пельмени из четырех сортов мяса, водку — пшеничную, коньяк — марочный. А кто не любит этого? Ну-ка? И может быть, все это оттого, что добрых семь лет, все свое отрочество и юность, жил на голодном пайке, едал и «завариху» из затхлой муки, и вареную лебеду, и щи из одной весенней крапивы — гнусное варево, пригодное для свиней, но благодарен и этой жизни, потому что умею не роптать, ждать лучшего, когда тя-

жело, хлеб и до сих пор предпочитаю при всем своем гастрите ржаной, могу завтракать как тот аристократ с картины Федотова, могу ограничить свои потребности до двугривенного в день, а раз в неделю стараюсь вообще обходиться без пищи, чтобы избавиться от грозящего мне генетически облика преуспевающего бизнесмена.

Но не пора ли сказать о более существенном.

Так избежав поступления в университет и здесь нарушив вышеописанное правило (их-то, эти правила и желания, как догадался, наверное, проницательный читатель, чаще всего приходится разрушать), я без особых затруднений поступил в Свердловский педагогический институт на историко-филологический факультет. Что оставалось делать? В конце концов ведь ни в Оксфорде, ни в Кембридже, ни, на худой конец, в Сорбонне не существовало таких же факультетов с преподаванием всех предметов на моем родном русском языке. Кроме того, любя *этот* язык и *эту* литературу, в то время я вполне убежденно считал, что другие литературы, а тем более языки, не заслуживают серьезного внимания. Немецкий же, к которому чувствую теперь нечто вроде запоздалой любви, воспринимался тогда как нудная и досадная дисциплина. Все переоценивается с возрастом. Как будто по кирпичику разваливается юношеское здание памяти. Кто разбирает это здание, едва создав! Так все попытки заговорить теперь на берлинском диалекте завершаются переходом на малопонятный немцам нижнеисетский; как не вспомнишь тут Гоголя, писателя любимейшего, которого числю в высших, в недосягаемых учителях моих, а раз уж мысль перестроилась к учителям, то позволю себе высказать сомнительное утверждение, что в прямом смысле *литературных учителей* у меня в общем-то не было.

Постараюсь аргументировать. Не было учителей? Да что вы тут еще городите!! Как это *не было*? Ах ты, какой самородок выискался?! Да они всегда были, у всех, у величайших классиков были.

Но как-то уж так случилось, что писать я начал стихийно, не пытаясь кому-либо подражать, и первые мои шаги были попытками письменного самовыражения, а не желанием повторить кого-то. Я писал сказки. Но следовал ли я, допустим, Андерсену? Если и так,

то лишь невольно, любя, как все наверное, лучшие из его сказок, навсегда осевшие в глубинах моей памяти и натуры. Я писал о природе, о птицах, о временах года, обо всем, что волновало и печалило меня. Но значит ли, что я следовал Пришвину, в родство с которым меня произвел один из первых моих критиков, щедро назвавший меня даже уральским Пришвиным. Сомневаюсь я очень, что критик этот вообще читал Пришвина. Скорее всего, сработал тут стереотип мышления. Писал о природе лучше всех кто? Пришвин. А вот этот тоже туда же. Ну, пусть будет тоже... Быть Пришвиным великая честь. Быть Пришвиным уральским или, скажем, верхнесалдинским, слободотуринским — честь сомнительная. Сам я, разумеется, читал этого премудрого и даже как будто временами нарочно ныряющего в свою мудрость, затаивающегося в ней писателя, но почему-то не любил его, слишком несхоже было его зигзагообразное мышление, самобытная недосказанность фразы, и потому клятвенно утверждаю: не Пришвин.

Как-то в сборнике стихов Константина Бальмонта я нашел поразившее меня стихотворение, отрывок из которого вынужден буду воспроизвести. Называется оно «Заветная рифма».

Не Пушкин, за ямбами певший хореи,
Легчайший стиха образец,
Не Фет, иссекавший в напевах камеи,
Усладу пронзенных сердец,
Не Тютчев, понявший созвучия шума,
Что Хаос родит по ночам,
Не Лермонтов — весь многозвездная дума,
Порыв, обращенный к мечам.
Не тот многомудрый, в словах меткострельный,
Кем был Баратынский для нас,—
Меня научили науке свирельной,
Гранили мой светлый алмаз.
Хореи и ямбы с их звуком коротким
Я слышал в журчанье ручьев.
И голубь своим воркованием кротким
Учил меня музыке слов.
Качаясь под ветром, как в пляске, как в страхе,
Плакучие ветви берез
Мне дали певучий размер амфибрахий,—
В нем вальс улетающих грез.
И дактиль я в звоне ловил колокольном,
И в марше солдат — анапест.
Напевный мой опыт был с детства невольным,
Как нежность на лике невест.

В саду, где светили бессмертные зори
Счастливых младенческих дней,
От липы до липы в обветренном хоре
Качались шуршанья ветвей.
Близ нивы беседовал сам я с собою
И видел в колосьях намек,
И рифмою чудился мне голубою
Среди желтизны василек...

При некоторой претенциозности, свойственной вообще Бальмонту, стихотворение это поражает точностью откровения, проникновения в душу творческую, где даже с первых младенческих шатких шагов, как страх падения, живет страх заимствования, дешевого воровства мыслей и приемов, страх вторичности и несамостоятельности. Думаю даже, что этот страх втайне преследует и художника во всем величии популярности и славы. Может быть, он жил и в душе Пушкина, и в душе Толстого. Так в этом стихотворении, между строк крикливых и самонадеянных, я нашел и для себя близкое по форме состояние и свойство. Да, почему-то я боялся учителей, почему-то избегал всяких обсуждений, чтений, советов товарищей по профессии, а что касается редакторов, то работа с ними, кроме причин другого порядка, всегда была для меня тягчайшим испытанием самообладания... А на редакторов мне везло не всегда, особенно в первоначальный период издания.

Повторяя за Бальмонтом его формулу, добавлю, что если и имею какие-то литературные достижения, то благодарно, благоговейно склоняю голову и перед Тургеневым, и перед Толстым, Чеховым, Салтыковым. Я испытал на себе их влияние, как всякий, прикасавшийся к их творениям.

В то же время, как в процессе работы открывались ее законы, прояснялось мне творчество тех писателей, кто был созвучен по миросозерцанию, душевному и духовному настрою, взгляду на жизнь текущую. С величайшим уважением внимая их письменному слову, я чувствовал, разумеется на правах младшего и недостойного, косвенное и прямое сородство их блестящему творчеству. Такими недоступно стоящими для меня именами были и останутся Гоголь, за ним поздно открытый мной Бунин и цитированный выше поэт.

В нашей же современной русской литературе с глубочайшим уважением — а хотелось бы сказать точнее, возвышеннее — отношусь я к трудам и слову Ю. Каза-

кова, Ю. Бондарева, В. Астафьева, Г. Семенова, Ю. Трифонова, В. Распутина, В. Шефнера и еще нескольких прозаиков и поэтов, а читая литературные журналы, и в первую очередь «Современник», дивлюсь и радуюсь то и дело вспыхивающим новым именам, чувствую за новой строкой боевую силу раскрывающегося таланта.

Возраст отяжеляет и голову, и душу. Блекнет как будто жизненное многоцветье. Прежняя радость сменяется равнодушием, прежняя храбрость — благоразумной трусостью. И совсем уж не так пахнет по утрам улица, не тот аромат раннего снегопада, не так пахнет земля, засеянная летним дождем. Земля ли стала грязнее, чувства ли глуше. Что проходит, жизнь или время? «Не проходит время — проходим мы»,— отвечает древняя мудрость. Одна воля как будто становится крепче, хочется мне сказать — закаляется, да не солгу ли, не впаду ли в самолюбование, в самообман. Этот обман, наверное, наиболее совершенный, самый долгий.

Если не считать моей жизни творческой, всего того, что называется раздумьем, поиском, беспокойством, желанием открытия и жаждой откровения, все прочее складывалось как будто закономерно и просто. Я рано женился, обзавелся семьей, у меня была прочная, трезвая профессия — учитель истории и обществоведения. Уроки у меня как будто получались. Я не тратил на их подготовку большого времени, не обращался ни к мудрым старым педагогам-стажистам, ни в методический кабинет при институте усовершенствования учителей. Некоторая эрудиция позволяла мне вести курс истории без надсады и вечного испуга перед внезапной инспекцией. В двадцать три года я уже исполнял обязанности директора дневной школы-семилетки, а затем, стремясь освободиться от ненавистных мне всегда административных обязанностей, перевелся в близкую мне по духу школу рабочей молодежи, все с тайной целью высвободить лишнее время для творчества, а точнее, раз уж это исповедь, чтобы побольше принадлежать самому себе. Где там! Глазом не успел моргнуть, как опять оказался запряженным в административные постромки, снова стал директором, на сей раз огромной двухсменной школы, размещенной в нескольких зданиях и позднее, после отчаянных моих попыток освободиться, заявлений об отставке, разделенной на две

самостоятельные школы. В школе были десятки выпускных классов (восьмых и одиннадцатых) и бесконечное количество проблем, к которым меня отнюдь не подготовил педагогический институт, чуть не забыл сказать — самая незапоминающаяся страница моей биографии. Закончил я его досрочно, за три года. Двигало мною желание во что бы то ни стало скорей сделаться самостоятельным и свершившаяся женитьба. В 1948 году поступил, в 1951 окончил. Администраторство, работу завучей и т. п. там не преподавали, не знаю, преподают ли сейчас. Зато мы изучали «школьную гигиену», например, должны были знать размеры форточек, рекомендуемые этой гигиеной «для нормального развития школьного процесса». Мы глумились над предметом, над преподававшим его доцентом медицины, как будто воплотившим в себе все гигиенические нормы и правила. А проблемы приведу хоть некоторые: процент успеваемости. Знаете ли вы, что это такое? Тенденция школы в отношении знаний и уровня их менялась чуть ли не каждое пятилетие, отношение к проценту не менялось никогда. Его требовали неуклонно растущим, бесконечно приближающимся к полному совершенству. Слишком недальновидное приближение (ну, допустим, 96—98 %) было, конечно, заманчивым, однако, всегда мало соответствуя истине, грозило непредвиденным спадом, а отступление от взятых высот хотя бы на процент, на долю его рождало обвал неприятностей, комиссии, проверки, немедленно замечалось в докладах как «свидетельство ослабления всей учебной, идейно-воспитательной и административной работы руководства школы». Мудрые наторелые директора, за исключением немногих, кто уже с порога своего кабинета брал на прицел вышестоящее кресло методиста-инспектора или заведующего районо, поступали так: придерживали процент, рискуя выговором, потом постепенно, начав этак с шестидесяти, семидесяти пяти, поднимались по ступенечке выше и получали коль не хвалу, то и не хулу, а единичек этих процентных как раз и хватало до благополучного выхода на пенсию, до прихода нового мудреца, начинавшего, естественно, так же. Всю эту умственность, не очень сложную, я усвоил лишь на жестоких ошибках, когда стремительно попытался нагнать стопроцентную благополучность. Более тяжелой проблемой была

посещаемость, а за ней **сохранение контингента**. В начале года школа напоминала кипучий муравейник. Сдавать документы стояли в длинную очередь. И можно было умилиться на такую тягу к знанию и просвещению, когда в забитом учениками классе сидели иногда по трое за одной партой. К концу же года было хорошо, если за каждой партой сидел один ученик, иногда их, учеников, оставалось по пятку на класс, или классы «сливали» в середине года; как следствие страдали от этого учителя, у которых падала учебная нагрузка и зарплата. И опять директора-мудрецы не показывали в ведомостях истинной картины с наполняемостью, без стеснения оставляли сотни указанных лиц «на утруску», а иные и до конца года числили в пофамильных списках давным-давно не посещающих Ивановых, Петровых и Сидоровых. Семь бед — один ответ. Чем тут не Гоголь, коль такие мифические учебные единицы именовали со смехом «мертвыми душами». Директора же с малым опытом зарабатывали выговоры «за безобразный отсев, за возмутительную запущенность работы по сохранению контингента учащихся». А далее была еще **воспитательная работа** (это чтоб не пили, не курили, не хулиганили, вели себя благопристойно, уважали старших, правила социалистического общежития, моральные нормы и т. п.), **посещение уроков, контроль и руководство, методическая работа, культурное шефство, работа с родителями и общественностью, посещение совещаний, заседаний, конференций, педчтения, олимпиады, выставки технического творчества учащихся и хозяйственные** обязанности, начиная от покупки шкафов до наглядных пособий,— все это почему-то никто не хотел приобретать, и, уставая напоминать и грозить, я сам ехал в магазин за муляжами и таблицами, оформлял нужное и ненужное, организовывал вывозку. Ко всему прочему летом был еще и ремонт школы.

С одной стороны, школу я как будто любил, любил свой предмет, учеников, с которыми (особенно с ученицами) у меня складывались хорошие, добрые отношения; с другой стороны, школа подчас наглухо отгораживала меня от всего, что принято называть творчеством, к чему ныла, тянулась, негодуя, моя душа, вся

сущность, если угодно, экзистенция, с возрастающей тоской по бездарно растраченному времени. Я мог уже именовать себя писателем. К моменту моего директорства был автором пяти книг, членом Союза писателей (1959 г.).

Звание это открылось для меня неведомо как, я и сейчас дивлюсь стечению обстоятельств, приведших меня в литераторы.

ПИСАТЕЛЬ. Титул не грезился мне и не представлялся мыслимым. Слово это всегда сопровождалось явлением в сознании чьего-то обобщенного, без предела благородного, горестно-великого облика — человека ли?! — здесь власы и прошивающий взгляд Толстого соединялись с барской неприступностью задумчивого лика Тургенева, с болезненной худобой страждущего за весь мир Некрасова, с беспощадной любовью к России в больном и безумном взоре Щедрина.

ПИСАТЕЛЬ. С детства было для меня имя неземное, что Пушкин, безусловно, не был человеком во плоти, а Лермонтов мог быть вообще только там, в той стране, в которую никому нет входа, в стране ЛИТЕРАТУРА.

Отсюда само помышление о сем звании, даже какие-то неосознаваемые, конечно, попытки приблизиться к нему, не воспринимались всерьез. В юношеские годы меня увлекало стихотворчество. Я всерьез кропал по некому плану «два стихотворения в день», иногда и больше. Вписывал их в старинную амбарную книгу с веленевой бумагой, роскошно разграфленную голубым, красным и зеленым. Книга ко всему имела и достойный коленкоровый переплет. Стихи эти я уже почти не помню, в них было все, что составляет полумладенческую несамостоятельность, как-то: гордые утесы, волны, березы, соловьи, неразделенная любовь (как раз в это время она меня и мучила). И ты одна того не знаешь... А в плане славы я прослыл школьным поэтом. Мне заказывали оды для праздничных стенгазет и рифмованные подписи к карикатурам — последнее выполнял редко и неохотно. А однажды мне довелось даже потрясти воображение учителей и одноклассников, когда я за четыре урока, отведенных на сочинение по теме «Образ Кутузова», написал это сочинение в стихах. Этакое «необородино», и даже помню, как строчил стихи, сам удивляясь, откуда лезли под руку рифмы, без

труда находились эпитеты, и холод восторга ходил по спине, подгоняя не успевающую за мыслью руку.

Очевидно, это и было исключительно редко посещающее меня вдохновение. Где мне было следить за всякими запятыми, я и сейчас их, при достаточной как будто грамотности, часто пропускаю. А там я и точки-то не все ставил. Получил пятерку, восторженный отзыв и двойку за грамотность, точнее, за отсутствие ее. Итак, спонтанные писательские опыты не вели меня к этой профессии. Да и профессия ли писатель в истинном смысле слова? Может ли быть профессией понятие ХУДОЖНИК, ФИЛОСОФ, МЫСЛИТЕЛЬ, СУДЬЯ МИРУ, ПРОВИДЕЦ или ПРОРОК? А так, только так в надземном значении, где-то меж туч, мыслится и проглядывает лик с указанным обозначением. Не верите? Как хотите... Для меня только с этой высотой соотносилось понятие.

Разумеется, я видел и других писателей — в более земных и доступных обозрению, общению с ними, формах. Так, будучи еще очень молодым, лет двадцати пяти-, семи (сам тогда считал себя пожилым человеком), я заходил изредка в наш Свердловский ЦДЛ на Пушкинской и, заказав себе скромный обед или ужин с бутылкой пива, смотрел на известных и неизвестных мне уральских писателей. Иные из них также обедали, запросто принимали у буфетной стойки сто или двести граммов, закусывали тут же каким-нибудь канапэ с селедкой, иные шумно спорили в углу за столом, а иногда я решался заглянуть в бильярдную, опять видел там все тех же известных литераторов в голубой наволочи табачного чада, в щелканье желтых шаров, с охотничьей ли сноровкой шагающих с кием вокруг клубного бильярда, взирающих ли на игру со стороны, с провиденьем знатока на челе, с папиросой в шуйце, с рюмкой армянского в деснице.

Такие картинки не менялись годами. Они не влекли меня, дым и гам застолий и споров о литературе под водочку всегда заставляли угрюмо помнить, что я здесь лишний, не тот, не подходящий, органически не вплетенный в компанию, и это чувствовали, вероятно, те, с кем я был, хотя звание члена СП и писательский билет, уже полученный мною, как будто давали мне право на равенство.

Я мог называть себя писателем, но был ли я им?

И вот как все это получилось. Как-то зимой, в начале пятидесятых годов, я написал несколько сказок-рассказов на лесные сюжеты и, набравшись не столько храбрости, сколько чего-то заменяющего ее, понес их в издательство. Я как будто помню этот предвесенний февральский день, когда притаивало, хоть и было пасмурно, серо, синее мокрое небо обещало близкую оттепель и весну, а воздух так пахнул этим сулящим волю предвестием, что я морщился с отвращением, вдыхая клозетные ароматы типографской краски, когда вошел в здание издательства и поднимался по лестнице на четвертый этаж. Издательство размещалось тогда в длинном корпусе «Уральского рабочего». Пока я восходил по лестнице, я растерял свою хотя бы показную и словно обычную спокойную независимость, и чем гуще становились типографские запахи, чаще являлась мысль: «Вернись. Не позорься... Куда ты? Лучше не надо. Как-нибудь лучше потом...» По лестнице спускались и поднимались бойкие громкие люди, может быть, тоже писатели или журналисты. Какая-то женщина, редакторским чутьем угадывая во мне, очевидно, графомана, понимающе усмехнулась, два раза пройдя мимо, пока я провинциально бродил по длинному полутемному коридору, читал таблички на дверях, не знал, куда обратиться, стесняясь кого-либо спрашивать. Опять свойство моего характера. Как можно меньше надоедать людям, как можно меньше общаться с ними самому. Я люблю людей, я не могу даже помыслить существования без них, но чересчур, видимо, избирательна моя конкретная любовь, и сам я отсюда редко кому нравлюсь.

Полная женщина весьма опять же насмешливого вида (или так показалось?) приняла у меня рукопись, посмотрела как на душевнобольного. «Сказки?! А-а... Да... Да-да...» Положила мою рукопись-тетрадку в стол, велела зайти через две-три недели. Опять критически обозрела. Отпустила с миром. Ушел, крепко был недоволен по-прежнему этой затеей. Спускался по лестнице с чувством сидящей в душе занозы. И в самом деле: «Детство! Какие-то *сказки*! Взрослый человек... И. о. директора школы... Пора быть серьезнее. Пора».

Дни обозначенного мне срока все-таки считал. Шел в издательство с тревогой и безнадежностью. И не зря. Сказки мои где-то затерялись. Полной женщины уже

не было за тем столом, а сидела за ним худая, желтоликая и черная женщина, похожая вострым носом, пронзительным взглядом и черным одеянием на самку дятла-желны. Бегло оглядев меня, безнадежно пообещав рукопись найти, она воткнула нос в разложенные бумаги и более уже не обращала на меня никакого внимания. Я и не знал, что в дальнейшем это будет мой первый редактор, вышел с убеждением не заглядывать больше в эту редакцию. «Потеряли — и черт с ними! Цур им и пек! — как говорят на Житомирщине. Проживу и без писательства... А сказки у меня есть в черновиках...»

Прошел без малого год. Я забыл о рукописи, занятый семейными делами, школой, возней с любимыми певчими птицами, строительством клеток,— я очень любил их делать и возился с ними все свободное время, к немалой радости жены. Пусть сидит дома, пусть себе сверлит, строгает, прилаживает, курит даже, обдумывая что-то свое,— курил я ужасно,— лишь бы не стремился к забегаловкам, их было вокруг нашей улицы не счесть, лишь бы не слишком обращал внимание на то и тех, на что женатому мужчине заглядываться не положено. Как будто я оправдывал чаяния супруги. И вот в один из таких занятых дней получил письмо, откуда б вы думали? Из СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ! Меня извещали, что сказки мои прочитаны, отрецензированы, ОДОБРЕНЫ, РЕКОМЕНДОВАНЫ К ИЗДАНИЮ. Круг замкнулся. Еще через год я стал автором первой своей книжки «Березовый листок». А следовательно, писателем. Лед тронулся.

Странным я был писателем: что это за писатель, который урывками, крадя как бы сам у себя какое-то время, что-то там строчит вечерами, днем, иногда и в своем кабинете, в школе (удавалось редко), никаких внешних признаков писателя: ни тебе дубленки, ни кожаного пиджака, трубку тоже давно бросил, хотя курил в студенчестве, пижонил, конечно, ни внутренних признаков никаких: мудрого взора, медленной речи, глубин знания — ничего не было, но директором школы я был еще более удивительным. Поясню: что такое директор большой средней школы? Достойный костюм, чаще всего светло-коричневый, бежевый; кофе с молоком, замкнутый взгляд, очки, всегда робость на дальнем плане в предожидании инспекции, разговор в пре-

делах школьных тем и программ, абсолютное благочестие, редко флирт с какой-нибудь зазнобой-учительницей, еще раз подчеркиваю, редко и неблагополучно кончается. Общественность, местком, районо, ГОРОНО.

Николай Григорьевич Никонов на вечерах танцевал с ученицами. Умел чарльстон и модное «ча-ча» по всем правилам. Ходил для этого в школу танцев. Пил на вечерах пиво. Катался на катке (и опять с ученицами). Приносил на экзамены корзинку с птенцами жаворонков, которых тут же и кормил муравьиным яйцом с хлебом, размоченным в молоке. Вступал в рукопашный бой с хулиганами, потому что больше было некому — завхоз, тихий мужичок, в счет не шел. Получал массу всевозможных обещаний, преимущественно угрожающего жизни характера. Ловил птиц. Летом собирал насекомых. Сбегал с августовских педсоветов. Говорил, что два непосещенных собрания равны одному посещенному. Начальству дерзил. Про некоего заведующего районо, кстати, выбравшегося на этот пост из рядовых директоров школы-восьмилетки, говорил, не таясь, что он чинодрал, ханжа и дурак. Не заставлял учителей писать лишние бумаги. Отказывался устраивать выставки и лишние стенды. Однажды, когда заврайоно призвал директоров обеспечить наивысшую успеваемость, дать девяносто пять — сто процентов, довольно громко сказал: «Конечно, давайте, дадим сто двадцать! Сто пятьдесят!» Получил в ответ суровое замечание.

Может быть, школа под руководством такого директора развалилась? Нет, она занимала по основным показателям второе место в районе, и заврайоно, тот самый, немало потрудился, чтобы странный и строптивый директор подал в отставку. Пробыв на посту шесть лет, я снова стал учителем, но теперь уже лишь «урокодавцем», даже не классным руководителем. Что-то неясное, похожее на страх, не давало расстаться со школой, перейти на нелегкий литературный хлеб. И все-таки последнее свершилось. Осенью 1969 года я прошел по конкурсу на Высшие литературные курсы, оставил школу и уехал учиться в Москву.

И снова судьба и характер сыграли со мной злую шутку. Вместо двухлетнего жуирования в столице, наслаждения всеми прелестями холостой жизни, гарантированной приличной стипендией в сто пятьдесят руб-

лей, отдельной комнатой в общежитии на углу Добролюбова и Руставели, я едва-едва вытерпел три месяца и, поняв, что ничего не добавлю на этих курсах к своему образовательному багажу, кроме умения крепко пить и вести бесконечные споры о литературе, вернулся в Свердловск.

Как раз в этот период я тяжело заболел вегетативным неврозом. Началось с пустяка: сел в электричку, чтобы ехать поутру в лес, и почувствовал вдруг — теряю сознание, если не выйду немедленно — брякнусь на пол. Кое-как, с морозом в лице и едва сохраняя это самое сознание, выбрался на следующей остановке. Наваждение прошло, стоило мне пешком двинуться в обратную сторону, к дому. Сказался рецидив войны. Припомнил, как еще двенадцатилетним ездил с матерью копать огород под картошку за станцию Сортировочная. Электричек в войну не было, ходил поезд, сперва даже с допотопным паровозом «О» — «овечкой», с несколькими ветхими вагонами. Поезд этот назывался «трудовой». В «трудовой» набивались чуть не под крышу бойкие пригородные бабы, мешочники, деляги, барыги и такие вот, как мы, огородники. Ехать можно было только стоя, и вот, видимо, от духоты, голодухи и давки со мной случился обморок. Мать вытащила меня на платформу и с помощью ветра и воды из лужи вернула к жизни. Именно здесь и стукнул меня невроз, потому, наверное, что в электричке было так же душно, так же набито, только теперь уже вместо огородников ехали крепкие фанатики-садоводы с железными зубами, а вместо мешочников — туристы и любители уединения на природе. За первым приступом последовали новые, и я представить не мог, что попал в положение, полностью блокирующее любую возможность куда-либо ехать. Я не мог ездить ни на каком дальнем транспорте, не мог ночевать где-либо, кроме дома. В моменты обострений мой организм отрицал даже трамвай... Остановка-другая, и я выскакивал со знакомым морозом на лице. Все это было бы смешно, когда бы не было так гнусно. Теперь главным образом я ходил пешком или ездил на велосипеде.

Велосипед как транспортное средство, зависимое только от меня и которое я мог повернуть назад в любую минуту, не вызывал приступов невроза, так же, как пешая ходьба. По-видимому, если бы также я знал, что

смогу повернуть в любой момент трамвай или электричку, невроз легко оказался бы побежденным. Машины же как универсального транспорта я не завел и до сих пор. Объясняю просто: технику не люблю, в маленький автомобиль не вмещаюсь, большой не по карману. Писателю ныне никогда не угнаться по доходам за торговцем урюком.

Как раз в самый разгар болезни я решил, что мне очень нужны огород, физический труд и все прочее, связанное с землевладением.

После недолгих раздумий и долгих поисков я нашел вблизи города благодатное место, знакомое еще по детским и юношеским походам и охотам. Там, собрав все свои средства, продав часть книг, резиновую лодку и подзаняв малую толику, я купил дом (комната и кухня) с хорошим участком у самого леса. Дом ни я, ни жена толком и не смотрели. Для нас главное было лес, земля, огород, ибо жена еще более привязана ко всяким крестьянским делам и с охотой выполняет то, что я, к примеру, любить так и не научился (прополку, полив, высаживание цветов и т. п.).

Я стал владельцем «дачи», то есть дачником. Первое время я добирался до нее чуть ли не под врачебным контролем, только в сопровождении жены, а ночевать не мог и всякий день к вечеру возвращался в город. Смешно, однако так длилось годами. Слово «дачник» тогда, а может быть и доныне, как будто осуждаемое. Ему постоянно привешивают синонимы: частник, буржуй, кулак, куркуль и т. п. Временами в прессе вспыхивают какие-то диалоги, обличительные статьи. Бывали даже и гонения. Как, например, обмеривание домиков в садах, недопущение кладки печей, неразрешение прописки и, боже, что еще не выдумывали, вплоть до того, что я однажды писал официальную бумагу, сообщал, где купил, у кого, за сколько, имею ли законные документы и чем занимаюсь. Написал, что на участке сажаю картошку, капусту, морковь, лук, бобы, горох, имею несколько кустов малины, смородины, торговлей не занимаюсь, купил на законном основании (копии документов прилагаю). А затем я принялся за работу и начал строительство нового дома на месте полуразвалившейся кирпичной хибары, которая также значилась в моих домовладельческих документах как собственность, хотя жить в ней не было никакой воз-

можности. Строил я от фундамента до крыши сам и с помощью членов семьи. За годы строительства приобрел следующие профессии, по порядку: бетонщик, каменщик, плотник, кровельщик, столяр, штукатур, стекольщик, печник, электрик, маляр, некоторые из этих профессий освоила моя жена. Иные даже лучше меня. Я также был проектировщиком, архитектором и дизайнером. Профессии обогатили меня знанием ремесел, а кроме того, избавили от общения с целым слоем малотрудоспособного и пьяного люда, который теперь как-то вытеснил хороших, добросовестных работников, однако берется делать все что угодно, лишь бы тут же, при подряде, присутствовала неизменная «бутылка».

Неуемный физический труд, часто до полного изнеможения, однако, нисколько не повлиял на невроз, и я по-прежнему ездил спать домой, а путешествие, скажем, в Москву, на юг или за границу было для меня несбыточной мечтой.

Самое тяжелое в этом состоянии — абсолютное непонимание его окружающими, а тем более близкими людьми. Чушь, блажь, детство — так примерно оценивают люди здоровые, не хлебнувшие этой «блажи». Но и в самом деле, что это, взрослый дяденька не может, например, переночевать в гостях у собственной тещи, а ночью, охая, держась за сердце, стуча зубами о край кружки, пьет воду, торопливо одевается и уходит одинокой дорогой на станцию, потому что в дороге его отпускает, он знает, что возвращается, а этого достаточно, чтобы дурной мороз отступал и человек снова чувствовал себя человеком. Состояние сие в общем-то никем не объяснено, никак не лечится (вернее, все лечение безрезультатно), и выяснилось, что болеют им по преимуществу писатели и художники. Неясный недуг, если врачи разводят руками. Гордиться, что им болел, допустим, Хемингуэй (не мог спать в темноте и лет до пятидесяти спал только со светом), мне вовсе не хотелось. Лечиться транквилизаторами было бесполезно: они лишь оболванивают, но не спасают. Водные же процедуры, гимнастика и прочее такое нужны, на мой взгляд, лишь придуривающимся здоровым людям. Так по воле судьбы я на целое семилетие оказался пленником, прикованным к дому и к своему городу.

Я лишился возможности бывать в столице, в редакциях журналов, общаться с писателями и с людьми,

как ни говори, нужными, от которых зависело включение в планы, тиражирование и вообще издание и переиздание. Взаимоотношения по почте — такая же тягостная вещь, как роман в письмах. К тому же от матери я унаследовал ненависть и лень к эпистолярному жанру. Льщу себя надеждой, если когда-нибудь удостоюсь собрания сочинений, в нем не будет ни одного тома писем. Не станут же включать в него стереотипные послания, начинающиеся со слов: «Дорогая редакция! Глубокоуважаемый товарищ редактор! Прочтите, ответьте. Да. Нет». Конечно, большинство моих рукописей попадало «в поток», шло в руки насмешливым литературным мальчикам на редакционной отписке, а то и просто к невеждам и графоманам при должности. И не хотелось бы даже перечислять все эти: «Нет места в плане. План сверстан. К сожалению, не та тема» и т. д. и т. п. В конце концов я бросил писать в столицы. Работал, жил, на Урале выходили мои книги, стал получать письма читателей, хвалила местная критика. Уже не называли «уральским Пришвиным». В столице же на мое имя словно кто-то наложил запрет. Ни одной строки за целое десятилетие работы. Лишь в 1965 году каким-то чудом была переиздана в «Советском писателе» книга «Лесные дни», вдруг оказалось, что знаменитейший критик Макаров заметил ее, еще в рукописи, и высказал самые лестные отзывы. Как знать, подумаешь, живи Макаров сейчас, моя литературная биография в смысле известности и упоминаемости была бы, возможно, иной, однако все сложилось не так, а о рецензии на «Лесные дни» узнал я много лет спустя. Все же выход первой книги в Москве был той ласточкой, которая не делает весны, но опять, говоря словами любимого мной героя, возвещает, что «лед тронулся!».

Он тронулся и в сторону моего выздоровления. Однажды, замученный неврозом, я обратился в поликлинику, и меня приняла очень обыкновенная, простецкого вида женщина (таких как раз люблю), выслушала мои жалобы и сказала: «Знаете что, у вас это не болезнь, а генетика. У родственников такое было?» Я вспомнил своего деда, от которого, кстати, унаследовал и дальтонизм, вспомнил, вернее, рассказы матери, и оказалось, что дед мой примерно так же маялся. «Было!» — уверенно сказал. «Ну вот, видите. Все точ-

но. И все у вас пройдет, примерно годам к сорока пяти. После сорока пяти сразу будет легче, это я вам точно говорю!»

О, великое спасибо вам, неведомая, к сожалению, прорицательница! После сорока трех уже я почувствовал, как хватка невроза начинает сдавать. Помогал мне и велосипед с мотором, с помощью которого я стал выбираться уже довольно далеко в леса и в подстепье. Жизнь буквально возвращалась ко мне вместе с возможностью перемещения в пространстве. Далее последовало освоение электрички, поезда местного сообщения, поезда более дальнего, выезды в Москву и в Прибалтику, хотя еще добрых пять лет я ездил лишь в сопровождении жены, приобщившейся таким образом к роли сиделки и телохранителя, за что я ей весьма благодарен. Сорок пять оказались точным сроком, но и роковым одновременно. В сорок пять я потерял двадцатипятилетнего сына-офицера, а через несколько месяцев и годовалого внука. Такой черный год, каким оказался для меня 1975-й, трудно представить. Горе не давало работать. Все валилось из рук. Вся жизнь казалась прожитой зря, напрасно, не так, как думалось и хотелось. Во всех таких случаях помогает только свое мужество да опора на близких, и, жестоко поняв это, я снова начал писать. Теперь у меня уже выходили книги в Москве. Вторая, третья, пятая, седьмая, девятая. Детгиз, «Малыш», «Советский писатель», «Молодая гвардия», «Советская Россия». Но главное, главное приходит как будто бы только-только: ощущение профессии своей не как способности более-менее увлекательно писать о жизни или природе, «лепить» характеры и т. п.— но понимать жизнь, видеть ее широким планом, без розовых тонов и без юношеских заблуждений, здраво оценивать свои возможности, уйти от максимализма и от нигилизма, и вот думаешь: дай бог сил еще хотя бы на десятилетие, не разрушайся, память, потерпи, сердце, не сдайте, нервы, уж закалены вроде бы,— и тогда, быть может, еще одну-другую книгу положу на читательский стол. Как хотелось бы, как хотелось бы... Тебе, читатель, одному верю я бесконечно, тебя ценю, как верного неподкупного друга, твоего суда ищу и ему доверяю, им горжусь. Да оправдаю ли? Не знаю.

1980 г.

Никонов Н. Г.

Н63 Повести.— Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1985.— 384 с.

В пер.: 1 р. 80 к. 100 000 экз.

В новую книгу известного уральского писателя вошли ранее уже публиковавшиеся его повести «Солнышко в березах», «Лесные дни», «Балчуг», «Воротник», а также автобиографическое повествование «Размышление на пороге».

Н $\frac{4702010200-083}{М158(03)-85}$ 52-85 ББК 84Р7

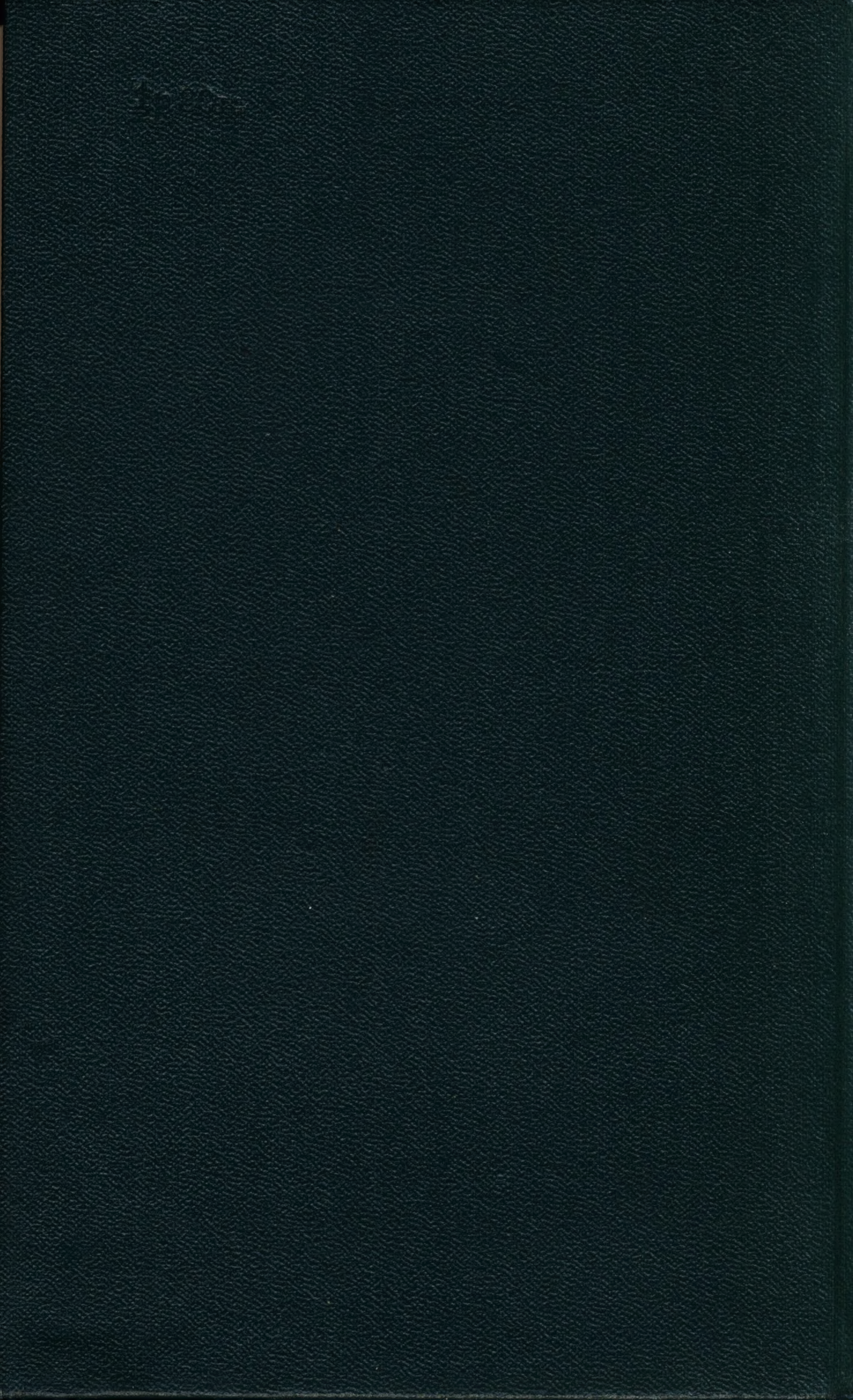
Содержание

ИБ № 1296.

Николай Григорьевич Никонов
ПОВЕСТИ

Редактор М. П. Немченко
Художник Л. М. Григорьев
Художественный редактор Г. И. Кетов
Технический редактор Л. М. Голобокова
Корректоры Т. А. Дрябина,
О. А. Малютин, А. В. Маркин

Сдано в набор 28.08.84.
Подписано в печать 19.02.85. НС 12373.
Формат $84\times108^{1}/_{32}$. Бумага тип. № 1.
Гарнитура литературная.
Печать высокая.
Усл. печ. л. 20,2.
Усл. кр.-отт. 20,2. Уч.-изд. л. 21,4.
Тираж 100 000. Зак. 513. Цена 1 р. 80 к.
Средне-Уральское книжное издательство,
620219, Свердловск, ГСП-351,
Малышева, 24.
Типография изд-ва «Уральский рабочий»,
620151, Свердловск, пр. Ленина, 49.





НИКОЛАЙ
НИКОНОВ







